РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ
им. Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ

АНТРОПОЛОГИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ:
традиции и инновации

Отв. редактор и составитель
д.и.н. Г. А. Комарова

Москва
2013

*Работа подготовлена в рамках ПФИ Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» и при финансовой поддержке РГНФ (проект 13-01-00043)

Антропология академической жизни: традиции и инновации / Отв. ред. Г.А. Комарова. М.:ИЭА РАН, 2013. – 376 с.

ISBN 978-5-89930-141-4

Издание представляет собой опыт междисциплинарного исследования проблем антропологии академической жизни. В научном сборнике рассматриваются многообразные историко-культурологические аспекты антропологии академической жизни, проблемы современных трансформационных процессов в академическом сообществе, вопросы методологии и методики науки, академической и экспедиционной повседневности, этики и прагматики полевой работы и т. д. Его основу составили доклады, подготовленные для участия в секции «Антропология академической жизни» IX Конгресса антропологов и этнологов России (Петрозаводск, 2011). Книга адресована широкому кругу ученых, преподавателей, студентов и всем, интересующимся этнографией, этнологией, социально-культурной антропологией и другими отраслями социогуманитарного знания.

ISBN 978-5-89930-141-4

© Г.А. Комарова, 2013
© Коллектив авторов, 2013
© Институт этнологии и антропологии РАН, 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

Галина Комарова. Новация, обреченная стать традицией.....5

Раздел I. ЭТОС НАУКИ: РИТОРИКА И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 18

Сергей Соколовский. Культурная медиация, традиции и инновации: о поэтике заимствования в истории советской этнографии.....18
Виктор Шнирельман. Археолог, общество и политика: Е. И. Крупнов и аланская проблема 47
Анна Еремеева.Ученый в условиях гражданского противостояния: специфика научной деятельности и научной коммуникации 73
Светлана Филимончик. Ученый и власть: гуманитарии Карелии в сталинскую эпоху ...92
Виктор Макаренко. Властно-политические технологии и право ученого на сопротивление 109
Николай Серов. Феномен групповой динамики и интересы науки 129

Раздел II . ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ В НАУЧНОМ СООБЩЕСТВЕ 150

Татьяна Сидорякина. Отечественные традиции «вхождения в науку» в рамках профессорской культуры.....150
Владимир Лебедев. «Профессор» как социально-культурный миф.....169
Наталия Демина. Защита диссертации как обряд перехода 184
Константин Банников. Вход как выход: социально – антропологические рефлексии на тему [в]хождения в науку.....205
Максим Пулькин. «ВАКовские» журналы и научное сообщество: проблемы взаимоотношений.....221

Раздел III. СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕНЫЙ И ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛЕ.....238

Сергей Абашин. Всматриваясь в поле после боя 238
Дина Писаревская. Особенности полевого исследования в мегаполисе: от этнической жизни к стилю жизни.....272
Даниил Тумаркин. За морем телушка – полушка, да рубль перевоз (о двух этнографических экспедициях на острова Океании) 285

Раздел IV. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ НАУКИ.....325
Иван Гринько. Репрезентация этнологии в отечественной художественной литературе: опыт и проблемы.....325
Наталия Миронова, Татьяна Филиппова, Наталия Лисевич. Некоторые практики репрезентации научного работника).....342
Марина Жигунова. Праздничные будни омской этнографии.....352

Галина Комарова

Новация, обреченная стать традицией

Координатор Программы фундаментальных исследований «Традиции и инновации в истории и культуре» акад. А.П. Деревянко полагает, что «всякая новация, в случае успешного внедрения, обречена стать традицией» (Деревянко 2012). Научный сборник «Антропология академической жизни», подготовленный в рамках этой программы неслучайно имеет расширительное название «традиции и инновации». В нашем случае понятие «традиция» используется в онтологическом смысле – это не сохранение или изменение, а нечто постоянное внутри перемен, константное в развитии, абсолютное в относительном, вечное во временном. Это тот фундамент, на котором возникает инновация: новые идеи, подходы, методы, направления, все то, что содержит прогрессивное начало, позволяющее в изменившихся условиях и ситуациях достаточно эффективно исследовать проблемы и решать те или иные научные задачи.

Вы держите в руках очередной выпуск коллективного научного сборника, подготовленного в результате разработки нового для отечественной науки исследовательского направления – антропология академической жизни (далее – *ААЖ*), предметом исследований которого является профессиональное научное сообщество различными, прежде всего, этнографическими методами. Использование термина «антропология» обозначает конкретный методологический подход к исследованию различных аспектов повседневной жизни ученых и научных сообществ и предполагает не только и не столько изучение человека вообще, но изучение конкретного способа существования «академического» человека, человека академического образа жизни, а также соционормативной культуры, совокупности ритуалов и повседневных практик, сформированных сообществом «академических» людей, т. е. академическим научным сообществом, и используемых в сфере академической жизни. Исследователи ААЖ стремятся выйти за пределы чистой науки и увидеть ученого как человека своей эпохи, как хранителя культурной традиции, как независимую личность, способную к рефлексии по поводу самой этой традиции и ее связи с быстро меняющимся миром.

Как считает один из самых активных авторов ААЖ А.А. Кузнецов, новое направление в современной российской этноло-

гии – антропология академической жизни – позволяет посредством этнографического описания и этнологического понимания (Комарова 2008:9) изучить «производственную кухню» сообщества научных работников, постигнуть свойственную им профессиональную «ментальность», определить их взаимосвязь с окружающей средой и объектами исследования. Особое место в рамках формирующейся дисциплины, безусловно, занимают размышления самих авторов научных текстов, направленные на осмысление и интерпретацию собственных исследовательских практик» (Кузнецов 2010:186). Культурный опыт ученого интересен исследователям ААЖ не только тем, что, будучи прекрасным специалистом в своей области знаний, ученый в чем-то лучше осведомлен, а тем, что он изначально смотрит на мир критически. И этот опыт критического взгляда нельзя передать, пока он не зафиксирован в текстах. Для представителей ААЖ лозунг любого профессионального гуманитария «Текст – это все!» содержит особый принципиальный смысл, что обусловлено сложившейся традицией.

Действительно, в процессе развития новаторского для отечественного сообщества и еще очень молодого научного направления – ААЖ, тем не менее, уже возникли свои традиции. И одной из главных и, на мой взгляд, очень важных традиций является обязательное создание коллективного сборника научных трудов по результатам заседаний секции «Антропология академической жизни», регулярно происходящих в рамках Конгресса этнографов и антропологов России (далее – КЭАР). Впервые в истории как постсоветских КЭАР, так и советских экспедиционно-полевых этнографических сессий научное заседание прошло в г. Саранске в 2007 году. Итогом этой работы стал коллективный сборник «Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии» (ААЖ 2008). Второй том – «Антропология академической жизни: междисциплинарные исследования» был издан в 2010 году по результатам работы секции в рамках VIII КЭАР в Оренбург в 2009 г. (ААЖ 2010).

Основу третьего тома составляют доклады участников секции «ААЖ», состоявшейся в июле 2011 года в рамках IX КЭАР в г. Петрозаводске. Ее рабочая схема традиционно строилась с учётом ситуации, когда «объект этнографии сам становится её аудиторией», что вызвало большой интерес у представителей различных социогуманитарных наук, приславших многочисленные заявки на участие в заседании. В результате петрозаводская секция «ААЖ», как и все

предыдущие, носила междисциплинарный характер: в ее работе участвовали не только этнографы, этнологи, антропологи, но и археологи, историки, психологи, искусствоведы, философы, музееведы, культурологи, филологи, географы, представители других наук. Таким образом, научная междисциплинарность традиционно остается основополагающей идеей подготовки и проведения всех заседаний нашей секции. Именно она была изначально заложена и в расширенное название нового научного направления – «антропология академической жизни». Работа секции в рамках IX КЭАР вновь продемонстрировала, что ставка на междисциплинарный подход в русле этого исследовательского направления вполне оправдывает себя. Когда этнографы/этнологи/антропологи и их коллеги по социогуманитарному цеху исследуют проблемы, наиболее актуальные для собственных научных направлений, но находящиеся в едином исследовательском поле ААЖ, широкая междисциплинарная постановка проблемы позволяет охватить разноплановые и порой новые, неожиданные аспекты этой тематики (Комарова 2012:14-33).

На петрозаводской секции темы выступлений были связаны с социальными условиями существования науки и научных институций, рефлексией ученого этнографа по поводу изменения своей позиции по отношению к полю, идеологическими контекстами, влияющими на содержание и характер, как академической деятельности, так и способов ее приватизации и извлечения социально- карьерных дивидендов и т.д. Все разнообразие тем и научных подходов было освещено в докладах, сгруппированных в четыре тематических блока, охватывающих различные стороны академической жизни: «Академическое сообщество в контексте глобализации»; «Этос науки»; «Человек в очках и шляпе»; «Теория и практика репрезентации науки». Ряд сообщений был также представлен в форме стендовых докладов и презентаций.

По мнению участников заседания (согласно списка присутствующих, их было 97 человек), проведение подобной секции - очень актуально и полезно для деятельности нашего профессионального сообщества. Коллеги высказывали пожелания о необходимости и в дальнейшем развивать новое для отечественной науки исследовательское направление, а также закрепить традицию издания коллективных сборников «Антропология академической жизни», основу которых составляют научные доклады и дискуссии секции «ААЖ», постоянно работающей в рамках Конгресса этнографов и антропологов

России. Об этом, в частности, говорил и акад. В.А. Тишков, открывая заседание секции в Петрозаводске. В своем вступительном слове он выразил поддержку новому научному направлению, отметив, что оно «актуально, серьезно и основательно» (АФ 15:591). Подобные идеи были также высказаны многочисленными участниками опроса «IX Конгресс этнографов и антропологов России: впечатления участников», высоко оценившими работу секции «Антропология академической жизни» (<http://anthropologie.kunstkamera.ru/07/15online/>).

Таким образом, очередной сборник «ААЖ» стал результатом традиционной двухлетней научной деятельности по подготовке, проведению и анализу результатов работы секции «ААЖ» в рамках КЭАР представителей различных научных дисциплин и традиций из разных научных центров постсоветского пространства. Авторы издания - антропологи, этнографы, социологи, востоковеды, археологи, философы, историки, филологи, культурологи, музееведы из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Омска, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Краснодара, Таганрога и т.д. Все они разрабатывают темы, наиболее актуальные для собственных научных направлений, но при этом находящиеся в едином исследовательском поле ААЖ. Широкая междисциплинарная постановка научной проблематики позволяет авторскому коллективу охватить достаточно разноплановые аспекты нового научного направления. Все статьи сборника сгруппированы в тематические блоки и представлены в четырех разделах.

Тексты первого раздела сборника «Этос науки: риторика и повседневность» обсуждают целый круг ключевых методологических проблем сферы «Science studies»: наука как социальный институт и возможности работы «научного сообщества»; традиции и вариации этоса науки; изучение способов производства научного знания в различных социокультурных средах (проблемы «экологии науки»); роль истории науки для понимания природы науки; ученый и наука; значение опыта «Science studies» для постановки и обсуждения проблем специфики социально-гуманитарного познания и др.

Первый раздел открывает статья «Культурная медиация, традиции и инновации: о поэтике заимствования в истории советской этнографии». Ее автор – С.В. Соколовский утверждает, что «история российской этнографии практически на всех ее этапах, и даже тогда, когда заимствования совсем не поощрялись, а, наоборот, преследовались как низкопоклонство перед Западом – состоит из длинной их че-

реды, иногда тщательно маскируемой, а иногда с гордостью демонстрируемой как безусловно прогрессивная и необходимая мера борьбы с местной заскорузлостью». Некоторые эпизоды этой истории и их оценки современниками стали основным предметом его анализа. Автор статьи делится интересным наблюдением о том, что «при всей нашей заботе о традициях, конкретные научные проекты, как и науку в целом, вряд ли можно адекватно понять вне их устремленности к новому. Рассмотрение динамики и механизмов заимствования – и в этом ирония всякой деконструкции, по видимости отказывающейся от нового или отказывающей новому в его привилегированном статусе – позволяет сделать небольшой вклад в эту погоню за новизной и осветить саму технологию заимствования как механизм порождения нового».

Тема «Этос науки: риторика и повседневность» получила новое развитие и неординарное решение также в статьях В.П. Макаренко «Властно-политические технологии и право ученого на сопротивление», Н.В. Серова «Феномен групповой динамики в научном сообществе и интересы науки», В.А. Шнирельмана «Археолог, общество и политика: Е.И. Крупнов и аланы», С.Н. Филимончик «Ученый и власть**:** гуманитарии Карелии в сталинскую эпоху», А.Н. Еремеевой «Ученый в условиях гражданского противостояния». Виктор Павлович Макаренко считает, что «современная наука есть воплощение колониально-имперских, революционно-бюрократических (техно-якобинских) и самодержавно-бюрократических интересов и амбиций власти и ученых». Отвечая на вопрос, свободны ли современные ученые, если они до сих пор используют указанные модели или их комбинации в своем поведении, автор анализирует, как они взаимодействовали в социальной истории науки XX в. и советской науки, в особенности. Цель исследования Н.В. Серова – анализ проблемы «запретов» в дискуссии с академическими стереотипами «научного долженствования» на примере социальной истории создания теории хроматизма. А.Н. Еремеева рассматривает особенности научной деятельности и научной коммуникации в регионах бывшей Российской империи, ставших в 1917–1920 гг. центрами противоборства различных политических режимов и массовой миграции столичной интеллигенции. С.Н. Филимончик представляет новую для Карелии 1930-х годов социокультурную группу профессиональных ученых, работающих в области истории, этнографии, фольклора, характеризуя их путь в науку, уровень образования, профессиональную деятельность,

научную и бытовую повседневность, а также взаимоотношения ученого-гуманитария с властью и т. д.

Все авторы тематического блока «Этос науки: риторика и повседневность» – известные ученые, представляющие различные научные дисциплины, ставят перед собой актуальные и важные для любого гуманитария вопросы: Как остаться "независимым" исследователем, отстраненным при изучении острых социальных проблем? Что и как можно и должно изучать в современной публичной сфере? Как повседневность (в том числе, и академическая), окружающая ученого, формирует его научный багаж? Как биография самого исследователя "работает" в качестве фактора его научной деятельности и влияет на ее результаты?

По мнению постоянного автора всех выпусков «ААЖ» В.А. Шнирельмана, «сегодня, когда в стране нет уже единой гегемонистской идеологии и идет становление гражданского общества, общественные науки потеряли свою былую "невинность". Это означает, что, какой бы проблематикой ни занимался этнолог, социолог или даже археолог, полученные им данные и выводы всегда могут использоваться для тех или иных политических проектов <…> В этих условиях использование соответствующих понятий и терминов накладывает на ученого особую ответственность и заставляет тщательно обдумывать формулировки своих идей, чтобы они не стали легкой добычей радикалов. Следовательно, специалист должен тонко чувствовать нюансы сложившегося вокруг политического ландшафта. Мало того, сегодня ученый, чьи исследования касаются острых политических проблем, не может оставаться вне политики, хочет он того или нет. А к актуальным проблемам сегодня относятся все, начиная от современных массовых миграций населения и кончая антропогенезом. Поэтому нам нельзя обходить вопрос о научной этике, и ученый должен не только интересоваться тем, как воспринимаются его идеи в обществе, но и активно стремиться к тому, чтобы эти идеи воспринимались адекватно без искажений. Иными словами, пришло время для активного и заинтересованного диалога между людьми науки и обществом».

Изучение социального контекста развития науки, научного сообщества, и, в частности, научной и политической миссии ученого, нужны не для того, чтобы привлечь общественное внимание и политизировать роль науки в обществе. В нашем случае исследователю научного поля ААЖ важно с позиций социально-культурной антро-

пологии изучить эти проблемы и понять, как они решаются и/или не решаются в современной научной среде. И это, на мой взгляд, важное и полноправное направление антропологии академического сообщества. К сожалению, в российском научном сообществе подобные исследования редки, экзотичны, непривычны, и зачастую воспринимаются неадекватно, что негативно отражается на развитии и отечественной науки, и современного российского общества. Тематический блок статей «Этос науки» традиционно присутствует в научных сборниках «ААЖ», что важно по ряду причин, в том числе и методико-методологического плана. И в частности, потому что всем известная модель «правильного» этоса науки, предложенная Мертоном и представляющая собой некий идеальный тип, достаточно абстрактное построение, результат логической дедукции, дает немало поводов для дальнейшего исследования постоянно возникающей перед исследователем дилеммы теории и практики, риторики и повседневности. Думается, что представители ААЖ, ведущие кропотливую работу по сближению теоретических и эмпирических изысканий, по поиску реальной конфигурации этических норм, единой метрики научного сообщества, способны в чем-то дополнить, исправить мертоновские аксиомы, а возможно и предложить свою модель этоса науки.

В отличие от первого раздела сборника, следующий тематический блок статей «Институционализация в научном сообществе» представляет собой пример инновации в истории развития ААЖ. Как показывают авторы статей этого раздела, значимость ритуалов перехода, «обрядов институционализации» (П. Бурдье) в контексте формирования и поддержания корпоративной идентичности научного сообщества традиционна и по сей день неоценима. Ритуалы как символы действия являются способом донесения до «академического» человека, человека академического образа жизни, представителей «академического» мира ценностей и моделей поведения, отражающих корпоративную культуру научного сообщества. Именно ритуалы как устойчивая система ценностей, накопленных и воспроизводимых в коллективной памяти, дают научному сообществу ощущение устойчивости, столь необходимое в непрерывно изменяющемся мире.

Отечественные традиции процесса «вхождения в науку» в рамках профессорской культуры составляют предмет исследования Т.А. Сидорякиной. Ее статья посвящена формализованным и неформализованным правилам вхождения в научное сообщество историков рубежа XIX – XX вв. и характеризуется особым интересом к лично-

сти ученого на ранних этапах его становления, вниманием к процессу «вхождения в мир науки и высшего образования», к сопряженным с ним «ритуалам перехода» и «адаптации молодого ученого» в научном сообществе. Автор справедливо отмечает, что понятие «профессорская культура» существенно расширяет проблемное поле современных исследователей, изучающих проблемы научных сообществ, сформированных на основе устойчивого ядра «корпоративной культуры», в качестве самостоятельной задачи, и актуализирующих субъективный фактор в науке.

Статья В.Ю. Лебедева «Профессор» как социально-культурный миф» во многом продолжает и развивает тематику предыдущего текста**.** В ней анализируется трансформация расхожих представлений о профессуре и результатах причисления к этому сообществу от традиции к инновации, от старой версии к новой. «Старая - восходит к академическим традициям дореволюционной России и их отзвукам в довоенной советской культуре. Новая – формируется представлениями о социальном статусе профессуры послевоенного Советского Союза». В.Ю. Лебедев определяет актуальность рассмотрения выбранного объекта не только его временным положением самим по себе, но и тем, что мифологические установки оказываются напрямую определяющими и представления, и поведение большого числа людей (включая и неверный профессиональный выбор).

По мнению автора статьи, «мифологическое осмысление профессуры наблюдается как в повседневном поведении, фиксируемом этнографией, так и в осмыслении средствами искусства, где стандартно воспроизводятся все обиходные стереотипы. Можно говорить, что элементы мифологической картины принадлежат здесь к двум областям, мифологическим парадигмам: мифологии науки и мифологии быта». В.Ю. Лебедев делает вывод о том, что дальнейшие трансформации расхожих представлений о «профессоре» во многом будут зависеть от специфики реальности социальной, однако в виду мифологического генеза этих представлений можно предвидеть устойчивость и живучесть традиционных форм.

В статьях Н.В. Деминой «Защита диссертации как обряд перехода» и К.Л. Банникова «Вход как выход: социально-антропологические рефлексии на тему [в]хождения в науку» исследуется современный процесс пересечения границы мира Науки — инициация в сообществе российских ученых через аспирантуру и защиту кандидатской диссертации. Текст Н.В. Деминой наглядно демонстри-

рует, что понятия обряда перехода (А. ван Геннеп, В. Тернер) и обряда институционализации (П. Бурдье) дают возможность рассмотреть проблемы качества научной аттестации и состояния научной экспертизы в России под новым углом зрения. Автор отмечает, что «при вступлении в мир науки — прохождении обряда перехода, или институционализации — неподготовленными и непроникнутыми его истинным сакральным смыслом чужаками, происходит «загрязнение» сообщества ученых, влекущее десакрализацию и размывание существующих границ».

Исследование М.В. Пулькина «Рецензируемые журналы и научное сообщество: проблемы взаимоотношений» также посвящена вопросам качества научной аттестации и состояния научной экспертизы в современной России, которые рассматриваются, однако, не в фокусе традиций, в русле нововведений последних лет. Автор видит серьезную и очень актуальную проблему в том, что «сегодня публикации в рецензируемом журнале считаются одним из важнейших показателей оценки работы как научного работника (преимущественно Академии наук), так и учреждения, в котором он состоит. Согласно новым критериям, появление книг, в том числе и фундаментальных работ, объявлено второстепенным успехом по сравнению со сравнительно небольшой статьей, опубликованной в издании, входящем в ВАКовский список. По мнению М.В. Пулькина, «система, в которой Списку отведена главенствующая роль, довольно быстро поглощает поток всех прочих публикаций, упраздняя многочисленные внезапно появляющиеся и быстро исчезающие из поля зрения ученых сборники научных работ на разные темы». Автор статьи считает, что это серьезная практическая проблема, связанная с выживанием научных организаций, и важный теоретический вопрос из области антропологии академической жизни. И действительно, «несмотря на широкое и интенсивное кулуарное обсуждение этой новой для научного сообщества проблемы, она еще не удостоилась тщательного, в полном смысле слова научного исследования». Задача статьи М.В. Пулькина – заложить фундамент для изучения этого нового явления российской академической жизни.

Третий раздел сборника «Современный ученый и этнографическое поле» является традиционным и концептуально необходимым для разработки ААЖ. Тексты этого раздела наглядно подтверждают общеизвестную истину о том, что специфика исследовательской этнографической работы состоит, в частности, в том, что ученый в поле

является основным «прибором», фиксирующим состояние изучаемого объекта. В связи с этим подробно обсуждаются различные техники анализа научной практики, взятой в ее исторической динамике.

С.Н. Абашин – автор статьи «Всматриваясь в поле после боя», – разворачивая, по его словам, «вслед за Тишковым и Соколовским, свой взгляд с поля на себя в поле», делится опытом полевой работы в таджикском селении в 1995 и 2010 гг. Он размышляет о тех обстоятельствах и ограничениях, которые сопровождали полевое исследование и могли существенно повлиять на представления об изучаемом сообществе. По мнению С.Н. Абашина, «парадокс в том, что в силу своей роли этнограф обречён идти в поле, чтобы искать там материал для своих реконструкций, обречён ссылаться на поле как на точку отсчёта в своей деятельности – именно полем по-прежнему испытываются и утверждаются в этнографическом сообществе его компетенция и авторитет. Точно так же этнограф обречён на то, чтобы его реконструкции были поставлены под сомнение (им же самим или кем-то другим), чтобы поле оказалось в итоге всего лишь недостижимым идеалом, на практике же – мучительной и неблагодарной работой, а нередко – средством вольных или невольных манипуляций и подтасовок. Вырваться из этого замкнутого круга, оставаясь в научном и дисциплинарном пространстве, нельзя – можно лишь осознать задачи и ограничения и попытаться действовать в имеющихся обстоятельствах».

Автор статьи «Особенности полевого исследования в мегаполисе: от этнической общности к стилю жизни» Д.Б. Писаревская считает, что «при проведении полевого исследования в городе проживания важно не только грамотно расставить акценты между перспективой “инсайдера” и “аутсайдера”. Может получиться и так, что теоретические посылки применительно к объекту изучения изменяются, и исследователь начинает смотреть на проблему с иного ракурса». На примере полевого исследования еврейской молодежи в Москве и последующей обработки и анализа его материалов она рассматривает, как в теории, практике и рефлексии исследователя отображаются особенности изучения сообществ в мегаполисе. В данном конкретном случае и теория, и практика исследования заставили ученого сделать поворот от изучения этической общности к изучению конкретного стиля жизни.

Завершает третий раздел яркий насыщенный очерк, повествующий о двух этнографических экспедициях отечественных исследова-

телей на острова Океании. Его автор – известный ученый, крупнейший специалист по этнографии народов Океании, старейшина нашего этнографического цеха Даниил Давыдович Тумаркин. В своем тексте «За морем телушка – полушка, да рубль перевоз» он рассказывает о предыстории этих экспедиций и о своем жизненном пути, приведшем его на борт научно-исследовательского судна *Дмитрий Менделеев*, совершавшего экспедиционные рейсы на острова Южных морей. По мнению автора, «отечественные этнографы обычно собирают научные материалы либо в своем городе (в архивах, библиотеках, проводя опросы, наблюдения и т. д.), либо совершая экспедиции и кратковременные выезды в другие районы России и в зарубежные страны. Но вся эта деятельность происходит на суше, на “твердой земле”. Работа в океанских научных экспедициях имеет свою специфику».

Авторы всех текстов раздела «Современный ученый и этнографическое поле» предпринимают попытку саморефлексии в рамках экспедиционно-полевой практики, уделяя при этом особое внимание этике и прагматике полевой работы, размышляя над тем, как сохранить баланс между этическими принципами и прагматическими целями исследования в ходе преодоления трудностей, с которыми ученый сталкивается в экспедиционном поле. Цель всех исследователей ярко и точно обозначил С.Н. Абашин. Она состоит в том, чтобы «добавить в копилку публичных обсуждений полевых впечатлений собственные наблюдения и оценки, поставить личный эксперимент рассказа о прошедшем поле и анализа тех или иных его особенностей, задуматься и научиться говорить о поле как о проблеме».

Заключительный раздел сборника, по сути своей новаторский в исследовательском поле ААЖ, посвящен проблеме репрезентации науки, в целом, и этнологии, в особенности. В статье «Репрезентация этнологии в отечественной художественной литературе: опыт и проблемы» говорится о том, что «одной из основ стабильного развития зарубежной этнологии по праву можно считать удачную репрезентацию в литературе, которая началась еще с Редьярда Киплинга. Западная литература культурных антропологов ценит и любит за богатство сюжетов и изначально заложенный в этнологии конфликт столкновения двух культур, двух мировоззрений, двух систем ценностей». Наряду с этим, по мнению автора статьи И.А. Гринько, «самые значимые проблемы российской этнологии коренятся в коммуникации между академическим и реальным миром. Как правило, основное внимание научного сообщества уделяется научной литературе, из-

редка – научно-популярной, однако о таком важном инструменте репрезентации науки, как художественная литература и кинематограф, часто забывают, хотя это один из кратчайших путей до общественного сознания». И.А. Гринько делает попытку (на мой взгляд, весьма удачную), проанализировать, опыт подобных репрезентаций отечественной этнологии в художественных произведениях, полагая, что это «необходимо для четкого понимания образа науки в массовом сознании и поиска возможных путей его изменения». Авторы статьи «Некоторые практики репрезентации научного работника» Н.П. Миронова, Т.П. Филиппова, Н.Г. Лисевич на примере комплекса фотодокументов Коми НЦ УрО РАН выделяют и рассматривают с позиций антропологии академической жизни некоторые репрезентативные практики, в которых отражаются особенности профессиональной среды научного сообщества. Они приходят к выводу о том, что «фотодокументы являются самостоятельным источником с широкими информационными возможностями и обладают значительным научным потенциалом, в том числе и для визуально-антропологических исследований в поле антропологии академической жизни».

В статье М.А. Жигуновой «Праздничные будни омской этнографии» рассматриваются не только научные традиции и инновации, но и ключевые моменты академической повседневности Омского этнологического сообщества. На материалах включенного наблюдения, воспоминаний, «корпоративного» фольклора, бесед, интервью, автобиографических заметок автор анализирует универсальные механизмы формирования и поддержания корпоративной идентичности как осознания принадлежности к научному сообществу. Особый интерес для исследовательского поля ААЖ представляет описание М.А. Жигуновой символов и ритуалов, пронизывающих весь процесс внутриорганизационной коммуникации этнологического сообщества.

Рассматриваемые в сборнике проблемы носят междисциплинарный характер и актуальны для всех, кто занимается или просто интересуется различными аспектами современного гуманитарного познания. При этом одни темы стали уже традиционным предметом изучения, а другие обсуждаются в отечественной науке впервые и являются инновацией в исследовательском поле ААЖ. Хотелось бы надеяться, что любая актуальная научная новация и, прежде всего, сама антропология академической жизни как постсоветское новаторское

научное направление в отечественной социогуманитаристике «обречена стать традицией».

Библиография

ААЖ 2008 – Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии. М., ИЭА РАН, 2008.

ААЖ 2010 – Антропология академической жизни: междисциплинарные исследования. М.,ИЭА РАН, 2010.

АФ 15 – IX КЭАР: впечатления участников // Антропологический форум 2012. № 15: 475–597. <(http://anthropologie.kunstkamera.ru/07/15online/>)

Деревянко 2012 – Деревянко А.П. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре». М.: 2012. <http://tradition.iea.ras.ru/>

Комарова 2008 - Комарова Г.А. Антропология академической жизни в постсоветском контексте/ Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии. М., ИЭА РАН, 2008: 5-25.

Комарова 2012 – Комарова Г.А. Академическая жизнь: поле междисциплинарных исследований / Исследования по прикладной и неотложной этнологии. № 229. М., 2012. 40 с.

Кузнецов 2010 – Кузнецов А.А. «Андропарки» как объект антропологического изучения (опыт исследовательской саморефлексии) /ААЖ: междисциплинарные исследования. М., ИЭА РАН, 2010:186-214.

Раздел I

ЭТОС НАУКИ: РИТОРИКА И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

Сергей Соколовский

Культурная медиация, традиции и инновации: о поэтике заимствования в истории советской этнографии*

В истории национальных научных традиций, пишущейся практически всегда из местной перспективы[1], неизбежно возникает тема внешнего влияния и заимствования, и это при том, что историки науки предпочитают занимать позицию универсалистскую, а если смотреть из контекста европейского Просвещения с его верой в универсальные ценности, то определенно - французскую. Убежденность в том, что традиция-донор несет универсальные знания, проясняет ситуацию, при которой местная традиция практически всегда приравнивается, говоря метафорически, к «культуре» (в зависимости от политических пристрастий историка ее нужно было защищать или искоренять), а внешняя традиция-донор – к «цивилизации», несущей благо или зло, тоже в зависимости от позиции автора, обнаружившего «иностранное влияние». Подобные взгляды на распространение идей обычно подчеркивают зависимость традиции-реципиента от традиции-донора и проистекающие из этой зависимости такие характеристики «дисциплины-импортера» как второстепенность, подчиненность, незрелость, неразвитость и отсталость. Здесь словесные искусства (к которым, видимо, следует отнести и все гуманитарные дисциплины, в том числе и российскую этнологию второй половины XX века, развивавшуюся как вспомогательная историческая дисциплина), быть может, наиболее выпукло и очевидно отличаются от музыкального творчества, где развитие заимствованных мелодий, создание их обработок и вариаций зачастую оцениваются выше, чем исходные мотивы, звучащие для уха ценителя не столь изысканно.

**Работа выполнена в рамках проекта «Антропология академической жизни» по программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре».*

История российской этнографии практически на всех ее этапах, и даже тогда, когда заимствования совсем не поощрялись, а, наоборот, преследовались как низкопоклонство перед Западом, состоит из длинной их череды, иногда тщательно маскируемой, а иногда с гордостью демонстрируемой как безусловно прогрессивная и необходимая мера борьбы с местной заскорузлостью. Некоторые эпизоды этой истории и их оценки современниками и станут основным предметом рассмотрения в этой статье. Меня, однако, более чем сами факты заимствований, будет интересовать отношение к ним, а в этом отношении - его аффективная составляющая - тот эмоциональный накал, который нередко сопровождает начальный этап рецепции заимствованного знания или приводит к отторжению нового только потому, что оно опознается как чужое. Я надеюсь, что именно это внимание к аффекту и, стало быть, человеческому измерению в производстве текстов, и может явиться некоторым оправданием для представления статьи в сборник по антропологии академического сообщества, а не в очередной коллективный труд по истории дисциплины.

Чем является заимствование – культурной медиацией и искусным переводом, работой по прививке нового знания и заботой о его правильной рецепции, адаптацией новых понятий и терминов, сопровождающейся тщательной отладкой и настройкой смыслов в терминосистеме и тезаурусе, принимающих эти новые понятия и термины национальной традиции, или же культурное брокерство всегда должно приравниваться к интеллектуальной второсортности, раболепному копированию и следованию за иноземными образцами, тщетной попытке отстающей периферии нагнать ведущие центры производства научного знания? И чем является в этой перспективе традиция, в контексте которой происходит заимствование и которым оно мотивировано? Почему историк, независимо от своих почвеннических или интернационалистских (в российском случае чаще говорят о западнических) симпатий довольно часто рассматривает заимствования, сами по себе, быть может, необходимые и полезные, как признак слабости, знак зависимости и отставания? Почему теории, концепции и схемы, повлиявшие или заимствованные, столь часто воспринимаются как сама рациональность, а сопротивление им, подчеркивающее ценность местного, самобытного, домодельного и квасного – как консерватизм, ограниченность, скудоумие, тупость или отсталость? Почему, даже будучи горячим сторонником национальной культуры и локального своеобразия, историк, сам того не ведая, занимает прогрессистскую и

универсалистскую позицию, расценивая заимствования либо как порчу, либо как благо, но всегда как влияние цивилизаторское, по умолчанию признающее силу и первенство «традиции-донора»? Чем питаются эти пристрастные оценки, откуда берется столь эмоциональный накал? Какую роль вообще играют аффекты в рецепции нового знания? Вопросы эти не праздные, поскольку сильные эмоции, порождаемые отношением к новому, обычно мало способствуют его прививке и нормальному развитию. Стало быть и рассмотрение такой, казалось бы, чисто академической темы, как история заимствований, может иметь неожиданный практический результат, раскрывая причины нашего отношения к изобретениям и инновациям и хотя бы отчасти объясняя превратности их судьбы в российском случае.

Забегая вперед и не предъявляя до поры никаких доказательств, хочу сказать, что я усматриваю в качестве одной из причин такого предвзятого отношения к заимствованиям непонимание сути культурной медиации, или, если угодно, недооценку роли диалога для развития дисциплинарного знания. Другой не менее значимой причиной эмоционального восприятия любой смены вех (к числу которых необходимо отнести и появление новых подходов или парадигм) является низовая политика идентичности, в контексте которой любая перемена воспринимается как угроза перераспределения ресурсов и власти и возможной девальвацией того, что П. Бурдье назвал символическим капиталом [Bourdieu 1984:26]. Третья составляющая предвзятого отношения к заимствованиям коренится в самой сути литературного творчества, рутинно осуществляемого не только поэтами и писателями, но и гуманитариями разных специальностей, к числу которых, вне всякого сомнения, относилась и, по большей части, продолжает относиться (за исключением горстки специализаций, где исследователи предпочитают видеть себя как социальных ученых, а свои субдисциплины в качестве частей социальных наук) российская этнология. В самом деле, в отличие от «наук» наша дисциплина не имеет парадигм в смысле Т. Куна, и даже так называемые фундаментальные программы РАН в области этнологии и антропологии не могут быть представлены как исследовательские программы в смысле И. Лакатоша, поскольку они не представляют собой организованной совокупности теорий и гипотез, которые можно было бы описать как дисциплинарное «ядро» и «защитный пояс». У нас, впрочем, есть узнаваемая совокупность исследовательских практик и особый жаргон – элементы профессии, создающие опору для идентичности ее

членов. Этому жаргону нельзя отказать в аналитичности – он расчленяет социальную реальность и проводит различения там, где взгляд обывателя их не обнаруживает, что и позволяет исследователям претендовать на создание моделей общества и культуры и даже на разработку принципов управления культурным многообразием. С ситуацией заимствования, однако, уже не первый век неизбежно сталкивается всякий теоретик, исследователь или художник, претендующий на создание нового.

Когда-то Шелли в своем эссе «В защиту поэзии» писал о великой поэме, которую «все поэты как сотрудничающие мысли единого великого мозга пишут с сотворения мира»[2]. Американский литературный критик Гарольд Блум использовал это утверждение для развертывания своей концепции влияния в поэтическом творчестве в книге “The Anxiety of Influence” [Bloom 1973, 1997][3]. Он пытается проследить психологию освобождения поэтов от влияния предшественников и достижения собственного поэтического видения. В этой работе Блум противопоставил «сильных поэтов», способных на разрыв с традицией и осуществляющих решительное перетолкование или «ошибку прочтения» (strong misreading) – поэтам слабым, воспроизводящим идеи предшественников и исповедующим чужие доктрины [1997:5, 23]. Он замечает, что желание избежать повтора и влияния присуще не только поэтам, но вообще всем мыслителям, и, похоже, действует как необходимый инструмент рождения всякой новизны.

Поскольку ученые всегда стремятся к открытию нового, постольку открытая и описанная Блумом теория и техника переоценки или ревизии предшествующего оказывается полезной и инструментально пригодной и для анализа истории науки. Особенно важной представляется описанная этим критиком совокупность приемов переоценки, названных им «revisionary ratios» к которой прибегают творцы нового, исходно сталкивающиеся с ситуацией «после Адама», то есть с уже интерпретированной и индоктринированной картиной мира, с общепринятыми или доминирующими теоретическими его объяснениями. В своей следующей книге «Карта перечитывания» [Bloom 1975a] он развивает эту концепцию, определяя заимствование следующим образом:

> *Под «влиянием» я продолжаю подразумевать не заимствование поэтами идей и образов у их предшественников. Влияние, как я его понимаю, означает, что нет текстов, но есть отношения*

между текстами. Эти отношения зависят от критического отбора поэтом (в т. ч. непонимания или недооценки) тех или иных текстовых фрагментов, причем этот отбор по своей сути не отличается от аналогичной редукции, выполняемой любым «сильным» читателем. Отношения влияния управляют чтением так же, как они управляют письмом, и чтение, таким образом, – это переписывание, а письмо – перечитывание. Так как история литературы продолжается, вся поэзия неизбежно становится стихотворной критикой, а все критические статьи о поэзии – стихотворениями, написанными прозой.

«Сильный» читатель, чьё суждение будет иметь значение не только для него самого, но и для окружающих, помещен в позицию ревизиониста, который хочет не только найти собственное, оригинальное отношение к истине – неважно, в тексте или в реальности, которую он, так или иначе всё равно воспринимает как текст, но и приспособить тексты к собственным переживаниям или к тому, чем он их подменяет, наделяя общеисторическим значением. Эта книга как исследование творческого неверного прочтения или задерживающегося чтения является своеобразным пролегоменом в дальнейшее изучение формирования литературного канона с ревизионистских позиций[4].

Наука и научное знание в качестве продолжающегося и пока работающего просвещенческого проекта в отношении к новому мало чем отличаются от поэзии: новое, а еще лучше радикально новое, избавление от влияний предшественников, всегда присутствовало если не как страх повторения, то как озабоченность движением вперед и прогрессом. Не чужды этой озабоченности и российские этнологи[5]. В социальных науках и гуманитарных дисциплинах заимствование если и поощрялось, то, скорее, не у предшествующего поколения коллег по цеху, а у дальних «соседей», предпочтительно из естественных и точных наук. Нобелевский лауреат в области экономической социологии и специалист по искусственному интеллекту Герберт Симон писал: «Социальные науки привыкли заимствовать модели у наиболее очевидных успехов естественных наук; никакого вреда в этом нет, при условии, что такое заимствование не носит характера раболепного подражания» [Simon 1959; цит. по: Prigogine 1993: 4][6].

Таким образом, при всей нашей заботе о традициях, конкретные научные проекты, как и науку в целом, вряд ли можно адекватно понять вне их устремленности к новому. Рассмотрение динамики и ме-

ханизмов заимствования – и в этом ирония всякой деконструкции, по видимости отказывающейся от нового или отказывающей новому в его привилегированном статусе – позволяет сделать небольшой вклад в эту погоню за новизной и осветить саму технологию заимствования как механизм порождения нового. В эту технологию производства новизны и борьбы с влиянием предшественников входит и арсенал средств, описанных Гарольдом Блумом и касающихся, как уже было сказано выше, не столько прямых заимствований, сколько отношений между текстами предшественников и последователей, или, в его терминологии, – интертекстуальных отношений. Чтобы узнать, какие из этих приемов использовались и используются при разработке научных концепций, рассмотрим их подробнее. Но прежде чем я углублюсь в описание этих стилистических тропов, я хотел бы предостеречь читателя-энтузиаста от часто встречающейся у нас ошибки гипостазирования, в данном случае – от излишне расширительного применения метода. Заимствуя этот весьма специфичный метод из области литературной критики и анализа текста, я стремлюсь учесть контекст его создания, и именно этот контекст дает основания для переноса и продуктивного использования этого инструментария применительно к новым объектам. Таким контекстом является аффективное отношение к творчеству и то состояние, которое греки называли αγών – состязания, в данном случае – состязательного отношения между последователями и предшественниками, автором концепции, с одной стороны, и ее критиком, или автором конкурирующей теоретической схемы, с другой. Блумовские приемы и техники ревизии были выделены как раз в контексте такой соревновательности/агонии по поводу озабоченности повтором, или иначе – оригинальностью творения, возможностью создания нового, противопоставляемому эпигонскому повторению пройденного.

В социальных науках, где понятия прогресса и поступательного развития знания ставятся под вопрос или, во всяком случае, понимаются иначе, чем в науках точных и естественных, озабоченность новым (трактуемая Блумом, вопреки мнению некоторых из его критиков, вовсе не как эдипов комплекс[7]) не может не порождать риторических форм защиты, создающих особый дискуссионный жанр, для которого я в качестве рабочего термина предлагаю термин «текст-антитеза». У гуманитариев и представителей социальных наук этот жанр с необходимостью возникает в контексте разработки, обсуждения и критики теоретических построений – соответствующих схем,

утверждений, концепций, при сравнении прежних и новых, или воспринимаемых как новые, концептуализаций, то есть в разговоре о конструкциях скорее объяснительных, нежели описательных, из чего вытекает, что отнюдь не всякую работу этнологов можно анализировать с помощью этого инструментария. Тем не менее, практически все дискуссии, разворачивавшиеся в тот или иной период истории отечественной этнологии, можно отнести к текстам-антитезам, и все они в той или иной степени опираются на риторические приемы, вскрытые и описанные эти критиком.

Из шести приемов пересмотра или ограничительных тропов (revisionary ratios), которые описывает американский критик в своей книге "Карта перечитывания" [Bloom 1975a], я приведу здесь лишь первые три, поскольку именно они, на мой взгляд, наиболее типичны для риторики и поэтики научного противостояния. Первым из них является т.н. **клинамен**[8], толкуемый Блумом как сознательное и корректирующее изначальный образец отклонение. В научных текстах мы сталкиваемся с этой фигурой постоянно: оцениваемая концепция в целом верна, однако в определенный момент ее автор якобы начинает двигаться в неверном направлении – корректирующее замечание заимствующего эту концепцию последователя или критика представляет собой небольшую ревизию, позволяющую ему считать отстаиваемую им самим позицию и порождаемую ею скорректированную концепцию новыми. Этот прием сопровождается иногда ироническим отношением к тексту предшественника, нацеленным на ограничение его влияния и подготавливающим ревизию отстаиваемых в этом тексте концепций и взглядов.

Вторым выделенным Блумом приемом творческого иночтения (misreading) в ревизионистском инструментарии, позволяющим адаптировать заимствование и превратить его в механизм порождения нового, является **тессера**[9] – применительно к научному тексту – особый прием дополнения концепции предшественника, при котором исходные термины и понятия сохраняются, но наделяются противоположными смыслами, становясь антитезой к исходным значениям, создавая впечатление, что предшественник не сумел додумать, достаточно углубиться или пойти так далеко, как это делает заимствующий. Мне кажется, что в известных мне дискуссиях в рамках российской этнологии этот прием встречается не реже чем клинамен, в чем мы еще убедимся. Тессера регулярно использовалась в дискуссиях советских этнологов и археологов с их западными оппонентами. Показательным

случаем являются дискуссии по поводу этногенеза славян и германцев, стимулированные работами немецкого археолога Густафа Коссины, в особенности с переизданной в 1936 г. его работой по происхождению ранней истории германских племен, использовавшейся фашистами в идеологическом обосновании германской экспансии [Kossinna 1936][10]. Советские археологи заимствовали у Коссины этническую трактовку археологических культур, противопоставив, однако, его миграционистским построениям марристскую концепцию автохтонного происхождения народов, тем самым изменив на диаметральный смысл всей его концепции.

Третьим приемом утверждения самостоятельности и оригинальности, обнаруженным и описанным Гарольдом Блумом, является **кеносис** (от *греч.* κένωσης — опустошение), защитная реакция на повторение, при которой последователь утверждает свою самостоятельность ценой опустошения собственного духовного мира, обрывая тем самым наполнявшие этот мир связи со своим предшественником. Этот термин Блум заимствовал у святого Павла, где он использовался для описания состояния Христа, смиренно принявшего переход от божественного к человеческому статусу [Bloom 1997:14-15]. Использование этого приема требует особого контекста, например, размышления о природе творческого вдохновения, ведущего к открытиям, отказ от которого (смирение) как бы умаляет достижения предшественника, который такого смирения либо не сподобился, либо был в нем недостаточно искренен, о чем и свидетельствуют его «достижения», ставящиеся теперь в кавычки, превращающиеся в слишком мирские, мелковатые, ненастоящие. Этот механизм психологической защиты хотя и встречается в научном творчестве, но текстуальные следы его использования обнаружить сложнее, поскольку само его использование приводит к отказу либо от теоретизирования, либо от творчества вообще. Остается, впрочем, вопрос, можно ли трактовать как кеносис ограничение чистой описательностью («скромные заметки на полях дневников…») – позицию, нередко встречаемую у этнографов («в этой статье мы приведем описание…»).

В биографической литературе или размышлениях о профессии не часто встретишь рассуждения о том, почему человек ограничивает себя только сбором материалов и их описанием, определяя свои задачи как ответы на вопросы «что», и иногда – «как», но не отваживаясь на гипотезы, отвечающие на вопрос «почему», что и является попыткой теоретизирования, хотя в истории российской этнологии такого

рода размышления или хотя бы сопоставительные оценки теории и описания несомненно встречаются[11]. В своей известной полемической статье этнограф и религиовед В.Н. Басилов пытается снять противопоставление теории этнографическому «собирательству» и «описательству», утверждая, что «теоретический труд в этнографии – это прежде всего рассмотрение фактического материала» [Басилов 1992:13]. Интересно, что он снимает эту антитезу, используя чисто риторические средства – употребляя вместо термина «анализ» значительно менее обязательное слово «рассмотрение». Чуть выше в этой же статье он утверждает, что «теоретическое богатство этнографии состоит в комментариях к конкретным явлениям, общие же закономерности, вытекающие из всего богатства разнообразных культур народов мира, в большинстве своем укладываются в рамки концепций, которые принадлежат всей исторической науке в целом» [там же]. К такому отношению к теоретическому знанию и его роли в истории российской этнографии близка и позиция Вима ван Мёйрса, сводящего всю палитру исследовательских установок российских этнологов к политическому прагматизму и схоластике, поскольку он полагает, что «историю российской или советской этнографии последних ста – ста пятидесяти лет можно описать метафорой охотников и собирателей»: «охотники», по ван Мёйрсу, – «это те этнографы, которые занимаются политически и идеологически актуальными вопросами современности и понимают в качестве своей первостепенной задачи проникновение в сегодняшнюю общественную реальность с целью ее изменения»; от них отличаются «собиратели», «предпочитающие держаться на расстоянии от объекта своих исследований, который всегда лежит в прошлом, даже если и проводятся сравнения с современностью» [Мёйрс 2001:39].

В перспективе предлагаемого здесь анализа противопоставление теоретического и эмпирического снимается: невозможно всерьез утверждать, что прогресс дисциплины зависит от введения в научный оборот новых описаний, или что такие описания и являются настоящими инновациями, лежащим в основе ее развития. Инновациями здесь как и в других научных дисциплинах обычно признаются новые методы, принципы, методология, концептуализации, объяснения, теории и вновь вводимые теоретические объекты. Можно, разумеется, вслед за Гирцем утверждать, что от предшественников остаются лишь описания, воссоздающие атмосферу мест их полевой работы, но, во-первых, эту точку зрения нельзя считать убедительной, по-

скольку сам Гирц от теоретизирования не отказывался, а во-вторых, последовательное ее проведение заставляет антрополога, который ее разделяет, отказаться от притязаний на статус научности своих описаний, превращая их в род писательства, в особый литературный жанр, или реалистическую манеру письма с присущим ей специфическим набором сюжетов и объектов описания. В российской этнологии такую позицию занимают единицы, в то время как на протяжении едва ли уже не века все ее официальные лидеры придерживаются вполне традиционного взгляда на этнологию/антропологию как на самостоятельную научную дисциплину. В цитированном выше высказывании В.А. Тишкова о «теоретических заметках» отстаивается позитивистский идеал индуктивного построения теоретических обобщений, не выходящий за рамки идей логического позитивизма периода Венского кружка 1930-х гг., включая резкое противопоставление эмпирического и теоретического за счет выделения «эмпирической основы» в виде наблюдений и фактов и отрицательное отношение к «метафизике» или «философии», к которым здесь относятся любые высказывания помимо эмпирических обобщений[12]. Здесь не отрицается роль теории в развитии дисциплины, хотя теоретическое знание и ограничено в таком подходе т.н. теориями среднего уровня.

Мало кто станет оспаривать суждение, что центральное значение в случае российской этнологии получила серия концептуализаций или теорий этнического, а само развитие дисциплины за последний век может быть описано и как смена представлений о сущности таких понятий как народность, народ, этнос, этничность, этническая идентичность и т.п. Ограничения объема статьи не позволяют рассматривать начальные этапы дискуссий о народности, народе и этносе, предполагающей рассмотрение взглядов сторонников и противников теории официальной народности, споров между западниками и славянофилами, позиций либералов и демократов, евразийцев и западников. Более близкие нам по времени концепции этноса у В.И. Ламанского, Н.М. Могилянского и С.М. Широкогорова также не будут здесь рассматриваться, поскольку они имеют лишь косвенное отношение к той линии преемственности, которая прослеживается в построениях австро-марксистов и их критиков (прежде всего – Отто Бауэра и Карла Каутского), а затем И.В. Сталина, С.П. Толстова и, с определенными оговорками, Ю.В. Бромлея, каждый из которых, споря с предшественниками, предлагал свою концепцию этнического (или модификацию взглядов предшественников), иногда риторически

оформляемую как радикальный разрыв с прежней. Здесь уместно отметить, что вопреки позитивистским установкам авторов этих концепций, «введение в научный оборот» описания еще одного народа или еще одной стороны его культуры (как и еще одного нового факта, характеризующего народ или культуру) никем из них не рассматривались как повод для пересмотра доминирующих подходов, и уж тем более – как революционный прорыв или особый прогресс, как и не использовались инструментально для оформления такого разрыва. Иными словами, новые концепции не строились как обобщения новых фактов, а выдвигаемые положения не носили пресловутого протокольного или эмпирического характера, казалось бы предполагаемого в индуктивно развиваемых теориях, «опирающихся на факты» или на «скромные обобщения на полях дневников». Все эти изменения, представляющие аналоги парадигм в естественных науках, происходили на иных основаниях, а эмоциональный накал разворачивавшихся вокруг них дискуссий свидетельствует скорее об идеологической, нежели логической или сугубо дисциплинарной мотивации этих концептуальных перестроек.

Работа О. Бауэра «Национальный вопрос и социал-демократия», лежащая в основании интересующей нас серии реконцептуализаций, представляла собой по признанию не только современников, но и ее позднейших комментаторов – «богатый, сложный и полный идей теоретический анализ» [Nimni 2000:xxxiii]. Шестисотстраничный труд молодого доктора права, написанный им вскоре после первой русской революции в течение 1906 г., стал объектом пристрастного рассмотрения в марксистских кругах Австро-Венгрии, Германии и России. Его комментировали такие видные лидеры социал-демократического движения как К. Реннер, К. Каутский, Р. Люксембург, В.И. Ленин, Н.И. Бухарин и И.В. Сталин. Основным вопросом в этих дискуссиях был вопрос о национально-культурной автономии и учёте национального фактора в партийном и государственном строительстве. Однако для рассматриваемой здесь темы важнее то обстоятельство, что работа Бауэра содержала обширную главу о нации, использованную Сталиным при написании его известной статьи «Марксизм и национальный вопрос»[13].

Бауэр обобщает в своей монографии все достижения естественных и общественных наук того времени, включая концепции биологического наследования, роль брачных обменов (Wechselheiraten) и двойной идентичности у детей от смешанных браков. Он также ис-

пользует работы предшественников по теории нации, например, обзор Фридриха Юлиуса Нойманна [Neumann 1888], в котором последний, полемизируя с определениями нации, сформулированными в работах политиков периода рисорджименто Паскуале Манчини (1817-1888) и Теренцио Мамиани делла Ровере (1799-1885)[14], суммировал имевшие хождение во второй половине XIX в. взгляды на народ и нацию. Эти теоретики объединения итальянской нации перечисляли следующие конституирующие ее признаки, которые цитируются Нойманном [Neumann 1888:54], а затем воспроизводятся Бауэром [Bauer 1907:130]: 1) общая территория обитания (elemento geografico), 2) общее происхождение (razza), 3) общий язык, 4) общие привычки и обычаи, 5) общий опыт, общее историческое прошлое, 6) общие законы и общая религия[15]. Бауэр анализирует значение этих признаков в процессах нациогенеза, а также возможности их использования для определения сущности нации, и приходит к выводу что «нация – это вся совокупность людей, связанных в общность характера на почве общности судьбы» [Бауэр 1909:139], определяя общность характера (Charaktergemeinschaft) как относительную и вырастающая на основе общности исторических судеб (Schicksalsgemeinschaft) и общности культуры и подчеркивая также значение общности территории как необходимого для существования нации признака [Там же:136-137]. В своем рассмотрении он анализирует и отвергает метафизические теории нации (национального спиритуализма и национального материализма), затем переходит к признаковым концепциям, в которых нация выступает как совокупность необходимых и достаточных характеристик (к этому типу как раз и принадлежат концепции Мамиани и Манчини), а затем рассматривает психологические теории нации, к которым он относит сознание принадлежности к общности и желание или волю к ней принадлежать (Willen zur Zusammengehörigkeit). Он анализирует всю совокупность характеристик национальных сообществ, которые использовались впоследствии в разных комбинациях марксистскими политиками и обществоведами в их определениях наций, народов и этносов. Поскольку Бауэр претендовал на роль теоретика, ему важно было, помимо прикладных аспектов теории нации, предложить что-то новое, и в своем синтезе характеристик нации он критикует и поправляет предшественников, одновременно используя предложенные ими концептуализации, что дает основания рассматривать его тактику как построенную на клинамене.

Большевиков не устраивала не столько теоретическая сторона концепции Бауэра, сколько подразумеваемая ею программа действий. Однако иная программа требовала теоретического обоснования: необходимо было увязать марксистский экономический анализ развития общества, подчеркивающий ведущую роль экономических факторов в нациогенезе, с историческим (иными словами, преходящим) характером национальных перегородок, что позволило бы бороться с попытками организации фракций и партий на этнической основе. Экономическая концепция в общих чертах была разработана Карлом Каутским. Каутский был первым из марксистов, попытавшимся дополнить теоретические построения Маркса и Энгельса соответствующей реалиям времени концепцией нации, которая, по его мнению, была продуктом развития капитализма, поскольку именно эта экономическая система требовала устранения феодальных перегородок и создания централизованных экономик в рамках тех территорий, который поддавались языковой унификации за счет слияния местных диалектов под влиянием устанавливаемой рынком и центральной властью единой языковой нормы. Таким образом, уже у Каутского нация рассматривалась как единство общности языка, территории и экономической жизни. Однако к тому времени, когда дискуссия о нации в российском социал-демократическом движении обрела особую остроту, сменилось целое поколение, и работы Каутского по национальному вопросу забылись[16], в то время как новые труды Бауэра и Реннера, предложивших не только критику прежних воззрений, но и синтез теоретических взглядов предшественников, набирали популярность.

Американский историк и политолог Роберт Такер, работавший в Москве в качестве атташе с 1944 по 1953 гг., в своей книге «Сталин: путь к власти» писал, что Сталин критиковал бауэровский подход с каутскианских позиций и в своем определении нации воспроизвел не только содержание, но и форму определения Каутского, впрочем, без ссылки на источник, хотя к тому времени большая часть сочинений Каутского была переведена на русский [Такер 1991:146-147][17], в том числе и вышедшая в 1905 г. статья по национальному вопросу [Каутский 1905]. Напомню, что Сталин определял нацию как «исторически сложившуюся устойчивую общность людей, возникшую на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры» [Сталин 1946:296], добавив, таким образом, к определению Каутского четвертый при-

знак, заимствованный им из труда Бауэра[18]. Таким образом, Сталин опирается на атрибутивный или признаковый подход к определению нации, не без оснований подвергнутый критике и отвергнутый Бауэром.

Читатель без труда заметит, что использованный Сталиным прием по отношению к работам предшественников, не соответствует ни одному из представленных выше и распространенных в научной полемике ограничительных тропов (включая и те три, описания которых здесь не приводятся, как редко встречаемые в научных текстах). Несмотря на то, что сталинская статья была формально выстроена как «текст-антитеза», что предполагает поэтику отрицания, отсутствие в ней следов «сильного прочтения» текстов предшественников делает очевидным тот факт, что в 1913 г. Сталин не претендовал на статус «великого теоретика», или не был, по выражению Блума – «сильным поэтом», способным порвать с традицией и предложить радикально новое решение проблемы. Троцкий в своей работе[19] приводит весьма выразительные свидетельства того, что будущий вождь был, – если еще раз воспользоваться классификацией Блума, – «поэтом слабым», обреченным на воспроизводство идей предшественников и чужих взглядов. Троцкий в 1939-1940 г. пишет:

> *«Марксизм и национальный вопрос» представляет, несомненно, самую значительную, вернее, единственную теоретическую работу Сталина. На основании этой единственной 40-страничной статьи ее автор был признан выдающимся теоретиком. Остается загадкой, почему ни до того, ни после он не написал ничего, сколько-нибудь даже отдаленно сравнимого по качеству. Ключ к разгадке таится в том, что работа была целиком вдохновлена Лениным, написана под его неусыпным руководством и отредактирована им строка за строкой.*
>
> *Ленин дважды в своей жизни рвал с близкими сотрудниками, стоявшими на большой теоретической высоте. Сначала, в 1903–1904 гг. он разошелся со всеми прежними авторитетами российской социал-демократии – Плехановым, Аксельродом, Засулич и с выдающимися молодыми марксистами – Мартовым и Потресовым; второй раз, в годы реакции от него отошли Богданов, Луначарский, Покровский, Рожков, все – из авторов высокой квалификации. Зиновьев и Каменев, его ближайшие сотрудники, не были теоретиками. В этом смысле новый революционный подъем застиг Ленина в одиночестве. Естественно,*

что он с жадностью набрасывался на всякого молодого товарища, который мог в той или другой области принять участие в разработке вопросов партийной программы.
«На этот раз, – вспоминала Крупская, – Ильич много беседовал со Сталиным о национальном вопросе и был рад, что встретил человека, интересующегося этим вопросом всерьез, разбирающегося в нем. Перед этим Сталин месяца два прожил в Вене, занимаясь там национальным вопросом, близко познакомился там с нашей венской публикой, с Бухариным, с Трояновским». Здесь умалчивается о некоторых вещах. «Ильич много разговаривал со Сталиным» – это значит – давал руководящие идеи, освещал их с разных сторон, разъяснял недоразумения, указывал литературу, просматривал первые опыты и вносил поправки. «Я вспоминаю, – рассказывает та же Крупская, – отношение Ильича к малоопытным авторам. Смотрел на суть, на основное, обдумывал, как помочь, исправить. Но делал он это как-то очень бережно, так что иной автор и не заметит, что его поправляют. А помогать в работе Ильич здорово умел. Хочет, например, поручить кому-нибудь написать статью, но не уверен, так ли тот напишет, так сначала заведет с ним подробный разговор на эту тему, разовьет свои мысли, заинтересует человека, прозондирует его как следует, а потом предложит: "Не напишете ли на эту тему статью?" И автор и не заметит даже, как помогла ему предварительная беседа с Ильичем, не заметит, что вставляет в статью Ильичевы словечки и обороты даже». Крупская не называет, конечно, Сталина. Но характеристика Ленина как наставника молодых авторов включена ею в ту главу «Воспоминаний», где рассказывается о работе Сталина над национальным вопросом: Крупская вынуждена была прибегать к окольным путям, чтобы хоть отчасти отстоять интеллектуальные права Ленина.
Далее Троцкий продолжает:
Бухарин, как и Трояновский, имели от Ленина поручение помочь «чудесному», но малообразованному грузину. Им, очевидно, и принадлежит подбор важнейших цитат. На логическом построении статьи, не лишенном педантизма, сказалось, по всей вероятности, влияние Бухарина, который тяготел к профессорским приемам, в отличие от Ленина, для которого политический или полемический интерес определял структуру произве-

дения. Дальше этого влияние Бухарина не шло, так как именно в национальном вопросе он стоял ближе к Розе Люксембург, чем к Ленину. Какова была доля участия Трояновского, мы не знаем. Но именно с этого времени ведет начало его связь со Сталиным, которая через ряд лет и переменчивых обстоятельств обеспечила незначительному и неустойчивому Трояновскому один из ответственных дипломатических постов.

Из Вены Сталин вернулся со своими материалами в Краков. Здесь опять наступила очередь Ленина, внимательного и неутомимого редактора. Печать его мысли и следы его пера можно без труда открыть на каждой странице. Некоторые фразы, механически включенные автором, или отдельные строки, явно вписанные редактором, кажутся неожиданными или непонятными вне соотнесения с соответствующими работами Ленина. «Не национальный, а аграрный вопрос решает судьбы прогресса в России, – пишет Сталин без объяснений, – национальный вопрос ему подчинен». Правильная и глубокая мысль об относительном удельном весе аграрного и национального вопросов в ходе русской революции полностью принадлежала Ленину и развивалась им неоднократно в течение годов реакции. ...Такого рода сложные и серьезно взвешенные мысли действительный автор их никогда не высказал бы мимоходом, как общее место, без доказательств и комментариев.

Зиновьев и Каменев, долго жившие бок о бок с Лениным, усваивали не только его идеи, но и его обороты, даже почерк. Относительно Сталина этого сказать нельзя. ...Он был слишком крепок, упрям, ограничен и органичен, чтоб усваивать литературные приемы учителя. Оттого ленинские поправки к его тексту выглядят, по слову поэта, «как яркие заплаты на ветхом рубище». Разоблачение австрийской школы как «утонченного вида национализма» принадлежит, несомненно, Ленину, как и ряд других простых, но метких формул. Сталин так не писал. По поводу данного Бауэром определения нации как «относительной общности характера» читаем в статье: «...чем же отличается тогда нация Бауэра от мистического и самодовлеющего "национального духа" спиритуалистов?» Эта фраза написана Лениным. Ни раньше, ни позже Сталин так не выражался. И дальше, когда статья по поводу эклектических поправок Бауэра к его собственному определению нации отмечает:

«…так сама себя опровергает сшитая идеалистическими нитками теория», то нельзя не распознать сразу перо Ленина. …С другой стороны, во всей работе, несмотря на ее многочисленные угловатости, мы не встречаем ни «хамелеонов, принимающих окраску зайцев», ни «подземных ласточек», ни «ширм, состоящих из слез»: Ленин вытравил все эти семинарские красоты. Рукопись с поправками можно, конечно, скрыть. Но никак нельзя скрыть и то обстоятельство, что за годы тюремных заключений и ссылок Сталин не создал ничего, хотя бы отдаленно похожего на ту работу, которая была написана в течение нескольких недель в Вене и Кракове [Trotsky 1941:156-158][20].

Роль сталинского определения нации, однако, вовсе не в том, что он «обогатил» поэтику заимствований новым приемом – в отличие от поэтов-эпигонов, Сталин, оказавшись у власти, попытался устранить всех свидетелей плагиата. Эта ранняя сталинская работа однако сыграла свою роль в прививке эклектичной традиции размышлений о народе и нации, свойственной европейским мыслителям того времени, к уже существовавшей российской традиции размышлений о нации в ее марксистском варианте. Нидерландский историк и социолог Эрик Ван Рее полагает, что собственный вклад Сталина в эту традицию все же был существенным [Van Ree 1994:214]. Ленин, в отличие от Сталина, резче противопоставлял каутскианскую материалистическую Sprachgemeinschaft – идеалистической Kulturgemeinschaft Бауэра. Отмечая, что Сталин и впоследствии, вплоть до 1950 г., неоднократно обращался к рассмотрению национального вопроса, Ван Рее рассматривает сталинскую концепцию как вариацию русского органицизма. Справедливо отмечая строки, в которых нация у Сталина изображается как субъект истории – «живая и действующая, а не нечто мистическое, неуловимое и загробное», «действующая и двигающаяся, и потому заставляющая считаться с собой» [Сталин 1946:301], он подчеркивает, что для Сталина нация выступала в качестве «масштабного индивида, для которого экономическое, территориальное и языковое единство образовывали "условия жизни", а психосоциальные характеристики выступали как "духовный облик"» [Van Ree 1994:221], что сближает взгляд Сталина не столько с австромарксизмом (хотя Реннер писал об органическом единстве нации), сколько с работами русских философов – А.С. Хомякова, К.Н. Леонтьева и Н.Я. Данилевского[21]. Ван Рее отмечает также сход-

ство сталинских наций с культурно-историческими типами, как они представлены в книге Данилевского «Россия и Европа» (1871). Этот органицизм обнаруживается и в поздних работах Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и «Относительно марксизма в языкознании»[22], где в трактовке соотношения языка, базиса и надстройки просматривается влияние другого русского философа – А.А. Богданова, – также обосновывавшего в своем труде «Эмпириомонизм» (1906) взгляд на общество как на живую систему.

У «последователей» Сталина идеи превзойти «теоретический гений» вождя вплоть до его кончины по понятным причинам возникнуть не могло: место «сильного поэта» было занято, и как оказалось, надолго – в отечественных исследованиях нации и национализма наследие Сталина не было преодолено вплоть до распада СССР. Это вполне объясняет то обстоятельство, что для тогдашнего лидера советской этнографии С.П. Толстова концептуализация «народа» как основного объекта этнографического изучения никогда не выходила на первый план. Главными для него были проблемы антропогенеза, происхождения экзогамии и рода и генезиса классового общества. Тем не менее, в своем определении этнографии он подчеркивал, что она является «исторической наукой, изучающей путем непосредственного наблюдения культурные и бытовые особенности различных *народов* мира, исследующей исторические изменения и развитие этих особенностей, проблемы происхождения *(этногенез*), расселения (*этническая* география) и культурно-исторических взаимоотношений *народов»* (курсив добавлен) [Толстов 1939:205]. В этнографическом отношении народ для него выступал, скорее, как носитель определенного комплекса элементов культуры, и он неоднократно критиковал различные «буржуазные» объяснительные схемы географического распространения культурных элементов. Известно также, что, опасаясь репрессий, он с 1938 г. практически прекратил выступать с теоретическими работами и сосредоточился на раскопках Древнего Хорезма [Рапопорт, Семёнов 2004:211-213].

Возможность занять сильную позицию в теоретическом осмыслении культурных, языковых и политических сообществ появилась лишь в начале 1960-х гг.; этнографы ею воспользовались с приходом на пост директора головного этнографического учреждения более либерального, нежели Толстов, и, в силу отсутствия собственного полевого опыта, более склонного к теоретизированию Ю.В. Бромлея. Концептуализация этнических феноменов Бромлеем и его коллегами,

вопреки тому, что она оставалась атрибутивной, а определение центрального для нее понятия почти буквально воспроизводило сталинское определение нации, дополненное лишь весьма очевидными признаками самосознания и наличия самоназвания, стало по своей роли и сути революционным. В этой концепции нашли свой отклик результаты различных направлений историко-эволюционистской мысли советских обществоведов – представления о нацио- и этногенезе, эволюции языка (в данном случае повторяющее «учение» Сталина об историческом развитии языка, сопряженном с историей экономических формаций, как оно было представлено в его работе 1950 г. «Марксизм и вопросы языкознания»), дискуссии о формационно-стадиальной схеме и азиатском способе производства в их связи с этнической типологией, типологии этнических процессов и т. д.

Степень преемственности новой концептуализации с прежними, включая австромарксистские, оставалась высокой: «исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности …территории» (Сталин) превратилась в «…исторически сложившуюся на определенной территории совокупность людей» (Бромлей); в обоих определениях почетное место занимают общность культуры, языка и психического склада (у Бромлея – «особенностей психики» [1981:27]). Сталин подчеркивал материалистическую основу возникновения этого комплекса сходств – общность людей у него возникает на основе общности экономической жизни; Бромлей дает в целом синхронную характеристику своей «совокупности людей», практически беря как данность то обстоятельство, что она «исторически сложилась» и не называя в определении причин и оснований этого складывания. Как это ни парадоксально – его определение выглядит менее научным, чем сталинское, поскольку не отвечает на вопросы «как» или «почему», то есть не предлагает каузального объяснения возникновения определяемого феномена; вместо него дана лишь ссылка на историю. Воспроизводя по форме сталинское определение, Бромлей опирается на иные источники – Могилянского, Широкогорова, Кушнера, в работах которых использовался термин «этнос», а также на советские исследования по этногенезу, этнической истории и современным этническим процессам [Бромлей 1973:22-23]. Термин «этнос» кладется им в основу новой обширной терминологической системы, в которой нация занимает довольно скромное место в качестве исторически конкретного типа реализации т. н. этносоциальных организмов [Бромлей 1983:67, 76 и др.][23].

В риторическом отношении работы Бромлея ближе из всех рассмотренных прежде к идеалу сильного прочтения предшествующей традиции, с использованием приемов клинамена и тессеры по отношению к разным предшественникам. Новые терминологические одежды позволили перевести прежнюю нагруженную острым политическим содержанием полемику в чисто академический контекст, исподволь наполняя прежние понятия новым, «очищенным от политики» содержанием. Этот маневр позволял участвовать в остававшихся идеологически опасными дискуссиях о нации, в которые были вовлечены марксистские историки и «научные коммунисты», с позиций не столько идеологического, сколько академического дискурса, к тому же облеченного в новую греко-латинскую терминологию, освоить которую партийные бонзы не успели[24]. Новое прочтение этнической реальности имело все шансы на успех, если бы не слабость положенной в его основу и некритически заимствованной позитивистской социологической теории в ее марксистском варианте. Ее наиболее слабым местом оказался тот самый органицизм, на который так уповал Бромлей, поддерживая якобы новую идею Семёнова о «самостоятельных единицах социального развития» [Бромлей 1973:13]. Однако это сюжет представляет собой вполне самостоятельный случай интеллектуального трансфера или импорта социальных представлений, который заслуживает отдельного рассмотрения.

Читатель может остаться в недоумении – какой же вывод следует из изложенного? Поскольку риторика и поэтика в истории социальных наук остаются пока не слишком исследованными областями, выводы делать, пожалуй, рано. Можно лишь отметить, что в тех дисциплинах, где новое создается дискурсивно, где его трудно «натурализовать» и «обналичить», озабоченность новизной рождает аффективное к ней отношение – страх повторения, отражающийся в риторике и поэтике текста, по сути, трансформирует текст-антитезу в текст-аффект. Это, как мне представляется, и лежит в основе той горячности и пристрастности критики, которая столь характерна для теоретизирующих гуманитариев в их спорах с конкурентами и предшественниками.

Примечания

[1] При условии, что мы пока не будем вспоминать о французских энциклопедистах, считавших свои взгляды универсальными и, стало быть, справедливыми для мира в целом.

[2] “ … that great poem, which all poets, like the co-operating thoughts of one great mind, have built up since the beginning of the world” [Shelley 1910:343].

[3] Первый набросок этой концепции он сделал несколькими годами ранее в своей книге о Йейтсе [Bloom 1970], в которой был брошен вызов сложившимся взглядам на поэтическую карьеру. Во введении к этой книге Блум впервые сформулировал основные принципы нового подхода к литературной критике, предложив рассматривать поэтическое влияние как разновидность меланхолии или фрейдистской встревоженности, беспокойства и страха (*anxiety*). Согласно этому подходу, всякий начинающий поэт вдохновляется высокими образцами поэзии предшественников, но это восхищение, когда он обнаруживает, что они уже успели сказать все, что он еще только намеревается рассказать, сменяется раздражением и обидой. Поэт разочарован, поскольку не может чувствовать себя «как Адам ранним утром» (здесь Блум цитирует известное стихотворения Уолта Уитмена: As Adam, early in the morning, Walking forth from the bower, refresh’d with sleep …), обнаружив, что до него уже было слишком много Адамов, успевших дать имена всему на свете. Блум доказательно развивает эту концепцию на материалах творчества поэтов и писателей и других мыслителей [ср.: Bloom 1975*a*, *b*; 1976, 1982, 1994, 2011].

[4] Цит. по: *Гарольд Блум*. Фрагмент из книги «Карта перечитывания» (http://www.hqlib.ru/st.php?n=111).

[5] В полемике по поводу переименования дисциплины В.Н. Басилов писал: «И вновь за новым словом будет стоять не *действительное новшество*, заявившее о себе благодаря развитию науки, а *перелицовка старого* в угоду моде» [Басилов 1992:16; *курсив добавлен*].

[6] “The social sciences have been accustomed to look for models in the most spectacular successes of the natural sciences. There is no harm in that, provided that it is not done in a spirit of slavish imitation.” *Очевидно, что эта мысль была ему дорога, поскольку он повторил ее много лет спустя в своей речи в университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге (Пенсильвания) [Simon 1978:367].*

[7] *В предисловии ко второму изданию книги критик специально комментирует это момент расхождения с Фрейдом:* “The anxiety may or may not be internalized by the later writer, depending upon temperament and circumstances, yet that hardly matters: the strong poem is the *achieved anxiety*. "Influence" is a metaphor, one that implicates a matrix of relationships – imagistic, temporal, spiritual, psychological – all of them ultimately defensive in their nature. What matters most (and it is the central point of this book) is that the anxiety of influence *comes out of* a complex act of strong misreading, a creative interpretation that I call "poetic misprision."” *[Bloom 1997:xxiii]*

[8] Учение о клинамене дошло до нас благодаря Лукрецию, который, вслед за Эпикуром, называл так незначительное отклонение атома, падающего под действием тяжести: «…уносясь в пустоте, в направлении книзу отвесном, Собственным весом телá изначальные в некое время В месте неведомом нам начинают слегка отклоняться, Так что едва и назвать отклонением это возможно. Если ж, как капли дождя, они вниз продолжали бы падать, Не отклоняясь ничуть на пути в пустоте необъятной, То никаких бы ни встреч, ни толчков у начал не рождалось, И ничего никогда породить не могла бы природа» [Лукреций 1983:65]. В соответствие с этим учением клинамен не детерминирован никакой внешней причиной, он возникает просто в силу присущих атому свойств и является нарушением предустановленности закона вертикального падения. Эта теория является по своей сути космогонической, иначе говоря – теорией создания мира. Критик, искусствовед и философ Михаил Ямпольский, исследовавший проблемы интертекстуальности и посвятивший рассмотрению клинамена часть своей книги «Наблюдатель», также обращался к творчеству Лукреция и работам его последователей и критиков, среди которых был и Маркс, трактовавший клинамен как свободу [Ямпольский 2000:207–267]. Маркс, изучавший в студенчестве эпикурейскую философию и написавший, как мы помним, докторскую диссертацию «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура», писал в своих комментариях к эпикурейскому клинамену: «'Отклонение от прямого направления' есть 'свободная воля'» (Маркс 1975, 40: 99) Критике понятия клинамена как свободы посвящено значительное число литературных и научных работ, начиная от Цицерона и заканчивая «неонаучным» романом Альфреда Жарри «Деяния и суждения доктора Фаустролля, патафизика» (*Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien*), законченного писателем еще в 1898 г., но опубликованного только после его смерти в 1911 г. и содержащего главу «Клинамен». В контексте научного знания это понятие рассматривал Б.Г. Кузнецов [Кузнецов 1972:49-61].

[9] Термин заимствован из техники создания мозаики, где он обозначает цветную гальку или рубленые кусочки камня, из которых составлялись древние мозаики. У римлян термин обозначал также игральную кость, марку или жетон для голосования, гостевую табличку, половину разломанной пластинки, служащей паролем (*греч.* – σύμβολον). Для Блума организующей метафорой была тессера-σύμβολον, означающая одновременно признание (обладателя пароля) и восполнение до целого (предмета-пароля) [Bloom 1997:14].

[10] Эта дискуссия подробно освещена в работах В.А. Шнирельмана, где приводится и обстоятельная библиография (см., например: Шнирельман 1993).

[11] «…никакие метатеоретические или критико-историографические рассуждения не заменят мягко и скромно сформулированных теоретических заметок на полях собственных полевых дневников», – пишет, например, В.А. Тишков в своей известной статье, противопоставляя культурной медиации и заимствованию, которые он называет *компиляцией* – «добытое с помощью этнографии первичное знание» [Тишков 1992:11]. Немного ранее в этой же статье он приводит пространную цитату из книги Клиффорда Гирца “Works and Lives”, противопоставляющего быстро устаревающие теоретические построения предшественников их же полевому опыту и умению передать атмосферу места [Geertz 1988:3–17].

[12] Подробнее о чертах логического позитивизма этого периода и их критике см.: [Никифоров 1998:14–45].

[13] Большую часть статьи Сталин написал, находясь в Вене в январе 1913 г. Первоначально она была напечатана в 1913 г. в журнале "Просвещение" (№№ 3–5) под тем же названием, что и книга Бауэра "Национальный вопрос и социал-демократия" (лишь в слове «социал-демократия» появился дефис, которого не было в русской публикации книги Бауэра). Сталин пользовался русским переводом книги 1909 г., выполненным М. Паниным, о чем он упоминает, указывая на допущенную неточность при переводе фразы "nationalen Eigenart", намекая на хорошее владение немецким, которого в действительности он почти не знал.

[14] Мамиани – либеральный философ и политик, был министром внутренних, а затем - иностранных дел в Папской области, членом парламента и министром образования в Пьемонте-Сардинии, послом в Греции и Швейцарии, а затем сенатором, сторонником умеренных реформ, хотя в начале своей политической карьеры за поддержку революции 1831 г. был осужден на тюремный срок, а затем выслан; Манчини – юрист, журналист и политик, член неаполитанского и туринского, а затем национального парламентов, министр юстиции, а затем министр иностранных дел (1881-85). Бауэр, цитируя сделанное Нойманном на основе их трудов (*Mancini P.* Delle Nazionalità come fondamento del diritto delle genti. Torino, 1851; *Mamiani T.* Dell' ottima congregazione umana e del principio di Nazionalità. В: *Mamiani T.* D'un nuovo diritto Europeo libro. Torino, 1859) сводное определение нации, не называет в данном случае их имен, упоминая о них как об «итальянских социологах» (Bauer 1907:130).

[15] Бауэр не приводит в этом перечне исходных итальянских терминов (их приводит в скобках Нойманн, ссылаясь на труды по международному праву упомянутых выше теоретиков рисорджименто). Национальная идея у теоретиков рисорджименто была весьма своеобразной: Франко Вальсекки в своей работе о рисорджименто в контексте европейского национализма усматривает в основе итальянского национализма набор различных исходных концепций: идеалистическую Мадзини, религиозную Джоберти, рационалистическую Каттанео, реалистическую Дурандо, использованные затем Романьози, предложившим свою концепцию этникархии, в которой национальная идея объединялась с принципом легитимности (нация для последнего – это население, которому самой природой задано географическое и духовное единство). Таким образом, вместе с Манчини, который в своих лекциях подчеркивал бессмертие национального государства, основывающегося на бессмертной идее нации, они сформировали представление о юридической раздробленности Италии как о явлении сугубо временном, в то время как в реальности настоящее государство должно быть национальным (см. подробнее в: «Национальное движение в Италии: объединение Италии – http://istorik.org/?p=753).

[16] Экономическая концепция нациогенеза была предложена Каутским еще в работе 1887 г. [Kautsky 1887], то есть за 20 лет до книги Бауэра (ее русский перевод появился в 1903 г., за десять лет до статьи Сталина).

[17] Об этом пишут также Рой Медведев [Medvedev 1971:509] и Ю.И. Семенов [Семенов 1966:119-121]. Семенов замечает, что в первых двух разделах работы Сталин "даже стилистически "использовал" работы К. Каутского…" Некоторые современники вообще сомневались в авторстве Сталина: например, Л. Троцкий писал, что статья была написана Сталиным по подсказке Ленина при содействии Бухарина и Трояновского [Trotsky 1941:156-158].

[18] Троцкий, комментируя прагматическую сторону сталинского определения, писал: This combined definition, compounding the psychological attributes of a nation with the geographic and economic conditions of its development, is not only correct theoretically but also practically fruitful, for then the solution to the problem of each nation's fate must perforce be sought along the lines of changing the material conditions of its existence, beginning with territory. *Bolshevism was never addicted to the fetishistic worship of a state's borders. Politically the point was to reconstruct the Tsarist empire, that prison of nations, territorially, politically, and administratively, in line with the needs and wishes of the nations themselves* [Trotsky 1941: 152 – курсив добавлен].

[19] Троцкий не успел завершить свою книгу, которую намеревался закончить в августе 1940 г. Этому помешала серия покушений на его жизнь, организованных по распоряжению Сталина советским агентом Юзеком (он же Макс и Филипе – имена, которые использовал во время своего пребывания в Испании и Мексике И.Р. Григулевич – см. подробнее в : [Andrew 1999:86-87]). К 20 августа 1940 года, когда Троцкий был убит ножом для колки льда, (а не ледорубом, как часто пишут наши историки) на своей вилле в предместье Мехико Койоакане, он успел написать и выправить лишь семь глав рукописи и вычитать шесть глав английского перевода, опубликованного уже после его смерти в 1941 г. Введение, главы 8-12 и два приложения были собраны издателем из подготовительных материалов и черновых набросков. Цитируемые выше выдержки взяты из пятой главы, англ. перевод которой был вычитан и одобрен Троцким.

[20] Русская версия работы Троцкого о Сталине (под ред. Ю.Г. Фельштинского) увидела свет только в 1996 г. [Троцкий 1996]. Поскольку мне удалось познакомиться с ней только в Интернет-версии, цитаты приводятся по англоязычному изданию.

[21] Леонтьев, например, уподоблял культуры живым организмам, развитие которых изображалось как серия стадий-переходов от младенчества к зрелости и старости – картина, слишком напоминающая значительно более поздние построения Л.Н. Гумилева.

[22] Обе эти работы были опубликованы в журнале «Советская этнография» в 1950 г. и оказали самое непосредственное влияние на концептуализацию языка, культуры и нации в советской этнографии того периода, покончив с засильем марризма не только в языкознании, но и среди историков и археологов. Этот этап в развитии советского обществоведения и лингвистики отражен в большом числе публикаций и потому здесь рассматриваться не будет. Соответствующая библиография представлена в работах Алпатова [1991, 1994, 1998] и в антологии «Сумерки лингвистики» [2001]. Атмосферу, в которой проходило обсуждение этих статей Сталина, хорошо передают работы С.П. Толстого [1950, 1951].

[23] При обсуждении «психического склада» как отдельной характеристики этноса, Бромлей критикует Бауэра, опираясь, впрочем, на монографию Калтахчяна, в которой эта критика в ряде существенных моментов воспроизводит критику Сталина [Бромлей 1973:93-94].

[24] Если *нация* прежде ассоциировалась почти исключительно с борьбой за национальное освобождение, деколонизацией, политической мобилизацией и нациестроительством, то *этнос*, по крайней мере в начале его карьеры как научного понятия, еще не освоенного политической и прикладной антропологией, был встроен в тезаурусные связи совсем иного типа – рассматривалась его структура, соотношение с аналогичными категориями социальных наук, пространственно-временная динамика, проблемы устойчивости и изменений и т.п. Этот слой научного языка лежал в стороне от историко-политических дискуссий, разворачивающихся вокруг понятий нации и национализма, что позволило временно деполитизировать всю область этнографических исследований и придать ей характер фундаментального (далекого от практики, но, возможно, в будущем полезного) абстрактного академического знания. Польза эта усматривалась в разработке нового исторического нарратива, позволявшего представить картину исторического развития, альтернативную не принятой в марксизме картине борьбы цивилизаций, но учитывавшую не только классовую составляющую исторического развития, но и вклад в его динамику общностей, вырастающих на культурно-языковых различиях.

Библиография

Басилов 1992 – *Басилов В.Н.* Этнография: есть ли у нее будущее? // Этнографическое обозрение, 4, с. 3-17.

Бауэр 1909 – *Бауэр, Отто*. Национальный вопрос и социал-демократия. СПб.: Серп. lvi, 602 с.

Бромлей 1973 – *Бромлей Ю.В.* Этнос и этнография. М.: Наука. 283 с.

Бромлей 1981 – *Бромлей Ю.В.* Современные проблемы этнографии. М.: Наука. 390 с.

Бромлей 1983 – *Бромлей Ю.В.* Очерки теории этноса. М.: Наука. 412 с.
Каутский 1905 – *Каутский, Карл.* Национальность нашего времени. Спб.: Типография Альтшулера. 46 с.
Кузнецов 1972 – *Кузнецов Б.Г.* Разум и бытие. М.: Наука. 288 с.
Лукреций 1983 – *Лукреций.* О природе вещей (в переводе Ф. Петровского). М.: Художественная литература. 383 с.
Любищев 2000 – *Любищев А.А.* Линии Демокрита и Платона в истории культуры. Спб.: Алетейя. 256 с.
Маркс 1975 – *Маркс К.* Тетради по эпикурейской философии // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. 40. М.: Политиздат, с. 21-146.
Мёйрс 2001 – *Мёйрс, В. ван.* Советская этнография: охотники или собиратели? // Ab Imperio, 3, с. 9–42.
Никифоров 1998 – *Никифоров А.Л.* Философия науки: история и методология. М.: Дом интеллектуальной книги. 280 с.
Рапопорт, Семенов 2004 – *Рапопорт Ю.А., Семенов Ю.И.* С.П. Толстов как теоретик этнологической и исторической науки // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи. М.: Наука, с. 184-232.
Семенов 1966 – *Семенов Ю.И.* Теоретическая разработка В. И. Лениным национального вопроса // Народы Азии и Африки, Вып. 4, с. 106-129.
Сталин 1913 – *Сталин И.В.* Марксизм и национальный вопрос // Сталин И.В. Сочинения. Т.2. М.: ОГИЗ, 1946. С. 290-367.
Такер 1991 – *Такер Р.С.* Сталин. Путь к власти. 1879-1929. М.: Прогресс. 728 с.
Тишков 1992 – *Тишков В.А.* Советская этнография: преодоление кризиса // Этнографическое обозрение, 1, с. 5-20.
Тишков 2008*а* – *Тишков В.А.* Наука и жизнь. Разговоры с этнографами. Спб.: Алетейя. 175 с.
Тишков 2008*б* – *Тишков В.А.* Реквием по этносу. М.: Наука. 543 с.
Толстов 1939 – *Толстов С.П.* Этнография // Большая советская энциклопедия. Т. 48. М., с. 205.
Толстов 1950 – *Толстов С.П.* Значение трудов И.В. Сталина по вопросам языкознания для развития советской этнографии // СЭ, № 4, с.3-23.
Толстов 1951 – *Толстов С.П.* Итоги перестройки работы Института этнографии в свете труда И.В. Сталина "Марксизм и вопросы языкознания" // СЭ, № 3, с.3-14.
Троцкий 1996 – *Троцкий Л. Д.* Сталин: В 2-х тт. / Ред. Ю.Г. Фельштинский, вступ. ст. В. Козлова, А. Ненарокова. М.: ТЕРРА. Т.1, 324 с.; Т.2, 286 с.
Шнирельман 1993 – *Шнирельман В.А.* Злоключения одной науки: этногенетические исследования и сталинская национальная политика // Этнографическое обозрение, 3, с. 52-67.
Ямпольский 2000 – *Ямпольский М.Б.* Наблюдатель. Очерки истории видения. М.: Ad Marginem. 287 с.
Andrew, 1999 – *Andrew, Christopher.* The Sword and the Shield. The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB. N.Y.: Basic Books. xxxvi, 700 pp.

Bauer 1907 – *Bauer, Otto.* Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie. Wien: Verlag der Wiener Volksbuchhandlung Ignaz Brand. viii, 500 S.
Bloom 1970 – *Bloom, Harold.* Yeats. N. Y.: Oxford University Press. xii, 500 pp.
Bloom 1975*a* – *Bloom, Harold.* A Map of Misreading. N.Y.: Oxford University Press. xxiii, 206 pp.
Bloom 1975*b* – *Bloom, Harold.* Kabbalah and Criticism. N.Y.: Seabury Press. 126 pp.
Bloom 1976 – *Bloom, Harold.* Figures of Capable Imagination. N.Y.: Seabury Press. xii, 273 pp.
Bloom 1982 – *Bloom, Harold.* Agon: Towards a Theory of Revisionism. N.Y.: Oxford University Press. 336 pp.
Bloom 1994 – *Bloom, Harold.* The Western Canon: The Books and School of the Ages. N.Y.: Harcourt Brace. ix, 578 pp.
Bloom 1997 – *Bloom, Harold.* The Anxiety of Influence. N.Y.: Oxford University Press (1st ed. 1973). 157 pp.
Bloom 2011– *Bloom, Harold.* Anatomy of Influence: Literature as a Way of Life. New Haven: Yale University Press. 368 pp.
Bourdieu 1984 – *Bourdieu, Pierre*. Homo Academicus. P.: Les éditions de minuit. 302 pp.
Geertz 1988 – *Geertz, Clifford*. Works and Lives. Cambridge: Polity Press. vi, 157 pp.
Kautsky 1887 – *Kautsky, Karl*. Die moderne Nationalität // Die Neue Zeit. N. 1, Jan. 18.
Kautsky 1917 – *Kautsky, Karl*. Die Befreiung der Nationen. Stuttgart: Verlag von J.H.W. Dietz. 56 S.
Kossinna 1936 – *Kossinna, Gustaf.* Ursprung und Verbreitung der Germanen in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. Leipzig (3. Auflage). xii, 238 S.
Kuper 2010 – *Kuper, Adam*. Social Anthropology // Backhouse R.E., Fontaine Ph. (eds.) The History of the Social Sciences since 1945. Cambridge: Cambridge University Press, p. 136–154.
Malefyt – Malefyt, Timothy De Waal. Understanding the Rise of Consumer Ethnography: Branding Technomethodologies in the New Economy // American Anthropologist. 2009. Vol. 111, No. 2, p. 201–210.
Medvedev 1971 – *Medvedev, Roy A.* Let History Judge: The Origins and Consequences of Stalinism. N.Y., 1971. 891 pp.
Nimni 2000 – *Nimni, Ephraim J.* Introduction for the English-Reading Audience // *Bauer, Otto*. The Question of Nationalities and Social Democracy. Minneapolis: University of Minnesota Press, p. xv-xlvi.
Neumann 1888 – *Neumann, Friedrich Julius.* Volk und Nation. Lepzig: Duncker & Humblot. 192 S.
Prigogine – Prigogine, Ilya. Bounded Rationality: From Dynamical Systems to Socio-Economic Models // *Day R.H., Ping Chen* (*eds*) Nonlinear Dynamics and Evolutionary Economics. N.Y.: Oxford University Press, 1993. P. 3–13.

Shelley – Shelley, Percy Bysshe. A Defence of Poetry // English Essays: Sidney to Macaulay. N.Y.: P.F. Collier & Son, 1910. P. 329-362 (The Harvard Classics. Vol. XXVII).

Simon – Simon, Herbert A. Rational Decision-Making in Business Organizations. Nobel Memorial Lecture, 1978. P. 343–371 (http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/ 1978/simon-lecture.pdf)

Trotsky 1941 – *Trotsky, Leon*. Stalin – An Appraisal of the Man and His Influence. N.Y.: Grosset & Dunlop. 516 pp.

Van Ree 1994 – *Van Ree, Erik.* Stalin and the National Question // Revolutionary Russia, Vol. 7, No. 2, pp. 214–238.

Виктор Шнирельман

Археолог, общество и политика: Е. И. Крупнов и аланская проблема*

Сегодня известны два разных подхода к историографии – интерналистский и экстерналистский. Первый делает акцент на изучении и интерпретации имеющихся и введением в оборот новых исторических источников, использовании новых методик, постановке учеными новых вопросов и смене научных парадигм. Этот подход пользуется большой популярностью у специалистов, направляя их внимание на внутреннюю динамику развития науки. Между тем, ученый вовсе не отделен непроходимой стеной от общества: социальные и политические проблемы затрагивают его не в меньшей мере, чем других его соотечественников, и общественный спрос на научное знание, безусловно, оказывает существенное влияние на особенности его научной деятельности. Речь идет как о политической актуальности исторических проблем, так и о тех их решениях, в которых кровно заинтересовано все общество или отдельные социальные группы. Все это находится в центре экстерналистского подхода, который в отношении советской науки успешно демонстрирует американский историк Л. Грэхэм[1].

Такой подход особенно уместен при изучении специфики работы ученых в условиях тоталитарного режима. При изучении советской науки исследователю следует обращать внимание, во-первых, на общественные настроения, окружавшие местных историков, во-вторых, на то давление, которое оказывали на них местные власти, советские и партийные, и, в-третьих, на то, как и почему историки поддавались или сопротивлялись этому давлению. Ведь историку как «бойцу идеологического фронта» полагалось быть членом партии и подчиняться партийной дисциплине; лишь немногим ценой своей карьеры удавалось этого избежать.

Сегодня некоторые археологи доказывают, что советская археология, если и была политизирована, то в ничтожно малой степени, и

* Работа выполнена в рамках проекта «Антропология академической жизни как новаторская практика этнографического описания и этнологического понимания» по программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре».
Благодарю Р. М. Мунчаева за ценные комментарии и уточнения.

что, напротив, она была в основном свободна от идеологических пут. В доказательство этого обычно приводится тот факт, что археология имеет дело с отдаленными эпохами, которые якобы «нейтральны в национальном отношении». В 1990-е гг. один автор писал о том, что археология «пока в целом не бросилась выполнять все отчетливее звучащий, особенно на окраинах бывшего СССР, националистический заказ»[2]. Между тем, в другой работе он же упоминал, хотя и вскользь, о влиянии этнонационализма на формирование основных направлений исследований советских археологов, связанных с изучением этногенеза[3].

В действительности же именно советский этнофедерализм, отождествлявший нацию с этнической общностью, породил огромный спрос на этногенетические исследования[4]. Он способствовал выстраиванию определенной этнической иерархии, возглавлявшейся «титульными нациями», которые, тем самым, были кровно заинтересованы в легитимации своих политических привилегий апелляцией к истории, в том числе, весьма отдаленной. Региональные истории отражали этнополитическую иерархию и были призваны «утвердить место административно-политического образования в соответствии с его большой древностью»[5]. Этим, в частности, и вызывался жгучий интерес к этногенетическим исследованиям, в которых активно участвовали археологи. Такие исследования считались в СССР приоритетными и весьма престижными, что определялось следующими обстоятельствами. Во-первых, за недостатком или полным отсутствием необходимых письменных источников многим народам не оставалось ничего иного как искать своих предков путем обращения к археологическим и лингвистическим данным. Во-вторых, сама по себе древность рассматривалась как престижный фактор, и многие народы соперничали из-за того, кому из них удастся обнаружить более древние корни. В-третьих, так как этнофедерализм исходил из понятия «этнических территорий», идея «глубокого прошлого» использовалась для закрепления определенных территорий за теми народами, которые претендовали на статус «коренных». Отсюда ценностное значение принципа автохтонизма, пронизывавшего советские концепции этногенеза. В-четвертых, легитимация права народа на свою «суверенную республику» требовала поисков той или иной государственности у этнических предков в древности. В-пятых, так как народ заявлял о себе своими деяниями, а последние объективировались в древних памятниках (крепостях, башнях, святилищах, погребальных

сооружениях и пр.), то именно археологии доставалась ответственная задача продемонстрировать длительную и продуктивную творческую активность народа. Это помогало создавать образы самобытных истории и культуры, игравшие важную роль в идентичности и оказывавшие влияние на политический статус титульных народов. Наконец, в-шестых, образ самобытного прошлого был своего рода антиколониальным проектом, позволявшим сопротивляться этнокультурной нивелировке.

Если внешне советская идеология основывалась на марксистской концепции диалектического развития, то содержавшиеся в ней этнические идеи имплицитно апеллировали к понятию «народного духа», выражавшегося в «национальной самобытности» и «национальных ценностях». Тем самым, развитие понималось не по Марксу, а скорее по германскому философу XV в. Николаю Кузанскому, как «развертывание» во времени вечного и неизменного «народного духа». Вот почему советские ученые с такой страстью искали истоки самых разных этносов и всеми силами стремились углубить их историю. Ведь именно на заре формирования этноса следовало искать источник «народного духа», который с тех пор не уставал проявлять себя в героических деяниях предков данного народа. Причем, чем раньше в истории обнаруживал себя этот «дух», тем больше великих подвигов можно было ожидать от его носителей, тем, следовательно, весомее был их вклад в сокровищницу человеческой культуры. В советское время все это не артикулировалось открыто, но постоянно имелось в виду и оказывало сильное влияние на представления многих археологов о своей научной миссии. Отсюда установка на открытие все новых и новых «археологических культур» и прослеживание «генетических связей» между ними, что и составляло суть этногенетических исследований. В этом отношении весьма показательны следующие слова ведущего специалиста по древней истории Северного Кавказа Е.И. Крупнова: «Подлинно научное изучение истории кабардинского народа, как и истории всякой нации, должно вестись с самой глубокой древности. Даже выяснение важнейшего вопроса – определение кабардинского народа как нации – неминуемо должно нас увести в глубочайшую древность и связать с археологией»[6]. Тем самым, этногенез стал разновидностью нарратива, считавшегося одним из важнейших компонентов проекта нациестроительства[7].

Советская действительность с ее официально утвержденной этнической иерархией и соперничеством отдельных этнических групп

за место в этой иерархии оказывала огромное и многообразное влияние как на организационную структуру археологических учреждений, так и на стратегию археологических исследований и интерпретацию археологических данных. Например, в силу доминирования в этой иерархии русского народа наиболее престижным было занятие славяно-русской археологией, и не случайно директором головного Института археологии АН СССР долгие годы был специалист именно в этой области, акад. Б.А. Рыбаков. Совсем иную судьбу имели золотоордынские памятники, изучение которых не приветствовалось и плохо финансировалось в силу негативной роли, которую Золотой Орде приписывала официальная советская историография. Еще хуже обстояло дело с хазарской тематикой, полномасштабное исследование которой блокировалось советским государственным антисемитизмом[8].

Сходная ситуация наблюдалась и в регионах, где официальная иерархия народов также сказывалась на особенностях археологического изучения местных древних памятников и их интерпретации. В данной работе речь пойдет о центральных районах Северного Кавказа, интенсивное археологическое изучение которых приходилось на те годы, когда оттуда были депортированы целые народы, обитавшие там веками. Ведь процесс нациестроительства и наделения каждой «этнической нации» достойным прошлым, происходивший в 1920-1930-х гг., был искусственно прерван в 1944-1957 гг., когда, так называемые, «наказанные народы», депортированные с Северного Кавказа[9], были насильственным путем лишены исторических корней, родины и социальной памяти. Всяческие упоминания об их предках были на время вычищены из официально утвержденной истории региона. В те годы археологи потеряли возможность связывать средневековые памятники с предками чеченцев и ингушей, балкарцев и карачаевцев. На месте бывшей Чечено-Ингушской АССР была создана потерявшая этническое лицо Грозненская область. Там в ответ на принятое 14 октября 1948 г. постановление Совета Министров СССР «О мерах улучшения охраны памятников культуры» заговорили о более бережном отношении к памятникам древности, и значимость археологических исследований возросла. Однако теперь не было и речи о народах, которым принадлежало местное историческое наследие[10]. Зато историки народов, избежавших ссылки, делали все возможное, чтобы обнаружить как можно более древние корни своих предков и, тем самым, сделаться «истинными аборигенами». Поэтому, хотя не-

которые советские авторы подчеркивали, что в поздние годы сталинского режима лишь археологи имели возможность успешно работать[11], те также попадали в трудное положение, даже если они занимались ранними этапами истории Северного Кавказа.

В 1920-1930-х гг. на Северном Кавказе развернулись широкие археологические исследования, проводившиеся, главным образом, ленинградскими специалистами. В 1930-х гг. в этих работах все более активно начал участвовать Е. И. Крупнов (1904–1970). Уроженец Моздока, он сперва поступил на этнологическое отделение Северокавказского педагогического института во Владикавказе, но в 1927 г. перевелся оттуда на историко-археологическое отделение факультета общественных наук 1-го Московского университета, где учился у крупнейшего российского археолога того времени В. А. Городцова. После окончания университета Крупнов поступил на работу в Государственный исторический музей (ГИМ) в Москве, с которым сотрудничал с 1930 до 1951 г. С 1937 г. он работал по совместительству в Институте истории материальной культуры АН СССР (ИИМК, позднее переименованный в Институт археологии), где в 1951–1960 гг. был заместителем директора, а затем в 1962–1970 гг. – заведующим сектором неолита и бронзы. Одновременно в 1947–1949 гг. он заведовал сектором археологии в Кабардинском НИИ.

Научные интересы Крупнова были прочно связаны с Северным Кавказом, и первая его научная работа была посвящена родовому строю чеченцев и ингушей. В конце 1920-х – начале 1930-х гг. он участвовал в работе археологической экспедиции Ингушского НИИ, а затем с 1935 г. руководил самостоятельными экспедициями в Ингушетию и Северную Осетию. Осенью 1941 г. он был вызван в Москву из действующей армии для защиты кандидатской диссертации по теме «История Ингушии с древнейших времен до XVIII в.», и после успешной защиты снова ушел на фронт. Депортация ингушей и чеченцев в феврале 1944 г., по его собственному горькому признанию, в течение долгих лет сделала невозможной дальнейшую разработку этой тематики[12]. В первые послевоенные годы Крупнов оказался, по сути, единственным археологом, способным активно заниматься полевыми исследованиями на Северном Кавказе. С 1945 г. он возглавлял Объединенную северокавказскую экспедицию ИИМК, ГИМ'а и ряда местных музеев, чьи отряды работали во многих районах Северного Кавказа, включая Дагестан. Сам Крупнов в 1946–1949 гг. вел исследования в Кабардино-Балкарии, затем проводил раскопки в Се-

верной Осетии и Ингушетии, а с 1957 г. вместе со своими коллегами и учениками занимался также и исследованиями в горной Чечне[13]. В 1960 г. вышла его фундаментальная монография «Древняя история Северного Кавказа», посвященная кобанской культуре. Она не только стала его докторской диссертацией, но и была в 1963 г. удостоена престижной Ленинской премии. В 1950–1960-х гг. Крупнов являлся ведущим специалистом по археологии Северного Кавказа. Имея множество учеников, он уделял особое внимание подготовке местных кадров, и многие северокавказские археологи второй половины XX в. вышли из его школы[14].

Определяя стратегию северокавказской археологии в 1950-е гг., Крупнову приходилось о многом умалчивать или высказывать весьма противоречивые суждения, следуя официальному курсу советской политики. Так, в одной из своих установочных статей он объяснял скромные достижения местной археологии «националистическими ошибками» осетинских и дагестанских специалистов, храня полное молчание о том, что к таким «ошибкам» археологов толкала политика властей. Он призывал срочно готовить очерки по истории отдельных народов Северного Кавказа и проводить углубленные исследования средневековой эпохи, но не объяснял, как это возможно в условиях строгих запретов на изучение любой тематики, связанной с депортированными народами и их предками. Он предупреждал о неправомерности использования современных этнических понятий для описания древних периодов и в то же время требовал от археологов обнаружения славянских древностей на Северном Кавказе[15]. В 1940–1950-е гг. сам Крупнов вынужден был называть горские земли «территорией, лежащей к северу от Главного Кавказского хребта» или «областью центральной части Северного Кавказа». Если еще совсем недавно он не боялся связывать позднесредневековые памятники Ингушетии с предками ингушей[16], то теперь, устанавливая непрерывную культурную преемственность с эпохи поздней бронзы до позднего средневековья, он ограничивался терминами «местное общество», «местные племена» и «горская культура». И оставалось неясным, кто же обитал в регионе после исчезновения алан[17].

Аланская проблема порождала научные споры еще в довоенные десятилетия, когда раннесредневековые памятники Северного Кавказа были изучены недостаточно, и специалисты полагали, что тогда вся его территория была покрыта единой «алано-хазарской культурой». Понимали ее по-разному: для одних, создателями однородной

по многим показателям культуры были разноязычные племена[18], а другие связывали ее исключительно с ираноязычными аланами[19]. В те годы этот спор был лишен политической подоплеки. Местные элиты были озабочены текущими социальными и экономическими проблемами, и им было не до археологии. А занимавшихся аланской тематикой археологов интересовали чисто научные задачи, и их подход в те годы не был отягощен национальными эмоциями.

В предвоенные годы грузинский историк, акад. И. А. Джавахишвили, проанализировавший множество эпиграфических источников, племенных названий и топонимов, пришел к неожиданному и достаточно оригинальному выводу о том, что кавказский скифо-сарматский мир был наполнен северокавказской лексикой – прежде всего, адыгской, но также чеченской и дагестанской. Он даже утверждал, что «скифы и сарматы принадлежали к северокавказской адыго-чеченско-лезгинской народности»[20]. Появилась возможность рассматривать сармато-аланскую общность Северного Кавказа как конгломерат многоязычного населения, включавшего местных аборигенов, влившихся в состав сарматских племен[21]. Однако депортация чеченцев и ингушей сняла эту гипотезу с повестки дня, и она долгие годы оставалась невостребованной.

Если чеченцы и ингуши были отправлены в ссылку, то ираноязычные осетины остались на месте, и территория Северной Осетии была даже увеличена за счет некоторых районов, принадлежавших ранее Чечено-Ингушетии. Иными словами, новые политические реалии благоприятствовали интерпретации аланской общности как гомогенного, а не гетерогенного этнического массива. Так, один из ведущих советских археологов К. Ф. Смирнов полагал, что «из современных народов Советского Союза лишь осетины являются прямыми потомками северокавказской группы сарматских (аланских) племен»[22]. Другой крупный советский скифолог Б. Н. Граков, рисуя длительную линию культурной преемственности у ираноязычных степняков-кочевников от раннего железного века до средневековья, венчал ее аланским массивом, в составе которого никаких неиранцев не видел. Однако он связывал с аланами только катакомбный погребальный обряд[23].

Более сложным был подход еще одного авторитетного советского археолога того времени А. П. Смирнова. Он приписывал аланам катакомбные захоронения Кубани и Предкавказья, а каменные ящики, каменные склепы и грунтовые погребения связывал с северокав-

казскими аборигенами. Однако, отмечая большое культурное влияние алан на местное население, он все же находил возможным включать все указанные памятники в единую «аланскую культуру»[24]. Об этнической гетерогенности сарматской общности писал и Л.А. Мацулевич, но о месте в ней вайнахов речи не было[25].

Во второй половине 1940-х – 1950-х гг. из-за запрета на использование местных этнических названий для средневековых памятников горных районов Чечни и Ингушетии археологи нередко были вынуждены описывать их как вариант аланской культуры. Они писали об «алано-хазарской культуре» и связывали с ней не только катакомбные захоронения, но и погребения в каменных склепах и каменных ящиках, в том числе относившиеся к XIII–XIV вв. и явно принадлежавшие местным горным обитателям[26]. Следовательно, уже тогда сложилось два принципиально разных подхода к пониманию аланской общности: одни археологи вкладывали в него этнолингвистическое содержание, а другие – культурное. Последнее понималось в широком смысле и охватывало племена, находившиеся в ареале влияния аланской культуры. Для такой общности допускалась лингвистическая гетерогенность, однако говорить в этом контексте о предках депортированных народов было невозможно.

Все это создавало почву для разночтений, что и находило свое отражение в работах Крупнова, который еще в 1930-х гг. причислял северокавказские погребения в форме каменных ящиков и склепов к аланской культуре[27]. Тогда он видел в ней конгломерат полиэтничных племен. Это, с одной стороны, опиралось на высказывания Аммиана Марцеллина[28], а, с другой, вытекало из популярной в те годы концепции универсальных «социально-экономических стадий», выдвинутой Марром[29]. Действительно, тогда Крупнов стоял на позициях теории стадиальности и представлял эволюцию местных северокавказских культур как органичный переход от кобанской «стадии» к сарматской, а затем – к аланской; массовые миграции эта концепция исключала[30]. Тем самым, аланы виделись ему автохтонным населением, занимавшим как равнину, так и горы. Поэтому не удивительно, что их погребальный обряд оказывался крайне разнообразным, включая как катакомбы, так и каменные ящики и склепы. В этом, по Крупнову, отражалась «этническая пестрота, которая отличала аланские племена Предкавказья»[31]. Примечательно, что, обращаясь к периоду позднего средневековья и рассматривая вопрос о кабардинской экспансии на восток, Крупнов вынужден был называть коренных обита-

телей гор «аланами»[32]. Иного выбора обстановка середины 1940-х гг. ему не давала.

В ранние послевоенные годы ему представлялось несомненным, что центральная часть Северного Кавказа с ее горами и предгорьями была в VI–XI вв. занята исключительно аланами[33]. Однажды он даже подчеркнул, что «применительно к Северному Кавказу категорическое отрицание несомненной связи археологического материала с этносом мне кажется неуместным»[34]. Но такая установка не допускала никакой этнической гетерогенности. Остается лишь догадываться о том влиянии, которое оказала на нее депортация горских народов, включая чеченцев и ингушей. Кроме того, если вспомнить о том, что накануне войны Крупнов считал вайнахов пришельцами с юга, появившимися на Северном Кавказе не ранее начала II тыс. н. э.[35], то все это могло означать, что именно ираноязычные осетины были истинными аборигенами центральных областей Северного Кавказа. Иными словами, этот подход фактически приписывал сарматам (аланам) раннесредневековые памятники предков вайнахов, лишал последних истории и легитимизировал передачу осетинам бывших ингушских и чеченских земель, включая Пригородный район.

Вместе с тем, сам Крупнов думал иначе. В план-проспекте «Очерков по истории Кабарды», написанных в те же годы, он сохранил представление об этнической гетерогенности аланской общности на территории Северного Кавказа[36]. Тогда он подчеркивал, что, несмотря на единство материальной культуры, аланы включали в себя разные «этноплеменные образования» и сам термин «аланы» был собирательным. Следовательно, ни о какой жесткой связи археологической культуры с этносом говорить не приходилось.

Крупнов видел в аланах, наряду с савирами и адыго-черкесскими племенами, основное население Северного Кавказа эпохи раннего средневековья, от которого в дальнейшем и произошли современные народы Адыгеи, Черкесии, Кабарды, Осетии и Дагестана. Именно с этим населением он связывал формирование типичного горского костюма, горской архитектуры (каменных жилищ, башен, склепов), а также сложение нартского эпоса[37].

Вайнахских народов в этом списке не было, так как они были вычеркнуты властями из истории края, и их участие в сложении горской культуры не признавалось. Вместе с тем, Крупнов нашел возможность продемонстрировать свое несогласие с жестокой политикой властей в отношении чеченцев и ингушей. В той же статье, где

содержались приведенные рассуждения, он включил вайнахские народы в список тех, кто создавал нартский эпос[38]. В середине 1950-х гг., анализируя материалы из Лугового могильника VI-V вв. до н. э., раскопанного в Ассинском ущелье, Крупнов связывал его с местным населением, родственным племенному миру Северного Кавказа от Дагестана до верховьев Кубани, и предполагал, что его обитатели «говорили на языке, относившемся к сугубо местной, древней, так называемой, 'иберо-кавказской' семье языков»[39]. Этим он давал понять читателю, что не разделяет позиции властей[40], но больше этого в те годы он сделать не мог[41].

Крупнов без устали доказывал, что в основе осетинского этногенеза лежат не пришлые степняки-кочевники, а местные иранизированные племена. Но в начале 1950-х гг., т. е. после разгрома «марризма», он уже не вспоминал о «стадиях» и соглашался с тем, что в течение I тыс. до н. э. Северный Кавказ неоднократно подвергался нашествиям ираноязычных кочевников, сперва скифов, затем сарматов. Он подчеркивал, что вначале они оказывали большое культурное влияние на местное население, а позднее стали массами оседать среди него. В итоге аборигены центральных районов Северного Кавказа были ассимилированы и перешли на иранский язык. Однако, настаивал Крупнов, материальная культура этой новой общности складывалась на местной кавказской основе и еще долго хранила живые следы кобанской культуры. «Поэтому, писал он, нет никакой нужды отрывать оседлый осетинский народ от северокавказской культурной среды и выдавать за его прямых предков степных кочевников-скифов, которых страшились народы древнего мира как всеразрушающих варваров». Оригинальным вкладом Крупнова в разработку проблемы осетинского этногенеза было то, что он отождествил рассматриваемую новую общность с аланами, тем самым, сделав их исконными кавказцами. Именно эти аланы, будучи «местным северокавказским населением», и стали прямыми предками современных осетин. Тем самым, Крупнов утверждал, что осетины по языку относятся к иранцам, а по культуре являются типичными кавказцами[42].

Поэтому ему, по-прежнему, казалось логичным причислять к аланской культуре не только катакомбные погребения, но и каменные ящики и склепы, оставленные местными горцами. Надо думать, что этот вывод основывался не только на научных аргументах, но имел и политическую подоплеку. Ведь тем самым Крупнов как бы подчеркивал большой вклад местных горцев в развитие средневековой куль-

туры на Северном Кавказе. Горцы не назывались по имени, но каждому было ясно, что речь идет не только об осетинах. Вот в каких условиях формировалось представление о гетерогенности аланской общности, включавшей как ираноязычных алан, так и кавказских аборигенов. Разумеется, после 1957 г. уже не было и речи о том, что аланы предшествовали на Северном Кавказе вайнахам. Но вывод о гетерогенности аланской общности сохранился. Он был основан не только на интерпретации слов Аммиана Марцеллина, не только на чересчур широком понимании особенностей аланских памятников[43], но и на стремлении Крупнова отстоять права депортированных народов на свою историю. Этот инклюзивный подход к трактовке аланской культуры был воспринят некоторыми его учениками и еще долго влиял на ее интерпретацию, хотя они уже не думали о тех вненаучных соображениях, которые, надо полагать, не обошли стороной их учителя.

Рассматривая культурный процесс в центральной части Северного Кавказа в раннем железном веке, Крупнов отмечал, что, несмотря на появление здесь ираноязычных степняков, коренной смены материальной культуры не наблюдалось и традиции кобанской культуры оказывались очень живучими. По его словам, «это обстоятельство органически связывает осетинский народ с родной для него кавказской почвой». Следовательно, доказывал он, осетины были в основе своей коренными кавказцами, позаимствовавшими язык у пришельцев[44].

Но почему это произошло только в центральной части Северного Кавказа? Ведь, несмотря на столь же мощный наплыв кочевников, жители Прикубанья (синды и меоты, предки адыгов) и обитатели Северо-восточного Кавказа сохранили свои исконные языки. Пытаясь ответить на этот вопрос, Крупнов предполагал, что там местная языковая среда оказалась более устойчивой, ибо местные языки были якобы более развитыми и более богатыми, чем в центральной части Северного Кавказа[45]. Что же касается термина «алан», то, по словам Крупнова, пришедшие из степи иранцы наградили им самые разные племена, вошедшие в аланское единство – среди них были не только предки осетин, но и чеченцы, ингуши, адыги[46]. Многие из этих рассуждений имели достаточно прочные научные основания[47]. Однако они вряд ли могли воодушевить осетинских авторов, ибо это не только лишало их славных ираноязычных предков, но наделяло их вовсе уж «ущербными» кавказскими предками с «недоразвитым» языком[48].

Трагедия депортированных народов оказала влияние и на осетин. Ведь иранство осетин и приход их предков из далекой Согдианы подозрительно напоминали миграционистские идеи и «арийскую теорию», которыми руководствовалась нацистская идеология. Действительно, некоторые немецкие ученые того времени стремились выдавать осетин за близких родственников германцев и даже называли их единственными «арийцами» среди народов Северного Кавказа. Все это бросало тень на осетин и требовало решительного опровержения. Поэтому в марте 1944 г., т. е. сразу же после депортации чеченцев и ингушей, авторитетный осетинский историк Г.А. Кокиев подготовил статью, которая была срочно опубликована в текущем номере «Исторического журнала». Ссылаясь на авторитет Н. Я. Марра и В. И. Абаева, он делал все возможное, чтобы отмежеваться от ираноязычных предков и доказать, что осетины были не «яфетизированными иранцами», а «иранизированными яфетидами». При этом, судя по исследованиям Абаева, в их языке преобладала местная доиранская лексика, что делало их истинными автохтонами. С «арийцами» им было явно не по пути[49]. Это было одной из причин, по которым Крупнов, как мы видели, также делал алан кавказскими аборигенами и избегал говорить об их иранском языке[50]. Борьба с «арийством» окрашивала советскую науку и в последующий период[51]. И даже Абаев в своей известной статье о Зеленчукской надписи ухитрился ни разу не упомянуть названия «иранский». Зато он писал там о тождестве осетин и алан и безоговорочно называл аланский язык осетинским[52]. В то же время, отвергая опасную «арийскую идею», осетинские авторы в неменьшей степени стремились дистанцироваться и от депортированных народов, ибо родство с теми могло и их поставить под удар. Поэтому идея гетерогенности аланской общности их вовсе не прельщала.

В итоге к рубежу 1950-1960-х гг. сложились два разных подхода к аланской археологической культуре. Одни археологи связывали с ней только катакомбные захоронения, другие включали туда также каменные ящики и склепы. У первых отмечалась тенденция видеть в аланах однородную иранскую этническую общность, а вторые часто говорили о конгломерате полиэтничных племен, объединенных историческими аланами. В то же время второй подход позволял приписывать ираноязычным аланам археологические памятники местных кавказских племен, в частности, предков вайнахов и расселять ираноязычных алан по их территориям. Похоже, именно это и происходило

в годы депортации, причем некоторые осетинские авторы разделяли эту идею и позднее[53].

Лишь во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. молодые советские археологи стали активно пересматривать подход Крупнова и связывать аланские могилы лишь с катакомбным обрядом захоронения, а грунтовые погребения и каменные ящики – с местными обитателями[54]. В 1970-х гг., когда у вайнахов появились свои археологи, пытавшиеся расчистить в истории место и для своих собственных предков, захоронения в каменных ящиках и склепах специалисты все чаще стали отождествлять не с аланами, а с аборигенами Северного Кавказа[55]. Мало того, вскоре московский археолог М. П. Абрамова выступила с предположением о том, что и часть катакомбных могил тоже могла принадлежать не аланам, а местным обитателям[56].

В 1961 г. по решению Чечено-Ингушского обкома в республике начала выходить серия книг и брошюр под общим названием «К истории народов Чечено-Ингушетии». Однако ранние периоды этой истории оставались слабо изученными, и главное слово здесь предстояло сказать археологам. В довоенные годы считалось, что высокогорья Северного Кавказа были освоены только в эпоху бронзового века[57], и специалисты не прослеживали следов предков чеченцев и ингушей в Чечено-Ингушетии ранее XII–XIII вв. Считалось, что до этого рубежа регион находился в руках алан, и где тогда обитали древние вайнахи, оставалось неясным. Как мы видели, в 1944–1957 гг. вопрос об их предках был вообще снят с повестки дня. После 1957 г., когда Чечено-Ингушская АССР была восстановлена, а чеченцы и ингуши стали массами возвращаться на родину, все это уже не отвечало запросам дня. Теперь право республики на существование нужно было легитимировать ссылкой на далекое прошлое, и ученые занялись поиском фактов, доказывавших присутствие здесь предков чеченцев и ингушей в самой глубокой древности.

Пальма первенства в этом принадлежала археологам, по-прежнему возглавлявшимся Е. И. Крупновым. Сразу же после восстановления Чечено-Ингушской АССР он стал самым активным пропагандистом ее богатой древней истории. Теперь он доказывал, что Чечено-Ингушетия являет собой бесценную археологическую сокровищницу. Опираясь на свои глубокие познания в местной археологии, он обращался через газету «Грозненский рабочий» к местному руководству и общественности, разворачивая перед ними широкое полотно весьма привлекательного древнего прошлого. Оказывалось, что

местный регион вовсе не был задворками человеческой цивилизации, а активно участвовал в широкой сети международных контактов, охватывавшей когда-то как Восточную Европу, так и Ближний Восток. Крупнов доказывал, что местные обитатели издавна развивали свою самобытную и оригинальную культуру. Он писал о том, что «чечено-ингушский народ, как и другие народы Советского Союза, должен знать свою действительную, не мифологическую, а строго научную историю, историю, богатую достоверными фактами и событиями… Но эта история полностью, к сожалению, еще не написана»[58]. Вряд ли, надо сомневаться в том, что для вернувшихся только что из депортации и годами отлученных от своей истории чеченцев и ингушей призыв к изучению своего происхождения, прошлого своих далеких предков, из века в век населявших горные районы, открывал путь к излечению от недавней травмы.

Только благодаря самоотверженным работам Крупнова и его учеников оказалось возможным уже в конце 1950-х гг. представить впечатляющую картину эволюции древней и средневековой культуры на территории Чечено-Ингушетии в сверстанном в срочном порядке дополнительном томе БСЭ, выпущенном в 1958 г. Нарисованная там последовательность археологических культур, начиная с энеолита и вплоть до позднего средневековья, звучала убедительным аргументом в пользу необычайно древних корней вайнахских племен. Простое сравнение статей о чеченцах, опубликованных в первом издании БСЭ и в написанном четверть века спустя дополнительном томе ее второго издания показывает, что именно археологи сумели показать чеченцев и ингушей подлинными аборигенами Северного Кавказа, его коренными обитателями[59]. Ясно, что на таком фоне депортация этих народов выглядела особенно чудовищной несправедливостью.

Между тем, по-прежнему острым оставался вопрос об этнолингвистическом содержании аланской культуры. Ведь, как мы видели, к началу 1960-х гг. сложились два принципиально разных подхода к решению вопроса о происхождении осетин: один из них исходил, прежде всего, из языковой идентичности осетин и называл их главными предками ираноязычных кочевников раннего железного века, другой же делал акцент на культурном факторе, в соответствии с которым предками осетин оказывались местные кавказские аборигены, перешедшие на принесенный извне иранский язык. Первый подход коренился в дореволюционной националистической осетинской историографии, а его возрождению способствовала советская внутрен-

няя политика конца 1930–1940-х гг. и, особенно, депортация ряда северокавказских народов, что заставляло осетин всячески дистанцироваться от своего кавказского культурного наследия и, напротив, подчеркивать связь своих предков с ираноязычными кочевниками. Второй подход был рожден советской идеологией интернационализма, культивировавшейся в первой половине 1930-х гг., когда было принято подчеркивать культурное родство соседних народов. И вовсе не случайно центральное место в исследованиях Крупнова занимало выявление общего древнего культурного пласта, лежавшего в основе этногенеза многих народов Северного Кавказа.

Оба подхода нашли свое выражение на научной сессии по этногенезу осетин, организованной в Орджоникидзе 6-8 октября 1966 г. по инициативе Северо-Осетинского НИИ при Совете Министров СО АССР и Юго-Осетинского НИИ АН ГССР. В ней принимали участие более тридцати специалистов из обеих Осетий, соседних кавказских республик, а также из Москвы и Ленинграда. Все они были согласны в том, что осетины сформировались из смешения двух компонентов – местного кавказского и пришлого иранского. Разногласия касались лишь относительной роли того или иного компонента в становлении осетинского народа, но именно этот вопрос вызвал оживленную полемику, оказавшись едва ли не центральным для идентичности как осетин, так и их соседей.

Подчеркивая преемственность материальной культуры и физического типа, отмечавшуюся на Северном Кавказе с доскифского времени, Е. И. Крупнов отводил первостепенное место аборигенному кавказскому элементу. Он доказывал, что нашествия степных кочевников не привели к полной смене населения; пришельцы лишь наделили его своим иранским языком. Он писал: «Можно полагать, что пришельцы-кочевники лишь политически подчинили себе местную этническую среду, сами перешли на новые оседлые формы хозяйства и восприняли материальную культуру и быт аборигенов»[60]. Обращаясь к этнографии, он отмечал живучесть кобанских мотивов в традиционной бытовой культуре северокавказских народов, включая осетин. Тем самым, заключал он, «и материальная, и духовная культура осетинского народа недавнего прошлого формировалась на местной кавказской основе»[61]. Это казалось ему неопровержимым аргументом в пользу, прежде всего, кавказского происхождения осетин, и он отметал идею об их якобы прямой генетической связи со скифами или сарматами.

Напротив, придавая первостепенное значение языковому фактору, югоосетинский историк Ю. С. Гаглойти пытался всеми силами углубить историю ираноязычия на Кавказе. Он делал акцент на том, что, начиная с киммерийцев и скифов, т. е. задолго до алан, ираноязычные кочевники постоянно появлялись на Кавказе. При этом он подчеркивал два важных момента: во-первых, они, по его мнению, продвигались на юг через перевалы именно Центрального Кавказа, а во-вторых, постоянно оседали на склонах Северного Кавказа. В итоге основными компонентами формирования осетин оказывались ираноязычные племена – вначале скифы, затем аланы. Кроме того, Гаглойти настаивал на том, что аланы обитали в Предкавказье много раньше, чем стал известен сам термин «аланы». По его словам, «начиная, по крайней мере, с VII в. до н. э., когда часть скифов прочно обосновалась на Северном Кавказе, мы сталкиваемся в этом районе с непрерывной цепью ираноязычных племен, остатком которых являются современные осетины»[62]. Примечательно, что, если Крупнов, наряду с выступавшими на сессии физическими антропологами, обосновывал принадлежность осетин к местным кавказцам ссылкой на антропологические материалы[63], то, опираясь на те же данные, Гаглойти делал прямо противоположный вывод[64]. Кроме того, возражая своим оппонентам, Гаглойти писал, что «преемственность в развитии материальной культуры на данной территории не является еще доказательством непрерывности развития на той же территории одного и того же этноса». Культурные сходства осетин с окружающими народами он объяснял не этническим родством, а сходной адаптацией к физико-географическим условиям и уровнем социального развития[65].

В концепции Гаглойти ираноязычие на Северном Кавказе обретало запредельную древность – ведь он относил его появление к II тыс. до н. э.[66], и для претензий осетин на автохтонный статус кавказский субстрат оказывался ненужным. Правда, отдавая должное советской «дружбе народов», Гаглойти еще не отваживался полностью от него отказаться. Его позиция нашла определенную поддержку в выступлении ленинградского эпиграфиста Г. Ф. Турчанинова, прямо называвшего древнюю восточноиранскую речь не скифской или сарматской, а осетинской. Тем самым, по его словам, осетинский язык существовал едва ли не с самого начала раннего железного века. К тому же времени он относил и возникновение осетинской письменности на арамейской основе. Никакой разницы между аланами и «средневековыми осетинами» он не видел[67]. Выступавшие на сессии ар-

хеологи убедительно демонстрировали всю сомнительность утверждений о широкой распространенности ираноязычия на Северном Кавказе в раннем железном веке[68], но Гаглойти упорно стоял на своем[69].

Вслед за Гаглойти, осетинский лингвист К. Е. Гагкаев также стремился всячески преуменьшить роль кавказского субстрата в этногенезе осетин[70], а историк Т. Н. Кибизов утверждал, что иранцы были основным компонентом в этногенезе осетин в силу своей многочисленности[71]. Того же мнения был и заведующий кафедрой истории СССР Северо-Осетинского государственного педагогического института, профессор М. С. Тотоев, выразивший недовольство позицией физических антропологов[72].

В ряде выступлений была так или иначе затронута и политическая сторона «аланской проблемы». Так, кабардинский историк Т. Х. Кумыков отмечал политическую актуальность занятой Крупновом позиции и пенял «аланской теории» на ее несоответствие «интернациональному воспитанию трудящихся»[73]. В то же время в эти годы в «интернационалистическом» подходе некоторые представители нерусских народов усматривали попытку стереть с лица земли этническое многообразие, обезличить этнические культуры. Именно последнее В. И. Абаев ставил в вину Е. И. Крупнову, отстаивавшему идею древнего общекавказского культурного и этнического единства. Если для Крупнова в таком единстве виделось основание для советской дружбы народов, то Абаев усматривал в нем намек на культурную унификацию, угрожающую неповторимому культурному облику местных нерусских народов[74]. Нет никаких сомнений, что тем самым Абаев бросал дерзкий вызов советской установке 1960-1970-х гг. на формирование «новой исторической общности – советского народа». Иными словами, «аланская проблема» и теперь сохраняла идеологическую нагрузку, хотя и по иным мотивам, чем в эпоху депортаций.

Сессия не только выявила расхождение между «националистическим» и «интернационалистическим» подходами, но и вновь высветила разногласия в понимании самой аланской общности. Если для осетинских ученых она выглядела бесспорным культурно-языковым единством[75], то их оппоненты рассматривали алан как конгломерат разных по происхождению племен[76]. Сторонниками второго подхода оказались, в частности, соседи осетин, желавшие видеть в составе аланского племенного союза и своих собственных предков[77]. Для них оба положения – о значительной роли кавказских аборигенов

в формировании осетин и о гетерогенном составе аланской общности – служили важным символом и залогом дружбы северокавказских народов. Кроме того, признание алан гомогенной этнической общностью автоматически делало значительные территории и многочисленные древние памятники Северного Кавказа историческим наследием одних лишь осетин и создавало психологический дискомфорт их соседям, лишая их статуса «коренного населения».

Иными словами, в течение последних советских десятилетий аланская проблема находилась в центре острого этнополитического дискурса, и те или иные ее решения затрагивали идентичность и статус многих народов Северного Кавказа. Во второй половине 1930-х - 1940-х гг. в условиях господства марристской «теории стадий», отличавшейся выраженным «интернационализмом» и пытавшейся с помощью идеи культурного родства снять противоречия между соседними народами, аланы представлялись конгломератом разнообразных племен, находившихся в тесных контактах и обладавших некоторыми общими чертами культуры. Однако депортация ряда горских народов и активное использование «арийской идеи» нацистской пропагандой поставило осетинских ученых в трудное положение. В середине – второй половине 1940-х гг. было равным образом опасно как подчеркивать свое родство с «наказанными народами», так и упоминать об ираноязычии своих предков. А в начале 1950-х гг. после разгрома «марризма» потеряла свой былой авторитет и «теория стадий». Теперь некоторые советские лингвисты стали, напротив, делать акцент на ираноязычии осетин, и идея кавказского субстрата подверглась нападкам. В эти годы осетинским ученым было нелегко уберечься от подстерегавших их с разных сторон опасностей, и те из них, кто занимались происхождением и ранней историей осетинского народа, постоянно подвергались жесткой критике[78].

Именно тогда в советской науке и сложилось инклюзивное понимание аланской археологической культуры, охватывавшей самые разнородные памятники. Частично оно вытекало из марристской «теории стадий», частично было следствием депортации горских народов, утративших право на свое самобытное культурное наследие, а частично определялось стремлением Крупнова сохранить место для депортированных народов в истории Северного Кавказа. Иными словами, в зависимости от интерпретации «аланская культура» могла использоваться как в пользу, так и против депортированных горских народов. Ведь ее можно было понимать двояко – как археологическое

выражение многоязычного конгломерата племен, вошедших в историю под единым инклюзивным названием «аланы» (такова была точка зрения Крупнова и многих его учеников), и как остатки «этнической культуры» ираноязычных алан (такую позицию отстаивали осетинские ученые). Оба эти подхода выражали разные интересы соседних народов в борьбе за идентичность, политический статус и даже территорию. Все это и определяло идеологизацию аланской проблемы, что бы ни думали об этом иные ученые, стремившиеся оставаться в рамках «чистой науки». Ведь какие бы концепции ни выдвигали специалисты, они всегда могли быть использованы, использовались и до сих пор используются для достижения тех или иных политических целей.

Итак, два разных подхода к выделению и трактовке «аланской общности» диктовались далеко не только научными интересами, а формировались в особой политической обстановке 1940-х–1950-х гг., оказывавшей давление на ученых и прямо влиявшей на выдвижение тех или иных концепций. Примечательно, что в последующие годы их политическая подоплека забылась, и они стали восприниматься как исключительно «научные концепции». Между тем, и в этот период многими их сторонниками двигали не только поиски «научной истины», но и этнонациональные эмоции, заставлявшие их пополнять ряды того или иного лагеря. Таким образом, советская археология не избежала участи мировой археологии, годами и десятилетиями исправно обслуживавшей интересы национализма[79].

Примечания

[1] Грэхэм Л. Очерки истории российской и советской науки. М.: Янус-К, 1998. О роли этого подхода см. также: Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. М.: Институт экспериментальной социологии, 2005. С. 478.

[2] Гуляев В.И. О современном состоянии археологии в России: итоги и перспективы // Т.И. Алексеева (ред.). Горизонты антропологии. М.: Наука, 2003. С. 26.

[3] Гуляев В.И. Введение // В.И. Гуляев (ред.). Антология советской археологии. Т. 3 (1941–1956). М.: Институт археологии РАН, 1996. С. 8–9.

[4] Shnirelman V. A. Politics of Ethnogenesis in the USSR and After // Bulletin of the National Museum of Ethnology, 2005, vol. 30, no. 1. P. 93–119. Подробно см.: Шнирельман В.А. Быть аланами: интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX в. М.: НЛО, 2006. С. 546–553.

[5] Kohl Ph. L. Nationalism and Archaeology: on the Considerations of Nations and the Reconstructions of the Remote Past // Annual Review of Anthropology, 1998, vol. 27. P. 232.

[6] Крупнов Е. И. Древнейший период истории Кабарды // Сборник по истории Кабарды. Вып. 1. Нальчик: Кабардинское государственное издательство, 1951. С. 21.

[7] *Ср.:* Bhabha H. K. (ed.). Nation and Narration. London: Routledge, 1990.

[8] Шнирельман В. А. Хазарский миф: идеология политического радикализма в России и ее истоки. М.; Иерусалим: Мосты культуры, Гешарим, 2012.

[9] Conquest R. The Nation Killers: the Soviet Deportation of Nationalities. London: Macmillan, 1970; Nekrich A. M. The Punished Peoples: the Deportation and Tragic Fate of Soviet Minorities at the End of the Second World War. N. Y.: W. W. Norton, 1978; Бугай Н. Ф. (сост.). Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши. М.: Капь, 1994; Бугай Н. Ф., Гонов А. М. Кавказ: народы в эшелонах. М.: Инсан, 1998.

[10] *См., напр.,* Штанько Н. И. Выявление и изучение исторических и археологических памятников в Грозненской области // Известия Грозненского областного института и музея краеведения (Грозный), вып. 2-3. 1950. С. 173-175.

[11] Виноградов В. Б., Лосев И. К., Саламов А. А. Чечено-Ингушетия в советской исторической науке. Грозный: Чечено-Ингушский НИИ, 1963. С. 34.

[12] Крупнов Е. И. Средневековая Ингушетия. М.: Наука, 1971. С. 13.

[13] Подробно см.: Мунчаев Р. М. К истории археологического изучения Чечни (из итогов работ Северокавказской экспедиции в 1957-1968 гг.) // Культура Чечни: история и современные проблемы / Отв. ред. Х.В. Туркаев. М.: Наука, 2002. С. 25-37.

[14] Мунчаев Р. М. К 60-летию Евгения Игнатьевича Крупнова // Советская археология, 1964, № 1. С. 3-7; он же. Евгений Игнатьевич Крупнов: к столетию со дня рождения // Российская археология, 2004, № 1. С. 5-14.

[15] Крупнов Е. И. О состоянии и задачах изучения археологии Кавказа // КСИИМК, 1955, вып. 60. С. 3-13.

[16] Крупнов Е. И. К истории Ингушии // Вестник древней истории, 1939, № 2. С. 77-90; он же. История Ингушии с древнейших времен до XVIII века. Рукопись. М., 1941 (Архив ИА РАН, фонд 13, дело 59).

[17] Крупнов Е. И. Грузинский храм «Тхоба-Ерды» на Северном Кавказе // КСИИМК, 1947, вып. 15. С. 116; он же. Археологические памятники верховьев р. Терека и бассейна р. Сунжи // Труды Государственного исторического музея, 1948, вып. 17. С. 7, 47-48; он же. К историко-археологическому изучению Грозненской области // Известия Грозненского областного института и музея краеведения, 1948, вып. 1. С. 51-62.

[18] Пчелина Е. Г. Два погребения времени алано-хазарской культуры из селения Лац // Труды секции археологии Института археологии и искусствознания РАНИОН, 1928, т. 4. С. 408-426. Об этом *см.* Виноградов В. Б. Сарматы Северо-Восточного Кавказа. Грозный, 1963 (Труды Чечено-Ингушского НИИ, т. 6). С. 99.

[19] Готье Ю. В. Железный век в Восточной Европе. М.-Л.: Госиздат, 1930. С. 54-61, 85-86.

[20] Джавахишвили И. А. Историко-этнологические проблемы Грузии, Кавказа и Ближнего Востока // Вестник древней истории, 1939, № 4. С. 30-49.

[21] Крупнов Е. И. История культуры народов Северного Кавказа с древнейших времен до X в. Рукопись. М., 1940 (Архив ИА РАН, фонд 13, дело 58). С. 25-27; он же. История Ингушии… С. 120.

[22] Смирнов К. Ф. Итоги и очередные задачи изучения сарматских племен и их культуры // Советская археология, 1953, вып. 17. С. 133.

[23] Граков Б. Н. Пережитки матриархата у сарматов // Вестник древней истории, 1947, № 3.

[24] Смирнов А. П. К вопросу о формировании кабардинского народа по археологическим данным // Ученые записки Кабардинского Научно-исследовательского института. Т. 4. Нальчик, 1948. С. 79-88.

[25] Мацулевич Л. А. Аланская проблема и этногенез Средней Азии // Советская этнография, 1947, т. 6-7. С. 131-132.

[26] Смирнов К. Ф. Новые данные по сарматской культуре Северного Кавказа // КСИИМК, 1950, вып. 32. С. 119; Семенов Л. П. Археологические разведки в Ассинском ущелье // КСИИМК, 1952, вып. 46. С. 110-121.

[27] Крупнов Е. И. К истории племен Северного Кавказа I тысячелетия христианской эры. Рукопись. М., 1930-е гг. (Архив ИА РАН, фонд 13, дело 56).

[28] Аммиан Марцеллин. Римская история, XXXI, 2, 13.

[29] *Об этом см.:* Шнирельман В. А. Злоключения одной науки: этногенетические исследования и сталинская национальная политика // Этнографическое обозрение, 1993, № 3. С. 57-58.

[30] Так тогда думали многие советские исследователи. *См., напр.,* Мацулевич Л.А. Аланская проблема.

[31] Крупнов Е. И. Краткий очерк археологии Кабардинской АССР. Нальчик: Кабгосиздат, 1946. С. 31-35.

[32] Там же. С. 45-46.

[33] Там же. С. 35; он же. Археологические памятники верховьев р. Терека. 38-44.

[34] Крупнов Е. И. Археологические памятники верховьев р. Терека… С. 48.

[35] Крупнов Е. И. К истории Ингушии. С. 83-84; он же. История Ингушии с древнейших времен. С. 121-122.

[36] Смирнов Н. А., Крупнов Е. И. Очерки по истории Кабарды. Т. 1. План-конспект // Ученые записки Кабардинского НИИ, 1949, Т. 5. С. 317.

[37] Крупнов Е. И. Краткий очерк… С. 42; он же. Предисловие // Е. И. Крупнов (ред.). Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. М.-Л.: Изд-во АН СССР (МИА, вып. 23), 1951. С. 9-10.

[38] Крупнов Е. И. Предисловие. С. 11.

[39] Крупнов Е. И. К изучению древних культур Северо-восточного Кавказа // Известия Грозненского областного краеведческого музея, 1956, вып. 7-8. С. 49.

[40] По свидетельству его ближайшего коллеги, Крупнов тяжело переживал факт депортации северокавказских народов. См.: Мунчаев Р. М. Северо-восточный Кавказ и Ближний Восток // Г. Е. Афанасьев (ред.). Актуальные проблемы археологии Северного Кавказа. М.: ИА РАН, 1996. С. 3; он же. К истории археологического изучения, с. 26. А в 1958 г. в связи с событиями в Грозном он даже написал записку в ЦК КПСС со своей оценкой ситуации, но никакого ответа не получил. О событиях в Грозном см. «Перерастут от национальной розни до национальной резни» // Источник, 1996, № 6. С. 97-101. см. также Шнирельман В. А. Быть аланами. Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке. М.: НЛО, 2006. С. 249.

[41] Виноградов В. Б. Памяти вечная нить. Грозный: Чечено-Ингушское книжное изд-во, 1988. С. 124.

[42] Крупнов Е. И. О происхождении осетинского народа и его культуры по археологическим данным // Социалистическая Осетия, 4 июля 1952. С. 2; он же. Об этногенезе осетин и других народов Северного Кавказа // А. Д. Удальцов (ред.). Против вульгаризации марксизма в археологии. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1953. С. 145-163.

[43] Крупнов Е. И. Древняя история Северного Кавказа. М.: Издательство АН СССР, 1960. С. 359; Кузнецов В. А. Аланские племена Северного Кавказа. М.: АН СССР, 1962. С. 12, 118.

[44] Крупнов Е. И. Древняя история Северного Кавказа. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 387-391.

[45] Там же. С. 393-395. Примечательно, что позднее Крупнов избегал такого оценочного подхода к языкам. *Ср.:* Крупнов Е. И. Проблема происхождения осетин по археологическим данным // Х. С. Черджиев (ред.). Происхождение осетинского народа. Орджоникидзе: Северо-Осетинское кн. изд-во, 1967. С. 40.

[46] Крупнов Е. И. Древняя история Северного Кавказа. С. 392; он же. О чем говорят памятники материальной культуры Чечено-Ингушской АССР. Грозный: Чечено-Ингушское кн. изд-во, 1961. С. 43.

[47] Впрочем, поставленный рецензентами вопрос о том, почему не произошло «иранизации» на Северо-западном Кавказе, где влияние скифов и сарматов было не менее сильным, до сих пор остается без ответа. *См.:* Мунчаев Р. М., Марковин В. И. Рец.: Е. И. Крупнов. Древняя история и культура Кабарды. М., 1957 // Советская археология, 1959, № 2. С. 269.

[48] О резкой реакции осетинского автора на приведенные слова Крупнова *см.:* Гаглойти Ю. С. Этногенез осетин по данным письменных источников // Х. С. Черджиев (ред.). Происхождение осетинского народа. Орджоникидзе: Северо-Осетинское кн. изд., 1967. С. 95. Встречались и более умеренные оценки, но и они сводились к тому, что Крупнов неправомерно преувеличивал вклад местных племен в этногенез осетин. *См., напр.,* Калоев Б. А. Осетины (историко-этнографическое исследование). М.: Наука, 1971. С. 15.

[49] Кокиев Г. А. Об одной фашистской фальсификации истории осетин // Исторический журнал, 1944, № 2-3. С. 43-47.

[50] Крупнов Е. И. Краткий очерк… С. 34-43.

[51] См., напр., Струве В. В. Арийская проблема // Советская этнография. Вып. 6-7. М.-Л.: АН СССР, 1947; Читая Г. С. О задачах кавказской советской этнографии // Труды Института истории им. И. А. Джавахишвили АН Грузинской ССР, 1955. Т. 1. С. 375-385; Крупнов Е.И. О чем говорят памятники материальной культуры Чечено-Ингушской АССР. Грозный: Чечено-Ингушское кн. изд-во, 1961. С. 12-13; Тотоев М. С. Выдающийся ученый кавказовед // Уч. зап. Северо-Осетинского государственного педагогического института, 1967, Т. 27, вып. 1. С. 243-244; Чомаев К. И. О природе этнических предубеждений // С. М. Арутюнян (ред.). Вопросы национальной психологии. Черкесск: Карачаево-Черкесская областная типография, 1972. С. 171-172; Пиотровский Б. Б. Страницы моей жизни. СПб.: Наука, 1995. С. 272-273.

[52] Абаев В. И. Поправки к чтению древнеосетинской Зеленчукской надписи // Сообщения Академии Наук Грузинской ССР, 1944, т. 5, № 2. С. 224-226. Еще одной причиной нелюбви к иранству была его опасная ассоциация с панирализмом, ибо с 1930-х гг. в СССР проходили бесконечные кампании борьбы с пан-идеями (пантюркизмом, панфиннизмом и пр.), жертвами которых стали немало ученых.

[53] Так, ссылаясь на археологические данные, сегодня М. М. Блиев реанимирует давно отброшенную идею о том, что вайнахи поселились в горах Кавказа не ранее XI-XII вв. *См.:* Блиев М. М. Россия и горцы Большого Кавказа на пути к цивилизации. М.: Мысль, 2004. С. 44-45.

[54] *См., напр.,* Нечаева Л. Г. Могильник Алхан-Кала и катакомбные погребения сарматского времени на Северном Кавказе. Автореф. канд. дисс. М.: ИИМК, 1956. С. 16-18; Виноградов В. Б. Сарматы Северо-Восточного Кавказа. Грозный (Труды Чечено-Ингушского НИИ, т. 6), 1963. С. 95-102; Кузнецов В. А. Очерки истории алан. Владикавказ: Ир, 1992. С. 41.

[55] Кузнецов В. А. Аланская культура Центрального Кавказа и ее локальные варианты в V–XIII вв. // В. А. Кузнецов (ред.). Материалы по археологии и древней истории Северной Осетии. Т. 3. Орджоникидзе: СОНИИ, 1975. С. 24-25, 29; Виноградов В. Б., Мамаев Х. М. Некоторые вопросы раннесредневековой истории и культуры населения Чечено-Ингушетии // В. Б. Виноградов (ред.). Археология и вопросы этнической истории Северного Кавказа. Грозный: Чечено-Ингушский гос. университет, 1979. С. 77-78; Петренко В. А. Погребальный обряд населения Юго-восточной Чечни в III в. до н. э. – IV в. н. э. как этнический показатель // Там же; Савенко С. Н. О раннем этапе аланской культуры Северного Кавказа // Там же; Чахкиев Д. Ю. Новые воинские захоронения золотоордынского времени Паметского могильника горной Ингушетии // Д. Ю. Чахкиев (ред.). Новое в археологии и этнографии Ингушетии. Нальчик: Эль-Фа, 1998.

[56] Абрамова М. П. К вопросу об аланской культуре Северного Кавказа // Советская археология, 1978, № 1. С. 72-82.

[57] *См., напр.,* Артамонов М. И. Археологические исследования в СССР // Правда, 7 февраля 1938. С. 4; Крупнов Е. И. Археологические работы в Северной Осетии // Социалистическая Осетия, 29 июля 1938. С. 3.

[58] Крупнов Е. И. Новые источники по древней истории и культуре Северного Кавказа // Грозненский рабочий, 28 сентября 1957. С. 3.

[59] Ср. БСЭ, 1934. Т. 61. С. 530-536; БСЭ, 1958. Т. 51. С. 307-312.

[60] Крупнов Е. И. Проблема происхождения осетин по археологическим данным // Х. С. Черджиев (ред.). Происхождение осетинского народа. Орджоникидзе: Северо-Осетинское кн. изд., 1967. С. 33.

[61] Там же. С. 36. *См. также* Кузнецов В. А. Аланские племена Северного Кавказа. М.: АН СССР, 1962. С. 114-119; он же. Очерки истории алан. С. 219-220; Алексеева Е. П. Выступление // Х. С. Черджиев (ред.). Происхождение осетинского народа. Орджоникидзе: Северо-Осетинское книжное издательство, 1967.

[62] Гаглойти Ю. С. Этногенез осетин по данным письменных источников // Х. С. Черджиев (ред.). Происхождение осетинского народа. Орджоникидзе: Северо-Осетинское кн. изд., 1967. С. 86.

[63] Крупнов Е. И. Проблема происхождения осетин. С. 32-33, 40-41. См. также Абдушелишвили М. Г. Генезис горнокавказских групп в свете данных антропологии // Х. С. Черджиев (ред.). Происхождение осетинского народа. Орджоникидзе: Северо-Осетинское кн. изд., 1967. С. 141; Алексеев В. П. Антропологические данные к происхождению осетинского народа // Там же; Шарашидзе Л. П. Об антропологическом взаимоотношении осетинского и чечено-ингушского народов // Там же; Герасимова М. М. Палеоантропология Северной Осетии в связи с проблемой происхождения осетин // Этнографическое обозрение, 1994, № 3. С. 51-68; она же. Е. И. Крупнов и палеоантропология Северного Кавказа // Л. Т. Яблонский (ред.). Древний Кавказ: ретроспекция культур. М.: ИА РАН, 2004. С. 54-57.

[64] Гаглойти Ю. С. Этногенез осетин… С. 89-92.

[65] Там же. С. 88-89.

[66] Там же. С. 96.

[67] Турчанинов Г. Ф. Выступление // Х. С. Черджиев (ред.). Происхождение осетинского народа. Орджоникидзе: Северо-Осетинское кн. изд., 1967; он же. Памятники письма и языка народов Кавказа и Восточной Европы. Л.: Наука, 1971. С. 43-67.

[68] Алексеева Е. П. Выступление. С. 257; Виноградов В. Б. Античные источники и данные археологии скифо-сарматского времени в Центральном Предкавказье в свете проблемы этногенеза осетин // Х. С. Черджиев (ред.). Происхождение осетинского народа. Орджоникидзе: Северо-Осетинское кн. изд., 1967. С. 179-185; Абрамова М. П. Выступление // Там же; Крупнов Е. И. Заключительное слово // Там же. См. также: Виноградов В. Б. Центральный и Северо-Восточный Кавказ в скифское время (VII-IV вв. до н. э.). Грозный: Чечено-Ингушское кн. изд-во, 1972. С. 285-294; Герасимова М.М. Е.И. Крупнов и палеоантропология…

[69] Гаглойти Ю. С. Выступление // В. А. Кузнецов (ред.). Материалы по археологии и древней истории Северной Осетии. Т. 3. Орджоникидзе: СОНИИ, 1975.

[70] Гагкаев К. Е. К проблеме субстрата // Х. С. Черджиев (ред.). Происхождение осетинского народа. Орджоникидзе: Северо-Осетинское кн. изд., 1967.

[71] Кибизов Т. Н. Выступление // Там же.

[72] Тотоев М. С. Выступление // Там же.

[73] Кумыков Т. Х. Выступление // Там же.

[74] Абаев В. И. Этногенез осетин по данным языка // Там же. С. 16-17.

[75] Абаев В. И. Этногенез осетин…; Гаглойти Ю. С. Этногенез осетин… С. 81-83; Гуриев Т. А. Выступление // Х. С. Черджиев (ред.). Происхождение осетинского народа. Орджоникидзе: Северо-Осетинское кн. изд., 1967; Кулаев Н. Х. Выступление // Там же.

[76] Крупнов Е. И. Древняя история Северного Кавказа. С. 392; Кузнецов В. А. Аланские племена… С. 132; он же. Некоторые вопросы этногенеза осетин по данным средневековой археологии // Х. С. Черджиев (ред.). Происхождение осетинского народа. Орджоникидзе: Северо-Осетинское кн. изд., 1967. С. 63; Алексеева Е. П. Выступление.

[77] Лайпанов К. Т. О тюркском элементе в этногенезе осетин // Х. С. Черджиев (ред.). Происхождение осетинского народа. Орджоникидзе: Северо-Осетинское кн. изд., 1967; Чеченов И. М. О социально-экономических предпосылках формирования осетинского народа // Там же. С. 241; Кумыков Т. Х. Выступление; Умаров С. Ц. Основные черты материальной культуры позднесредневековой горной Чечни (X–XVI вв.) // В. А. Кузнецов (ред.). Материалы по археологии и древней истории Северной Осетии. Т. 3. Орджоникидзе: СОНИИ, 1975; Вагапов Я. С. Вайнахи и сарматы. Грозный: Книга, 1990. С. 106-110; Ахмадов Я. З. История Чечни с древнейших времен до XVIII в. М.: Мир дому твоему, 2001. С. 179, 190, 194; Багаев М. Х. Из культурно-исторического прошлого чеченцев // Х. И. Ибрагимов, В. А. Тишков (ред.). Чеченская Республика и чеченцы. М.: Наука, 2006. С. 146.

[78] *Подробно см.:* Шнирельман В. А. Быть аланами. С. 110-118.

[79] Trigger B. G. Alternative Archaeologies: Nationalist, Colonialist, Imperialist // Man, 1984, vol. 19, no. 3, P. 355-370; idem. A History of Archaeological Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2005; Kohl Ph. L. Nationalism and Archaeology: on the Considerations of Nations and the Reconstructions of the Remote Past // Annual Review of Anthropology, 1998, vol. 27, P. 223-246; Smith A. D. Authenticity, Antiquity and Archaeology // Nations and Nationalism, 2001, vol. 7, no. 4, P. 441-449; Díaz-Andreu M. A World History of Nineteenth-century Archaeology. Nationalism, Colonialism and the Past. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Анна Еремеева

Ученый в условиях гражданского противостояния: специфика научной деятельности и научной коммуникации

История научной интеллигенции в период революционных потрясений 1917-1920 гг. долгое время рассматривалась главным образом в территориальных рамках российских столиц и в контексте большевистской политики в области науки и высшей школы. Исключение составляли небольшие, типа «сообщений с мест», публикации начала 1920-х гг. в советских журналах («Наука и ее работники», «Книга и революция» и др.), содержавшие информацию об основных событиях в области науки и культуры военных и революционных лет в российских регионах. Так, Д. Павлов в обзоре научной и вузовской жизни Северного Кавказа выделил факторы, способствовавшие обогащению региона научными учреждениями и вузами «за время оторванности от Центральной России». Это «давняя вопиющая нужда Кавказа в своих рассадниках и очагах науки», «связанный с революционными переживаниями духовный подъем», Гражданская война («молодому поколению за невозможностью пробраться в центр, негде было учиться»), а также «похвальная отзывчивость» властей: советской, казачьей, добровольческой [Павлов 1921: 28-29]. Обзор деятельности научных организаций Крыма в годы революционных потрясений представлен в статье академика В.И. Вернадского [Вернадский В.И. 1921: 3-12].

В журнале «Русская книга» («Новая русская книга»), выходившем в Берлине под редакцией А.С. Ященко с 1921 по 1923 г., в разделах «Книжная летопись» и «Писатели» публиковались заметки о книгоиздании, о жизни и творчестве русских писателей и ученых. Причем особый интерес проявлялся к регионам, находившимся под властью несоветских режимов. По сути, постановочный характер носит статья биолога П. Гальцова «Русская наука и ученые в Крыму (1917-1920 гг.)», обозначившая контур будущих исследований уже в первом абзаце: «Будущему историку несомненно придется уделить серьезное внимание положению русской науки и ученых во время революции. Разбросанные по громадному пространству Европейской и Азиатской России, в крайне тяжелых материальных и моральных условиях, часто без книг и лабораторий, русские ученые не только сохранили какое-то, я бы сказал, инстинктивное стремление продолжать свою

научную работу, но наперекор разбушевавшейся народной стихии, обуянной стремлением к разрушению, проявили творческий порыв и покрыли Россию сетью выросших как грибы, новых университетов, политехникумов и других высших учебных заведений» Гальцов 1922: 27].

Советские историки, в силу идеологических причин, долгое время игнорировали данную проблематику. Процессы, имевшие место на территориях, не раз переходивших из рук в руки, большую часть времени находившихся под властью контрреволюционных режимов, практически не исследовались. В трудах по истории высших учебных заведений период контрреволюции оценивался исключительно негативно. Тем не менее, отдельные аспекты деятельности научной интеллигенции в периоды правления несоветских режимов на материалах Сибири, Северного Кавказа, Поволжья раскрыты в трудах В.Л. Соскина [Соскин 1965], И.Я. Куценко [Куценко 1973], Б.Ф. Султанбекова [Султанбеков 1985]. Рубежной в осмыслении темы можно считать статью С.А. Федюкина «Интеллигенция и белое движение» [Федюкин 1987], где рассмотрена роль отдельных профессиональных групп интеллигенции (в том числе и научной) в политической жизни «белой» России, обоснована необходимость изучения темы «интеллигенция за линией фронта».

С конца 1980-х по настоящее время были опубликованы труды, отразившие различные аспекты истории научной интеллигенции в годы революции и Гражданской войны: роль научной интеллигенции в возникновении и функционировании отдельных вузов, научно-исследовательских учреждений; взаимоотношения научной интеллигенции и власти; идейно-политическое размежевание, условия профессиональной деятельности, материальное положение научной интеллигенции (см. напр., работы А.И. Авруса, Л.Г. Берлявского, Н.И. Дмитриева, А.Н. Еремеевой, В.А. Кузнецова, А.Л. Литвина, Л.А. Молчанова, О.М. Морозовой, А.Л. Посадскова, Н.А. Решетовой, Г.Д. Селяниновой, В.Л. Соскина, С.Б. Филимонова и др.). Комплексный анализ развития науки в годы революции и гражданской войны произведен Э.И. Колчинским [Колчинский 2003].

Публикация биографий ученых, а также источников личного происхождения - мемуаров, дневников, частной переписки - открыла широкие возможности реконструкции индивидуальных поведенческих практик.

В статье рассматриваются специфика научной деятельности и научной коммуникации в годы Гражданской войны. В качестве объекта исследования выступают провинциальные ученые и их столичные коллеги. Территориальные рамки охватывают регионы бывшей Российской империи (главным образом южные), ставшие центрами гражданского противостояния, противоборства различных политических режимов и массовой миграции.

По роду деятельности в условиях Гражданской войны среди научной интеллигенции можно выделить три группы: 1) ученые, занимавшиеся преимущественно научной, научно-педагогической деятельностью, ее организацией; 2) ученые, работавшие в политических и правительственных структурах различных режимов, руководящих органах партий и других политических объединений; издатели/редакторы газет, а также активно занимавшиеся политической публицистикой; 3) сочетавшие первые два рода деятельности – параллельно или последовательно.

В фокусе нашего внимания находились, главным образом, те, кто не порывал с научной/научно-педагогической деятельностью, для кого производство и трансляция знаний остались ключевыми даже в условиях Гражданской войны.

В период радикальных и стремительных перемен все члены общества одинаково испытывают чувство растерянности, неуверенности в будущем, лишаются надежных ориентиров. Это сопровождается не только усложненной адаптацией, но и более глубокими и специфическими реакциями индивида на разрушение той сети социальных связей и норм, которые регулировали его социальные действия раньше [Наумова 1996: 43].

В частных источников личного происхождения периода Гражданской войны переживаемое время характеризовалось как «безвременье», «смута». При этом будущее представлялось весьма туманным: во-первых, из-за непредсказуемости итога противостояния, во-вторых, по причине невозможности предвидеть последствия победы какой-либо из воюющих сторон. Ощущая в полной мере катастрофичность текущих событий, ученые именно в интенсивной научной и преподавательской деятельности видели единственный способ выжить и сохранить устойчивую психику. Наиболее откровенно эта позиция выражена в дневнике В.И. Вернадского. «Среди зоологических украинских и великорусских инстинктов хочется уйти во что-то такое вечное, которое стоит выше этого, и с чем я соприкасаюсь в той твор-

ческой научной работе, которой живу эти месяцы» – писал ученый [Вернадский В. И. 1994: 147].

Реальной возможностью заработка в условиях социальной катастрофы для ученых была преподавательская деятельность, чему способствовало изменение географии высшей школы в бывшей Российской империи. Этот процесс начался еще в годы Первой мировой войны и шел по нарастающей. Из Варшавы, Юрьева, других городов вузы эвакуировались на территории, удаленные от линии фронта. Многие преподаватели переехали в Пермь – филиал Петроградского университета, в 1917 г. ставший Пермским университетом. Особенно массовым было перемещение ученых из столичных городов на периферию в 1918-1919 гг. Разруха, голод, и как следствие – смерть многих деятелей науки, а также репрессии со стороны новой власти в отношении ряда ученых стимулировали покидать Москву и Петроград. Естественным был отъезд для тех, кто считал необходимым принимать непосредственное участие в деятельности антибольшевистских сил. Автор трудов по истории высшего образования в России А.И. Аврус справедливо указывает на такой фактор как открытие новых университетов, новых факультетов, новых кафедр в провинции, что давало возможность молодым талантливым ученым быстро получать профессорские должности и возглавлять кафедры [Аврус 2004: 53]. Предпочтение отдавалось Югу и хлебным местам. На Урале и в Сибири жизнь была тоже дешевле и сытней, чем в Москве и Петрограде.

Учитывая массовую миграцию в регионы не только ученых, но и потенциальных студентов, следует отметить, что научная интеллигенция немало сделала для становления новых и реорганизации старых высших учебных заведений. Ученые нередко выступали инициаторами создания/учредителями вузов, формируя для себя и своих коллег места дополнительных заработков.

В 1918-1919 гг. были созданы Таврический университет в Симферополе, Украинский в Киеве, Екатеринославский, Иркутский, Тифлисский, Астраханский университеты, политехнические институты в Одессе, Владикавказе, Екатеринодаре, сельскохозяйственные вузы в Одессе и Омске, Ставрополе, коммерческий и археологический институты в Ростове-на-Дону, Академия художеств в Киеве и т.д. Как грибы после дождя росли консерватории. Их создание оказалось делом особенно рентабельным, т.к. не требовало больших денежных вложений. Музыкальные вузы возникали либо на основе старых му-

зыкальных училищ, либо в результате отпочкования от действующих консерваторий.

Уникальным можно назвать кадровый состав региональных вузов. Очевидец событий П. Гальцов писал, что университеты и политехникумы были, «в большинстве случаев крайне бедно обставленные, но иногда богатые такими именами, которым мог бы позавидовать любой западноевропейский университет» [Гальцов 1922: 27].

В молодом Иркутском университете преподавали профессор, доктор философии Кенигсбергского университета, известный египтолог И.Г. Франк-Каменецкий, лингвист А.М. Селищев, впоследствии член-корреспондент академий наук СССР и Болгарии, один из крупнейших русских славистов XX века.

Множество известных ученых, среди которых видные представители дореволюционной академической и вузовской науки (В.И. Вернадский, Д.В. Айналов и др.) и будущие советские академики (Н.М. Крылов, И.Е. Тамм, Н. К. Гудзий, Б. Д. Греков и др.) работало в Таврическом университете. Как отмечал Н.К. Гудзий в статье, посвященной первой годовщине университета, «при выборе кандидатов на занятие кафедр Совет профессоров имеет право действительно выбирать, т.к. нередко на одну вакансию имеется несколько кандидатов и притом в ряде случаев весьма солидных» [Филимонов 2008: 235].

Руководство и профессура вузов пыталась обеспечить их привычную, как в мирное время, деятельность. В обычном режиме проходили заседания ученых советов. Приглашались профессора и доценты из других городов, как по конкурсу – на постоянную работу, так и для прочтения небольших курсов. В связи с условиями военного времени и территориально-административными изменениями последних лет, вузы обеспечивали приглашенных бумагами (за подписью официальных лиц из руководства режима), необходимыми для пересечения границ, въезда в том или иной город.

Многие уже избранные по конкурсу преподаватели не доезжали до места назначения. В автобиографиях и мемуарах они объясняли это разрухой, расстройством железнодорожного сообщения, начавшимися военными действиями и пр. В действительности главной причиной являлись смены власти, точнее установление советской власти. Решение о смене направления принималось почти молниеносно. Нередко решающим фактором становились встречи с коллегами на вокзале или в поезде. Важную роль в принятии подобных ре-

шений играла переписка с коллегами, не прекращавшаяся даже в экстремальных условиях.

Ученые нередко переезжали из одного университетского города в другой, не задерживаясь на одном месте больше учебного года. Имели место случаи эвакуации университетов в тыл Белой армии: Казанского - в сентябре 1918 г. и Пермского - летом 1919 г. в Томск.

Свидетельством продолжавшихся контактов между российскими университетами различных регионов является интенсивная деловая переписка. Один из сохранившихся документов – письмо Совету профессоров Новороссийского университета из Ростова-на-Дону от 8 мая 1918 г. Одесских коллег информировали о возникновении Археологического института, его образовательной миссии [ГАОО, ф. 45, оп. 4, д. 2029, л. 60]. В газете «Одесский листок» была опубликована статья по случаю годовщины убийства профессора Донского университета А.Р. Колли [Яншиевский 1919].

В короткие сроки создавались учебные планы, писались и издавались или переиздавались учебники. Последнее было чрезвычайно актуальным, учитывая повсеместный книжный голод. В новых университетских центрах учебники исчислялись единицами, что создавало трудности с подготовкой к экзаменам.

Возможность даже в экстремальных условиях публиковать учебные пособия и научные труды стимулировала активность и нередко воплощалась в неординарных работах. Блестящий медиевист П.М. Бицилли. в условиях частных смен власти в Одессе подготовил и издал две книги. Первая – «Падение Римской империи» (Одесса, 1918) представляла собою курс лекций, прочитанных в университете. Вторая – «Элементы средневековой культуры» (Одесса, 1919) – была посвящен анализу средневекового сознания, ментальности, тому, что позже будет признано главной заслугой школы «Анналов». Как отмечает исследователь творчества Бицилли М.А. Бирман, урожай откликов на книгу был сравнительно невелик – небольшая рецензия академика Н.П. Кондакова в газете «Одесский листок», два отзыва в научных изданиях [Бирман 2006: 660], однако факт их наличия в столь специфических условиях красноречив.

С целью обеспечения учебной, научной деятельности, сохранности собственности руководство нередко формулировало в адрес органов городского самоуправления, руководства режимов достаточно специфические, детерминированные текущим моментом просьбы. Например, ректор Новороссийского университета просил «принять

неотложные меры к освобождению астрономической обсерватории от постоя австро-германских солдат», «оградить Ботанический сад от погребения там австрийских солдат» [ГАОО, ф. 45, оп 4. д. 2029. л. 35-36.]. В духе времени звучит поздравление профессора Харьковского университета Г.Н. Высоцкого академику В.И. Вернадскому, от 1 апреля 1919 г.:«Сегодня на заседании ученого комитета Вы и А.В. Фомин избраны в члены ученого комитета единогласно. Очень рад этому, как и тому, что распространившийся вчера слух об аресте Вас в заложники оказался неверным» [АРАН, ф. 518, оп 3. д. 378. л. 2.].

Преподавание в вузах обеспечивало освобождение от военной службы, что было особенно актуальным для молодых ученых. В архивах сохранились многочисленные ходатайства советов вуза об освобождении от мобилизации или об отзыве с действительной военной службы преподавателей. Так, в марте 1919 г. повестку в колчаковскую армию получил ассистент Томского университета, будущий нобелевский лауреат Н.Н. Семенов. По ходатайству ректора университета и на основании постановления Совета министров от 4 марта 1919 г., он, как и ряд других преподавателей университета, Особым совещанием при Главном штабе в заседании от 27 апреля был освобожден от призыва в войска [Майер, Фоминых 2005: 362]. Аналогичным образом, как правило, реагировали на вузовские ходатайства советские органы.

Советы вузов решали вопросы о предоставлении профессорам командировок, в том числе и заграничных. В архивных фондах Новороссийского и Ростовского (бывшего Варшавского) университетов сохранились ходатайства различного уровня, касающиеся командировок. Их анализ дает возможность составить наиболее общие представления о процедуре командирования. Первым этапом было личное заявление желавшего выехать для научной работы за границу. В нем определялись сроки (на «вакационное» время, на год или другие сроки), цель и предполагаемое место/места стажировки, характер финансирования (за счет направляющего вуза, с сохранением жалования или «без пособия»). Иногда в подобных заявлениях фигурировали имена коллег, согласившихся замещать командируемого.

Вероятно, даже на уровне факультета вопрос о зарубежных командировках решался коллегиально. Свидетельство тому – приводимый ниже документ, исходящий от декана физико-математического факультета Ростовского университета: «Циркулярно. Г.г. членам факультета. Прилагая при сем прошение приват-доцента Д.И. Иловай-

ского о командировании его с научной целью за границу на 4 месяца без денежного пособия, покорнейше прошу г.г. членов факультета высказаться на сем же о своем согласии, или несогласии» [ГАРО, ф. 527, оп 1. д. 426. л. 47.]. На документе имеется множество положительных резолюций с подписями членов факультета. Декан, получив одобрение коллег по факультету, писал ходатайство в Совет университета, а Совет – в соответствующее ведомство.

Деятельность вузов, их востребованность, выражавшаяся в массовом наплыве студентов, внушали оптимизм. Ведь таким образом, невзирая на гражданскую катастрофу, формировалось будущее России, и ученые работали на него. В отчете о деятельности Таврической ученой архивной комиссии за 1918 г. читаем: «Среди мрачных обстоятельств истекшего года в жизни Таврической губернии исключительно светлым явлением было открытие в Симферополе в 1918 г. Университета» [Филимонов 2010: 57]. Известный статистик и историк казачества, член-корреспондент РАН Ф.А. Щербина в речи, посвященной первой годовщине Кубанского политехнического института, подчеркивал: «Казалось бы, что учреждению, долженствующему сеять знания и свет, нет места в обстановке резни и смертей, вражды и разрушения. Но факт налицо, институт уже существует. … Я обращаюсь к вам, мои молодые друзья – студентки и студенты: смело и бодро берите предлагаемые вашею alma mater знания, бережно несите их и сейте на родной Кубани и Кавказе, памятуя, что вы – молодые силы и что в ваших руках светлое, общечеловеческое будущее, долженствующее рассеять редеющий уже мрак человеческих распрей» [Щербина 1920].

Важной составляющей интеллектуальной жизни революционных лет была деятельность научно-исследовательских центров, в том числе новых, явившихся детищем местных и приезжих специалистов. Как справедливо отмечает Э.И. Колчинский, в Сибири, на Северном Кавказе, Юге Украины складывалась уникальная ситуация, дающая возможность для сохранения и организации науки в условиях кризиса [Колчинский 2003: 403]. Компетенции ученых были востребованы (хотя в меньшей степени, чем в вузах) в научно-исследовательских организациях, на опытных станциях, в правительственных учреждениях – как старых, так и основанных в революционные годы. Под руководством Н.П. Василенко и В.И. Вернадского развернулась активная работа по организации Украинской академии наук. В комиссию

по организации академии вошли ведущие украинские ученые, они же стали первыми академиками.

Среди новых научно-исследовательских центров, возникших за пределами большевистской России, - созданный в декабре 1917 г. в Екатеринодаре Совет обследования и изучения Кубанского края, объединивший специалистов в области химии, почвоведения, сельского хозяйства. К весне 1919 г. в рамках Совета работало четырнадцать секций. Несмотря на суровые реалии гражданской войны, экспедиции Совета обследовали почвы Кубани, залежи цемента и железных руд, животноводство, посевные площади, урожай, промышленные предприятия, метеорологические станции [Кузнецов 1997].

В Архангельске в 1918 году возникла «Северная научно-промысловая ассоциация» и ряд подобных организаций для изучения природных богатств Севера. В январе 1919 года в Томске при личной поддержке А.В. Колчака (в прошлом полярного исследователя) был создан Институт исследования Сибири. Основной задачей Института определялось «научно-практическое исследование природы, жизни и населения Сибири в видах наиболее рационального использования природных богатств края и культурно-экономического его развития» [Молчанов 2007].

Вузы, научные общества и учреждения российских регионов представляли собой своеобразное пространство профессиональной и личностной коммуникации провинциальной интеллигенции и столичных ученых. Последние, с одной стороны, интеллектуально обогащали коллег из регионов, с другой – имели возможность расширить собственные познания. В.И. Вернадский выступал с докладом о живом веществе в научных обществах практически всех городов, которые посещал в годы Гражданской войны, возлагая особые надежды на прения, «фиксировавшие мысль». Поражают оптимизмом строки из дневника ученого, написанные в конце 1919 г.: «Неожиданно выяснилась возможность принять участие в организации широких исследований Азовского моря и Кубани. […] Сама судьба дает в мои руки возможность приложить проверку моих выкладок в широком масштабе» [Вернадский В.И. 1994: 192]. По мнению исследователя творчества Вернадского К. Бэйлза (K. Bailes), годы Гражданской войны были самым плодотворным периодом в научном творчестве Вернадского, несмотря на лишения, трудности, опасности. Наука стала для него путем бегства от ужасов войны и революции и поддержания оптимистического взгляда на мир [Bailes 1990: 145].

Несмотря на преподавательскую деятельность, работу в научных и иных учреждениях, ощущение временности (между прошлым и будущим), нестабильности ситуации угнетало. Многие чувствовали, что теряют драгоценное время из-за невозможности полноценной работы по причине оторванности от столичных научных центров, библиотек, лабораторий. Н.С. Трубецкой (впоследствии известный лингвист и теоретик евразийства) в письме Р.О. Якобсону от 12 декабря 1920 г. из Софии так описывал недавнее прошлое: «После все-таки весьма интенсивной научной жизни Москвы за последние годы я попал сначала в абсолютную глушь Кисловодска, а потом в Ростов, где несмотря на существование университета (в котором я был доцентом и занимал кафедру сравн[ительного] языковедения) никакой научной жизни не было и не с кем было слово промолвить. […] Поневоле замыкаешься, привыкаешь работать один, для себя, не делясь ни с кем своей работой и не следя за работой других. […] Библиотека Ростовского университета представляла из себя по моей части Торичеллеву пустоту» [Трубецкой 2004: 2-3].

Попытки вне зависимости от обстоятельств не останавливаться в научном росте, конечно, предпринимались. Тот же Н.С. Трубецкой, задержавшись на Кавказских Минеральных Водах, занимался составлением грамматики черкесского языка [ГАРО, ф. 527, оп 1. д. 217. л. 98]. В период преподавания в Пермском университете Б.Д. Греков учил шведский язык для глубокого исследования в будущем торговых связей Новгорода [Горская 1999: 52]. Г.В. Вернадский и в Перми, и в Симферополе брал у местных мулл уроки татарского [Вернадский Г.В. 1995: 143].

Плата за преподавание в вузах/работу в научных учреждениях, как правило, являлась основным источником доходов ученых. Вопрос о повышении жалования был одним из часто встречающихся на заседаниях ученых советов 1918-1920 гг. Регулярно в компетентные органы различных режимов подавались обновленные сметы. Ведь при многократном росте цен на предметы первой необходимости надбавка на дороговизну к преподавательскому жалованию «не делала погоды». Профессора Донского университета, например, отмечали: стоимость продуктов с августа 1918 (времени установления прежних ставок) по март 1919 г. возросла в 100-400 раз и имеющиеся 40-60 % надбавки не могут исправить ситуацию [Педагогическая мысль 1919: 324]. Индексация жалования не успевала за инфляцией в Сибири, на Украине, других регионах [Михеенков 2001].

Многие вынужденно отказались от привычного рациона, предметов быта и довольствовались тем, что можно было достать или обменять на рынке (хотя, последовать примеру тех, кто продавал последний костюм, рубашку, пару обуви, ученые, по понятным причинам, не могли себе позволить). Б.Д. Греков подрабатывал шитьем сапог [Горская 1999: 57]. Самостоятельная стирка белья, «доставание» и обеспечение хранения продуктов вошли в повседневный быт многих ученых.

Проблема преодоления продовольственных трудностей иногда решалась общими усилиями. С.П. Тимошенко вспоминал, что в политехническом институте Киева был сформирован особый комитет для добывания продуктов во главе с будущим академиком Украинской АН Е.О. Патоном. Энергичному руководителю (сыну российского дипломата, выросшему на Лазурном берегу в Ницце, а в годы Гражданской войны в возрасте пятидесяти лет ставшему отцом будущего всемирно известного ученого Б.Е. Патона – *А.Е.*) удалось добыть значительное количество пшеницы. Пшеница оказалась мокрой, ее нужно было сушить на балконе. Роль защитника пшеницы от птиц выполняла кошка [Тимошенко 1968: 163].

Ректор Таврического университета Р.И. Гельвиг в мае 1920 г. ставил вопрос о «спасении русских ученых» на официальном уровне. Он обращал внимание врангелевской администрации на то, что «в Крыму скопилось много профессоров и преподавателей, бежавших из Москвы, Харькова, Киева и Ростова», что «многие из них, даже имеющие известные имена, голодают или занялись торговлей папиросами, бубликами и т.п.». Предлагалось «сохранить им жалование, прикомандировать всех проживающих в крае профессоров к Таврическому университету и привлекать их к чтению лекций и устройству курсов» [Лавров, Бобков 2007: 57].

В.И. Вернадский, ставший ректором Таврического университета после смерти Р.И. Гельвига, в интервью севастопольской газете «Юг России» (1920 4 (27) окт.) сообщал, что «университет встал на путь самодеятельности и организует сам ряд продуктивных центров - сельскохозяйственные фермы, разведение птиц, свиней, кроликов, устройство молочной фермы, собственное рыболовство, прачечную и т. п.».

Как сообщал П. Гальцов, учреждения, лишившиеся финансирования, «стали изыскивать самостоятельно статьи доходов». Севастопольская Биологическая станция (подразделение РАН) «жила с пла-

ты, получаемой от посетителей Аквариума и на деньги, вырученные от публичных лекций, которые читал персонал станции». Симеи́зская обсерватория и Карадагская станция, «имея порядочные участки земли, занялись сельскохозяйственной эксплуатацией имевшихся у них фруктовых садов и виноградников. Доходы не покрывали расходы». В итоге служащие «отдавали только досуг своим прямым обязанностям» [Гальцов 1922: 28].

Важным фактором психологической адаптации к экстремальным условиям было воссоздание прежней сети социальных связей. Происходило это главным образом в рамках научных обществ. В регионах не прекращалась деятельность местных отделений всероссийских обществ, существовавших с дореволюционных времен: медицинского, географического, технического, ботанического и т.д.. Повсеместно создавались и новые.

Сами ученые осознавали важную роль научных обществ как канала профессиональной коммуникации. Георгий Вернадский в 1918 г., говоря о задачах Общества исторических, философских и социальных наук при Пермском университете, подчеркивал его возможности для самоорганизации «в тяжелое и смутное время, неблагоприятное для мирной научной работы». За полгода было проведено 12 (!) заседаний общества [Селянинова 2003: 113].

Весной 1917 г., на волне послефевральской эйфории, была основана Таврическая научная ассоциация. Ассоциация, охватывавшая многочисленные крымские естественнонаучные и гуманитарные научные учреждения, стала инициатором проведения нескольких съездов.

При молодом Таврическом университете, по данным историка С.Б. Филимонова, существовало пять обществ: математическое, хирургическое, педагогическое, общество изучения музыки, общество философии, истории и социологии [Филимонов 2006: 44].

Многие вопросы, обсуждавшиеся на заседаниях обществ гуманитарной направленности, были так или иначе связаны с современным состоянием России. Яркое подтверждение тому – темы докладов профессоров Таврического университета, входивших в Религиозно-философское общество, действовавшее в Симферополе под руководством епископа Вениамина (Федченкова): «Духовные корни большевизма» (докладчик С.Н. Булгаков), «Достоевский и социализм» (докладчик Б.Д. Греков), «В поисках коренной причины познаваемых

нами бедствий» (докладчик П.П. Кудрявцев) [Филимонов 2006: 50-51].

Исследования, касавшиеся давно минувших эпох, часто рассматривались сквозь призму настоящего. Инженер, археолог, историк, нумизмат, выдающийся исследователь Крыма А.Л. Бертье-Делагард предварил перевод описаний путешествий в Крым П.С. Палласа таким текстом: «Крушение Российского государства в наши горькие времена возбудило особое внимание к познанию и пониманию бывших его окраинных частей; опасность и возможность потери их, а, между прочим, и Тавриды, лучшей жемчужины государства, заставила всех к ней близких, любящих ее как родную землю, думать о ее судьбах» [Филимонов 2010: 5].

Важным аспектом в деятельности научных объединений была охрана памятников истории, формирование новых центров хранения документов. Примером в этом отношении может служить Таврическая ученая архивная комиссия (ТУАК), действовавшая в одном из эпицентров Гражданской войны. В заседаниях комиссии принимали участие философ С.Н. Булгаков, историк Г.В. Вернадский, будущие академики литературовед Н.К. Гудзий и историк Б.Д. Греков. Немало усилий предпринимала комиссия для спасения частных антикварных коллекций, памятников археологии, а также уникальной крымской флоры. ТУАК взяла на себя заботу по восстановлению снесенного большевиками монумента Екатерине II в Симферополе (деньги перечислило Симферопольское городское управление, дворянское собрание, частные лица) [Андросов 2004: 135]. На основе архива ТУАК в Симферополе был создан Крымский центрархив, первым заведующим которого был Б.Д. Греков.

В отчете ТУАК за 1917 год отмечалось: «Несмотря на ужасные обстоятельства времени ни в одном году за все время существования Комиссии не было такого количества заседаний как в истекшем году. Это вызывалось, с одной стороны, весьма значительным количеством сообщений, полученных для помещения в “Известиях” Комиссии, […] а с другой стороны, общим желанием членов Комиссии почаще собираться, чтобы в живом общении и обмене мыслей, связанных с чтением докладов, посвященных далекому прошлому Тавриды и России вообще, находить некоторое успокоение, давать уставшим и больным нервам необходимый отдых и, переносясь в прошлое, хотя бы на время забыть настоящее» [Филимонов 2006: 18-19].

Объединения интеллигенции были инициаторами празднований юбилеев наиболее важных событий в русской культуре. В российских регионах отмечались столетие Петербургского университета, пятидесятилетие открытия Д.И. Менделеевым периодической системы. Яркими событиями в культурной жизни Ростова-на-Дону 1918 г. стали памятные мероприятия в честь двадцатипятилетия со дня смерти П.И.Чайковского и десятой годовщины со дня смерти Н.А. Римского-Корсакова. В честь последнего события Ростовское общество «Музыкальная библиотека имени Римского-Корсакова» во главе с ректором Донской консерватории М.Ф. Гнесиным провела четырехдневный музыкальный праздник [Гнесин 1961: 166]. ТУАК отмечала столетнюю годовщину со времени пребывания А.С. Пушкина в Крыму.

Непременным условием поддержания нормального психоэмоционального состояния ученых являлась взаимопомощь, как на бытовом уровне, так и в профессиональной деятельности, интеллектуальных занятиях. В этом отношении красноречивы письма упомянутого выше А.Л. Бертье-Делагарда известному историку И.А. Линниченко, жившему в Одессе. Тексты изобилуют пессимистическими описаниями настоящего, поисками причин наступившей «пугачевщины»/«смуты»/«сумасшедшего дома». Одно из писем А.Л. Бертье-Делагард, по происхождению француз, датирует «22 фримера 1-го года республики, розной и многоделимой» и далее пишет: «Хорошо, что у нас с Вами нет детей, и не услышим мы “насмешки горькой обманутого сына над промотавшимся отцом”» [ГАОО, ф. 153, оп 1. д. 255. л. 70].

Редкие позитивные фрагменты связаны с описанием научного творчества, чтения научных трудов, помощью коллег, в частности председателя ТУАК А.И. Маркевича: «Арсений Иванович Маркевич спасал меня все это время, и нет слов равноценных моей благодарности; он побудил меня переводить Палласа, и это все время служило мне одуряющим допингом, опием, дававшим возможность, все реальное забывая, сидеть вот уже три месяца по 12-14 часов в сутки…» (из письма от 11 июля 1918 г.) [ГАОО, ф. 153, оп 1. д. 255. л. 83].

«Просидел более трех месяцев неотступно и кончил перевод Палласа и сообщил об этом Маркевичу просил у него награды за прилежание, в виде чего-либо археологического. Он мне прислал оттиски статей из близкого к выходу 54 номера Известий. Это для меня было сущим праздником. А когда я увидел Вашу статью о Пушкине, то набросился на нее не только с жадностью, но и с сердечным трепе-

том»… (из письма от 18 июля 1918 г.) [ГАОО, ф. 153, оп 1. д. 255. л. 69].

Линия фронта искусственно разделила российское научное сообщество. Сведения о коллегах доходили с опозданием, часто в сильно искаженном виде, вплоть до ошибочных сообщений о смерти. На исходе Гражданской войны были сделаны первые попытки подвести итоги революционных лет с точки зрения положения российских ученых. Как сообщали крымские газеты – симферопольский «Таврический голос» 27 октября (9 ноября) 1920 г. и севастопольское «Вечернее время» 29 октября (12 ноября), – при Таврическом университете по инициативе ректора (В.И. Вернадского) была создана «Комиссия о положении высшей школы и ученых сил в России». В состав комиссии вошло 30 профессоров и преподавателей по 3 от каждого факультета. Основными направлениями деятельности Комиссии являлись изучение положения высшей школы и науки в России, ведение мартиролога русской науки, подготовка обновления высшей школы и науки в обновленной России. Комиссия призывала «всех лиц, имеющих сведения о случаях естественной смерти, гибели или особых лишений, постигших русских ученых за время с осени 1917 г., сообщить ей эти сведения». Желательным было указание источников, из которых сведения были почерпнуты [Лавров, Бобков 2007: 71].

Из-за скорого установления советской власти Комиссия не имела возможности развернуть активную деятельность, однако сама инициатива получила поддержку в ближайшем будущем, свидетельством чего стали упомянутые выше публикации в журнале «Русская книга» («Новая русская книга»).

В течение всего периода Гражданской войны ученые демонстрировали в целом гибкую политику по отношению к властям различной политической ориентации. В периоды контрреволюции имели место верноподданнические послания лидерам, встречи с ними в торжественной обстановке, участие ученых в сборе пожертвований на нужды Добровольческой армии. На общих собраниях утверждались тексты антисоветских обращений. Так в марте 1919 г. появилось обращение пермской профессуры к иностранным университетам «По поводу переживаемого Россией бедствия большевизма». В обращении внимание иностранных коллег акцентировалось на полной незащищенности преподавателей перед советской властью, на преследовании свободомыслия, на тотальной идеологизации научно-педагогической деятельности [Пропп 2002: 105-106].

В октябре 1919 г. группа профессоров Харьковского университета и других вузов города написала воззвание из 19-ти пунктов ученым Запада под заголовком «Воззвание русских ученых к Европе». Большевики характеризовались в нем как утописты и фанатики собственной утопии, неуравновешенные люди с криминальным прошлым. Харьковские профессора призывали зарубежных коллег разъяснять на Западе сущность большевизма, необходимость борьбы с ним [Харківський … 2004: 292].

Осенью 1920 г. на 7 съезде Таврической научной ассоциации предполагалось принятие Воззвания к ученым всего мира от имени русских ученых, собравшихся в Крыму. В документе обращалось внимание на «катастрофическое положение русской культуры, давшей миру величайших представителей во многих областях науки и искусства и ныне погибающей в огне Гражданской войне, вызванной и раздуваемой большевиками», необходимость «международной поддержки тех немногих светильников культуры, которые теплятся на Юге России и нуждаются в братской помощи цивилизованного мира» [Лавров, Бобков 2007: 69]. При этом ученые контактировали и с большевиками. Утилитарные соображения брали верх: университеты и научные учреждения нуждались в финансировании, необходимо было позаботиться о предотвращении различного рода реквизиций и пр. Власти, осознавая выгоду конструктивного диалога в условиях политической нестабильности, как правило, были умеренно принципиальны к ученым, сотрудничавшим с их политическими оппонентами.

Мысли о перспективах собственной научной работы неизбежно упирались в вопрос о месте этой работы: в России или за ее пределами. Выяснение возможного трудоустройства для себя и коллег происходило в ходе редких в ситуации гражданской войны зарубежных научных командировок, переписки с зарубежными коллегами и официальными лицами. Моральным оправданием эмиграции выступала невозможность полноценной научной деятельности на Родине.

Известный биолог, профессор Таврического университета, С.И. Метальников, воспользовавшись пребыванием в Крыму союзнических войск, сумел посетить Париж и получить приглашение на работу от директора знаменитого Института Пастера.

В.И. Вернадский упоминал о нескольких январских 1920 г. встречах профессоров, оказавшихся в Екатеринодаре. Первая – собрание у Г.Н. Пио-Ульского, где разговор шел об организации выс-

шей школы в Югославии, создании русско-сербского высшего учебного заведения, будущей поездке в Белград и Загреб для переговоров. Через день В.И. Вернадский председательствовал на собрании профессоров, созванном по инициативе физика Г.Г. де Метца. Центральными вопросами были отъезд в славянские страны и переговоры, в связи с этим, с иностранными миссиями [Вернадский В.И. 1994: 206, 208]. Одни ученые воплотили эмигрантские настроения в реальность; другие остались в России. Думается, что адаптации последних к жизни в стране Советов, установлению диалога с новой властью не в последнюю очередь способствовал опыт выживания в годы Гражданской войны.

П. Гальцов справедливо резюмировал: «За истекший трехлетний период не было сделано крупных открытий, составивших бы эпоху в науке, но, что очень важно, научная жизнь не умерла» [Гальцов 1922: 31].

Отрезок жизни в предлагаемых обстоятельствах большинство ученых смогло максимально рационализировать, то есть остаться в профессии, по мере возможности приумножать профессиональные компетенции, быть вовлеченным в научную коммуникацию. Активная профессиональная деятельность давала возможность выживать материально. Она же, наряду с работой в общественных объединениях, позволяла солидарно вырабатывать практики противостояния различным угрозам, выстраивать модели будущего.

Библиография

Аврус 2004 - Аврус А.И. Российские университеты и власть в переломный период (революция 1917 г. и гражданская война) // Интеллигенция России и Запада в XX-XXI вв.: поиск, выбор и реализация путей общественного развития. Материалы научной конференции, 28-29 мая 2004. Екатеринбург: Изд-во УрГУ. 2004. С. 53-55.

Андросов 2004 - Андросов С.А. Судьба культурного наследия Крыма на изломе исторической эпохи (1917-1920 гг.) // Историческое наследие Крыма. Симферополь. 2004. № 3-4. С. 126-138.

АРАН - Архив Российской Академии наук

Бирман 2006 - Бирман М.А. П.М. Бицилли (1879-1953): штрихи к портрету ученого // Бицилли П.М. Избранные труды по средневековой истории: Россия и Запад. М.: Языки славянских культур. 2006. С 633-712.

Вернадский В.И. 1921 - Вернадский В.И. О научной работе в Крыму в 1917-1921 гг. //Наука и ее работники. 1921. № 3. С. 3-12.

Вернадский В.И. 1994 - Вернадский В.И. Дневники 1917-1921. (Октябрь 1917 - январь 1920). Киев: Наукова думка, 1994. С. 147.

Вернадский Г.В. 1995 - Вернадский Г.В. Из воспоминаний // Вопросы истории. 1995. № 1. С. С.129-148
Гальцов 1922 - Гальцов П. Русская наука и ученые в Крыму (1917-1920 гг.) // Новая русская книга (Берлин). 1922. № 1. С. 27-31.
ГАОО - Государственный архив Одесской области
ГАРО - Государственный архив Ростовской области.
Гнесин 1961 - Гнесин М.Ф. Статьи, воспоминания, материалы. М.: Советский композитор. 1961. С.166.
Горская 1999 - Горская Н.А. Борис Дмитриевич Греков. М.: ИРИ РАН. 1999.
Колчинский 2003 - Колчинский Э.И. Наука и гражданская война в России // Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки. СПб: Дм. Буланин. 2003. С. 291-334.
Кузнецов 1997 - Кузнецов В.А. «Родной брат ОЛИКО» (О Совете Обследования и Изучения Кубанского края – Кубано-Черноморском Краевом Научно-Исследовательском Институте) // Голос минувшего. 1997. № 1 (3). С. 34-42.
Куценко 1973 - Куценко И.Я. Революция и культура. Очерк истории борьбы партийных организаций Северного Кавказа за осуществление культурной революции в 1918–1932 гг. Краснодар: Краснодарское кн. изд-во. 1973.
Лавров, Бобков 2007 - Лавров В.В., Бобков В.В. Таврический университет на страницах крымских досоветских газет // Крымский архив. 2007. № 10. С. 48-76.
Майер, Фоминых 2005 - Майер Г.В., Фоминых С.Ф. Томский период в жизни академика Н.Н. Семенова // Вестник РАН. 2005. Т. 75. № 4. С. 360-363.
Михеенков 2001 - Михеенков Е.Г. Материальное положение вузовской интеллигенции Томска в период революции и гражданской войны (февраль 1917 – конец 1919 гг.) // История Белой Сибири. Тезисы 4-й научной конференции. 6-7 февраля 2001 года. Кемерово: Кузбассвузиздат. 2001. С. 167-173.
Молчанов 2007 - Молчанов Л.А. «Целью института является…». Документы об организации и деятельности Института исследования Сибири. 1919-1920 гг. / Собственными руками своими мы растерзали на клочки наше государство. Сб. статей, М.: Посев. 2007. С. 146-170.
Наумова 1996 - Наумова Н.Ф. Рецидивирующая модернизация социальных систем // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник, 1995-1996. М.: Наука, 1996. С. 43.
Павлов 1921 - Павлов Д. Из научной жизни провинции. На Северном Кавказе // Наука и ее работники. 1921. № 1. С. 28-29.
Педагогическая мысль 1919 - Педагогическая мысль (Ростов-на-Дону). 1919. № 4. С. 324.
Пропп 2002 - Пропп О.В. Еще раз о конформизме интеллигенции // Толерантность и власть: судьбы российской интеллигенции. Пермь: ПРИПИТ. 2002. С. 105-106)
Селянинова 2003 - Селянинова Г.Д. Деятельность общества исторических, философских и социальных наук при Пермском университете в 1918 году. //

Гражданская война на Востоке России. Мат-лы науч. конф. в Челябинске. М.: Посев. 2003. С. 113-119

Соскин 1965 - Соскин В.Л. Очерки истории культуры Сибири в годы революции и гражданской войны (конец 1917–начало 1921 гг.). Новосибирск: Наука. 1965.

Султанбеков 1985 - Султанбеков Б.Ф. Научная интеллигенция Поволжья в годы гражданской войны // Интеллигенция и революция: XX век. М.: Наука. 1985. С. 224-232.

Тимошенко 1968 - Тимошенко С. Воспоминания. Париж: Издание Объединения С.-Петербургских политехников. 1963.

Федюкин 1987 - Федюкин С.А. Интеллигенция и белое движение // Советская культура. 40 лет развития. М.: Наука. 1987. С. 105-118.

Харківський… 2004 - Харківський національний університет ім. В.Н. Карамзіна за 200 років. Харків: Фоліо. 2004. С. 292.

Яншиевский 1919 - Яншиевский А. Светлой памяти А.Р. Колли // Одесский листок. 1919. 23 (10) февр.

Bailes 1990 - Bailes K.E. Science and Russian Culture in an Age of Revolutions: Vernadsky and His Scientific School, 1863-1945. Bloomington: Indiana University Press, 1990. P. 145.

Светлана Филимончик

Ученый и власть: гуманитарии Карелии в сталинскую эпоху

Профессиональная наука в Карелии родилась в противоречивых условиях первой пятилетки. В это время в Москве в политической схватке за власть одержали победу сторонники концепции построения социализма в отдельно взятой стране. В то же время экономический кризис на Западе был воспринят советским руководством как признак приближающейся мировой социалистической революции. В Карелии у руля власти оставались финские политэмигранты. После поражения Финляндской революции 1918 г. они выдвинули идею создать в РСФСР автономию на приграничной с Финляндией территории. Сторонники социалистической идеи стремились превратить захолустную окраину в процветающий край и «посредством основания образцового общества на границе Финляндии подготовлять в идейном отношении почву для Финляндской революции» [Всекарельский съезд 1990:257-258]. В выступлении главы правительства Карелии Э.А. Гюллинга перед учеными в 1932 г. подчеркивалось, что экономический кризис на Западе переходит в кризис политический. В этих условиях важнейшей задачей ученых Э.А. Гюллинг называл «показать те пути, по которым мы завоевали власть здесь на севере, чтобы эти пути стали ясными … в первую очередь для финляндского пролетариата» [НА КНЦ РАН. Ф.1. Оп.3. Д. 32. Л. 56-59.].

Однако в середине 1930-х гг. стали очевидны важные изменения в советской идеологии. Новая элита, идейно, а затем и физически расправившись с политическими оппонентами, стремилась к дальнейшему укреплению своего положения на властном Олимпе. Возросшая опасность войны после прихода к власти в Германии нацистов актуализировала задачу всесторонней подготовки населения к защите социалистической родины. В пропаганде основной упор стал делаться на национально-патриотические идеи, защиту государственных и геополитических интересов России. Охранительная концепция стала ведущей в обществознании. В Карелии «финское руководство» было обвинено в ориентации на Финляндию. Эмигрантов стали бездоказательно обвинять в шпионаже. Массовые беззакония по отношению к этой части граждан цинично оправдывались сталинским руководством как необходимая мера по усилению безопасности тыла на случай грядущей войны.

Ведущим центром научных исследований в Карелии стал созданный в 1930 г. Карельский научно-исследовательский институт – КНИИ. Первым директором института являлся председатель СНК КАССР Э. А. Гюллинг. В начале 1930-х гг. социально-экономическая ситуация в Карелии была очень сложной, однако СНК КАССР взял на себя финансирование КНИИ. В 1934 г. институту передано помещение в центре города. Определенной поддержкой ученых в период карточной системы являлось снабжение их продуктами по более высоким нормам индустриальных рабочих. Заработная плата исследователей выросла за 1930-е гг. со 150-280 руб. до 600-900 руб. в зависимости от стажа работы и наличия ученой степени. В 1940 г. средняя зарплата научных сотрудников в РСФСР превышала средний заработок промышленных рабочих и служащих в 1,4 раза, работников здравоохранения – в 1,9 раза [НА КНЦ РАН. Ф.1. Оп.48. Д.2. Л. 2. Оп.3. Д. 279. Л. 60, 62; Д. 180. Л. 17а.]. В то же время многие материальные проблемы сохраняли остроту. Тяжелыми были жилищные условия молодых специалистов, прибывавших на работу в Петрозаводск, скудным оставалось снабжение участников научных экспедиций. Несмотря на трудности, в середине 1930-х гг. в КНИИ сложился коллектив специалистов разного профиля. Если в 1931 г. в институте работало всего 10 сотрудников, то в 1935 г. – уже 109 [НА КНЦ РАН. Ф.1. Оп.48. Д.180. Л. 17а].

Руководство КНИИ привлекло к сотрудничеству известных ученых: директора Института языка и мышления И. И. Мещанинова, ведущего специалиста Института антропологии и этнографии СССР Е. Г. Кагарова, заведующего отделом Государственного Исторического музея А. Я. Брюсова, профессоров Ленинградского университета М. К. Азадовского, Д. В. Бубриха и др. Они выполняли экспертную, консультационную, редакторскую работу, направляли на работу в КНИИ своих талантливых учеников, руководили подготовкой аспирантов.

Большинство научных сотрудников КНИИ составляла молодежь 1902-1910 годов рождения. Несмотря на яркую индивидуальность многих молодых ученых, в их судьбах можно вычленить общие контуры. Почти все молодые ученые были выходцами из крестьянских, рабочих, разночинских семей, и путь в науку им открыла революция.

Некоторые исследователи являлись выдвиженцами эпохи Гражданской войны. Так, прапорщик С. А. Макарьев по партийной мобилизации трижды призывался в Красную армию, сражался на Олонецком, Петроградском направлениях. Он демобилизовался в 1922 г. в

должности помощника командира отдельного стрелкового батальона, был награжден знаком «За ликвидацию белофинской авантюры» [Савватеев 1999: 11-12]. В 1923 г. по направлению профсоюза 28-летний С. А. Макарьев, уже имея собственную семью, поступил учиться на этнографический факультет Географического института в Петрограде. Исследователь традиционной культуры Карелии Г. Х. Богданов 19-летним юношей стал организатором и руководителем отряда красных партизан, сформированного из крестьян Вокнаволоцкой и Тихтозерской волостей. Когда Гражданская война завершилась, карела Богданова послали на учебу в Коммунистический университет трудящихся Востока, который он успешно окончил в 1924 г.

Большая часть специалистов КНИИ до революции успела получить лишь начальное образование. В. И. Машезерский в 1917 г. окончил городское училище в Олонце, в 1923 г. - педагогический техникум в Петрозаводске. А. Н. Нечаев в 1920 г. окончил Пудожское высшее начальное училище. В. Я. Евсеев в 1927 г. окончил школу-девятилетку в Петрозаводске.

Большинство будущих исследователей имели опыт педагогической деятельности. В 1912-1926 гг. работал учителем в с. Ведлозеро будущий автор учебников для карельских школ Н. А. Анисимов. Оторвался от педагогики он только во время Первой мировой войны в связи с мобилизацией в действующую армию. Армейская закалка помогла Н. А. Анисимову продолжить работу с детьми в условиях послевоенной разрухи. В 1926 г. заведующий Ведлозерской школой первой ступени Н. А. Анисимов был выдвинут на должность инспектора Наркомпроса КАССР. Однако в первые годы нэпа закрепиться на педагогическом поприще было трудно из-за мизерных заработков учителей, поэтому молодежь покидала школу, спасаясь от нищеты. Прекрасно проявивший себя в учительском деле Н. И. Богданов с 1922 г. работал продавцом, затем счетоводом в кооперации и леспромхозе.

Вместе с тем, талантливую молодежь не покидало желание учиться. В 1923 г. уехал на учебу в Петроград учитель Мининской школы первой ступени Пудожского уезда А. Н. Нечаев. Жить на 10-рублевую стипендию было трудно, поэтому Нечаев поступил на работу в трест «СевЗапЛес» сначала чернорабочим, затем подручным варщика целлюлозы. В 1925-1926 гг. служил в армии, а затем устроился рабочим на строительство ленинградского завода «Пионер». Продолжая работать, в октябре 1927 г. поступил на Высшие государ-

ственные курсы искусствоведения при Государственном институте истории искусств. В 1929 г. курсы были расформированы, студенты продолжили учебу в Ленинградском госуниверситете. В то время Нечаев совмещал учебу с работой в трех учреждениях. В 1931 г., когда в вузах ввели обязательное посещение, он был вынужден уйти с 4 курса университета. К тому времени у него уже был опыт работы ассистентом на кафедре языка и литературы в Высшей школе профдвижения, научным сотрудником фольклорного кабинета Ленинградского отделения Государственной академии искусствоведения. Богатый опыт собирательской деятельности студент А.Н. Нечаев получил в фольклорных экспедициях.

Аспирантура, созданная в 1920-х гг., не могла сразу стать основной формой подготовки научных кадров, численность которых быстро росла. В этих условиях молодые исследователи региональных научных центров осваивали технологии исследовательской деятельности самостоятельно. Многие успешно справлялись с трудностями, т.к. обладали качествами, необходимыми ученому – увлеченностью научным творчеством, упорством и целеустремленностью, высокой работоспособностью, хорошим образованием. Власть поддержала их горячее желание служить науке, и молодые исследователи стремились оправдать доверие.

Хотя в начале 1930-х гг. в Карелии находился ряд известных российских ученых, их знания и исследовательский опыт, к сожалению, не были задействованы по политическим причинам. Речь идет об ученых, осужденных по «Академическому делу». В 1931 г. решением «тройки» был отправлен в Соловецкий лагерь исследователь летописания М. Д. Приселков. В это же время трудился коллектором на трассе ББК городовед Н. П. Анциферов, учил детей вольнонаемных служащих ББК один из самых талантливых представителей петербургской исторической школы Б. А. Романов [Лурье 1995:151; Анциферов 1992:338, 374-375; Панеях 2000:140]. В XIX в. попавшие в опалу интеллектуалы нередко получали в местах ссылки возможности для научного творчества и даже государственной службы. В 1930-е гг. репрессированные гуманитарии были отлучены от научной работы, что в условиях острой нехватки научных кадров на Севере России противоречило государственным интересам.

Из бывших «зеков» удалось устроиться в КНИИ лишь Н.Н. Виноградову. И благодаря этому на постоянную работу в Петрозаводск прибыл исследователь, получивший хорошую гуманитарную подго-

товку в Петербургском и Московском университетах. До революции Н.Н. Виноградов являлся членом ряда научных обществ, редактировал журналы «Живая старина» и «Записки отделения этнографии». В Костроме Виноградов в качестве помощника правителя канцелярии губернатора занимался устройством музея и сбором коллекций. В советское время Н.Н. Виноградов активно трудился в Костромском губернском отделе образования, совпартшколе, кооперации, региональной печати. Однако активная деятельность в канцелярии губернатора, видимо, не была забыта. Во время революции и Гражданской войны условия хранения и контроль за государственными музейными и архивными фондами ухудшились, что повсеместно вызвало рост хищений культурных ценностей. Когда в 1926 г. в личном собрании Виноградова были выявлены незаконно хранящиеся рукописи, книги, материальные предметы из библиотек, архивов, музеев, по решению Особого совещания при коллегии ОГПУ он был сослан на Соловки. По окончании срока уголовного наказания в феврале 1928 г. Н.Н. Виноградов работал на Соловках в качестве ученого секретаря Соловецкого общества краеведения вплоть до его ликвидации в 1932 г. [Марковская 2007:353-355].

На работу в КНИИ поступили преследуемые на родине финские политэмигранты – Ээро Хаапалайнен и Лаури Летонмяки. В юности они учились в университете в Гельсингфорсе (Хаапалайнен - на юридическом, Летонмяки - на историко-филологическом факультете). Курса не завершили из-за того, что с головой ушли в общественную и политическую работу. Оба работали в социал-демократических изданиях, приобрели хороший журналистский и редакторский опыт. Во время революции 1918 г. Л. Летонмяки вошел в революционное правительство, был назначен наркомом юстиции. Э. Хаапалайнен в дни революции – уполномоченный революционного правительства по внутренним делам и главнокомандующий Красной гвардией. После поражения революции оба эмигрировали в Советскую Россию и были посланы в Карелию. Л. Летонмяки работал в редакции республиканской газеты «Пунайнен Карьяла» и издательстве «Кирья», преподавал в финском педтехникуме. Карьера Э. Хаапалайнена в Карелии поначалу не заладилась: из-за неукротимого нрава, нарушений дисциплины и пристрастия к спиртному в 1925 г. он исключен из РКП(б), отправлен «на исправление» в Ухту, где работал в уездном исполкоме, занимался журналистикой и преподаванием. В 1931 г. Э. Хаапалайнен был приглашен на работу в историко-революционную секцию

КНИИ [Такала 1996:187-193; Ученые 1999: 270-271]. Решающую роль сыграли его энергия, знания и большой политический опыт.

Если до революции в центре внимания ученых находилась история самодержавного православного государства, то после революции центром исследовательского интереса стали революция и большевистская партия. Сотрудники историко-революционной секции КНИИ основное внимание уделяли развитию революционного движения в крае. В июле 1931 г. по инициативе М. Горького ЦК ВКП(б) принял решение о написании многотомной «Истории Гражданской войны». В начале 1932 г. Секретариат Главной редакции опубликовал проспект издания. Задачей региональных научных центров стало всяческое содействие этому крупномасштабному проекту. В республике было принято решение о подготовке к изданию Истории Гражданской войны в Карелии на финском и русском языках. Совместно с Карельским областным бюро краеведения был составлен и частично опубликован библиографический указатель литературы по Гражданской войне [НА КНЦ РАН. Ф.1. Оп.3. Д. 67, Л.6. Оп.1. Д. 38, Л. 24]. В 1932 г. выпущена книга очерков «Гражданская война в Карелии» на финском языке. Готовились к изданию вторая и третья части этого издания. Были составлены карты, освещающие ход боевых действий. На научном заседании исторической группы в январе 1937 г. обсуждалась периодизация Гражданской войны в Карелии. С докладом по этому вопросу выступил В. И. Машезерский. По мнению докладчика, Гражданская война в крае прошла через три этапа. Характеризуя первый (1918) и второй (1919-1920) этапы, В.И. Машезерский основное внимание уделил вооруженной борьбе «красных» с интервентами из Финляндии и стран Антанты. И только в конце доклада кратко говорилось о социальном противостоянии в обществе. В 1920 г. Гражданская война в Карелии еще не завершилась, - считает докладчик, - и можно выделить ее третий период – 1921-1922 гг., когда «белофинны подняли в Ругозере восстание» [НА КНЦ РАН. Ф.1. Оп.3. Д.224. Л.3].

Важным направлением деятельности стало выявление источников. С. Макарьеву и Л. Летонмяки была поручена подготовка сборника документов по истории Гражданской войны. В состав историко-революционной секции вошел историк-архивист Н. В. Хрисанфов, что позволило обеспечить связь ученых с Центральным Архивом Карелии [НА КНЦ РАН. Оп.1. Д. 106. Л.8. Оп.3. Д.5. Л.44].

Большая работа проводилась по сбору воспоминаний. Уже в 1932 г. опубликованы 59 воспоминаний карельских партизан – актив-

ных защитников советской власти. Расположили воспоминания по географическому признаку – события под Петрозаводском, в Заонежье, у Олонца, в Беломорье и т.д. В разделе «Бандитизм в Карелии» освещались военные действия в КТК в 1921-1922 гг. К сбору воспоминаний привлекли фольклористов КНИИ. В 1932 г. А.М. Астахова и ее коллеги записали рассказы о Гражданской войне в районе Медвежьей Горы и Повенца. Частично была начата их публикация [Астахова 1935: 33-37]. Однако большая часть собранных материалов не увидела свет. Воспоминания содержали индивидуальное видение событий, не укладывающееся в идеологические клише. Например, мемуаристы рассказывали, что военному делу бойцов Карельского легиона обучали английские офицеры, а члены правительства Тоймикунта помогали бежавшим от «белых» большевикам [Дубровская 2005: 102-106; Дубровская 2006: 234-235]. Такие факты трудно было вписать в предложенные образцы, в качестве которых рассматривались концепции «Истории Гражданской войны», «Краткого курса ВКП(б)». Во второй половине 1930-х гг. написание воспоминаний было чревато для авторов политическими преследованиями. Так, в 1935-1937 гг. дискуссия в Каристпарте по поводу воспоминаний А.А. Копяткевича переросла в составление доноса на автора воспоминаний в Комиссию партийного контроля [Терещенков 2009:78].

Особое внимание историко-революционная секция КНИИ уделила подготовке биографий активных участников революции и Гражданской войны. Был издан альбом с краткими биографиями красных партизан, их портретами, талантливо выполненными художником А. Кацеблиным. К сбору биографических материалов подключили местные парторганизации. Весной 1934 г. в районы Карелии были разосланы вопросники и инструкции, осенью с мест поступило 600 ответов. Редактирование полученных материалов вели А. М. Линевский, В. И. Машезерский, Э. Хаапалайнен. Однако в условиях массовых чисток второй половины 1930-х гг. составление биографий заслуженных людей могло стать опасным для них. Профессор И. П. Лупанова в воспоминаниях о детстве рассказывает о нависшей над их семьей беде, когда Х. Дорошин обнаружил в списках петрозаводских кадетов фамилию ее матери и немедленно сообщил об этом «куда следует» [Лупанова 2007:85].

В годы второй пятилетки в центре внимания ученых оказались вопросы укрепления государственности, опыт советского строительства. В то же время идеологический контроль за освещением этих тем

резко усилился. В 1934 г. В. И. Машезерский подготовил хронику революционных событий в Карелии в 1917-1918 гг., в которую включил сведения как о работе большевиков, так и о деятельности кадетских, эсеровских организаций, о политической работе в крае депутатов Учредительного собрания после его роспуска и др. [Машезерский 1934: 79-94]. Однако эта работа была подвергнута резкой критике партийных органов. В 1935 г. бюро обкома ВКП(б) объявило В. И. Машезерскому выговор «за политическую близорукость», проявленную при подготовке хроники [НАРК, Ф. 690. Оп.13. Д.14/859. Л.1-2]. Журнал «Советская Карелия», в котором была помещена хроника, по требованию Главлита КАССР был конфискован и изъят из библиотечной сети [НАРК Ф. 757. Оп.1. Д.2/4. Л.49].

Главной задачей этнографо-лингвистической секции КНИИ стало изучение традиционной культуры народов Карелии. Важное значение имели фольклорные экспедиции. Летом 1932 г. А. М. Астахова, И. В. Карнаухова, С. С. Писарев, А. Н. Нечаев в течение двух месяцев вели экспедиционную работу в Беломорье. Записывая тексты былин, фиксируя на фонографе былинные напевы, составляя биографии сказителей, ученые отмечали, что былинная традиция затухает: былины редко исполняются даже для себя, а случаи исполнения для других – почти исключительны. Сказок было записано меньше, чем ожидали, поскольку в то время большинство мужчин находились на промыслах, а сказка в Поморье бытовала преимущественно среди мужчин, развлекавших своих товарищей в минуты отдыха на промыслах. Тем не менее в ходе экспедиции ученые встретились с выдающимися исполнителями. В 1932 г. в Сумпосаде А. Н. Нечаев познакомился со сказочником Ф. Н. Свиньиным [НА КНЦ РАН. Ф.1. Оп.50-в. Д.26. Л.9]. От него в 1933-1937 гг. фольклористами было записано 64 сказки, к сожалению, многие из них стались неизданными. Исследователи отметили внедрение в поморскую сказку привычных поморам условий жизни. Так, действие сказки постоянно переносилось на море, на парусное судно. Особое внимание было уделено изучению песенной культуры поморов. Ученые записали более 370 обрядовых, игрищных, бытовых песен. К сожалению, в условиях усиления репрессивной политики в отношении к церкви фактически под запретом оказалось собирание духовных стихов.

В разгар коллективизации следовало собирать образцы народного творчества, отразившие перелом в жизни деревни. Благодатным материалом в этом отношении оказались частушки. Правда, среди

1500 частушек, записанных в ходе экспедиции, было много текстов с критикой недостатков колхозного строительства, а то и «с антисоветскими мотивами».

На следующее лето экспедиция под руководством А. М. Астаховой вновь работала в Беломорье. Непросто было организовать работу исследователей в условиях бездорожья и скудного питания. Так, в Ковде, где экспедиция пробыла 8 дней, удалось получить только хлеб и немного сахара. Тем не менее, в этом селе ученые записали около 450 песен и сказок, сделали десятки фонозаписей и фотографий, собрали воспоминания о Гражданской войне на Севере [НА КНЦ РАН. Ф.1. Оп.3. Д.64. Л.41]. Во время этой экспедиции на одном из рыбацких становищ фольклорист А. Н. Нечаев познакомился с крестьянином села Кереть М. М. Коргуевым. Основной сказочный репертуар Коргуева был записан Нечаевым в 1936-1938 гг. Двухтомное собрание сказок М. М. Коргуева, изданное в Петрозаводске в 1939 г., получило высокую оценку специалистов [Сенькина 1978: 130-135].

В рамках КНИИ в Карелии появился научный центр, координирующий исследования в области этнографии. Систематически проводились научные экспедиции к вепсам в Шелтозерье под руководством С. А. Макарьева. Его особо интересовала вепсская топонимика. В КНИИ началась работа по созданию словаря географических названий Прионежья [НА КНЦ РАН. Ф.1. Оп. 3. Д. 73. Л. 14]. С. А. Макарьев опубликовал отдельной брошюрой очерк о вепсах [Макарьев 1932]. Автор четко обозначил географические границы территории проживания вепсов, на основе данных переписи 1926 г. представил их демографическую характеристику. Он описал особенности внешнего облика и характера, жилые и хозяйственные строения, обстановку дома, пищу, одежду и обувь, верования и обряды вепсов. Обстоятельно охарактеризованы Макарьевым занятия вепсов. Будущее сельского хозяйства в этом крае Макарьев связывал с кооперацией. Скудость почвы компенсируют богатства недр – запасы диабаза, шокшинского порфира. Поэтому большое значение для населения Прионежься может иметь развитие горной промышленности.

В 1931 г. на работу в Карелию был приглашен М.М. Хямяляйнен. Он окончил с отличием отделение языка и литературы Ленинградского пединститута им. Герцена. Затем около года учился на подготовительных курсах Яфетического института, где слушал лекции его директора академика Н.Я. Марра, развивавшего идеи о языке как «надстройке» над социально-экономическими от-

ношениями. Однако подлинным учителем молодого исследователя стал профессор Д.В. Бубрих, который в 1920-х гг. проводил большую работу по изучению финно-угорских языков и подготовке специалистов из числа их носителей. Такие специалисты были крайне необходимы в связи с тем, что развернулась работа по созданию письменности ряда финно-угорских народов.

В начале 1930-х гг. в Ленинградской области была создана рабочая группа по подготовке вепсской письменности. Ее первый руководитель М.М. Хямяляйнен участвовал в разработке вепсского алфавита на латинице, в подготовке букваря, книги для чтения на вепсском языке [НА КНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 48. Д. 6. Л. 9]. В марте – мае 1931 г. Хямяляйнен участвовал в научной экспедиции по изучению вепсского языка. Утвержденный маршрут экспедиции включал основные районы расселения вепсов, в том числе Шелтозеро. В ходе экспедиции проводились наблюдения за бытом вепсов, экономическим состоянием районов их проживания. Основным итогом работы стали значительный лингвистический материал, словарные карточки, которые были использованы при подготовке вепсского словаря и первых учебников для обучения вепсов на родном языке [Королькова 2008: 154–157].

Этнолого-лингвистическая секция работала в тесном контакте с ленинградскими этнографами. Так, в число действительных членов КНИИ входил Н.М. Маторин [НА КНЦ РАН. Ф.1. Оп.1. Д. 138. Л. 1.]. В 1930-1933 гг. в его руках концентрировалась научно-организационная работа в области этнографии: Маторин занимал ответственные посты директора Музея антропологии и этнографии АН, директора Института антропологии и этнографии, ответственного редактора журнала «Советская этнография». Для Макарьева Н.М. Маторин был, прежде всего, авторитетным преподавателем, у которого он учился в Географическом институте и на географическом факультете ЛГУ [Решетов 1994: 134, 137].

Были установлены научные контакты с исследователями Финляндии. В 1930-е гг. вепсский язык активно изучали Э. Сетяля, Л. Кеттунен, Э. Тункело и др. В 1932 г. профессор Хельсинкского университета Э.А. Тункело побывал в Карелии, состоялось его личное знакомство с Макарьевым, они вместе съездили к прионежским вепсам. После этой встречи завязалась деловая переписка [Савватеев 1999:29]. В научную библиотеку КНИИ систематически поступала

научная литература из-за границы на финском, французском, шведском, английском, немецком языках.

Этнографическая наука начала активно развиваться в Карелии в сложный и противоречивый период. В конце 1920 – начале 1930-х гг. вузовские и академические центры Москвы и Ленинграда, в которых преобладали ученые старой школы, оказались под ожесточенным напором критики этнографов-большевиков. В публичных выступлениях Н.М. Маторина звучали обвинения в адрес этнографов в эклектизме и буржуазности, проводилась мысль о том, что полевые работы в современных условиях «есть проявления империализма». Стали закрываться научные общества, профильные музеи, было приостановлено преподавание этнографии [Слезкин 1993:119]. В 1935 г. в Карельском НИИ этнографо-лингвистическая секция была реорганизована.

На развитие региональной науки существенно повлияла специфика национальной политики карельского руководства. В 1929 г. руководство республики официально утвердило финский язык в качестве единственного письменного и литературного языка финно-угорских народов Карелии. Опыт по созданию карельского и вепсского языков в Калининской и Ленинградской областях замалчивался. М.М. Хямяляйнен писал в автобиографии, что когда публично высказался о том, что вепсских и карельских детей надо учить читать и писать на родном языке, он был вызван на беседу к председателю СНК КАССР Э. Гюллингу и ответственному секретарю обкома партии Г. Ровио: «Мне в очень категоричной форме было предложено отказаться от своих взглядов и выступить с заявлением на страницах печати» [цит. по: Матвеев 1988]. Вскоре после этой встречи Хямяляйнен был на время отстранен от работы в КНИИ.

В середине 1930-х гг. изменилась политика в отношении национальных меньшинств и малых народов, усилились призывы к борьбе с местным национализмом. Возросло подозрение сталинского режима по отношению к населению, этнически родственному народам сопредельных государств. После убийства С.М. Кирова вал репрессий обрушился на участников партийных оппозиций 1920-х гг. Так, Н.М. Маторин, в свое время личный секретарь Г. Зиновьева, был исключен из партии, выслан в Ташкент, в 1936 г. расстрелян.

В этих условиях судьба вепсолога С.А. Макарьева – заместителя Э. Гюллинга в КНИИ, ученика Н. Маторина, товарища по переписке с учеными из «враждебной Финляндии», – была предрешена. В 1934 г.

усилилось цензурное давление на подготовленные С.А. Макарьевым работы: была задержана его книга «В стране рек, озер и новостроек». Главлит объяснил это тем, что она «далеко не полностью освещает современное состояние Карельской республики» [НАРК Ф. 757. Оп. 1. Д. 2/4. Л. 49]. В 1935 г. Макарьев был снят с работы, арестован, в 1937 г. расстрелян. В 1938 г. был арестован и полтора года провел в тюрьме, пережив многодневные допросы и физические истязания, специалист по изучению вепсского языка М.М. Хямяляйнен.

В период массовых репрессий были арестованы и вскоре расстреляны историки Э.А. Хаапалайнен, Н.В. Хрисанфов, Н.Н. Виноградов, заведующая институтской библиотекой Е.П. Ошевенская. Покончил с собой, не выдержав травли, Л. Летонмяки. Опасаясь ареста, ряд исследователей покинули Петрозаводск. Формально они уволились по собственному желанию, фактически – бежали от начавшейся травли в связи с «чуждым социальным происхождением», «связью с врагами народа». В печати появились разгромные критические статьи, а то и публичные доносы на вчерашних товарищей. Подвергшиеся опале оказались в социальном вакууме, рассчитывать на помощь коллег не приходилось [НА КНЦ РАН. Ф.1. Оп.48. Д.23. Л.23,51,60,67,71,82].

В январе 1937 г. Карельский НИИ был реорганизован в Карельский научно-исследовательский институт культуры (КНИИК), который должен был вести научные исследования в области лингвистики, истории, фольклора, этнографии, археологии. После «ежовщины» Карельский НИИ культуры не имел директора, его заместителей, не были укомплектованы научными сотрудниками подразделения. В начале 1939 г. в институте не было ни одного специалиста, имевшего ученую степень, из 18 научных сотрудников только 8 имели высшее образование [НА КНЦ РАН. Ф.1. Оп.3. Д.253. Л.5]. 17 ноября 1938 г. вышло постановление правительства, запрещавшее «массовые операции по арестам и выселению», осуждавшее «нарушения законности». В изменившихся политических условиях в декабре 1938 г. исполняющим обязанности директора КНИИК был назначен В.И. Машезерский. Раньше местные власти постоянно вынуждали его оправдываться, т.к. в 1919 г. будучи 17-летним подростком он после нескольких ночных нарядов так устал, что проспал отход своей части и, оказавшись в занятом противником Олонце, неделю караулил склад белых [НАРК. Ф. 690. Оп.13. Д. 14/859. Л. 5]. Теперь намного важнее нелепых обвинений в «отсутствии пролетарской закалки»»

были организаторские способности и исследовательский опыт ученого.

В конце 1930-х гг. на работу в КНИИК вновь стремились привлечь молодежь – студентов и выпускников ленинградских вузов. Среди откликнувшихся на призыв карельского руководства были филологи А. Д. Соймонов, В. В. Чистов, К. В. Чистов, Н. И. Богданов, М. М. Михайлов. Молодежь активно включилась в экспедиционную и исследовательскую деятельность. В 1938-1939 гг. КНИИК провел 11 фольклорных экспедиций – в основном в карельские районы, где были записаны тысячи ранее неизвестных науке произведений устной народной поэзии финно-угорских и русского народов. Экспедиционный материал 1938-1941 гг. составил основу фольклорного архива КНИИК. В составе института была создана фольклорная секция, руководителем которой недолгое время являлась ленинградский фольклорист А. Н. Лозанова. Затем секцию возглавил А. Д. Соймонов. Бывший детдомовец, он окончил филфак Ленинградского университета и еще в студенческие годы участвовал в фольклорных экспедициях в Карелию.

Проводилась большая работа по изучению творчества отдельных сказителей – П. И. Рябинина-Андреева, Ф. А. Конашкова, М. М. Коргуева, Ф. П. Господарева, Т. Е. Туруева, Ф. Н. Свиньина, Ф. И. Быковой и др. Ученые стремились исчерпывающе записать весь их репертуар.

Основное внимание фольклористы стали уделять сбору «советского» фольклора: рассказам о революции и Гражданской войне, песням, частушкам, пословицам о колхозном строительстве, устной поэзии рабочего класса. Исследователи записывали плачи о Ленине и Кирове, о замученных белыми красноармейцах, о летчиках, погибших при катастрофе советского дирижабля «СССР Б-6», былины о Чапаеве, о подвиге челюскинцев и папанинцев, сказы о Тойво Антикайнене. Фольклористы не только фиксировали произведения «советского» фольклора, но и стремились «организовать» сказителей на создание произведений, воспевающих советскую действительность и героев новой жизни.

Власти стремились использовать талант известных мастеров в пропагандистской работе. Прожившие трудную жизнь крестьяне, попав в поле зрения ученых, в одночасье стали знаменитыми, получили почет и уважение. Сказочников и былинщиков приглашали на слеты и совещания, материалы о них широко публиковала печать. В 1939 г.

группа карельских сказителей была награждена орденами «Знак почета». Однако повседневная жизнь этих крестьян оставалась прежней. Дочь М. Коргуева А. М. Коргуева писала: «Жили скромно, одевались бедно. Электричества не было. Керосин выдавали по норме. …Перед войной отцу моему дали персональную пенсию. Многие в деревне ненавидели его, что за вранье деньги получает, а он все рассказывал и рассказывал свои замечательные волшебные сказки…» [Маркова 2005:130-131].

В конце 1930-х гг. под грифом КНИИК был опубликован ряд важных фольклорных материалов: сборник былин П.И. Рябинина-Андреева (1940), сборник «Русские плачи Карелии» (1940), сборник «Былины Пудожского края» (1941). В Петрозаводске были изданы сборники «Сказы и плачи о Ленине» (1938), «Сказания о героях Арктики» (1938) и др. В то же время далеко не все подготовленные к изданию работы доходили до читателя. Профессор Ленинградского университета В. Я. Пропп представил к публикации в Петрозаводске свою докторскую диссертацию «Исторические корни волшебной сказки», однако чиновники Госиздата Карелии назвали книгу выдающегося ученого России неактуальной и отказались ее печатать [НА КНЦ РАН. Ф.1. Оп.3. Д. 279. Л.25-28].

Изучение истории советского государства было подчинено концепции «Краткого курса истории ВКП(б)». Опубликованная в 1939 г. статья Х. Дорошина о перипетиях политической борьбы в крае в 1917 г. была чрезмерно политизирована. В центре внимания автора оказалась деятельность Олонецкого губернского Совета в 1917–начале 1918 гг. Дорошин резко критикует действия меньшевиков и эсеров в Петрозаводске, называет их политическую платформу «изменой родине». Даже стремление умеренных социалистов к совместным действиям с большевиками характеризуется автором как «уловка предателей». Заявлению совета 27 октября 1917 г. о переходе к нему власти автор статьи не придает значения, считая, что «весь прежний контрреволюционный аппарат» остался в полной неприкосновенности [Дорошин 1939:135-155]. Такого рода научная продукция говорила о готовности ряда исследователей выполнять политический заказ власти – обосновать правильность курса руководящей верхушки правящей партии, необходимость преследования «врагов народа».

В конце 1930-х гг. на работу в Карелию были приглашены опытные исследователи из Москвы и Ленинграда. Ими были подготовлены первые монографические исследования по истории Карелии.

Основное внимание стало уделяться изучению древней и средневековой Карелии. Историки стремились представить советскую державу как преемницу многовекового российского государства.

В ряде случаев работа в Карелии становилась для ученых реальной возможностью профессиональной самореализации в период опалы. С 1938 г. являлась сотрудником Карельского НИИ культуры Р. Б. Мюллер – выпускница Бестужевских курсов, а в советское время – Петроградского университета. В университете Р.Б. Мюллер в течение ряда лет была секретарем семинара С. Ф. Платонова по истории Смутного времени. Она постоянно общалась с руководителем семинара, неоднократно бывала в его доме и считала С. Ф. Платонова своим учителем. В 1920-е гг. Р. Б. Мюллер несколько лет проработала в Постоянной историко-археографической комиссии, где под руководством А. И. Андреева занималась разбором и описанием монастырских документов XVI в. и получила основательную подготовку как археограф, но после «Академического дела» вынуждена была оставить эту работу. В конце 1930-х гг. Р.Б. Мюллер подготовлен сборник документов «Карельская деревня в XVII веке». В него вошли документы архива Олонецкой приказной избы, хранящиеся в ЛОИИ, а также документы Государственного архива феодально-крепостнической эпохи. Судьба этих книг оказалась трагической. В блокаду Ленинграда погиб почти весь тираж, однако вскоре после войны документы были вновь опубликованы.

В предвоенные годы Р. Б. Мюллер подготовила монографию по истории Карелии XVI – XVII вв., изданную после войны [Мюллер 1947]. В ней исследователь подчеркивала хозяйственное и культурно-организующее значение церкви на севере. Р. Б. Мюллер стала одним из первых в советское время исследователей «гарей» крестьян Шунгского и Толвуйского погостов и Повенецкого рядка в Палеостровском монастыре в 1687 и 1689 гг. Исследование религиозного сознания было затруднено по идеологическим причинам. Тем не менее Р. Б. Мюллер подчеркивала стремление людей сохранить привычный, устоявшийся уклад жизни, свойственный крестьянскому миру. Р. Б. Мюллер указывает, что в период церковной реформы Никона усилились настроения, связанные с ожиданием «конца мира», вера в то, что Господь отступился от прежде богоизбранной Руси как хранительницы истинного православия. Историк указывала на важную роль церкви в освоении и защите русских земель, сохранении национальной идентичности, культурной традиции и преемственности.

Таким образом, в 1930-е гг. в Карелии шел сложный процесс профессионализации науки. Правительство, с одной стороны, проводило покровительственную политику в отношении создания научных центров и проведения гуманитарных исследований. В трудных условиях индустриализации государство финансировало работу научно-исследовательских институтов, материально поддерживало развитие ряда новых научных направлений. Была создана система подготовки кадров специалистов. С другой стороны, советское государство продолжило и укрепило дореволюционную традицию: ключевые участки научной жизни по-прежнему находились под жестким контролем государства. Оно использовало науку для укрепления государственности, стремилось поставить научную работу на службу политике. Научные исследования в гуманитарной сфере содействовали сохранению преемственности в культуре, росту образовательного уровня населения, воспитанию патриотизма. Преследования ученых, запреты на публикацию научных сочинений вели к стагнации ряда научных направлений, насаждению страха и административного диктата. В то же время, несмотря на жесткий идеологический контроль, в научном творчестве ведущих исследователей Карелии проявлялась известная автономия, свобода духа и профессионализм.

Источники и литература

НАРК - Национальный Архив Республики Карелия
Ф. 690. Оп.13.Д. 14/859.
Ф. 757. Оп.1. Д. 2/4. Л. 49.
НА КНЦ РАН - Научный архив Карельского научного центра РАН
Ф.1.Оп.1. Д. 106. Д.138. Оп.3. Д.5. Д.32. Д. 64. Д. 67. Д. 180. Д. 279. Оп.48. Д.6. Д.23. Д.253. Оп. 50-в. Д. 26.

Анциферов 1992 - Анциферов Н.П. Из дум о былом. М., 1992. 512 с.
Астахова 1935 - Астахова А. За Советскую Карелию // Начало. 1935. № 3. С. 33-37.
Всекарельский съезд 1990 - Всекарельский съезд представителей трудящихся карел. Первый Всекарельский съезд советов. Протоколы. Петрозаводск, 1990. 270 с.
Дорошин 1939 - Дорошин Х. Большевики Карелии в борьбе за революционные Советы // Карелия: альманах. Кн.2. Петрозаводск, 1939. С. 135-155.
Дубровская 2005 - Дубровская Е.Ю. Судьбы приграничья в «Рассказах о Гражданской войне в Карелии» (по материалам Архива КарНЦ РАН) // Межкультурное взаимодействие в полиэтничном пространстве пограничного региона. Петрозаводск, 2005. С. 102-106

Дубровская Е.Ю. Судьбы жителей Водлозерья в «рассказах о Гражданской войне в Карелии» // Водлозерские чтения. Петрозаводск, 2006. С. 234-235.
Королькова 2008 - Королькова Л.В. Из истории создания вепсской письменности (лингвистическая экспедиция Г. Х. Богданова 1931 года) // Вепсы на рубеже XX–XXI веков. Петрозаводск, 2008. С. 153-157.
Лупанова 2007 - Лупанова И.П. «Минувшее проходит предо мною…». Петрозаводск, 2007. 313 с.
Лурье 1995 - Лурье Я.С. Михаил Дмитриевич Приселков и вопросы изучения русского летописания // Отечественная история. 1995. № 1. С. 46-59.
Макарьев 1932 - Макарьев С.А. Вепсы. Л., 1932. 40 с.
Маркова 2005 - Маркова Е. Жила-была сказка // Север. 2005. № .11/12. С.130-131.
Марковская 2007 - Марковская Е. В. Николай Николаевич Виноградов как сотрудник Карельского научно-исследовательского института (1932-1937) // Рябининские чтения-2007: материалы V научной конференции по изучению народной культуры Русского Севера. Петрозаводск, 2007. С. 353-355.
Матвеев 1988 - Матвеев Б. Слово об истории слова // Комсомолец. 1988.13-20 декабря.
Машезерский 1934 - Машезерский В. И. От Февраля к Октябрю. Выдержки из хроники революционного движения 1917-1918 гг. по Карелии // Советская Карелия. 1934. № 7-8. С. 79-94.
Мюллер 1947 - Мюллер Р.Б. Очерки по истории Карелии XVI–XVII вв. Петрозаводск, 1947. 176 с.
Панеях 2000 - Панеях В.М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000. 445 с.
Решетов 1994 - Решетов А.М. Николай Михайлович Маторин // Этнографическое обозрение. 1994. № 3. С.132-154.
Савватеев 1999 - Савватеев Ю.А. Степан Андреевич Макарьев: жизнь и деятельность (к 100-летию со дня рождения) // Вепсы: история, культура и межэтнические контакты. Петрозаводск, 1999. С. 10-41.
Сенькина 1978 - Сенькина Т.И. Сказочник М. М. Коргуев // Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1978. С. 130-135.
Слезкин 1993 - Слезкин Ю. Советская этнография в нокдауне: 1928-1938 // Этнографическое обозрение. 1993. № 2. С.113-125.
Такала 1996 - Такала И.Р. Ээро Хаапалайнен – революционер, журналист, ученый (к 115-й годовщине со дня рождения) // Политическая история и историография: сб. ст. Петрозаводск, 1996. С. 187-193.
Терещенков 2009 - Терещенков Л. Публичный донос 30-х гг. как способ конструирования «истинно советской и большевистской» биографии // Конструируя «советское»? Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности. СПб., 2009. С.78.
Ученые 1999 - Ученые Карельского научного центра Российской Академии наук: Биографический словарь. Петрозаводск, 1999. 306 с.

Виктор Макаренко

Властно-политические технологии и право ученого на сопротивление

Феномен политического отчуждения

Для анализа экономических, политических и идеологических измерений власти вообще, и российской в особенности, я разработал концепты политического отчуждения, гражданского отчуждения и гражданского сопротивления [Макаренко 1998а] [1].

Феномен политического отчуждения есть следствие формирования государств и образует целостность интересов, властно-политических технологий и идеологий. В состав политического отчуждения входят: формы мышления, которые объясняют властные отношения экономическими, политическими, идеологическими и культурными факторами; толкование воли (единичной, особой, всеобщей) как основания власти; формы иллюзорной общности людей (семья, этнос, нация, корпорация, гражданское общество, партия, государство); преобладание групповой солидарности (примордиальной, этнической, национальной) над остальными; разделение государственной власти на исполнительную, законодательную и судебную; властные формы политической, юридической и бюрократической софистики; государственные налоги, займы и долги; толкование государства и государственного управления обществом как «необходимого» или «естественного» процесса социальной жизни; специфические свойства лиц, осуществляющих власть и управление; типы вооруженных сил, полиции, дипломатии и госаппарата; мононациональный или полинациональный характер государства; способы освоения властью времени и пространства.

Указанные свойства политического отчуждения универсальны и отражаются в реальной истории и историографии стран, наций и государств. История любой страны есть конкретизация общих свойств политического отчуждения. В результате властная регуляция социальных отношений рассматривается как «объективный» процесс по типу природных и космических.

Власть как социальное явление есть непредвиденное следствие множества частичных действий множества частичных властителей. Это непредвиденное следствие вытекает из соперничества, борьбы и сотрудничества групп людей, располагающих средствами насилия и манипуляции. В состав средств насилия и манипуляции входят: гра-

беж, реквизия, уничтожение имущества, убийство, заключение в тюрьму, лишение воли, переселение, интернирование, нанесение телесных повреждений, отравление, иные методы физического и психического воздействия (террор, пытки, обман, клевета), правовые, экономические и социальные ограничения свободы индивидов и групп, отказ от сотрудничества, материальные вознаграждения и символические отличия, привилегии, коррупция, провокация и скрытая помощь.

Отношение властных действий к общему числу действий индивидов определяет меру гражданского отчуждения. Оно существует при любом государственном строе. Монополия на применение этих средств была и остается у государства, включая демократию. Поэтому демократия не является ни идеалом, ни нормой государственного устройства. Отказ от прямых методов физического насилия при демократии сопровождается культивированием опосредованных методов манипуляции гражданами, поскольку большинство им подвержено. Чем больше манипуляция входит в состав политической технологии государств, тем важнее учитывать уровень гражданского сопротивления.

Если власть с помощью насилия и манипуляции контролирует публичные действия, отношения, высказывания и мнения индивидов, наступает атомизация общества. В результате коллективные действия вне официально санкционированных форм становятся невозможными. Граждан как социальной группы не существует, они деклассированны, десоциализированы, маргинализованы. Так возникает социальная почва гражданского отчуждения. Оно существует при всех формах политического устройства общества, поскольку еще неизвестны такие государства, которые не используют насилие и манипуляцию.

Понятие гражданского сопротивления позволяет эмпирически измерить абсолютное и относительное количество граждан, не согласных с данной политической системой, политическим режимом и конкретными людьми, осуществляющими власть. Граждане могут культивировать мирные и вооруженные способы борьбы с властью (оппозиция, гражданское неповиновение, восстание, революция) в зависимости от того, какие средства она применяла на протяжении определенных периодов времени. Любое государство в его пространственно-временных параметрах есть пересечение политического и гражданского отчуждения с мерой гражданского сопротивления. Это

обстоятельство не учитывается большинством политических теорий, которые предлагают разные варианты властно-политической технологии.

Властно-политическая технология – это способность властвующих и подвластных применять методы насилия и манипуляции для достижения целей, правомерность и обоснованность которых дискуссионна. Невозможно утверждать, что либеральный, консервативный, социалистический и марксистский проекты развития общества имели когда-либо на своей стороне абсолютное большинство человечества. Поэтому ни один из них не может претендовать на доминирование. Каждый лишь выдвигает свою гипотезу об идеальном состоянии общества и соотношении средств и целей по его достижению. Эта гипотеза обычно «объективируется» в нормативно-ценностном порядке, который власть навязывает политической теории и практике. Однако соотношение средств и целей при реализации любого политического проекта остается вечной проблемой. В целях блокировки проблемы обычно используется социальная инженерия.

Для критического отношения к властно-политическим технологиям следует развести критерии силы и успеха власти. Сила власти – это отношение между общим числом властных приказов и числом действительно выполненных гражданами приказов. Успех власти – это критерий, позволяющий судить, насколько выполняемые гражданами властные приказы приводят к реальным состояниям, соответствующим замыслам властвующих. Чем более крупны и широки по охвату властные замыслы, тем меньше шансов их реализации. Между социальными проектами, властными замыслами, приказами и реальными состояниями всегда существует пространственно-временной зазор. Это – мера утопичности политики, от которой не может целиком освободиться никакая власть. Власть тем меньше эффективна, чем больше при реализации своих проектов и замыслов использует средства насилия и манипуляции. Традиционное политическое воображение обычно отождествляет данные критерии и трактует власть как творческое начало при реализации любых идеей и проектов. В итоге возрастает политическое и гражданское отчуждение.

Любые трактовки власти как «рационального действия» тоже смешивают данные критерии и не являются истинными, хотя широко распространены в социальных науках и властно-политической практике. Это свидетельствует о том, что власть всегда обладает тенденцией к десоциализации граждан и превращению науки в средство

собственной апологетики. Универсальный интерес любой власти – максимальное расширение сферы регуляции. Поэтому наибольшим доверием пользуется наиболее репрессивная власть, которая использует манипуляцию гражданами как вспомогательное средство.

Стремление повелевать и подчиняться есть выражение животного (а не социального, творческого, духовного) начала в человеке. Властно-политические технологии выражают животное начало, поскольку никаких универсальных средств его искоренения еще не придумано. Ни одна из религий и государств пока даже не ставит такой задачи.

Большинство социальных теорий используются для обоснования идеологии власти. Такая идеология извращает отношение власти и граждан, скрывая следующие социальные факты: отношение власти и граждан обычно опирается на насилие и манипуляцию; интерес власти - подчинение общества до пределов возможного и самостоятельное определение этих пределов; деление людей на властвующих и подвластных вечно, а общность их интересов - явление случайное и выполняет служебную роль в политических системах. Ни одно государство не смогло «отменить» эти факты. Поэтому любая государственная власть может заслоняться разными идеологиями. Они обычно систематизируют мотивы, с помощью которых жители всех государств оправдывают собственное послушание и сервилизм перед силой, на которую они либо не имеют влияния, либо одной силе и манипуляции вынуждены противопоставить другую силу и манипуляцию.

Если признать истинность теорий цивилизационных циклов, то любая власть в равной мере может быть признана одновременно легитимной и нелегитимной. Для распредмечивания форм политического и гражданского отчуждения социальные науки нуждаются в независимости от экономической и политической власти, а также от форм ее идеологического прикрытия. Массы нуждаются в способности к гражданскому сопротивлению во всех пространственно-временных координатах, где и когда власть использует хотя бы один метод насилия и манипуляции, если он выходят за пределы соблюдения элементарных форм человеческого общежития.

Я рассматриваю историю Московского княжества, Российской империи и СССР как процесс аккумуляции господства. В СССР после 1917 г. сложился класс тройного господства, который сосредоточил в своих руках экономическую, политическую и идеологическую

власть. Официальная идеология скрывала следующие факты и тенденции: антагонизм между интересами трудового народа и классом тройного господства; природу советской эксплуатации человека человеком; роль индивидов и групп в освобождении от экономической эксплуатации и политического господства. Одновременно марксизм сомкнулся с либерализмом, трактуя экономические интересы и развитие экономики как надысторический феномен, средством реализации которого выступает государство. В итоге антропологический материал советской власти был отброшен в кроманьонскую эпоху [Клейн 2010] [2]. Комплекс социальных наук в СССР скрывал определенные факты и тенденции: вмешательство государства в циклы конъюнктуры; активную роль государства как экономического субъекта; рост контроля над частной собственностью; переплетение госаппарата с экономической, политической и идеологической бюрократией. Эти факты и тенденции способствовали тому, что уже на рубеже Х1Х-ХХ вв. «отсталая царская Россия» применяла такие способы воздействия на экономику, к которым «передовой Запад» пришел лишь полстолетия спустя.

В советское и постсоветское время социальные науки России и стран Запада широко культивируют ленинские, социал-демократические и либеральные догмы. Все они в большинстве случаев используют телеологию при обсуждении процессов социально-исторического развития и заканчиваются территориальным противопоставлением Запада и России. После 1991 г. это противопоставление стало универсальным. В результате отечественная социальная наука отброшена почти на двести лет назад. Эта тенденция укрепляется за счет использования тех схем эмигрантской и западной социально-философской мысли, в которых история России ХХ в. трактуется как воплощение «тоталитаризма» или «модернизации».

Данные схемы и шаблоны объясняются тем, что большинство социальных теоретиков в России и на Западе пока не освободились от связи с комплексом «власть-собственность-идеология». У социальных теоретиков не хватает мужества порвать все связи с официальным миром власти, денег и массовой культуры. Толпы западных интеллектуалов и русской интеллигенции по-прежнему хотят жить под крышей власти и богатства. Большинство в этой толпе не может освободиться от культа государства и этатистских иллюзий. Однако материальное своекорыстие, властолюбие и стремление к духовному господству никогда не были благородными человеческими побужде-

ниями. Чтобы обнаружить их низменность, надо исходить из принципиального различия мотивов и реальных следствий человеческой деятельности.

Для анализа данных различий социальная наука должна отбросить иллюзии органичности государства и обосновать антиэтатистскую познавательно-практическую установку. Однако индивиды и группы, профессионально занятые в политико-управленческих и идеологических сферах, преобразуют своекорыстие, властолюбие и стремление к духовному господству в «норму» социального и политического бытия людей. На этой основе формируется квазиполитика [Макаренко 1998 б][3].

Квазиполитика – это следствие отождествления единичных, групповых и общих интересов с историческими и политическими формами их институционализации. Социальные и политические институты преобразуют интересы в формальные действия и ликвидируют возможность теоретического обсуждения и практического решения проблем политического и гражданского отчуждения. Государственная власть при этом квалифицируется как универсальное явление, а социальные конфликты власти и граждан осознаются и решаются в пользу существующего здесь и сейчас государства. Квазиполитика создает и культивирует мнимые формы участия граждан в политике, сгущает абстрактные характеристики индивидов, а государство транслирует конфликты социального и политического бытия индивидов. Политико-управленческая деятельность есть множество случайных актов и событий, выступающих в упаковке «государственных интересов», «государственной необходимости» и т.д. [Фуко 2011: 302-405][4]

Политическая и властно-управленческая деятельность не создают ни материальных, ни духовных ценностей, а в лучшем случае их распределяют. Однако критерии справедливого распределения были и останутся дискуссионными. Чтобы снять эту дискуссионность, политическая и властно-управленческая деятельность претендуют на главную роль в обществе и способствуют этатизации социально-политической мысли. Для критического отношения к данной тенденции требуется такое описание всех социальных конфликтов, которое было бы свободно от материальных, политических и идеологических интересов, т.е. от любых форм связи власти с собственностью и идеологией. Осуществить эту задачу крайне сложно, поскольку требуется отрыв сознания от институционализованных социальных и политиче-

ских форм, а также от иллюзорных форм отражения действительности. В этом смысле антиэтатистская методология может быть только тотальной. Ее состав определяется совокупностью конфликтов социально-политического бытия.

Антиэтатистская методология связана с определенным политическим идеалом, который не тождествен ни идее (ценности) государства, ни реально существующим государствам, ни способам распределения в них власти, ни этатистским политическим теориям. Любая связь власти с собственностью и идеологией при создании такого идеала квалифицируется как абсолютно отрицательная ценность. В реальных государствах власть абсолютно или относительно неподвижна, а собственность или идеология только укрепляют эту неподвижность. Все проекты переустройства общества по либеральным, консервативным и социалистическим сценариям не свободны от указанных связей и потому являются вариантами квазиполитики.

Политическая история России и русской политической мысли – один из показательных примеров этатистской традиции. Проблема сводится к выработке индивидуальных и групповых программ сопротивления этой традиции.

Советская политика в области науки

В статье 44 Конституции РФ записано: «1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом». Между тем события и процессы в современной России развиваются в ином направлении [Ученый и власть 2010][5]. Власть нарушает право на свободу научного творчества, записанное в «Конституции РФ», и способствует деградации научной культуры страны. В таких условиях классическое право сопротивления (jus resistendi) фиксирует серьезное отношение ученых к своему достоинству, условиям труда и жизни.

В общем виде свобода научного творчества есть возможность использования учеными следующих свобод:

- устного и письменного высказывания о состоянии дел в науке, обществе и политике;
- выбора тем, проблем, теоретико-методологической ориентации, когнитивной и философской перспективы;
- взаимодействия для создания и определения значения познавательных ценностей;

- создания обществ и союзов, защищающих интересы ученых; воспитания и образования новых поколений ученых.

Все эти свободы систематически нарушались в Российской империи, СССР и не соблюдаются в современной России. Значит, при реализации всех свобод требуется независимость от власти. Проблема сводится к определению меры такой независимости, включая независимость от текущих интересов и потребностей общества.

Как известно, советские «командиры науки» принадлежали к верхушке КПСС или назначались ею, сотрудничали с политической полицией и пропагандой в целях ограничения и ликвидации свободы науки. Они входили в партийно-хозяйственный актив, среди которого были и беспартийные. Но отсутствие партбилета не мешало им обслуживать советскую политику.

Советская политика в области науки может быть обозначена как комплекс следующих приемов и процедур:

- цензура на основе произвольно установленных властью идеологических, политических и полицейских критериев;

- всеобщий надзор, слежка, провокация, давление сотрудников госбезопасности и их агентов на ученых;

- составление и применение гласных и негласных инструкций, позволяющих репрессировать и дискриминировать лиц, получивших негативную оценку партийных структур;

- оценка партийным аппаратом кандидатов на все должности, награды, ранги, премии, субсидии на основе принципов неявности и конформизма;

- отрицательная оценка лиц, поведение которых нарушало верноподданность;

- направление львиной доли денежных и материальных средств (под видом финансирования науки) на потребности военно-промышленного комплекса и партийно-государственного аппарата;

- отбрасывание идеала объективной истины при определении целей и задач науки;

- систематическое и целенаправленное вмешательство в научную жизнь (в виде кампаний апологетики или диффамации конкретных лиц и целых научных направлений, вплоть до расистской ксенофобии);

- манипуляция, коррупция, давление на ученых для превращения их в холуев правительства и общества «реального социализма»,

послушно выполняющих указания разведывательной природы и нарушающих нормы профессиональной этики.

Так было во времена СССР. Особая проблема состоит в описании механизмов воспроизводства указанных приемов и процедур. Сегодня в России расходы на науку таковы, что это затрудняет или полностью исключает свободу научного творчества.

Свободы науки нет, если:

- нет средств для проведения научных исследований, вытекающих из современной проблемной ситуации или подтверждающих преемственность эпистемологической, технологической и гуманистической функций науки;
- затруднены научные (прямые и опосредованные) коммуникации и издание научных публикаций;
- не обеспечена достойная жизнь ученого на таком уровне, когда побочная деятельность дополняет научную работу, а не превращается в основную.

Научная культура - это состояние общества, тождественное постоянному, всеобщему и значимому присутствию научного знания на всех социальных полях. Общество не обладает научной культурой, если:

- академический уровень страны ниже мирового;
- расходы на научную и педагогическую деятельность ниже мировых стандартов;
- популяция кандидатов на профессии ученого и педагога не позволяет выбрать достойных наследников мастеров из сообщества учеников;
- сеть университетов не тождественна центрам, в которых есть научная среда для нормального развития.

Как показал Б.Г.Юдин, в России на протяжении XX в. не сложилось нормальное научное сообщество, поэтому современная Россия не является обществом научной культуры и постепенно отдаляется от ее мировых стандартов. Власть скорее продолжает, чем ревизует советскую политику в отношении науки. После событий 1991-1993 гг., особенно после прихода к власти команды В.В.Путина, политики в отношении науки нет, хотя бумаг в виде законов и постановлений вышло множество. Одновременно на многих постах находятся люди с дипломами кандидатов и докторов наук, членов-корреспондентов и академиков. Значит, руководители государства не хотят всерьез за-

няться вопросами: кем должны быть ученые в России и должна ли быть в ней наука?

Общая ситуация выглядит следующим образом. Вопросы науки рассматриваются и решаются без участия ученых. Нарушается правило использования экспертиз о структурном и функциональном характере науки как культуротворческом факторе развития общества. Не учитываются потребности ученых, большинство которых не имеет средств на достойную жизнь и научную и педагогическую деятельность. Пренебрегается специфика науки как формы знания, познания и творчества. Происходит полное отождествление университетов и научных институтов с супермаркетами, бюро услуг и другими конторами, работающими по заказам клиентов. Отсутствует понимание того, что свобода науки – это комплекс механизмов пользования свободами, образующими состояние свободы.

На этой основе научное сообщество может составить иск (или обвинительный акт) по отношению к власти. Власть принимает решения о субсидиях на науку, статусе ученых и институтов научной жизни, нарушая принципы компетенции (знание предмета) и функциональности (обязанность принятия решений с учетом потребностей объекта решения). Нарушение обоих принципов свидетельствует об опасной для науки и общества болезни «административного восторга» - убеждения, что само право принятия решения – разновидность чудотворства (или магического знания предмета решения). Административный восторг переплелся с юридическим упоением - верой в то, что законы позволяют преодолеть любую ситуацию, неудобную для власти.

Власть проявляет наглость и мегаломанию в отношении журналистов, ученых, врачей, учителей, художников. Эта тенденция усиливалась на протяжении последнего двадцатилетия. Властвующие убеждены в том, что они обладают магическим знанием, позволяющим управлять наукой. Само существование такого убеждения может служить источником и стимулом для сопротивления ученых.

Большая ложка или окопная правда?

Законность и польза – необходимые условия одобрения и выполнения решений власти. Отсутствие законности бросает тень на знание дела, эффективность действий и пользу выполнения решений. Бесполезность порождает проблему моральной, интеллектуальной и технической квалификации властвующих. Законность властьпридер-

жащих сомнительна, поскольку они не умеют и не хотят быть полезными для общества. Падение авторитета власти – господствующая тенденция последних двадцати лет. Отсюда вытекает проблема выполнимости ее решений. Отказ может быть пассивным или активным сопротивлением.

Фронт такого отказа может состоять из плана и движения сопротивления. То и другое можно составить на основе определения реального положения науки, ученых и управления наукой в стране. Причем, это знание имеет лишь косвенное отношению к правительственным бумагам по данному предмету. Надо исходить из того, что в состав политики, законодательства и управления не входят решения о реальном научном поиске – комплексе познавательных стремлений, форм выполнения познавательных действий и применяемых при этом теориях и методах. Принятие решений о науке – это комплекс процедур, не мешающих ей развиваться в любых направлениях. Речь идет об установлении законов, функциональных в отношении научного познания, и выделении средств для его функционирования.

Внутренние дела науки есть предмет самоуправления ученых, автономии научного познания. Власть должна отвечать только за функциональность законов и выделение на науку средств для обеспечения механизмов научного поиска. Их легитимность зависит от гарантирования бюджета, оборудования, зданий, штатов, кадров для соблюдения условий существования науки в системах экономики, культуры и государства.

Настоящее состояние вещей в российской науке - продукт властных решений. Оно дисфункционально с точки зрения потребностей и задач науки и способствует развитию следующих феноменов:

1. Расцвет теневой жизни ученых – выбор коррупции как нормы поведения, мнимо-научная деятельность, занятие другими видами деятельности, дающими доход.

2. Отток из науки значительного числа людей, придающих вес собственному социальному (а не научному) статусу. Эти люди переходят на другие поля активности, эмигрируют путем прямого или косвенного взаимодействия с механизмами утечки мозгов, бросают отечественную культуру.

3. Создание предпосылок для движения сопротивления, направленного на замену вредных властителей полезными для науки людьми.

Государственная политика в области науки бесполезна или вредна для ученых. Она закрепляет раздел сферы науки на мир политических и мир научных ценностей (целей). В традиции социальной и политической мысли такое состояние вещей называется делением на мир политиков и мир людей содержательной компетентности. Первые стремятся реализовать свои доктрины и планы независимо от потребностей науки и общества. Другие отстаивают формулу: не существует никакой другой науки кроме той, которой занимаются с полной самоотдачей как главной целью жизни, располагая средствами на познавательную деятельность.

В России вторичная институционализация науки после 1917 г. сформировала следующие нормативно-ценностные структуры поведения отечественных ученых: установка на самоизоляцию; отсутствие автономии и самоорганизации; определение приоритетов развития науки путем закулисного сговора политической и академической бюрократии; конфликт между гражданским и профессиональным статусом ученых. Современная отечественная наука есть воплощение английских (колониально-имперских), французских (революционно-бюрократических) и российских (самодержавно-бюрократических) интересов и амбиций власти и ученых. Поэтому в России нет нормального научного сообщества. Все это позволяет отвергнуть идентичность политиков и управленцев с учеными (от кандидата наук до академика).

Со времен Сталина и до настоящего времени министерства и ведомства заполняются лицами с научными степенями и званиями. В верхней и нижней палатах ФС РФ, Общественной палате и прочих конторах и синекурах тоже немало остепененных карьеристов обоих полов. Мотивацию их карьерного продвижения условно можно подразделить на следующие группы:

1. Представители власти считают политический театр выгоднее театра научной жизни. Но на всякий случай или для продвижения на рынке политических карьер приобрели научные степени и звания.

2. Представители партий относятся к науке в соответствии с требованиями партийной тактики и стратегии (не только коммунистической).

3. Специалисты разных дисциплин пошли во власть на основе собственного представления о своих умениях и целях или после соответствующей вербовки.

Не надо особо доказывать, что члены первой и второй категории либо не имели ничего общего с наукой в строгом смысле слова, либо решительно порвали все корни с ней. Они культивируют иной ценностный порядок по сравнению с ценностным порядком участников битвы (или «игры», как сказал бы Л.Витгенштейн) за научную истину. Их можно назвать мнимыми учеными, которые прикрываются учеными степенями и званиями, но не соблюдают элементарные нормы научного этоса. Благодаря связям в политических кругах они могут выторговать разнообразные виды modus vivendi и даже устойчивый мир между учеными и политиками. Но такая торговля ведет к отказу от принципов и капитуляции научного этоса[6].

Люди третьей категории пытаются избежать дискомфорта, обусловленного конфликтом ролей политика (законодателя, управленца) и ученого. Им кажется, что они ведут себя иначе в статусе ученого и в статусе политика. Они хотят быть слугой двух господ. Служить тем и другим, в зависимости от присутствия в академической лаборатории, на университетской кафедре, среди министерских крыс или парламентских болтунов. Наука требует быть хорошим специалистом. Политика приказывает защищать raison d'état. Достаточно провести границу между ними, как снимается конфликт указанных и ролей и проблема идентичности политиков и ученых. По сути, такое рассуждение обосновывает двоемыслие.

Правда, некоторые осознают: политика не терпит конкуренции и требует быть ее преданным слугой. Но они ощущают принадлежность к ученому миру. В их сознании возникает идея такой ложки, которой можно хлебать вместе с чертом из одной кормушки. Однако спустя некоторое время возникает «задний ум»: такой ложки не существует. Всякий, кто когда-либо хлебал из государственного корыта, - тот обслуживал такую политику, которую ревнители научной истины признают вредной для науки и ученых. Нахлебники непричастны к миру битвы за научную истину по причине измены главной норме научного этоса: преданность науке выше любых обязанностей – перед raison d'état, правительством, партиями, семьей и т.д. Научный этос требует не иметь ничего общего с людьми, способствующими деградации науки.

Итак, разрыв между политикой в отношении науки и требованиями научной культуры раздваивает социальное пространство на политиков (чиновников) и ученых (воспитателей ученых). Состояние раздвоенности ставит перед каждым человеком с научной степенью и

званием проблему выбора: принадлежать к политикам (чиновникам) или быть верным научному этосу? Эта ситуация позволяет проверить на верность научному этосу всех, кто номинально является ученым.

Раздвоение на политику и науку появляется там, где «командиры науки» руководствуются иной концепцией бытия и функции науки и статуса ученого по сравнению с действительными окопными «солдатами науки». Вследствие противоположности этих концепций образ политика и чиновника в сознании ученых тождествен человеку, принимающему вредные для науки решения. Такова окопная правда натуральных российских ученых. Я пока не слышал, чтобы кто-нибудь из прошлых и современных политиков и чиновников добровольно отказался от научных степеней и званий. Значит, они хотят существовать и действовать в политико-административном мире. И потому должны осознать факт собственного систематического обмана ученых, журналистов и граждан, от имени которых действуют. Формы такого самообмана (самооправдания) могут быть предметом художественной литературы, клинической психологии и социологии науки.

Проблема терапии научной жизни

Ученые имеют право на сопротивление при условиях: власть не обеспечивает свободу научного творчества в конституционном смысле слова; принимает бесполезные (вредные) для науки и ученых решения; политический курс правительства в отношении науки дисфункционален; круг авторитетных ученых (на основе мнения специалистов-науковедов) определяет ситуацию как основание для реализации права на сопротивление. Если властвующие связывают некомпетентность и дисфункциональность с невежеством и произволом, то основанием формирования фронта отказа является элементарная норма научного этоса о профессиональной ответственности ученых.

Такая профессиональная ответственность связана с соблюдением следующих условий:

1. Социальные нормы обязывают ученых исполнять действия, связанные с профессией научного работника.

2. Эти действия (или бездействие) влияют на социокультурную реальность (уровень научного знания, квалификация ученых, характер действительных функций науки).

3. Анализ положения дел приводит к выводу: ученые нарушают профессиональные нормы, что негативно влияет на социокультурную реальность.

4. Научное сообщество стоит перед выбором реакции по возмещению вреда, поскольку нарушение профессиональных норм наносит ущерб науке – т.е. достоинству, без соблюдения которого исчезает легитимность науки в целом или ухудшены условия соблюдения профессиональных норм.

5. Существуют законы о гражданской (уголовной) ответственности за нарушение указанных норм – т.е. измену научному этосу.

Иначе говоря, структуры измерения справедливости в отношении любого властного решения должны установить: нанесен ли вред науке? в чем он состоит? связан ли он с выполнением профессии ученого? кто отвечает за нанесение вреда? какова мера и сфера ответственности ученых?

Без надлежащих юридических образцов мысли и действия невозможно достичь такой профессиональной ответственности ученых, которая позволяют рассматривать ее как частный вопрос социального контроля научного сообщества над отдельными лицами и группами внутри и вне науки. Идея такого контроля давно высказана М.Оссовской. Она считала, что вместо умножения профессиональных этических кодексов надо детально изучить вопрос о социальных и политических источниках и следствиях множества нарушений традиционных принципов профессиональной морали ученого. Но в отличие от М.Оссовской я полагаю, что при рассмотрении случаев нанесения вреда науке путем действия (бездействия) надо использовать (mutatis mutandis) комплекс правовых категорий - вина, вред, нанесение и возмещение ущерба, обязанность, мошенничество, права субъекта, иск, удовлетворение иска.

Профессиональная ответственность ученых – это ответственность за последствия действий при выполнении профессии научного работника. Можно выделить три вида ответственности:

- за продукты профессиональной деятельности – познавательные ценности, использование которых влияет на удовлетворение человеческих потребностей и решение социальных проблем;
- за воспитание и образование учеников;
- за соблюдение условий выполнения профессии.

Такая ответственность возлагается на всех, у кого есть дипломы и аттестаты о научных степенях и званиях.

Политики, законодатели и администраторы России не соблюдают ответственность ни в одном смысле слова. Поэтому надо квалифицировать их измену научному этосу как умышленное действие, со всеми вытекающими последствиями. Властвующие сохраняют свои научные степени и звания, но принимают вредные для науки и ученых решения. Одновременно с помощью публичной риторики (в состав которой все более входит законодательство) научные работники принуждаются выполнять принятые указы и доверять властвующим. Все это я предлагаю рассматривать как разновидность истории об охоте на зайца.

Подобно ровесникам, я в детстве читал «Лесную газету» В.В.Бианки. До сих пор помню, что для зайца самым безвредным является охотник, который стреляет направо и налево и прет напролом. Значительно опаснее принюхивающийся пес, а еще более – маленькая собачка, переодетая в шкуру зайца. Но наиболее опасен настоящий заяц, выдрессированный для того, чтобы привлекать других зайцев под стволы ружья.

Русские ученые были и остаются реальными зайцами. Всю современную политико-управленческую сферу России я предлагаю рассматривать как дрессированных зайцев. Таковы реальные основания для того, чтобы ученые использовали jus resistendi - право сопротивления как последний аргумент в отношении власти. Я не буду здесь подробно описывать способы и средства его применения. Меня более интересует проблема морали во время реализации права сопротивления. Разделение на политиков и ученых и jus resistendi последних следует понимать как тест проверки на верность научному этосу. Мораль множества техник сопротивления может базироваться на следующих правилах конституирования солидарности его участников:

1. Поляризация – постановка ученых перед выбором между политико-административной и научной деятельностью. На этой основе проверяется их отношение к норме солидарности между участниками битвы за истину в вопросах бытия науки и статуса ученых.

2. Остракизм в отношении тех, кто в конфликте политики и науки пытаются связывать верноподданность с принадлежностью к среде, мораль которой определяется научным этосом.

3. Информация всего научного сообщества о всех конфликтах, риторике и стратегиях поведения политиков, законодателей и администраторов при решении конкретных проблем. Прежде всего – о последствиях проигрыша или отказа от права сопротивления. Такая ин-

формация нужна для обсуждения данной проблемы всеми заинтересованными участниками. Обсуждение необходимо для уяснения причин права использования сопротивления и актуального раздвоения на политико-административную и научную деятельность в конкретных сферах науки.

4. Политизация – показ конфликта как значимого для общества. Деградация науки имеет фундаментальное значение для научной культуры общества, в котором граждане живут, учатся и работают.

Раздвоение на политику и науку – характеристика современной реальности. У политиков и чиновников отсутствует добрая воля, воображение, рассудок, знания и умения, необходимые для принятия полезных решений. Поэтому право сопротивления есть выбор правильной позиции. Политики и чиновники обычно связывают свой политический курс с убеждением научного сообщества. Для этого они используют целую орду спичрайтеров, экспертов, публицистов. Выводы политико-чиновничьих клик обычно содержат оптимистические образы мира и призывы к гражданскому единству властвующих и подвластных. На эти побрякушки и надо обратить особое внимание. Напомню, что апелляция к групповым интересам и идеалам - классическая техника разрушения морали тех, кто сопротивляется.

Автономия ролей исследователя, педагога и эксперта присуща обществу, в котором плюрализм, полицентризм и полиморфизм – конститутивные компоненты социального порядка. В советском обществе независимых экспертов не было. Пресекались даже попытки выполнения такой роли. Руководство СССР трактовало любых специалистов как «всю королевскую рать», независимо от их службы в академических институтах, университетах, партийном и административном аппарате. Независимые ученые-эксперты чаще всего использовали лозунг «улучшения и обновления социализма». И не ставили перед собой цель подрыва советского общества и государства.

Чем руководствовались ученые в роли экспертов - оппортунизмом, партийной дисциплиной, карьеризмом или научной истиной? Вопрос требует специального обсуждения в отношении конкретных лиц, проблем и ситуаций. Но независимо от мотивов они выступали большими или меньшими холуями власти. Стиль и техника управления наукой в СССР сформировали особую ментальность политиков, чиновников, экспертов. Сегодня в России практически нет таких научных групп, которые способны выделить в разных ситуациях экспертов, работающих ради науки и ведущих борьбу с политико-

чиновничьими кликами как элемент «обустройства России». А те, кто готов участвовать в сопротивлении, не могут найти компетентных специалистов, верных научному этосу при экспертизе. Большинство ученых не имеет представления о достоинствах науковедения. Все это отрицательно характеризует интеллект и мораль тех, кто сам или в группе обязан обеспечивать условия для ведения битвы за научную истину.

Поэтому в современной ситуации jus resistendi ученых крайне необходимо. Ученые постоянно сталкиваются с действиями, которые наносят вред науке, ученым и научной культуре как части социальной культуры. Субъектами таких действий являются лица, которые трактуют проблемы политики и науки по аналогии с миром реального социализма. Риторика современных политиков и чиновников напоминает язык советских клик и является зеркалом их ментальности. В ней реализовано убеждение в сверхкомпетенции и всемогуществе. Использование права сопротивления означает также дистанцию в отношении тех, кто управляет наукой на протяжении всего постсоветского времени. Современные политико-чиновничьи клики продолжают стиль прежних и дилетантизм новых «командиров науки».

Болезни общества реального социализма усилились на протяжении последних 20 лет и пополнились рядом новых. Деградация науки стала господствующей тенденцией на фоне коррупции, бессилия прокуратуры, суда, милиции, ФСБ, компрометации политиков и администраторов, кризиса авторитета всех «государственных мужей» и институтов. Сегодня в вопросах истины, добра и справедливости доверять некому.

Болезни науки переплетены с болезнями всех сфер государства: юридической (установление и применение законов), политической (парламент, министерства, СМИ, реклама), кадровой (критерии продвижения на посты), экономической (государственное субсидирование культуры и науки) и ведомственной (отношения между министерством образования и науки, академическими учреждениями и университетами подобны отношениям между центром власти и сетью подчиненных структур). Бюрократизация структур научной жизни – реальность сегодняшнего дня. Большинство ректоров вузов выполняют роль уполномоченных Министерства образования и науки. В отношении вузовского сообщества они выступают сторонниками и защитниками raison d’état. Их действия нередко направлены на то,

чтобы поставить себя и бюрократическую олигархию над сообществом университета.

Наблюдается также отчуждение управленческих структур университетов и НИИ от большинства научных работников. Одновременно происходит их массовая деморализация. В этой ситуации официальные речи руководства, провозглашающих необходимость «профессионализма», фиксируют состояния «административной грации и восторга». Большинством законов можно только подтереться. Или - вслед за С.Беккетом - назвать «курсом на худшее».

Возникает альтернатива между гипотезой о сознательном нанесении правительством России вреда науке или признанием политико-административным безумием экономии на науке и образовании. Я думаю, борьба за существование науки и статус ученых должна проводиться под девизом: «Ни одного решения без нашего участия». Надо заменить административную централизацию действительным самоорганизацией и гражданским просвещением ученых. Социальный порядок российского общества как «машины и винтиков» (М.Геллер) надо раз и навсегда перечеркнуть. Заменить архипелагом множества автономных сфер с признанием их прав. Роль государства в этом случае сводится к устранению помех для развития научной культуры. Деградация науки и статуса ученых деморализует мастеров и учеников. Отношение «мастер – ученик» все более заменяется отношением шеф-персонал, патрон-клиент. Все это свидетельствует о дальнейшей патологизации науки.

В заключение отмечу, что научные учреждения должны оставаться местом, в котором изучают, обсуждают и осмысляют проблемы, сходные для различных культур и пространств. Однако на протяжении XX века усилилась тенденция превратить научные учреждения в топосы, в которых насаждают или решают социальные и политические вопросы. Угроза потери научными учреждениями своих функций и превращения их в придаток государственной машины или властвующих партий возрастает. Поэтому проблема применения теории коллаборационизма к объяснению поведения ученых становится центральной.

Примечания

[1] См.: Макаренко В.П. Русская власть: теоретико-социологические проблемы. Ростов-на-Дону:.СКНЦ ВШ, 1998.

[2] См.: Клейн Л.С. Трудно быть Клейном: автобиография в монологах и диалогах. СПб.: Нестор-История, 2010.

[3] См.: Макаренко В.П. Квазиполитика и проблема политических объектов. Ст. 1–2 // Вестник МГУ. Серия полит. наук. 1998, №№ 2–3.

[4] См.: Фуко Мишель. Безопасность, территория, население. СПб.:Наука, 2011, с.302-405.

[5] См.: Ученый и власть. Круглый стол 12 ноября 2009 г. СПб.: СПбГУП, 2010, 108 с.

[6] В свое время кардинал Ришелье изобрел концепт государственного разума (*raison d'état*), который не равнозначен отбрасыванию научного разума (*raison de science*). Действительно, в правовой демократии raison d'état требует, чтобы raison de science был приспособлен к интересам нации или государства, которые (интересы) интерпретирует правительство. Этот шаблон мысли до сих пор является бродячим сюжетом в большинстве работ, посвященных отношению между политикой и наукой. Внесу одно уточнение. Мне уже приходилось писать, что государственный разум в единстве с законом иерархии и «теорией» разделения граждан на два класса – активных и сознательных (занятых в государственном аппарате) и пассивных и несознательных (не принадлежащих к государственному аппарату) образует элемент бюрократических отношений между обществом и правительством, а также отношений внутри правительства и аппарата управления. Поэтому всякая ссылка на некие «высшие государственные соображения» ведет к маскировке конфликта между политикой и наукой.

Библиография

Бовин 2003 – Бовин А. Пять лет среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна российского посольства (из дневника). М.: Захаров, 2003.

Клейн 2010 – Клейн Л.С. Трудно быть Клейном: автобиография в монологах и диалогах. СПб.: Нестор-История, 2010.

Кремер 2006 – Гидон Кремер. Инародный артист. М.: НЛО, 2006.

Макаренко 1992 – Макаренко В.П. Марксизм: идея и власть. Ростов-на-Дону: изд-во РГУ, 1992.

Макаренко 1989 – Макаренко В.П. Хуторяне в столице // Родина. 1989, № 12.

Макаренко 1998а – Макаренко В.П. Русская власть: теоретико-социологические проблемы. Ростов-на-Дону, изд-во СКНЦ ВШ, 1998.

Макаренко 1998 б – Макаренко В.П. Квазиполитика и проблема политических объектов. Ст. 1-2 // Вестник МГУ. Серия полит. наук. 1998, № 2-3.

Ученый и власть 2010 – Ученый и власть. Круглый стол 12 ноября 2009 г. – СПб.: СПбГУП, 2010

Фуко 2011 – Фуко Мишель. Безопасность, территория, население. СПб.: Наука, 2011

Николай Серов

Феномен групповой динамики и интересы науки

Введение

Для начала напомним, что культурная антропология уже какое десятилетие пытается отрешиться от «достижений психологии». Ибо в последней до сих пор не решен вопрос даже о том, каким должно быть психологическое объяснение, что эквивалентно и ее ключевому методологическому выбору. Так, А.В. Юревич отмечает: «Психологическое объяснение, как правило, развивается в искусственно сжатом пространстве, ограниченном запретами на различные формы редукционизма: "сверху" – социального, "снизу" – биологического. Отсюда проистекают такие свойства психологического объяснения, как его "топтание на месте" без сколь-либо существенного проникновения в суть объясняемых явлений, объяснение "подобного через подобное" (например, одних когниций другими когнициями), круговой характер (скажем, объяснение когниций эмоциями, а эмоций - когнициями), подчиненность преимущественно целям понимания объясняемых явлений, а не целям предсказания и контроля над ними и т.п. В результате большая часть научного сообщества воспринимает такие объяснения как неудовлетворительные, а то и вообще как не научные» [Юревич 2006:105].

Как культуролог вполне доверяю заключению профессионала-психолога. Но тут же задаюсь вопросом: чем же сковывает хроматическая антропология это «объяснение», если и теория, и методология хроматизма позволили снять приведенные запреты "сверху" и "снизу"? Для ответа же мне придется привести несколько иные ракурсы этих «запретов», чем это представил А.В. Юревич.

Эмпирические корреляции в науке признаются только после их объяснения теорией или моделью. Практически же все психологические методики, согласно выводам Джеймса Кеттелла и Пола Клайна, основаны на экспертных, т.е. эмпирических оценках, полное согласование которых (при известной системе отбора) считается достоверным, согласно **стереотипам научного сообщества**. Вместе с тем хорошо известно, что **объективный критерий адекватности** полученной оценки и даже метод, модель, или теория, которые бы давали объективную оценку достоверности этого совокупного мнения экспертов, **не существует**.

Не зря же в литературе до сих пор оговаривается «искусство психологической диагностики», что, вероятно, не требует комментариев – искусство имеет к науке такое же отношение, как и «сказкотерапия» (тоже область научной психологии!). В соответствии с этими тезисами мы и формулируем **цель настоящей работы**: **попытаться понять, а, быть может, и снять пресловутые «запреты» в дискуссии с академическими стереотипами «научного долженствования».**

Очевидно, поставленная цель может быть достигнута лишь при антропологическом отказе рассматривать абстрактного «человека» (вне времени, вне пространства, вне граничных условий существования, вне пола/гендера и даже вне цветовых фильтров одежды), как это обычно представляют философы и психологи. А для этого нам потребуется решить релевантные задачи, во-первых, по созданию новой методологии, которая должна базироваться на классических представлениях о реальном (женственном/мужественном) человеке в реальной (социальной, культурной и природной, т. е. светоцветовой) среде с тем, чтобы создать практически реализуемые информационные модели человеческого мышления. Во-вторых, эта методология должна обладать базовым критерием науки – воспроизводимостью эмпирических данных, что и ведет к адекватности результатов, которые могут быть приняты вслед за их воспроизводимостью научным сообществом. И, в-третьих, эти результаты должны привести нас к возможности классической систематизации все более и более увеличивающегося числа разнородных данных, т. е. к построению конкретных информационных моделей свойств, функций и отношений компонентов в изучаемых нами системах антропологии академической жизни.

Методология социогуманитаристики

Насколько мне известно, до настоящего времени ни на одном из методологических семинаров речь об этом не заходила. И вот, как-то волей случая, я оказался на конференции «междисциплинарщиков», где ставился практически этот же вопрос, правда, в несколько иной плоскости: как нам отойти от принятой сегодня методологии, которая явно устарела и не успевает за потребностями сегодняшнего дня? Любопытными мне показались и доклады участников симпозиума, в которых рассматривалась не теоретическая часть их устоявшейся методологии, а некие предсказания из того, как будет осуществлять фи-

нансирование, даже если они найдут какой-либо практический путь по ее изменению.

И в душе мне приходилось соглашаться с докладчиками: в самом деле, уже на Ученом совете возникает проблема (а почему это нашему отделу надо разрабатывать его тему, а не мою); далее возникает вопрос о внешнем финансировании (никакой эксперт никакого грантодателя не даст положительного заключения по тематике, которая до этого не была апробирована другими учеными); и при оставшемся ресурсе (лишь инициативно-энтузиастской разработки этого «гения») далее снова возникнут проблемы с тем же экспертом, – а теперь уже и редактором – релевантного академического издания (что за фокусы – этого не было, нет, и не может быть! - отфутболить!)…

Другие доклады на этой конференции посвящались текущему состоянию дел. И в них я тоже узрел зерно истины. Действительно, уже студент, а затем и аспирант, и кандидат наук просто обязаны претворять в жизнь «плодотворные идеи» своего руководителя, который иначе просто не примет в аспирантуру, не даст защититься, уволит, сократит и т. д. И тема, которую все они разрабатывают под чутким руководством начальника, начинает приобретать все более и более выхолощенно-эпигонский характер чаще всего из-за исключительно рационального следования – когда-то, возможно, и актуальным – тезисам. Ибо известно правило «нашей рыночной науки»: все должно быть рационально выведено, обосновано и доведено до полной непротиворечивости результатов.

Но больше всего меня поразил доклад совсем уже старенького профессора, который мягко, но настойчиво растолковывал, что иначе невозможно, что иначе возникнет авантюризм, паранаука, мистика, чушь и т. п. «Да, – говорил он проникновенно, – мои сотрудники развивают именно мое направление, и я внимательно отслеживаю новшества и, если они не обоснованы рационально в рамках моей теории, то никогда не дам им ходу, – да, даже, если они и объясняют мне больше, чем моя концепция». Да, меня тут упрекали за слишком высокий индекс цитирования, но я никогда еще не заставлял сотрудников ссылаться на меня… включать в соавторы… Затем он приводил, и приводил примеры из истории советской науки и закончил весьма показательно: «Вот, когда я умру, пусть мои сотрудники и делают все, что им покажется разумным…». Невозможно передать неимоверную для обычных симпозиумов тишину и последовавшую затем

реакцию: ведущий недоуменно пожимал плечами, кто-то стал аплодировать, кто-то побежал к трибуне помочь спуститься…

Дальше я уже никого не слушал, – честность этого доклада методологически предполагала онтологическое следствие из его контекста. Ибо, как заметил И.Р. Сушков, суть системного подхода состоит совсем не в том, чтобы мысленно поставить явление в центр системы и заставить последнюю вращаться вокруг него, обеспечивая, таким образом, комплексное, многостороннее, междисциплинарное изучение объекта: «Даже если мы берем в качестве цели системного анализа отдельную вещь, хотя и взаимодействующую с другими, такую как организм, личность, группа, мы должны изучать не столько свойства вещи с точки зрения ее целостности и не столько структуру этой вещи, сколько то, как эти свойства делают вещь системой, которая, в свою очередь, превращается в элемент системы, включающей данную» [Сушков 1999:140].

Небольшое отступление

Как специалисту по цвету, в свое время мне пришлось опубликовать информационную модель классической (т.е. не квантовомеханической) корреляции между наблюдаемыми в поглощении электронными термами[2], в связи с чем был развит принцип (относительной) аддитивности (атомных) термов (ПАТ) [Серов 1984]. За прошедшее время экспериментаторы многократно определяли новые полосы поглощения с отнесением неизвестных ранее электронных термов, которые с хорошей точностью совпадали с данными, предсказанными по ПАТ в публикациях 1982-1985 годов. Однако, насколько мне известно, теоретики, квантовики, так и не смогли «осознать» ПАТ, где, как и 30 лет назад, остается намного больше вопросов, чем ответов.

Наряду с этим возникает чисто методологический вопрос: почему ПАТ за все это время не мог быть понят и принят/опровергнут нашими теоретиками? И, вообще говоря, может ли существовать пост-квантовомеханическая картина мира? Или квантовая механика – «абсолютная истина»[3], – впрочем, до сих пор так и не просчитавшая высокие термы даже для молекулы водорода?

Мы не будем вдаваться здесь ни в химфизику ПАТ, ни в известную сложность и затратность времени суперкомпьютеров для квантовохимических расчетов тех же молекулярных термов, которые с большей точностью просчитывались по ПАТ буквально на калькуля-

торе, ибо все это – дело теоретической физики. Нас же больше интересует эпистемология вопроса, касающаяся как физиков, так и лириков: с чем связана так называемая «страусиная политика» нашей науки, когда какая-либо инновационная находка «гения» не соответствует ведущей роли «академического направления» тысяч институтов (миллионов научных сотрудников) по всему миру?

Итак, возвращаясь к Введению, а также отвечая на перманентный вопрос оппонентов хроматизма («А хочет ли собственно психология стать наукой»?), мы попытаемся обосновать и тот факт, что в перспективах развития психологической антропологии все более и более актуальным становится тезис о необходимости рассматривать психологию как науку не об отдельных психических процессах, а о развивающейся личности в целостном мире субъект-объектных отношений культурной антропологии.

Наука и методология

«Впечатляющая сила наук состоит в относительной независимости их методов и результатов от разума их создателей»,– констатирует Михаил Хеллер и заключает, что едва ли получится отделить, например, философа от его учения, и «изучение философии – это, в большой степени, изучение ее истории. В науке же с самого момента своего происхождения теория отдельна от личности своих открывателей. Самое большее, – их имена будут фигурировать в названии теории или метода» [Хеллер 2005:174].

В самом деле, в естественных науках изучаемая реальность часто упрощается вплоть до полной идеализации. В качестве примеров можно привести «вакуум» в физике, «идеальный газ» в химии, «планетарные модели» в астрономии и др. И поскольку все более и более обширные области исследований оказывались подвластными этим предельно идеализирующим методам, со времен Алана Сокала стали нарастать их обвинения в «тоталитаризме» [Гедутис 2000:185].

С другой стороны, напоминая, что наука – как область профессиональной организации, как социальный институт, как познавательная программа и автономный дискурс – это сугубо новоевропейский культурный стратегически-тактический проект, Е.Г. Соколов весьма обоснованно полагает, что конкретные техники «контроля посредством науки» и «контроля науки» сегодня изменились по сравнению с трех-четырехвековой давностью. «Где-то стали более циничными и откровенными, где-то, напротив, более завуалированными и мягкими,

но в своих контурах остались неизменными. Государственные заказы, государственные программы, вся грантовая система, всевозможные льготы, предоставляемые государством научно-академическому сообществу, премии и звания разного ранга и «калибра», непосредственное прямое содержание научно-исследовательских институтов — что это, как ни прямая связь, организованная по шкурному принципу «Ты — мне, я — тебе»! Причем, далеко не всегда деятельность, осуществляемая под таким финансово-экономическим наблюдением, имела и имеет важное, как сказали бы раньше, народнохозяйственное значение, напрямую не влияет ни на экономические, ни на какие-нибудь другие социально значимые процессы. Лишь опосредованно, через многоступенчатую систему формовки «антропологического субстрата», либо легитимации существующего «положения вещей» [Соколов 2001:170].

Вместе с тем далее Е.Г. Соколов полагает: «Эпоха «междисциплинаризма» – деликатное именование той ситуации, когда самостоятельного, автономного и более или менее стабильного, «отдельно взятого» дисциплинарного отсека уже не может сложиться в принципе. Не по отношению к прошлому, к истории-предыстории, но по отношению к сегодняшним задачам исследования, организации, планирования и конструирования познания. Если же вдруг, по какому-то недосмотру, такой концептуально-дисциплинарный, с четкими и неизменными правилами, монолит и объявится, то его пришествие будет расценено либо как очевидное недоразумение, либо как девственная наивность продуцентов, либо как простой бред, в лучшем случае, художественного плана. Уж одними максималистскими притязаниями такой познавательный конструкт сразу, полностью и окончательно себя дискредитирует» [Соколов 2001:183]. Иначе говоря, «не было, нет и не может быть!»… И здесь-то мы воочию убеждаемся, как незнание фактического материала приумножается абсолютизацией своего «незнания», и в частности, пренебрежением работ Шпенглера, Сорокина, Тойнби, Уайта, Кребера и многих, многих других основоположников культурной антропологии. Здесь же и полнейшее отрицание даже возможностей создания информационных моделей (систем упрощения знаний), которые разрабатывались в кибернетике с 70-х гг. XX века. Здесь же и абсолютизация исключительно формальной логики и – типичное для нашей философии – неверие в существование логики образной, нечеткой, генной и др., основы которых с 80-90-х гг. XX века разрабатывались в информати-

ке и хроматизме. И, наконец, здесь наиболее наглядно проявлена та самая «экспертная оценка», о субъективности которой вслед за Кеттеллом и Клайном мы говорили во Введении.

И даже сегодня, когда на наших глазах происходит резкое размежевание ‘культуры’ и ‘цивилизации’, наши прагматики уверены в своем когнитивистском критерии истины – правильно лишь понятийно-вещное (как бы не обмолвиться, – «рыночное») структурирование бытия, но никак не его хроматическая, т.е. системно-функциональная – буквально гетеанская – организация построения семантических полей культуры. Об этом, в частности, говорит и безосновательное упоминание теории Ньютона «о цвете», которая никакого отношения к ‘цвету’ никогда не имела, но до сих пор преподается гуманитариям. Не буду повторяться, ибо это было уже детально обосновано [Серов 2009:11,41].

В связи с этим вспоминаются замечательные слова академика В.А. Энгельгардта: «Научное творчество есть результат действующего в нас инстинкта, результат стремления удовлетворить внутреннюю потребность, заложенную в нас природой, потребность расширить область человеческого знания, внести ясность в то, что ранее было туманным, внести элементы порядка в тот хаос неизвестного, который нас окружает» [Энгельгардт 1984:297].

Таким образом, практически существует два варианта познания, и мы должны выбрать: или мы делаем это формально-логически, рационально, или признаем иррациональный способ заниматься наукой с помощью интуиции, чувств и др. «Рациональность — это ценность. Это легко можно увидеть, противопоставив рациональность иррациональности. Мы оцениваем рациональность как нечто хорошее, а иррациональность — как нечто плохое. Когда мы выбираем рациональность, мы выбираем нечто хорошее. Следовательно, это нравственный выбор» [Хеллер 2005:188]. И этого вывода не удаётся избежать, ибо в самом основании науки стоит нравственный выбор, – правда, в сочетании со стереотипами.

Социальные стереотипы как штампы сознания вырабатываются социальной средой, которая приписывает вполне определенные функции своим представителям. Так возникает некая абсолютизация стабильного и весьма упрощенного представления о каком-либо явлении и/или группе, которая становится общезначимой в данной социальной среде. В этом смысле различают социальные (например,

научные) автостереотипы (представления о своей группе) и гетеростереотипы (представления о других).

Если же под социальным стереотипом понимать схематизированное, зачастую искаженное, характерное для сферы обыденного сознания и обладающее большой устойчивостью представление о социальных отношениях в науке, то важной составляющей этого стереотипа оказывается эмоционально окрашенный, примитизированный, стандартный образ представителя данной социальной организации.

Строго говоря, от других видов знания научный стереотип отличается тем, что информация, на которой он основывается, соотносится не с релевантным объектом, а с другими знаниями, которые, в свою очередь, могут оказаться ложными, хотя во многом и экономят усилия ученого при восприятии сложных социальных отношений, защищая его ценности. Ибо, как правило, они определяются «организацией и устойчивостью реализующих их установок, включающих три компоненты: когнитивную, как знание и чем-то, эмоциональную (оценочную), как отношение к чему-то, и поведенческую (побудительную), как готовность действовать определенным образом» [Грановская и Крижанская 1994:156]. Основываясь на этих определениях, рассмотрим предварительный этап достижения нашей цели.

Власть психологов в антропологии

Основная проблема психологической антропологии сводится к обилию фактического материала, для понимания и классификации которого необходимы сколько-нибудь приемлемые теории[1]. Последние, как известно, до нынешнего времени отсутствовали из-за субъективности проявления человеческого духа, которая и привела к тому, что в психологии не существует какой-либо общепризнанной теории и даже модели "сознания" ("Сколько исследователей – столько и моделей"). И, разумеется, этой субъективностью обладали как субъекты (ученые), так объекты исследования (испытуемые, информаторы и т.п.). Сюда же входили личные данные, вкусы и предпочтения исследователей, которые нередко включались в основные предпосылки теорий личности, и таким образом, служили отражением мыслей и ценностей тех, кто их разработал.

Как отмечает Грэйс Крэйг, «каждый теоретик обладает неповторимой научной биографией и интересами, которые, хочет он того или нет, влияют на его исследования. Эти личные данные затем неявно включаются в основные предпосылки теорий. Таким образом, теории

служат отражением личностей, мыслей и ценностей тех, кто их разработал. Многие специалисты по развитию придерживаются эклектической ориентации» [Крэйг 2000:62]. Поэтому и мы вслед за Крэйг выбираем те конкретные аспекты многочисленных теорий, которые могут привести к созданию цельной картины личности.

Любопытно, что сегодня уже не звучат обвинения хроматизма в эклектике. Почему? Как известно, эклектика являлась положительным моментом познания во всех без исключения революционных учениях и получила свое научное обозначение как «конвергентная эклектика», то есть предварительный этап синтеза разнородных знаний в единую систему (например, антропология + философия + социология + психология + психофизика = хроматизм). Без этого этапа было невозможно воздействовать на сложившуюся догматизированную авторитарную систему конгломерата знаний и толкнуть ее к перестройке. Нередко имела место и так называемая «дивергентная эклектика», связанная с выявлением в единых и простых ранее терминах тех типологических различий, которые требовали их последующего ⇒ гендер ⇒ пол ⇒ душа, дух, тело ⇒ разнесения по различным концептам («сознание» N – E условия). Таким образом, эклектика всегда включала и включает в себя синтез и анализ знаний, как это вслед за Платоном утверждал Гегель. С этих позиций недогматизированная антропология – как единая наука о проявлениях онтологически идеального в материальном, – успешно использует эклектику обоих упомянутых видов для адекватной интериоризации разнородных знаний.

Сегодня многое из того, что происходит в научном сообществе и совершается как бы в режиме научной полемики, связано, скорее, с феноменами групповой динамики, нежели собственно с интересами науки. Аналогичные выводы напрашиваются и при анализе феномена власти в науке. При описании этой ситуации в научном сообществе выделяются [Беляев 2001; Сосланд 2004] следующие виды борьбы:

Борьба за самообоснование является следствием того, что наука представляет собой поле, в котором могут располагать свое существование и индивиды, и социальные группы. Поэтому каждый индивид, строящий свой мир в поле науки, и борется за возможность обосноваться там. То есть речь идет о феноменах, всем и давно очевидных: научный мир есть пространство интенсивной групповой динамики. Регуляторами же этой динамики служат научные результаты, данные исследований и т.п. Собственно же групповая динамика фор-

мируется интересами присутствия и влияния как борьбы за превосходство и лидерство. Цитируемые исследователи подчеркивают, что без учета этих обстоятельств многое в жизни научного сообщества окажется непонятным.

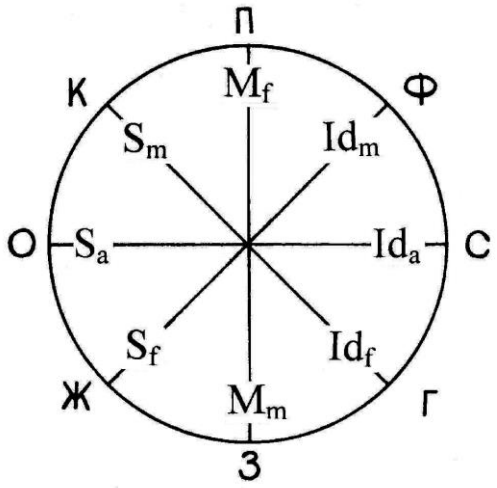
Отвоевав себе пространство, ученый ввязывается и в иные виды борьбы. Борьба за идентичность является следствием того, что наука представляет собой поле, в которое индивид не может перейти полностью. Поэтому осознание принадлежности себя к другим полям существования делает неизбежным перманентные переходы от поля науки к сугубо человеческим полям «не науки» и обратно. При этом взаимообусловленность индивидуальной и групповой идентичности оказывает существенное влияние как на взгляды ученого относительно его положения в сообществе, так и на разделение этого сообщества на «свое» и «чужое». Фиксация идентичности может привести к формированию строгих дискурсивных рамок, являющихся и явными идентификационными признаками («я из этой школы»). С этим смыкается и борьба за коммуникативное пространство, как следствие того, что наука представляет собой поле, в котором одновременно создаются миры разных индивидов и социальных групп: каждый, строящий свой мир, борется за обладание этим полем.

И последний тезис, развиваемый в указанных работах: борьба за пространство культуры. Этот вид борьбы является следствием того, что наука есть определенный способ организации культуры, и возможно стремление ученого сделать ее фундаментом культуры в целом, если верить в необходимость этого. Важно отметить, что в мире естественных и точных наук подобные «бойцовские» аспекты смягчены вполне понятными обстоятельствами: строгость дефиниций, верифицируемость данных при их экспериментальной воспроизводимости могут поставить точку в любом научном споре. В гуманитарных же областях знания проблематичность воспроизводимости и/или экспериментального подтверждения положений той или иной теории становится условием конкурентно-полемического сосуществования разных школ, направлений и т.п.

Хроматизм и творчество

Именно в таком аспекте и создавалась теория хроматизма. Поэтому я до сих пор не понимаю, почему монографии и/или учебные пособия по культурной антропологии не содержат сублимированных[4] образов изучаемых культур[5]. Иначе говоря, все без исключения куль-

туры оказываются в умах студентов настолько «рационально обесцвеченными», что лишаются даже их потенциального осмысления на уровне интеллекта. Вместе с тем, практикуемый иногда антропологами показ презентаций и/или слайдов с конкретными фрагментами заданной цветовой культуры может завести в тупик мышление студента еще в большей степени, чем абстрагирование, т.е. уход от фактов. Ибо, с одной стороны, цвет конкретен как единичное явление. С другой стороны, он служит интеллектуальным обобщением – как, например, любые цветовые каноны, которые тысячелетиями воспроизводились различными культурами и, по существу, являются опредмеченными образ-концептами семантически релевантных и, – что наиболее существенно, – жизненно важных предикатов интеллекта, детально рассмотренных в «Цвете культуры».



Поскольку принятое в хроматизме определение цвета включало в себя планы множества разнородных вещей и их отношений, то с помощью этих планов стало возможным анализировать и классифицировать самые «бесцветные» вещи, и в частности, «привязать» гендерные функции интеллекта к каждому из «атомов» (хром-планов) «атомарной» модели интеллекта (АМИ) с гендерной оппонентностью (АМИГО)[7] и далее классифицировать их по этим планам (Табл.1 и Рис.1).

Рис.1. Цветовой круг АМИГО[6]

Итак, возникает своеобразная альтернатива. Или мы уйдем от реального человека к его понятийному представлению в нашем «сознании» и будем изучать это представление, т.к. «реальный человек принципиально непознаваем»[8]. Или, – говоря вообще о науке, – забудем, что изредка появляются новые идеи и просто отнесем их к предметным сферам нашей понятийной области, даже если эти идеи находятся в своем становлении и, быть может, еще далеки от своего опредмечивания. Таким образом, «наука наша» претендует исключительно на свершившееся, т.е., строго говоря, принципиально элими-

нирует собственно ‘свершающееся’, отправляя его в небытие когнитивизма и/или сжигая в печах техницистской прагматики социума. Наглядной иллюстрацией этому может служить сравнение зрительных трактов со схематическим представлением семиотического треугольника Готлоба Фреге и хроматического ромба Николая Серова на рис. 2–4 (см. табл. 1), где информация взаимодействия именно между корой и подкоркой оказывается весьма существенной для моделирования креативности, а этим, и построения актуальной методологии для научного сообщества.

Строго говоря, если ‘идея’ в культурной антропологии является «абстракцией» и не представляет собой реальный объект, то, как мне кажется, рис. 2–4 наглядно передают принцип «проще изучать то, что “понятно”, а то, что “непонятно” (неосознаваемо) лучше не изучать». А ведь, это-то, на мой взгляд, и характеризует нашу цивилизацию, но – никак не культуру. Ибо именно гипоталамическая область подкорки (‘творческое подсознание’) отвечает за то «свершающееся», – что и характеризует собственно ‘культуру’.

Таблица 1. Семиотическая корреляция АМИГО с гендерными доминантами

Объ-ект\Планы	Ma	S-	Id-	M(m)	M(f)
Предикаты планов АМИ	Внеш-няя сре-да	Бессознание	Подсознание	Самосознание	Правосознание
Функции хром-планов	Краска	Цветоощуще-ние	Цветовоспри-ятие	Цветопредставле-ние	Цветообозначе-ние
Гендерные доминанты	–	f >> m	m >> f	m ≥ f	f >> m
Моделиру-ющий цвет	(Свет)	Теплые тона	Холодные тона	Зеленый	Пурпурный
Г. Фреге	Вещь	–	Смысл	–	Имя (понятие)
Н. Серов	Вещь	Сенсус	Образ	Смысл	Имя (понятие)

И в этом смысле мне кажутся весьма продуктивными мысли Г.П. Щедровицкого, осуждающие формально-логический подход нашей науки к принципам мышления: «Привести фактический предмет исследования в соответствие с моделью, принятой в формальной логике, – отмечает ученый, – это, значит, ограничить этот предмет одной лишь знаковой формой языкового мышления» [Щедровицкий 1995:39, 455, 577].

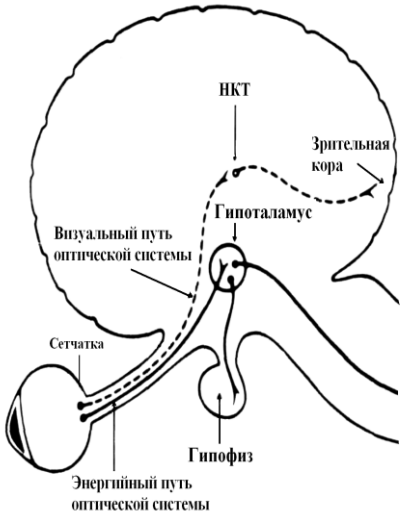


Рис.2. Схема зрительных трактов[9]

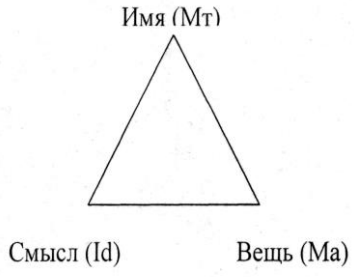


Рис.3. Семиотический треугольник Г. Фреге[10]

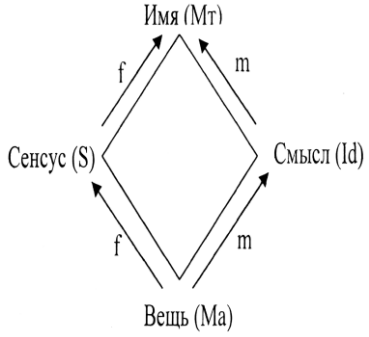


Рис.4. Хроматический ромб Н.Серова[11]

Выше мы уже видели, что контекстуальное неразличение субъективных и объективных описаний интеллекта нередко является следствием и терминологической путаницы. Это связано с тем, что психология нередко использует терминологию философии, где «сознание» (как гносеологическая категория) – предикат человеческого духа. «Перенос» же этого термина в онтологию и, в частности, в антропологию, вообще говоря, настолько запутывает ученых, что до сих пор еще можно встретить рассуждения типа «сознание включает в себя бессознательные реакции», «не все осознается сознанием», «религиозное сознание» и т.п. Каким же путем можно было решить эту задачу — элиминировать данный двусторонний субъективизм оксиморона для адекватного представления сущности человека, его интеллекта?

Ведь сегодня даже психологи возражают против позитивистской абсолютизации этого «переноса»: «Следует сказать, – замечает, например, М.А. Холодная (в предисловии к монографии [Равен 1999:5]), – что многие традиционные психологические понятия, к сожалению, не вполне соответствуют реалиям человеческой жизни. Нельзя же всерьез верить, что определения типа «личность – это совокупность психологических черт», «интеллект – это способность решать тестовые задачи», «креативность – это способность порождать оригинальные идеи» и т.п. имеют какое-либо отношение к психическим механизмам реального человеческого поведения». Из рис. 2

и 4 непосредственно следует, что для достижения цели нашей работы желательно было бы обратить внимание именно на ‘свершающееся’ между С- и Ид-планами АМИ, а не обсуждать исключительно «абстрактные идеи» Мт-плана.

Например, при бытовом уровне обмена информацией (рис. 5а) происходит своеобразная смена ее акцентов, или, строго говоря, содержательных планов контекста, т.е. получается система постоянно конвертируемых отношений между представлением С-плана (формой, заложенной в концепте) и образом (содержанием предмета сообщения, отвечающего данному концепту в Ид-плане). Поэтому-то в «Хроматизме мифа» [Серов 1990:272 и сл.] Ид-план обозначал именно этот аспект контекста – многозначный, индивидуальный, подсознательный, правополушарный; а к Мт-плану, соответственно, стали относиться однозначные, обыкновенные, левополушарные понятия, полученные путем трансформации контекста С-плана.

Отсюда следует, что почти любое понятие Мт-плана может включать посредником и С-, и Ид-планы, но не всякий образ Ид-плана подлежит пониманию в Мт-плане. Иначе говоря, понятия Ид-плана, взятые вне контекста, для Мт-плана – из-за индивидуальности переработки информации правым полушарием – могут оказаться на уровне образов, но не понятий, тогда как понятия полученные путем переработки информации С-планом окажутся именно понятиями в силу их семантической близости с Мт-планом[12].

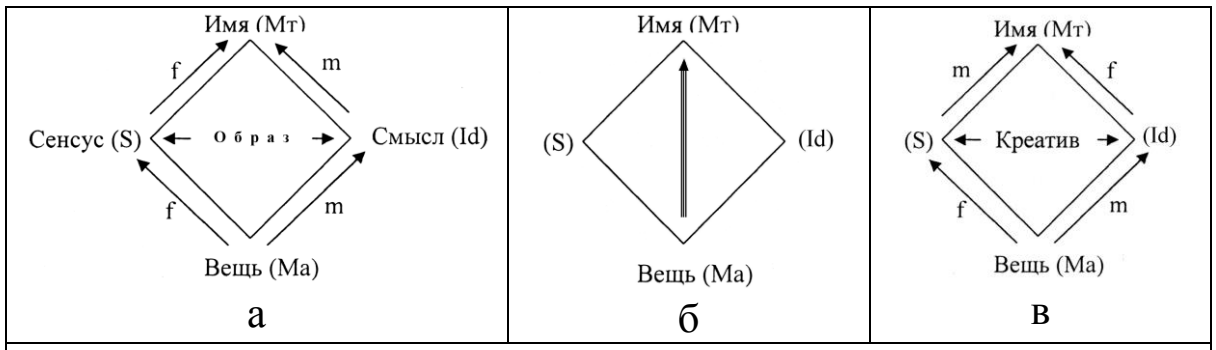


Рис.5. Хроматические схемы бытового (а), формального (б) и творческого (в) мышления

Вместе с тем, в литературе до сих пор не проводится различение между логиками формального мышления как отработанных умственных навыков по усвоению сугубо понятийной связи с объектом (вещью) (Рис. 5б) и творческим мышлением ощущениями и/или образа-

ми (Рис. 5в) до их понятийного представления. И рис.5б наглядно демонстрирует нам, что, с одной стороны, человек освобождается от самостоятельной мыслительной работы по выработке этого знания (формальное мышление сохраняется лишь как внешнее «проявление активности» при усвоении знаний о вещи), а с другой стороны, творческое мышление вооружается новым средством, ведущим к расширению его возможности в креативной практике (Рис. 5в).

Если истинное творчество (создание никому неизвестного ранее и логически невыводимого) мы можем соотнести с Е условиями (виртуальным пространством существования), то вряд ли кто будет сомневаться, что женщине-творцу требуется трансцендентный переход от предикатов С-плана АМИ (бессознания) через Ид-план, только после которого и может возникнуть истинное понятие Мт плана АМИ. Соответственно, мужчине-творцу приходится постоянно вынашивать свои образы Ид-плана в женственном С-плане, только после чего и рождаются истинные идеи. Если же мы снова сопоставим понятия треугольника Г. Фреге (Рис. 3) с полученными выше соотношениями гендерных доминант в ромбе Н. Серова (Рис. 5в), то получим релевантное понимание того факта дифференциальной психологии, что именно маскулинные женщины и/или фемининные мужчины и достигали «запредельных» высот истинного творчества.

Заключение

Любопытно, что вышеупомянутые 15 % исключений вскоре после первых публикаций совпали с числом сторонников хроматизма. По-видимому, в науке всегда было, и должно быть, не более 15 % интеллектов с доминантой творческого Ид-плана, тогда как число ученых с доминантой консервативного М-плана — не менее 85 %. Первые практически сразу осознали актуальность хроматизма для релевантных дисциплин даже в ее эскизном варианте («Хроматизм мифа», 1990), и сегодня стало появляться все большее число новаторских разработок с использованием определенных положений хроматизма.

С чем может быть связано столь быстрое признание совершенно новой методологии? Реакция консервативно настроенных (М-плановых) ученых на новаторские выступления коллег сводилась к игнорированию хроматического выхода социогуманитаристики из «тупиков», на которых они, закрыв глаза и уши, продолжают настаивать. По-видимому, при поиске новых подходов в соответствующих

дисциплинах все это и заставляет часть их коллег обращаться к теории и практике хроматизма.

Вообще говоря, настоящая статья может служить своеобразным тестом для интеллекта ученого. К примеру, если у него появится ощущение, что «этого не может быть, потому что этого не было никогда», и при этом он не найдет более 15 % фактических данных, опровергающих наши выводы, то его интеллект скорее всего имеет искусно-социализированную в младенчестве («Не плачь, ты же мужчина!») доминанту сознания (М-плана АМИ).

Итак, благодаря цвету и хром-планам нами актуализирована возможность классической классификации/систематизации множества разнородных функций и отношений антропологии в цветовом круге и/или теле. Ведь еще Жан Жак Руссо проводил экзистенциальную критику накопления знаний: «Чем больше накапливаем мы новых знаний, тем более отнимаем у себя средств приобрести самое важное из всех» (Цит.по: [Ульяновский 2005:92]). А два века спустя Ван Поттер констатировал: «Приближение последних трех десятилетий XX века заставляет более остро осознать дилемму экспоненциального роста знания и отсутствия прироста мудрости, необходимой для управления этим знанием» [Ван Поттер 2002:196]. И, если вслед за Декартом, именно хром-планы отстраняют «от идей о вещах все, что не требует в данный момент внимания» [Декарт 1936:114], то теория хроматизма и может считаться возвратом к классическим правилам для руководства ума.

Во-вторых, благодаря строгому учету классического критерия научности (воспроизводимости результатов, т.е. цветовых канонов и др. антропологических маркеров, тысячелетиями воспроизводившихся мировой культурой) нами практически осуществлен возврат от сугубо когнитивистских и уж, тем более, постмодернистских презентаций к классической картине трехмерного цветового мира.

В-третьих, обоснованный переход от феминистски-двумерного континуума «мужское-женское» к хроматическому построению воспроизводимых документов антропологии в трехмерном представлении «женственное-мужественное» позволил дать научное представление и о пресловутой оппонентности обоих полов, и о поэтизированных психологией «женских и мужских началах», и о реальности «психологического объяснения», которая до сих пор отрицается адептами когнитивизма [Серов, 2010].

И последнее. Научное сообщество уже второй век пытается выработать методологию социогуманитаристики по стереотипам научного сообщества, т. е. с помощью формальной логики и, в частности, статистики, которая сущностно элиминирует граничные условия, гендер, и даже пол. Однако это нередко и обессмысливает результаты обработки именно разнородностью смыслов этих предикатов без учета теории и методологии хроматизма в вышерассмотренных системах антропологии академической жизни.

Остается надеяться, что современные экспериментальные методики (томография, ЭЭГ и др.) смогут подтвердить полученные нами (по результатам предыдущих исследований) такие методологические правила как «психологическое объяснение» через хроматические схемы мышления. Что, в свою очередь, поможет понять и/или снять пресловутые «запреты» в дискуссии со стереотипами «научного долженствования» в антропологии научного сосуществования инновационности и традиционности.

Примечания

[1] На мой взгляд, обоснованный в ст. «Цвет культуры» [Серов 2004: 465-503]), науке пора уже вернуться от когнитивистско-кибернетического представления XX века о функциях интеллекта к его классической формулировке: ‘intellectus’ – ощущение, восприятие, понимание (см. первоисточники, например, в Латинско-русском словаре. И.Х. Дворецкого. М.: Русский язык, 1976, с. 540), что полностью согласуется и с выводами М.А. Холодной о «необходимости учета метакогнитивных функций в теории интеллекта» [Холодная 2002: 59–82, 127–132, 137–138, 239–247].

[2] Под «термами» в абсорбционной спектроскопии понимаются разности энергий основного и возбужденного состояний молекул и атомов, или, образно говоря, «поглощенные цвета» окрасок вещества.

[3] Таковой до квантовой механики XX в. считалась, например, «теория мирового эфира» XIX века, до абсолютизации которой – «теория теплорода» XVIII века и т.д.

[4] Для наглядного отличия абстракции от сублимации приведу конкретные примеры. Любая абстракция, по определению, «бесцветна» (какого цвета «деревья», «мебель» или «овощи»?). В то же время любой сублимат (семантика сублимата ‘красное’ – солнце, кровь, гнев, любовь, революция, огонь, ягоды и др.) как образное обобщение заставляет интеллект студента творчески перерабатывать получаемую информацию на принципиально неосознаваемом уровне. При усвоении же цельной картины мира в образно-концептуальных представлениях сублиматов, из взаимодействия которых (между собой, и с понятиями) и рождается собственно творческий процесс.

[5] Вообще-то, о «наших» учебниках не хотелось бы, но приходится, говорить. К примеру, на с. 96 «Истории мировой культуры (мировых цивилизаций» (Ростов на/Д.: Феникс, 2008. 533 с.) черным по белому написано: «Буддистские общины представляли собой братства людей разных каст, живших исключительно за счет подаяния и носивших одежду желтого цвета, который в Индии был присвоен низшей касте». Спрашивается, легко ли студенту учиться, если в одном утверждении допущено сразу две ошибки: 1) буддистскую одежду характеризует не желтый, а затемненный оранжевый (строго говоря, «шафрановый», т.е. желто-оранжевый цвет с коричневым оттенком, и 2) низшей касте (шудрам) был присвоен не желтый, а черный, тогда как желтый цвет характеризовал варну вайшьи, что – со ссылками на источники – было детально представлено еще в «Хроматизме мифа».

[6] По периметру цветового круга указаны начальные буквы цветообозначений, по Манселлу [Küppers 2005: 54-55], внутри – хром-планы АМИГО.

[7] Детали документированного построения АМИГО были раскрыты в статье [Серов 2010]. Понятно, что объект антропологии всегда существовал и существует в цветовой среде внешнего и внутреннего (в частности, изображаемого) мира. Вместе с тем преобладающая часть академических публикаций элиминировала не только понятие «цвет», но и представление об этом понятии. Почему это происходило? На мой взгляд, это было обусловлено различием в маскулинном и фемининном воспитании ученых. Так во множестве культур любые проявления эмпатических способностей жестко устранялись в маскулинном типе воспитания для создания «твердого и непреклонного» мужчины – будущей поддержки женщины. Маловероятно, чтобы кто-либо мог оспорить этот тезис: маскулинный тип ученого в силу воспитания элиминирует представления о цвете как о «женском начале», безусловно, скрываемом от посторонних. Об этом говорит и тот факт, что лучшие работы по цветовой семантике написаны женщинами. Об этом говорит и специфически мужской вид идей о нациях, о воинствующем патриотизме и т.п. Ибо отсутствие эмпатии влечет инактивацию мужского подсознания и доминанту сознания, которое формально-логически устанавливает воинственные законы или порядки, категорически отрицающие вещи, внутренне присущие всему человечеству и, прежде всего, женщинам – продолжателям жизни на Земле.

[8] «Наш мозг строит модели окружающего мира и постоянно видоизменяет эти модели на основании сигналов, достигающих наших органов чувств. Поэтому на самом деле мы воспринимаем не сам мир, а именно его модели, создаваемые нашим мозгом. Эти модели и мир — не одно и то же, но для нас это, по существу, одно и то же. Можно сказать, что наши ощущения — это фантазии, совпадающие с реальностью» [Фрит 2010:208].

[9] Помимо изучаемого канала «сетчатка-кора» (пунктир) на практике существует и «неизучаемый» канал «сетчатка-подкорка» (сплошная линия) [Hollwich 1979:78]. Благодаря фотохимическим реакциям свето/цветочувствительные элементы сетчатки преобразовывают физический свет стимула в нервные сенсорные импульсы, которые проходят по двум различных путям: один стимулирует зрительную кору, отвечающую за осознаваемое свето/цветоощущение, в то время как другой – гипоталамус, который отвечает за неосознаваемую нами переработку информации и весь спектр жизненных функций. Хотя результаты разделения визуальной информации по раздельным каналам (для коры и подкорки) подтверждались электронной микроскопией волокон ретиногипоталамического тракта [Liberman 1986], они до сих пор не представлены в литературе на уровне преобразования светоцветовой информации [Дмитренко, Садиева и Аллахвердиева 2010].

[10] Раньше семиотики полагали, что и цвета, и любые чувства и ощущения, связанные с индивидуальным сознанием, приобретают неповторимость и весьма сложны для передачи в пространстве и времени. Так, Г. Фреге писал: «Никто не имеет моего представления о предмете, но многие люди могут видеть тот же самый предмет. Никто не чувствует моей боли. Кто-то может сочувствовать мне, но все же моя боль принадлежит только мне, а его сочувствие – ему. Он не ощущает моей боли, а я не чувствую его сострадания» [Frege 1984:361]. С другой стороны, реакции психогенной боли могут характеризоваться цветами предпочтений в красной области спектра, в отличие от здоровых, где преобладали синие цвета. Полученные исследователями данные [Ishinova, Svyatogor and Reznikova 2009] позволили полагать, что существует связь между психогенной болью, ее цветным отражением и беспокойством, которые.

[11] Ср. рис.1 и 2 с табл.1: Вещь внешней среды = краска, Сенсус цветоощущения = сетчатка, Смысл цветовосприятия = подкорка и Имя цвета (цветообозначение) = кора. Литеры f (femininus) и m (masculinus) – гендерные доминанты интеллекта, по табл.1.

[12] Огромнейшее число экспериментальных данных позволило еще в «Хроматизме мифа» сформулировать важные для АМИ/АМИГО выводы: если концепты Ид-плана (т.е. мужественного духа) максимально индивидуализированы, поскольку одну и ту же ситуацию два человека воспринимают с существенно различающимися в опыте эмоциональными оттенками, то функции М- и С-планов (т. е. женственного единства души и тела) предельно унифицированы, так как благодаря этому люди однозначно понимают и друг друга, и общечеловеческий опыт.

Библиография

Беляев 2001 – Беляев В.А. Взаимодействие социокультурных и личностных факторов научной деятельности. Дисс… к.ф.н. М.: МГУ. 164 с.

Ван Поттер 2002 – Ван Поттер Р. Биоэтика: мост в будущее. Киев: Изд. Вадим Карпенко. 216 с.

Гедутис 2000 – Гедутис А. Конфликт факультетов: возможна ли междисциплинарная коммуникация? // Критика и семиотика. Вып. 1-2. сс. 181–198.
Грановская и Крижанская 1994 – Грановская Р.М., Крижанская Ю.С. Творчество и преодоление стереотипов. СПб.: ОМС. 192 с.
Декарт 1936 – Декарт Р. Правила для руководства ума. М.-Л.: ГСЭИ. 176 с.
Дмитренко, Садиева и Аллахвердиева 2010 – Дмитренко А.И., Садиева А.А., Аллахвердиева А.М. Нейрофизиологическое исследование формирования гипоталамических и световых ответов в зрительной системе // Механизмы регуляции физиологических систем организма в процессе адаптации к условиям среды. СПб.: Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН. сс. 90–91.
Крэйг 2000 – Крэйг Г. Психология развития. СПб.: Питер. 992 с.
Равен 1999 – Равен Дж. Педагогическое тестирование: Проблемы, заблуждения, перспективы. - М.: Когито-Центр. 144 с.
Серов 1984 – Серов Н.В. Электронные термы молекул. // Оптика и спектроскопия. Т.56, № 3, сс. 390–402.
Серов 1990 – Серов Н.В. Хроматизм мифа. Л.: В.О. 352 с.
Серов 2004 – Серов Н.В. Цвет культуры. СПб.: Речь. 672 с.
Серов 2009 – Серов Н.В. Психология исторической культурологии. СПб.: ИДПИ. 48 с.
Серов 2010 – Серов Н.В. Хроматическая антропология…/ Этнографическое обозрение. № 1. сс. 83–99.
Соколов 2001 – Соколов Е.Г. Мета-до-логия (методологии) культурологии // Формирование дисциплинарного пространства культурологии. СПб.: СПбФО. «Symposium». 11. сс. 163–189.
Сосланд 2004 – Сосланд А.И. Об идеологической сущности психотерапевтического сообщества // Московский Психотерапевтический Журнал. № 2, сс. 5–25.
Сушков 1999 – Сушков И.Р. Психология взаимоотношений. М.: Академический Проект. 448 с.
Ульяновский 2005 – Ульяновский А.В. Мифодизайн: коммерческие и социальные мифы. СПб: Питер. 544 с.
Фрит 2010 – Фрит К. Мозг и душа: Как нервная деятельность формирует наш внутренний мир / пер. с англ. П. Петрова. М: Астрель. 335 с.
Хеллер 2005 – Хеллер М. Творческий конфликт: О проблемах взаимодействия научного и религиозного мировоззрения./ Пер. с англ. Т. Прохоровой. М.: ББИ. 216 с.
Холодная 2002 – Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. СПб.: Питер. 264 с.
Щедровицкий 1995 – Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М.: Школа Культурной Политики. 800 с.
Энгельгардт 1984 – Энгельгардт В.А. Познание явлений жизни. М.: Наука. 304 с.
Юревич 2006 – Юревич А.В. Объяснение в психологии.// Психологический журнал, Т. 27, № 1, сс. 97–106.

Küppers 2005 – Küppers H. Farbenlehre. Köln: DuMont. 192 S.
Liberman 1986 – Liberman J. The Effect of Syntonic (Colored Light) Stimulation on Certain Visual and Cognitive Function // Journ. of Optometric Vision Development, V. 17, no. 6, pp. 1–12.
Hollwich 1979 – Hollwich, F. The Influence of Ocular Light Perception on Metabolism in Man and in Animals. N.Y.: Springer. 129 p.
Frege 1984 – Frege G. Collection Papers on Mathematics, Logic, and Philosophy. / Ed. by B. McGuinness, trans. by M. Black a.o. Oxford: Basil Blackwell. 412 p.
Ishinova, Svyatogor and Reznikova 2009 - Ishinova V.A., Svyatogor I.A., Reznikova T.N. Features of Color Reflection in Psychogenic Pain in Patients with Somatoform Disorders during Psychotherapeutic Treatment // The Spanish Journal of Psychology, 12 (2), pp. 715–724.

Раздел II

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ В НАУЧНОМ СООБЩЕСТВЕ

Татьяна Сидорякина

Отечественные традиции «вхождения в науку» в рамках профессорской культуры

Формирование профессорской корпорации историков проходило в прямом взаимодействии с культурным развитием русского общества, поскольку в данном процессе особое место принадлежало науке. Наиболее очевидной эта связь становится со второй половины XIX в., когда сциентизм пронизывает многочисленными нитями тело культуры. Основанием и одновременно отражением данного процесса явилось распространение позитивизма и его влияние на формирование не только стиля мышления, но и жизненных ценностей и вообще стиля жизни. Историк и литературовед Д. Н. Овсянико-Куликовский в своих воспоминаниях акцентирует внимание на том, что руководящим принципом его жизни становится «культ науки как таковой и высокая оценка ее роли как могущественной силы прогресса … Веру в Бога я потерял, но веру в науку сохранил нерушимо» [Овсянико-Куликовский 1989: 320]. И соответственно, историк-ученый, занимающийся наукой на протяжении всей своей жизни, был уверен, что: «интересоваться науками, искусствами и т.п., не допуская мысли, что в этом нет еще социальной заслуги… (бессмысленно – *Т.С.*) Что толку, если я честен, но положение мое незаконно? Что толку, если я добросовестен, но если работа моя бесполезна? Что толку в моем развитии, если оно существует только для моего обихода?.. Я не дал бы ни гроша, ни за поэзию, ни за науку… если бы в них я не видел залога общественного прогресса» [Цит. по: Каган 1987: 37]. Эти размышления ученого являются отражением позитивистской максимы, в значительной степени определившей вторую половину XIX – начала XX вв.: «знать, чтобы предвидеть». Эта парадигма «ярко высветила» и характер познания.

В университетском пространстве вырабатывались свои этические нормы, носителями которой являлись члены профессорской корпорации. Общественное служение здесь понималось как способ-

ность стать выше личных частных интересов: «интеллигентный человек, когда он стряхнув с себя прозу обыденной жизни с самоотвержением действует на пользу человечества, науки или ближнего» [Лейкина-Свирская 1971: 188]. Этот идеальный образ ученого, создаваемый на протяжении всего периода существования высшей школы, не только подвергался воздействию научного пространства, но и сам изменял это пространство, воздействуя на него: «врожденными свойствами своего ума, определенным, не стандартным складом мышления, интеллектом (это – деликатность либо беспардонность, такт, чувство меры, достоинство либо беспринципность, основательность или легковесность), темпераментом, воспитанием и образованием, наложенным на человеческие особенности» [Вандалковская 2002: 258]. В конечном счете, обозначенные аспекты привели к тому, что в научном сообществе произошло формирование особой культуры, которую можно обозначить как «профессорская культура»[1].

Применительно к истории исторической науки термин «профессорская культура» существенно расширяет проблемное поле исследования, актуализирует субъективный фактор в науке. Отражением подобных изменений стала постановка в исследовательской литературе проблемы научных сообществ, сформированных на основе устойчивого ядра «корпоративной культуры», в качестве самостоятельной задачи [Бон 2005; Корзун 2003]. Отметим также возросший интерес к личности ученого на ранних этапах его становления, интерес к процессу «вхождения в мир науки и высшего образования», к сопряженным с ним «ритуалам перехода» и «адаптации молодого ученого» в научном сообществе. Именно эти вопросы и составляют предмет исследования данной статьи.

С институциональной точки зрения местом формирования «профессорской культуры» являются университеты как образовательные центры и носители уникальных культурных традиций, основанных на принципах взаимодействия внутри профессорской корпорации, а также корпорации студентов, общества и государства**.** По мнению исследовательницы Ю.В. Красновой, «университет прошлого и настоящего представляет, прежде всего, корпорацию и, как любая корпорация, формирует собственную корпоративную культуру, являющуюся одним из сложнейших материально-духовных явлений. Она представляет собой систему материальных и духовных ценностей, явлений, отражающих индивидуальность» профессорской корпорации [Краснова 2009: 286].

Основным актором, воспроизводящим профессорскую культуру, выступает социальная группа, создающая и транслирующая научное знание, как правило, в высших учебных заведениях. Она изначально по своей сути не представляет единого целого. Это определенный «конгломерат» людей из разных сословий, которые, восприняв «призыв времени» и общества, жаждущего духовного обновления, связывают свою жизнь с наукой и просвещением. В этих условиях вера в знание становится путеводной звездой для наиболее одаренной части молодого поколения Российской империи. А служение науке поколением последней трети XIX в. осмысливается как важнейшая ценность и долг. Пестрый социальный состав, безусловно, вносил свою окраску в профессорскую культуру. Но ее ядро составляло то, что объединяло эту профессорскую корпорацию – профессиональная сфера деятельности и система правил, ее регулирующих, которую современные исследователи культуры определили как «систему корпоративной идентификации» [Спивак 2001: 66-67], включающую в себя «восприятие особенностей фирменного имиджа, стиля поведения сотрудников, характера взаимодействия внутри и вне профессионального коллектива» [Спивак 2001: 66-67]. Таким образом, мы можем говорить, что в середине XIX в. «в среде значительной части элиты развилась сложная, существующая независимо от государства культура, получившая свое «выражение» в традиции публичной презентации знания» [Сандерс 2012: 167] через диссертационное исследование.

В рамках этой социальной группы предполагается наличие научных школ, осуществляющих трансляцию канонов исследования и норм поведения внутри корпорации. Как отмечает А.В. Свешников, именно «принципиальный механизм подготовки молодых научных и преподавательских кадров провоцировал генезис таких неформальных структур научного сообщества как научные школы» [Свешников 2011: 169].

Важнейшим, если не основным, условием приобщения к ученой корпорации и признания неофита равноправным членом научного сообщества была защита диссертации. По мнению Томаса Сандерса, «защита (диссертации – *Т.С.*) также является примером того способа, каким подобные разрешенные правительством практики могли быть преобразованы возникающей социальной группой в соответствии со своими собственными изменяющимися стандартами и, в конечном итоге, могли быть восприняты данной социальной формацией в качестве средства утверждения своего статуса и самопрезентации в обще-

стве» [Сандерс 2012: 163]. Сам же академический ритуал «защиты диссертации», как показало время, превратился в «устойчивый элемент» культурной традиции образованной элиты, который ее представители выполняли, даже находясь на грани уничтожения.

Большую роль, начиная со студенческой скамьи, в учебно-научном отношении играла своеобразная «наставническая деятельность», которой занимались профессора, а «сама институциональная форма оставления и пребывания при кафедре обусловливала обязательную тесную связь «оставленного при кафедре» со своим научным руководителем» [Свешников 2011: 169]. Молодой ученый сильно зависел от своего наставника, а «научный руководитель обычно являлся гарантом не только научного преуспевания, но и материального жизнеобеспечения будущего ученого. Именно от его авторитета в науке, влияния в административных сферах, настойчивости чаще всего зависело назначение стипендий» [Иванов 94: 89]. Такое внимательное и заботливое отношение к молодым ученым, своеобразное покровительство, позволяло им наиболее безболезненно преодолеть непростой и «тернистый путь» начального периода научной деятельности.

Самоорганизация научного сообщества с его правилами игры, ценностями, нормами поведения и жизненной структурой конструируется, задается как внешними по отношению к науке факторами (социальная действительность, политика власти, общественные интересы и т.д.), так и внутренними, исходящими из корпорации, в которой «проходит» адаптация молодого специалиста, сопряженная с «вхождением в мир науки».

Процесс «вхождения в науку» как в середине XIX века, так и в дальнейшем проходил по строго установленным формальным общероссийским требованиям и правилам. После успешных выпускных экзаменов научная карьера открывалась только для тех, кто оставался при университете, «оставление при университете налагало обязанность подвергнуться магистерскому экзамену, открывающему путь к профессуре» [Милюков 1990: 143]. Финансирование стипендиатов осуществлялось Министерством народного просвещения. Устав 1863 г. предусматривал, что решение об оставлении стипендиата при университете для его дальнейшей подготовки к должности профессора принимается факультетским советом. По уставу 1884 г. это правило переходило к куратору [Бон 2005: 34] , но и в этом случае профессорская корпорация оказывала непосредственное влияние на решение

куратора, и выражалось это в дальнейшем возобновлении ходатайства перед господином Министром Народного Просвещения. Мотивация была типичной, как правило, все указывали на «дефицит» преподавательских кадров. Например, в «Протоколе» заседания историко-филологического факультета» Московского университета предлагалось «возобновить ходатайство о (магистре – *Т.С.*) Шварце, указав на необходимость для факультета иметь в будущем еще двух преподавателей по классической филологии» [ЦИАМ Ф. 418. Оп. 476. Д. 1. Л. 3 об].

Экзамены на соискание ученых степеней были закреплены уставами, но должны были утверждаться советом. Для присуждения степени магистра требовался дополнительный магистерский экзамен и публичная защита печатной диссертации на заседании факультета. Подготовка к магистерскому экзамену и его сдача на историко-филологическом факультете Московского университета проходила следующим образом.

Студентом и научным руководителем разрабатывалась магистерская программа, «по которой испытуемый должен был изучить 12 избранных им самим вопросов, притом касающихся различных сторон изучаемого предмета. В программу должны были войти вопросы об источниках, затем вопросы по внешней политике и по внутренней истории притом очень разнообразного содержания, вопросы должны были касаться общественных классов, хозяйства» [Богословский 1987: 48]. Как правило, подготовка вышеуказанной программы проходила при непосредственном участии научного руководителя. Так М.М. Богословский вспоминал: «Василий Осипович Ключевский посвятил меня в технические подробности составления магистерской программы, предложил мне составить ее проект, с тем что он затем его исправит, и назначил мне зайти в следующую субботу вечером или в воскресенье утром» [Богословский 1987: 48]. В дальнейшем эта программа и список литературы утверждались одним из профессоров-экзаменаторов. Магистерская программа была своеобразным «первым» документом, свидетельствующем о начальном этапе научного поиска и о том, что соискатель начинает заявлять о себе в мире науки.

В 60–70 гг. XIX в. экзамен на степень магистра обычно сдавался перед защитой диссертации. И, как свидетельствуют источники, это была довольна длительная процедура, которая проходила во время заседания историко-филологического факультета и отнимала у испы-

туемого не один день «драгоценного времени». Обратимся к «Протоколу заседаний историко-филологического факультета за 1874 г.», из которого видим, что на заседании историко-филологического факультета был подвержен испытанию на «степень магистра Всеобщей истории Владимир Пирогов»[2].

Во время заседания факультета 4 ноября 1874 г. Владимиру Пирогову «вопрос для письменного ответа по Древней Истории предложил ординарный профессор Н.А. Попов[3]: “Борьба патрициев и плебеев”» [ЦИАМ Ф. 418. Оп. 476. Д. 1. Л. 12. об]. На письменный вопрос испытуемый должен был отвечать во время заседания факультета и его «ответ признан удовлетворительным» [ЦИАМ Ф. 418. Оп. 476. Д. 1. Л. 12. об].

Дальнейшее испытание и оглашение результатов письменного экзамена проводилось уже на заседании факультета 18 ноября 1874 г. (как мы видим только через 14 дней). На заседании «ординарный профессор Н.С. Тихонравов[4] донес, что данный в предыдущем заседании письменный ответ магистранта Пирогова он находит со стороны изложения весьма удовлетворительным» [ЦИАМ Ф. 418. Оп. 476. Д. 1. Л. 15. об]. Далее «Вопрос по Средневековой истории предложил ординарный профессор В.И. Герье[5]: «Остготское и другие Германские государства, возникшие на развалинах римской империи» [ЦИАМ Ф. 418. Оп. 476. Д. 1. Л. 15. об], это был вопрос для письменного ответа. «Кроме того, В.И. Герье предложил устно магистранту несколько вопросов по Римской истории. Ответы найдены – удовлетворительными» [ЦИАМ Ф. 418. Оп. 476. Д. 1. Л. 16]. К дальнейшему испытанию факультет приступил «25 ноября 1874 г.» [ЦИАМ Ф. 418 Оп. 476. Д. 1. Л. 16. об] (еще через 7 дней), «вопрос по Новой истории предложил Ординарный Профессор В.И. Герье: «Французская монархия в XVI, XVII, XVIII вв.» [ЦИАМ Ф. 418. Оп. 476. Д. 1. Л. 17], ответ испытуемого был признан также «удовлетворительным» и определено: «Продолжить испытание г. Пирогова в одном из следующих заседаний факультета» [ЦИАМ Ф. 418 Оп. 476. Д. 1. Л. 17].

В дальнейшем испытание Пирогова было возобновлено 16 декабря 1874 г. [ЦИАМ Ф. 418. Оп. 476. Д. 1. Л. 23] (еще через 21 день). Во время заседания испытуемому были заданы вопросы по политической экономии «преподавателем политической экономии А.И. Чупровым[6] и деканом историко-филологического факультета Н.А. Поповым» [ЦИАМ Ф. 418. Оп. 476. Д. 1. Л. 23], «ответы на сии вопросы были признаны удовлетворительными» [ЦИАМ Ф. 418.

Оп. 476. Д. 1. Л. 23]. На основании проведенного испытания было определено: «признать испытание доктора берлинского университета Пирогова на степень магистра Всеобщей истории оконченным удовлетворительно» [ЦИАМ Ф. 418. Оп. 476. Д. 1. Л. 23. об]. Из сказанного выше мы видим, что испытание магистра длилось в течение 42 календарных дней, ему было посвящено 4 факультетских заседания, на которых испытуемому было задано в общей сложности 8 письменных вопросов и несколько устных из различных областей исторического знания.

Проиллюстрируем порядок защиты магистерской диссертации на примере А.С. Лаппо-Данилевского, в личном деле которого сохранились документы, позволяющие отследить процедурные вопросы. После сдачи магистерского экзамена в 1888 г. [Ростовцев 2004: 56] и подготовки рукописи диссертации Александр Сергеевич обращается с ходатайством на имя ректора о публичной защите диссертации: «Выдержав установленные устные испытания на степень магистра русской истории, честь имею представить Вашему превосходительству один экземпляр оконченной печатанием диссертации моей «Организация прямого обложения в Московском государстве со времен Смуты до эпохи преобразований» и ходатайствую о ее публичной защите в текущем академическом году» [ГИА СПБ Ф. 14. Д. 8801. Л. 42]. Далее ректор в «служебной записке» поручает декану историко-филологического факультета рассмотреть диссертацию: «Имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство поручить факультету рассмотрение означенной диссертации» [ГИА СПБ Ф. 14. Д. 8801. Л. 43] .

После представления диссертации факультет назначал рецензента, который подготавливал университетский отзыв: подробный мотивированный разбор диссертационной работы, заканчивавшийся формулировкой о признании ее достойной или недостойной ученой степени (диссертация, отклоненная одним из университетов, могла быть представлена в любой другой университет России). Положительные факультетские отзывы печатались в известиях и ученых записках провинциальных университетов. В Москве отзывы печатались в 1865–1876 гг. в «Московских университетских известиях» и в 1911–1917 гг. в «Ученых записках Московского университета». Предварительное сообщение в печатном издании о времени и месте публичной защиты диссертации давалось после разрешения ректора. Это сообщение публиковалось троекратно в официальной местной газете:

дважды за несколько дней до заседания и последний раз в день защиты.

Сама защита проходила на публичном заседании факультета в актовом зале университета или в одной из главных его аудиторий – своеобразных знаковых местах защиты. Вход был свободный, хотя иногда практиковалась предварительная выдача билетов. Публичная защита диссертации, «магистерский диспут» А.С. Лаппо-Данилевского состоялся 9 мая 1890 г. [Ростовцев 2004: 66]. Это был особенный день в жизни соискателя, такие знаменательные события всегда оставляют заметный след в памяти ученого. Как правило, в этот день все чувства человека обострены, ему кажется, что весь окружающий мир подвержен такому же волнению, как и он сам, даже сама природа сопереживает испытуемому. В качестве иллюстрации хотелось бы обратиться к воспоминаниям М.М. Богословского: «Едва ли когда забудутся пережитые в этот памятный для меня день волнения и впечатления. Был ясный морозный день, все было покрыто только выпавшим свежим белым снегом. Редко когда я чувствовал себя в таком бодром и приподнятом состоянии, как в это утро; только, бывало, в детстве появлялось такое же радостное ощущение в утро дня именин, когда оденут в новенький и лучший костюмчик, когда сознаешь себя чем-то особенным, как бы центром всего окружающего, когда гордишься раздающимися вокруг поздравлениями и с затаенным волнением и любопытством ждешь подарков. Теперь это было то же ощущение каких-то именин. Так же сам костюм диспутанта, фрак и белый галстук отличают его среди сюртуков и пиджаков в профессорской комнате в продолжение тревожного получаса ожидания, пока все соберутся» [Богословский 1987: 55].

Из сказанного выше видно, что этот день для диссертанта был своеобразным праздником, когда его переполняли чувства, когда всплывали живописные, полные остроты ощущений картины детства. Возможно и для А.С. Лаппо-Данилевского были характерны схожие эмоции, тем более, что его защита проходила весной.

Процедура защиты начиналась так называемой речью перед диспутом, т. е. выступлением диссертанта, в котором освещались важнейшие положения диссертации и взгляд автора на очередные задачи науки в исследуемой им области. В своей вступительной речи на диспуте А.С. Лаппо-Данилевский главное внимание уделил методологии своего исследования. Он исходил из представления об истории как науке, которая изучает явления развития, обнаруживаемые во

взаимодействии живых индивидуумов [Ростовцев 2004: 69]. Речи перед диспутом иногда публиковались в «Известиях» и «Ученых записках» университетов, в официальном периодическом издании «Журнал Министерства народного просвещения», а также при повторном издании диссертации, в сборниках статей автора и в посмертных собраниях сочинений [Кричевский 1985: 146].

И для магистерских, и для докторских защит назначались по два официальных оппонента, как правило, из профессоров и преподавателей данного факультета. В отдельных случаях официальным оппонентом выступал представитель другого факультета того же университета (общие суждения о качестве работы обычно в ходе диспута не фигурировали, так как само допущение к публичной защите означало, что содержание диссертации одобрено компетентной ученой коллегией – факультетом).

Диспут открывался выступлением официальных оппонентов. Оппонентами А.С. Лаппо-Данилевского были Н.И. Кареев и С.Ф. Платонов. Как видно из переписки С.Ф. Платонова и П.Н. Милюкова, стать оппонентом того или иного диссертанта можно было по собственному, даже и скрытому желанию: «Карееву очень хотелось этого (участия в диспуте), хотя он для приличия и отказывался довольно долго. Лаппо-Данилевский же будет, напротив, очень недоволен этим и напрасно: Кареева он легко посадит на мель» [Письма 2003: 213]. Действительно, Н.И. Кареев выдвинул ряд возражений, носивших скорее, формальный характер. С.Ф. Платонов в свою очередь в целом дал положительную оценку труду Лаппо-Данилевского [Ростовцев 2004: 69].

После окончания диспута факультет удалялся на совещание и принимал решение открытым голосованием. Затем декан зачитывал постановление о присуждении диссертанту искомой научной степени. Отчет о диспуте и возражения обоих оппонентов публиковались в периодической печати. Промежуток между защитами магистерской и докторской диссертаций на историко-филологическом факультете в 1860–1869 гг. составлял в среднем 5,4 года, в 1900–1909 гг. 5,5 лет [Кричевский 1985: 149]. Но были и исключения. Так магистерский диспут М.М Богословского проходил 22 ноября 1902 г. [Богословский 1987: 54], а докторский диспут был назначен на 22 ноября 1909 г. [Богословский 1987: 61], соответственно период между диссертациями составил 7 лет (совпадения в числах, вероятно, были случайны, а может быть это было и капризом самого Богословского.

Можно предположить, что 22 ноября стало для этого ученого «знаковым» «счастливым» числом). Исключительно кратким этот интервал был у московского историка Д.Н. Егорова – всего 9 месяцев (15 мая 1915 г. и 28 февраля 1916 г.). Он защитил обе части своего исследования «Славяно-германские отношения в средние века. Колонизация Мекленбурга» [Кричевский 1985: 149]. Характерный же для большинства ученых значительный межзащитный период свидетельствует о том, что написание докторской диссертации не было самоцелью, и она представляла собой результат нового серьезного исследования, получавшего отражение в опубликованной монографии, доступной широкому кругу научных работников.

Для присуждения степени доктора наук требовалась еще одна диссертация, но уже без устных экзаменов. При работе над докторской диссертацией разрешалось расширение темы магистерской диссертации. Ввиду вакантных профессорских мест уставом 1884 г. вводилось новое правило – подавать заявление в совет на присуждение докторской степени за магистерскую диссертацию. Одним из примеров действия нового правила [Кричевский 1985: 148] может служить защита диссертации М.С. Карелина, посвященная эпохе Возрождения, когда «по предложению Герье и Виноградова, факультет, дал магистранту сразу докторскую степень» [Милюков 1990: 160]. И в тоже время заметим, что это правило не получило широкого распространения. Показательна в этом плане носившая оттенок скандальности защита П.Н. Милюкова. Он надеялся на защиту по «упрощенному» правилу. По его воспоминаниям: «Виноградов сразу заключил, что я заслуживаю такого же отличия» (как и М.С. Карелин – *Т.С.*). «Герье и некоторые другие члены факультета к этому присоединились. Это мнение распространилось и стало общим» [Милюков 1990: 160]. Но из-за конфликта, возникшего с научным руководителем В.О. Ключевским, ожидания П.Н. Милюкова о присуждении докторской степени за магистерскую диссертацию не оправдались. «Запротестовал… Ключевский! Его пробовали уговаривать. Он остался непреклонен» [Милюков 1990: 164] – так интерпретирует события «давно прошедших дней» в своих воспоминаниях П.Н. Милюков. Из сказанного выше видно, что, несмотря на то, что П.Н. Милюков выполнил все полагающиеся, прописанные и закрепленные в уставах правила [Бон 2005: 34], «бюрократический аппарат» дал «сбой». А нарушил работу этой «системы» научный руководитель: «когда Ключевскому говорили, что книга выдающаяся, он отвечал: пусть

напишет другую; наука от этого только выиграет. Члены факультета понимали, что речь идет не о продвижении науки, а о продвижении в университетской карьере» [Милюков 1990: 160]. Данный пример еще раз свидетельствует о том, что научный руководитель занимал ведущие позиции, связанные с «допуском» молодого специалиста в научную структуру, и мог способствовать или препятствовать его продвижению на научный Олимп.

Такое «конфликтное» окончание магистерского диспута, и вообще конфликтность как таковая в научной среде историков существовала и бытовала повсеместно, и в отечественной научной традиции не воспринималась как что-то из ряда вон выходящее. Конфликтные ситуации [Антощенко, Свешников 2007; Свешников 1999], скрытые или явные, личностного либо сугубо научного, либо политического характера, просматриваются довольно часто и находят отражение как в частной переписке, так и мемуарном наследии историков. А для научного сообщества историков второй половины XIX – начала XX в., как отмечает исследователь А.В. Свешников, является характерным складывание определенной «культуры конфликта», т.е. набора представлений о том, «что такое конфликт» и «что такое скандал» и где граница между ними (т.е. какой конфликт является скандалом, а какой нет), как ученому вести себя в случае конфликта, как его осмысливать и оценивать [Антощенко, Свешников 2007: 116].

Хотелось бы отметить, что конфликт П.Н. Милюкова и В.О. Ключевского не был какой-то «особенностью» во взаимоотношениях учителя и ученика, хотя такая форма взаимоотношений не являлась нормой повседневной жизни научного сообщества. Но обратим внимание, что подобным конфликтом были прерваны отношения Н.И. Кареева и В.И. Герье. Как отмечает исследователь В.А. Филимонов, причиной «казуса» стали пресловутые «неоправданные надежды» ученика (как и в случае с Милюковым – *Т.С.*), а сам конфликт исследователь называет «труднообъяснимым». Камень преткновения в этом случае сводится к следующему. Консерватор Герье остался-де, недоволен лекциями либерально настроенного «стороннего преподавателя», неудовлетворительно отнесся к диссертации своего ученика, выступил с отрицательным отзывом на магистерском диспуте и в итоге предпочел для возглавляемой им кафедры кандидатуру не менее талантливого, но более консервативного П.Г. Виноградова [Филимонов 2008: 177]. В итоге огорченный Кареев был вынужден покинуть Москву и занять вакантную кафедру в Вар-

шавском университете. Как видно из представленных конфликтов, причина их крылась в поколенческом и возрастном недопонимании. «Молодость» всегда слишком стремительна и первые свои успехи начинает воспринимать как закономерность, забывая о том, что покровительство, оказанное учителем, сыграло не последнюю роль в успехе ученика. Зрелость же в свою очередь ждет, что в своих действиях молодое поколение будет творить с оглядкой на традиции мэтров, и с достоинством оценит то, что их дорога к храму науки не была столь густо усеяна шипами, удаление которых как раз и обеспечили учителя-наставники. Может быть поэтому, другой мэтр русской исторической науки В.О. Ключевский, исходя из собственного опыта общения с молодыми учеными, в дальнейшей своей педагогической деятельности выработал свой собственный подход в продвижении своих учеников к Олимпу науки, он был «…вообще враг печатания сочинений молодых людей: это кружит голову» [Богословский 1987: 46].

Разница же этих конфликтных ситуаций была в том, что у Н.И. Кареева как хватило духу стать инициатором разрыва, так и хватило благоразумия, такта и порядочности стать инициатором примирения с В.И. Герье. П.Н. Милюков, как известно, может быть, и затянул процедуру примирения, но в дальнейшем отношения с В.О. Ключевским также восстановил.

Существовали и определенные правила вхождения на педагогическую стезю. Одним из «важнейших» было правило прочтения пробных лекций. Так официальная преподавательская деятельность А.С. Лаппо-Данилевского началась с разработки и прочтения вступительной лекции. «Вступительная лекция А.С. Лаппо-Данилевского состоялась 18 сентября от 12 до 1 часу дня 1888 г.» [Ростовцев 2004: 56], и называлась: «Какое теоретическое значение имеет историческое изучение социального строя всякого общества и древнерусского в частности» [ГИА СПБ. Ф. 14. Д. 8801. Л. 51]. Успешно прочитанная А.С. Лаппо-Данилевским лекция давала ему право быть принятым приват-доцентом на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета для того, чтобы не только вести курсы лекций и стать причастным к научно-педагогическому сообществу, но и заниматься научно-общественной деятельностью, направленной на «культивирование высшего знания» путем «специальных углубленных изысканий» [Краснова 2009: 289]. Через педагогическую деятельность, без которой профессора, доценты, приват-доценты себя не

мыслили, они осуществляли свою «тесную связь с широкими кругами общества и работали на его просвещение» [Краснова 2009: 289]. С прочтением первых пробных лекций молодые специалисты отмечали для себя счастливый переход «границы от ученика к ученому» [Милюков 1990: 148], а также «этим закреплялось и их социальное положение в московском обществе, где, в противоположность военному и чиновному Петербургу, университетский круг по традиции стоял на первом плане» [Милюков 1990: 148].

Таким образом, мы зафиксировали «специфические» традиции со свойственными нормами поведения, которые могут быть отнесены к проявлению профессорской культуры. Они же знаменуют символические «стадии» жизни молодого ученого, обставляемые ритуально. Ритуал «служит средством интеграции и поддержания целостности человеческих коллективов, а также снимает напряжение внутри коллектива и гармонизирует его» [Мир психологии 2003: 3]. Ряд ритуалов сопровождает прохождение молодым специалистом ступеней научной карьеры. Принимая разные формы, они означают для него условные «отметки» его бытия в конкретном сообществе, маркируют принадлежность к нему и в то же время дают возможность ощущать себя не только причастным к этому сообществу, но и самостоятельно действующим участником. Ритуалы становятся реально необходимой частью жизнедеятельности научного сообщества.

Из воспоминаний историков удается выделить ряд «ритуальных действий», связанных с такими переходами, которые не были прописаны и зафиксированы в официальных документах, и, тем не менее, как видно из источников, оказывали не меньшее влияние на судьбы молодых ученых. Это, прежде всего, своеобразный «личностный фактор», а именно заинтересованность профессора в своем студенте. Еще в годы «глубокого студенчества» профессора проявляли «отеческую» заботу о наиболее одаренных учениках. Так по воспоминаниям В.Г. Дружинина, его учитель профессор Е.Е. Замысловский приглашал их к себе домой «через воскресенье к завтраку, чтобы дать отчет о двухнедельных работах и прочитанных в это время книгах. Мы были не все сразу, а по двое….. Это посещение называлось у нас «приезжать к Замысловскому[7] и есть профессорскую курицу» [РГАЛИ. Ф. 167. Оп. 1. Д. 7. Л. 40-42]. Вот это, никем и нигде не прописанное «действо» позволяло студентам еще на раннем этапе своей научной карьеры (или «ученичества») «впитывать» «дух» науки. Но иногда такие «близкие» и добросердечные отношения с длительными при-

ватными беседами имели обратную сторону и приводили к казусным ситуациям, в одну из таких ситуаций попал профессор С.Ф. Платонов, в дневнике его жены отмечен такой показательный для нашего исследования случай: «…к Сергею Федоровичу явился кончивший в мае курс И.И. Лаппо – вне себя: летом он как то был у Сергея Федоровича, которому показалось, что Лаппо хочет остаться при университете, Сергей Федорович не рассчитывал его оставить и дал ему понять, что стипендий в университете мало, а, что оставление без нее (стипендии) по нашим правилам влечет за собой так мало преимуществ, что не стоит его и домогаться. Сергей Федорович думал, что из этого разговора Лаппо должен был вывести заключение об отказе» [ОР. РНБ. Ф. 585. О. 1. Д. 5692. Л. 1 об., Л. 2], но Лаппо рассудил, как ему казалось, доверительную беседу с профессором совсем в ином ракурсе: «…Лаппо, край клянется и божится, что до этого разговора не думал об оставлении, как раз понял этот разговор в том смысле, что Сергей Федорович хочет его оставить, и рассказал об этом своим домашним, (а, может быть, не одним им)» [ОР. РНБ. Ф. 585. О. 1. Д. 5692. Л. 1 об., Л. 2]. Какой же ужас и разочарование, должно быть, испытал Лаппо когда: «25 го он явился к Карееву за программой и от него узнал, что о нем в заседании 24 числа не говорилось ни слова. Прямо от Кареева он явился к Сергею Федоровичу совершенно потрясенный и растерянный» [ОР. РНБ. Ф. 585. О.1. Д. 5692. Л. 2 об]. Некоторая недосказанность и завуалированность является определенной чертой профессорской культуры. Из-за этого профессора и их ученики не раз оказывались в щекотливых ситуациях, выходить из которых приходилось своими силами, как получилось с Лаппо: «Сергею Федоровичу стало так жаль его, что он вчера говорил с Помяловским об оставлении его, и это кажется устроится» [ОР. РНБ. Ф. 585. О.1. Д. 5692. Л. 2 об], но попавший в такую неприятную историю Лаппо продолжал испытывать мучительные сомнения относительно того, что «…могут подумать, будто он напросился на оставление» [ОР. РНБ. Ф. 585. О.1. Д. 5692. Л. 2 об].

Сама защита диссертации была обставлена рядом ритуальных действий. После защиты члены Ученого совета поздравляли диссертанта «поцелуем», а со стороны диссертанта следовало «приглашение на пирушку», так называемое «вспрыскивание магистра» [Корзун 2000: 95]. Обратимся к опыту описания «пирушки» М.М Богословским.

После окончания диспута, по традиции, чествование диссертанта было продолжено в неофициальной обстановке у него на дому за празднично накрытым столом. По этому случаю в качестве «горячительного» напитка «подано было шампанское» [Богословский 1987: 56]. Первой «скрипкой» в дружном «оркестре» поздравлявших был учитель М.М. Богословского В.О. Ключевский. «Василий Осипович поднявшись с бокалом, сказал (обращает на себя внимание своеобразная форма «тостирования» получившая выражение в «научной тематике» – *Т.С.*), что для него наступило очень тревожное время; что его просят издать курс, а он должен «коррижировать» его по книгам своих учеников. И книга Н.А. Рожкова и моя заставляют его пересматривать страницы курса» [Богословский 1987: 56]. По мнению М.М. Богословского, «это было открытое и весьма лестное признание нашей научной деятельности» [Богословский 1987: 56]. Для только что защитившегося диссертанта являлась «наивысшей похвалой» эта своеобразная отметка, которая уже назавтра будет передаваться по «неофициальным каналам связи» (личной переписки, в частном разговоре) в научном мире, этот еще один маленький вклад в копилку «научного авторитета» молодого специалиста. Как водится, «когда часов около 2 ночи большинство гостей разошлись, осталось человек 8 «последних могикан», как потом шутя выражался Василий Осипович, вспоминая этот вечер, тесным кружком сгруппировавшихся за столом возле Василия Осиповича» [Богословский 1987: 56]. Такое общение носило характер «взаимовыгодности», так как удовольствие и практическую выгоду получали обе стороны данного диалога. Молодые специалисты в неформальном общении получали возможность поближе узнать корифеев науки и в неофициальной обстановке продемонстрировать «качество своего ума», а через наблюдательную «практику» усвоить корпоративную субкультуру научного сообщества, культивирующую определенную модель идентичности. Старшее же поколение ученых, что называется, «впитывало» дух молодости с ее непосредственностью, свежестью идей и взглядов, а главное, профессора понимали, что именно эти «неофиты науки» в дальнейшем продолжат то великое дело, на развитие которого они положили свою жизнь.

Итак, описанная «пирушка» демонстрирует триумф диссертанта, который начинал проявляться еще в период диспута, а достигал своего пика во время неофициального застолья в кругу не просто близких

друзей, хотя и они там, безусловно, присутствовали, а именно в кругу коллег.

Такие «ритуалы перехода» формально регулировали интеграцию молодого поколения преподавателей в университетский учебный и научный процесс, а номинально позволяли им более или менее безболезненно адаптироваться в научной среде.

Итак, процесс «вхождения в мир науки», проходивший в рамках транслируемой научным сообществом «профессорской культуры», предполагал две главных составляющих, которые мы условно можем обозначить как «формализованные» и «неформализованные». К «формализованным» мы отнесли строго установленные формальными общероссийскими требованиями правила, маркирующие жизнь научной корпорации. А к «неформализованным» – «специфические» традиции, «ритуалы перехода», которые можно считать своеобразным проявлением профессорской культуры. Они знаменуют символические «стадии» жизни молодого ученого. Адаптация молодого специалиста была сопряжена с восприятием обеих составляющих, что позволяло ощущать себя причисленным к миру профессуры и транслируемой данным социальным сообществом типу культуры – «профессорской культуры».

Примечания

1. Термин «профессорская культура» заявлен и апробирован в работах: Кантор В.К. Русское искусство и «профессорская культура» // Вопросы литературы, 1978, № 3. С. 155-186; Кантор В.К. Русская классика, или Бытие России. М.: РОССПЭН, 2005. 766 с.; Горин Д.Г. К вопросу о «профессорской культуре» России XIX - начала XX в. // Отечественная культура и история науки XVIII – XX в., Брянск, 1996. С. 42-50.; Корзун В.П, Колеватов Д.М. Профессорская семья: стиль жизни, ролевые функции в поле научной повседневности// Антропология академической жизни: междисциплинарные исследования. Т2.// Отв. ред. - Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН. 2010. С. 226–249; Корзун В.П. Профессорская семья. Отец и сын Лаппо-Данилевские. СПб. Алетейя. 2011. 192 с.; Никс Н.Н. Московская профессура во второй половине XIX – начале XX века. М.: Новый хронограф, 2008. 304 с. и т.д.
2. Владимир Пирогов – доктор Берлинского университета. Согласно прошению ректора от 14 октября за № 1315, он был допущен к установленному испытанию на степень магистра Всеобщей истории, во время заседания историко-филологического факультета Московского университета: Протокол заседаний историко-филологического 4 ноября 1874 г. // ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Ед. хр. 1. Л. 11.

3. Н.А. Попов – профессор Московского университета, известный историк и славяновед. Родился 28 марта 1833 г., умер 24 декабря 1891 года.(Большая Советская энциклопедия // Гл. ред. – А.М. Прохоров. М.: «Советская Энциклопедия». Т. 20. 1975. С. 364)
4. Н.С. Тихонравов – русский литературовед, археограф, академик Петербургской АН (1890). Род. – 3(15).10.1832 г. (Большая Советская энциклопедия // Гл. ред. – А.М. Прохоров. М.: «Советская Энциклопедия». Т. 25. 1976. С. 597.)
5. В.И. Герье – историк. Окончил Московский университет, был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию. В 1862 г. защитил магистерскую диссертацию: «Борьба за польский престол в 1733 г.». В 1868 г. им была защищена докторская диссертация: «Лейбниц и его век». (Большая Советская энциклопедия // Гл. ред. – А.М. Прохоров. М.: «Советская Энциклопедия». Т. 6. 1971. С. 434.)
6. Чупров А.И. – экономист и общественный деятель. Окончил Московского университета в 1866 г. и был оставлен стипендиатом по кафедре политической экономии и статистики. В 1875 г. защитил магистерскую диссертацию: «Железнодорожное хозяйство его экономические особенности и его отношение к интересам страны». Второй крупный труд Чупрова, посвященный также железнодорожному хозяйству, представлен им в качестве докторский диссертации. (Большая Советская энциклопедия // Гл. ред. – А.М. Прохоров. М.: «Советская Энциклопедия». Т. 29. 1978. С. 261).
7. Е.Е. Замысловский, профессор Санкт-Петербургского университета, приглашал своих «приближенных» студентов к себе домой на завтрак, во время которого к столу подавали курицу. Эти посещения у студентов получили названия «ехать на профессорскую курицу» или «есть профессорскую курицу».

Источники

Протокол заседаний историко-филологического 4 ноября 1874 г. // ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Ед. хр. 1. Л. 12. Об.
Протокол заседаний историко-филологического 18 ноября 1874 г. // ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Ед. хр. 1. Л. 15. Об.
Протокол заседаний историко-филологического 18 ноября 1874 г. // ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Ед. хр. 1. Л. 16.
Протокол заседаний историко-филологического 18 ноября 1874 г. // ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Ед. хр. 1. Л. 16 Об.
Протокол заседаний историко-филологического 25 ноября 1874 г. // ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Ед. хр. 1. Л. 17.
Протокол заседаний историко-филологического 25 ноября 1874 г. // ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Ед. хр. 1. Л. 23.
Протокол заседаний историко-филологического 25 ноября 1874 г. // ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Ед. хр. 1. Л. 23. Об.

Протокол заседаний историко-филологического 21 августа 1874 г. // ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Ед. хр. 1. Л. 3. Об.

ГИА СПб. Ф. 14. Д. 8801. Л. 42. Данный материал любезно предоставлен д.и.н. проф. В.П. Корзун.

ГИА СПб. Ф. 14. Д. 8801. Л. 43.

ГИА СПб. Ф. 14. Д. 8801. Л. 51.

РГАЛИ. Ф. 167. Оп. 1. Д. 7. Л. 40 – 42. Об. Воспоминания В. С. Дружинина. Данный материал любезно предоставлен к.и.н. М.А. Мамонтовой.

ОР. РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ед. хр. 5692. 1 л. обор., 2 л. Дневник Платоновой Н.Н. октябрь 1892 – авг. 1896.

ОР. РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ед. хр. 5692. 2 л. обор. Дневник Платоновой Н.Н. октябрь 1892 – авг. 1896.

Библиография

Антощенко, Свешников 2007 – Антощенко А.В., Свешников А.В. Конфликт без скандала в университетской среде // Мир Клио. Т. 2 / Под ред. О.В. Воробьева. М.: ИВИ РАН, 2007. с. 115–134

Богословский 1987 – Богословский М.М. Историография, мемуаристика, эпистолярия // Отв. ред. А.И. Клибанов. М., 1987. 216 с.

Бон 2005 – Бон Т.М. Русская историческая наука 1880–1905 гг. Павел Николаевич Милюков и Московская школа // Перевод Д. Трошина. СПб.:«Олеариус Пресс». 2005. 272 с.

Вандалковская 2002 – Вандалковская М. Г. Индивидуальность в научном творчестве историка // Мир историка XX в. / Под ред. А.Н. Сахарова. М., 2002. С. 258.

Иванов 94 – Иванов А.Е. Ученые степени Российской империи XVIII в. – 1917 г. // М.: ИРИ РАН. 1994. 198 с.

Каган 1987 – Каган Ю.М. И.В. Цветаев. Жизнь. Деятельность. Личность. // М.: Наука, 1987. 191 с.

Корзун 2000 – Корзун В.П. Образы исторической науки на рубеже XIX – XX вв. // Омск, Екатеринбург: Изд-во Уральск. ун-та. 2000. 226 с.

Корзун 2003 – Корзун В.П. Научные сообщества в исторической науке как исследовательская проблема // Исторический ежегодник. 2002-2003. Омск: ОмГУ, 2003. С. 36 – 46. и т.д.

Краснова 2008 – Краснова Ю.В. Университет как коммуникативное пространство (на примере столичных университетов конца XIX – начала XX в.) // Мир историка. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. Вып. 4. с.285 - 303.

Кричевский 1985 – Кричевский Г.Г. Ученые степени в университетах дореволюционной России // История СССР. № 2. 1985. с. 141 – 153.

Лейкина-Свирская 1971 – Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. // М.: «Мысль», 1971. 368 с.

Милюков 1990 – Милюков П.Н. Воспоминания (1859–1917). В 2-х т. // Т.1. М.: Современник, 1990. 446 с.

Мир психологии 2003 – Мир психологии. № 1. 2003. с. 3 .

Овсяннико-Куликовский 1989 – Овсяннико-Куликовский Д.Н. Воспоминания // Овсяннико-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы: В 2 - т. / Т. 1. М.: «Художественная литература», 1989. 526 с.
Письма русских историков (С.Ф. Платонов, П.Н. Милюков) /Под ред. проф. В.П. Корзун. Омск: ООО «Полиграфист», 2003. 306 с.
Ростовцев 2004 – Ростовцев Е.А. А.С. Лаппо – Данилевский и петербургская историческая школа // Рязань, 2004. 352 с.
Сандерс 2012 – Сандерс Томас. Третий оппонент: защиты диссертации и общественный профиль академической истории в Российской империи // Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом/ отв. ред.- А.Н. Дмитриев. М.: НИУ ВШЭ. 2012. с. 161-192.
Свешников 1999 – Свешников А.В. Кризис науки на поведенческом уровне //Мир историка: идеалы, традиции, творчество / Под ред. В.Г. Рыженко. Омск: «Курьер», 1999. с. 75–95.
Свешников 2011 – Свешников А.В. Социальный статус и поведенческие стратегии «дореволюционных аспирантов историков» // История и историки в пространстве национальной и мировой культуры XVIII–XXI веков / Под. ред. Н.Н. Алеврас, Н.В. Гришиной, Ю.В. Красновой. Челябинск: Энциклопедия, 2011. с. 165–171.
Спивак 2011 – Спивак В.А. Корпоративная культура // СПб., 2001. 352 с.
Филимонов 2008 – Филимонов В.А. Н.И. Кареев и В. Герье: опыт реконструкции межличностных коммуникаций // История идей и воспитание историей: Владимир Иванович Герье / Под ред. Л.П. Репиной. М.: ИВИ РАН, 2008. с. 174–188.

Владимир Лебедев

«Профессор» как социально-культурный миф

Слово «профессор» настолько часто встречается в речевых контекстах, имеющих хотя бы косвенное отношение к академической среде, что дает повод, по рассмотрении вопроса, предположить существование соответствующей мифологемы, реализующейся в целом наборе конкретных мифологических версий. Семантика мифологемы складывается из двух крупных семантических компонентов, старого и нового, реферирующих к разным культурным периодам. Старый восходит к академическим традициям дореволюционной России и их отзвукам в довоенной культуре Советского Союза. При этом пространство мифологического конструирования не делает различия между образом «дореволюционного русского профессора» и «профессора зарубежного», дифференциальные признаки нейтрализуются, что имеет и реальные соответствия в культуре (типаж нового преподавателя ВУЗа появляется не раньше начала активной деятельности Института красной профессуры, а затем и формирования нового быта в целом, когда и традиционный «профессорский быт» стал меняться). Новый компонент формируется представлениями о социальном статусе профессуры послевоенного Советского Союза, хотя знания о реальной повседневной ее этнографии не только довольно фрагментарны, но и стремительно оскудевают (однако для мифотворчества это как раз не существенно). Действительно, профессура была привилегированной прослойкой, имела ряд формальных и неформальных льгот (к неформальным можно отнести, например, курение в запрещенных местах), нередко приближалась к номенклатуре, составляя ярко выраженную социальную элиту, что закреплялось и малочисленным составом докторов наук и профессоров. Но, в отличие от академиков, профессора часто вступали в «осязаемые», бытовые контакты с «профанами», а потому воспринимались именно как существа реальные и в какой-то степени доступные, составляя, так сказать, прослойку посредников между «земными существами» и «божествами».

В соответствии с гипотезой Сепира-Уорфа можно утверждать, что представления о профессуре и результатах причисления к этому сообществу во многом определяются не просто словом, но именно «магией» слова, его расплывчатой семантикой, богатой коннотация-

ми, то есть происходит это в пространстве мифа. Это видно в особом благоговении, которое сопровождало, а нередко и сейчас сопровождает произнесение таких фраз как «консультация профессора» (обычно это соединяется и с мифологизацией медицинской профессии), «статья профессора», «мнение профессора», «экзамен у профессора»). Миф игнорирует ощутимые социальные сдвиги, в результате которых большая часть профессуры не только лишилась льгот, но и перешла в разряд небогатого населения, озабоченного обеспечением удовлетворения банальных бытовых нужд. Равным образом частыми стали прочие явления «девальвации» степеней и званий. Именно это побуждает одних приписывать всем «профессорам» состоятельность и влиятельность, а других – некритично стремиться к обретению этого статуса: миф влияет на суждения и поведение. То же самое происходит со словами «кандидат», «аспирант», «доцент», оказывающимися мифологическими ориентирами, часто обманывающими тех, кто стремиться жить в пространстве мифа. После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации некоторые оказываются перед фактом, что на жизненных планах такое достижение положительно не сказалось, хотя материальных и организационных расходов принесло множество. Следует принимать во внимание и то, что система трудоустройства решительно не гарантирует такому кандидату работу в ВУЗе, хотя изначально подавляющее большинство научных кадров трудилось в сфере высшей школы или НИИ. Кандидат наук, преподающий в средней школе, воспринимался как нонсенс, социальная аномалия. Это не мешает мифу об «аспирантуре» организовывать объективно нецелесообразное и неоправданно затратное поведение очень многих молодых людей[1]. Равным образом все аспекты деятельности преподавателей высшей школы подверглись девальвации. Даже исчезновение цензуры и изданий по жестким издательским планам способствовало такой девальвации, поскольку облегчило выпуск печатной продукции самого разного качества. Таким образом, актуальность рассмотрения выбранного нами объекта определяется не только его временным положением самим по себе, но и тем, что мифологические установки оказываются напрямую определяющими и представления, и поведение большого числа людей (включая и неверный профессиональный выбор).

Мифологическое осмысление профессуры наблюдается как в повседневном поведении, фиксируемом этнографией, так и в осмыслении средствами искусства, где стандартно воспроизводятся все

обиходные стереотипы. Можно говорить, что элементы мифологической картины принадлежат здесь к двум областям, мифологическим парадигмам: мифологии науки и мифологии быта. Первая, в свою очередь, делится на два вида представлений:

А. Наука как область, где за достаточное вознаграждение можно ничего не делать (имитировать работу или успокаиваться после достижения хорошего результата, который, оставаясь единственным, дает право на дальнейшую беззаботную жизнь) [Фрумкина 2002: 118–119].

В. Наука как область таинственно-магическая (вариант – романтическая), где экспозиционной фигурой оказывается «Фауст». Особенно интенсивно осмысляется таким образом сфера медицины, имеющая прямой выход в область технологий, меняющих действительность. Мифология быта применительно к нашей теме определяется общими представлениями о трикстерах, быт которых также неизбежно имеет отличия.

Профессор обычно и наделяется чертами трикстера: необычность, таинственность, обладание особым знанием, что в итоге возводится к его причастности особому, запредельному миру[2]. При этом интенсивность трикстероморфной мифологизации варьирует в зависимости от сферы деятельности. Наиболее ярко осмысляется таким образом медицина, что связано, в первую очередь, с трикстероморфной мифологией медицинской профессии вообще, чем и порождено достаточно распространенное нелепое поведение по отношению к врачам (от неоправданных надежд на их всемогущество до постоянных подозрений в целенаправленном нанесении вреда)[3]. Примером тому может служить хотя бы отношение к выдающемуся отечественному неврологу Х.Г. Ходосу. Фраза о том, что если не помог Ходос, не поможет никто, была распространенной в медицинской среде (но в данном случае такое отношение было объективно укоренено в действительных медицинских талантах и личном обаянии Ходоса, делавших Иркутск, где он жил, центром клинической неврологии, сопоставимым с Москвой).

Вариантом трикстероморфного осмысления является и типаж «Сумасшедший профессор», о котором пишет, например, В.П. Руднев [Руднев 2005: 160]. Но поскольку он является лишь разновидностью трикстера (с приписыванием в тексте соответствующего детерминатива), нам не видится необходимым его выделение в некий обособленный тип, это лишь утрировка ряда типичных черт. В какой-то ме-

ре рассеянность и необычное поведение сумасшедшего профессора на самом деле обусловлены распространенностью этих черт (хотя было бы нелишне уточнить, насколько чаще они встречаются в этой среде, нежели в популяции в среднем). Отсюда тенденция наделять профессоров рассеянностью и всеми чертами аутистичной личности (в фильме «Депутат Балтики», воспроизводящем классический облик профессора с чертами, присутствовавшими, по отзывам современников, в поведении И.П. Павлова и К.А. Тимирязева, один из коллег реагирует на суетливое поведение героя словами: «Впадает в детство. Инфантилизм»[4]). Фольклорное осмысление этих черт (сумасшедший профессор – типичный персонаж городского фольклора) представляет их даже не только как следствие исходных качеств личности (что на самом деле играет большую роль, не случайно ставился вопрос о признании математических способностей изначальной аномалией мышления, воспитать которую нельзя), но и как следствие интенсивного и сосредоточенного размышления, меняющего режим психических процессов (Эфроимсон 2010). Соответственно, эти качества, подчеркнем, типично трикстерские, связаны с обладанием знанием, а не обладающий таким знанием не может быть ни рассеянным, ни аутистичным, ни в некоторой степени асоциальным, так как такое знание неизбежно меняет тип поведения [Китаев–Смык 2009: 405-427]. Однако в глазах обывателя все эти особенности воспринимаются как обычное антиповедение, в генезис которого не считают нужным углубляться.

Миф определяет основные модусы отношения к профессуре: зависть, благоговение, стремление войти в данную социальную группу, а также способы реализации этих установок. Способы реализации могут различаться по степени легитимности/нелегитимности (например, когда профессор по должности целенаправленно и регулярно именует себя профессором по званию). Соответственно можно говорить о наличии как институциональных, так и спорадически-личных способов отнесения к «субкультуре профессоров». К последним, помимо редко встречающейся прямой дезинформации, можно отнести получение альтернативных девальвированных наград, званий и степеней, эффективность чего основана на уже упомянутой «магии слова», лежащей в основе мифа[5]. Сюда же относится имитация «профессорского облика», «профессорских черт», равно как и поиск их у других людей, хотя для рациональной верификации «профессорства» следовало бы поинтересоваться наличием соответствующего аттеста-

та или справки с места работы, а не отыскивать те или иные черты внешнего облика[6]. Частотные черты такого рода: профессорская библиотека (большая и включающая редкие книги), профессорская куртка (старомодная домашняя куртка, обшитая тесьмой), профессорские очки (золоченые), профессорская квартира (старой планировки и локализованная в зданиях «сталинской» архитектуры или еще более ранних – то есть построенных в тот период, когда традиции дореволюционной профессорской культуры были живы). Автор может поделиться результатами спонтанного включенного наблюдения. Это относится к высказываниям по поводу его собственной квартиры: «Я думал, что такое только в Петербурге еще встречается», «Ну, это не квартира профессора Преображенского», «Башня Вячеслава Иванова» (суждение вызвано наличием балкона, нависающего над большой площадью), «Нормальная профессорская квартира». Характерно, что для всех оценок такого рода выбирался один и тот же зафиксированный в сознании эталон.

В формировании устойчивых паттернов принимают участие сохранившиеся сведения о знаменитостях, принадлежавших к профессуре (чему помогают авторские мемуары и фольклор, хотя первое нередко как раз порождает второе) и образы, созданные искусством, вторичными моделирующими знаковыми системами. По нашим наблюдениям, даже вполне укорененные в современной культурной реальности молодые студенты и аспиранты удивлялись, когда сталкивались с представителями профессуры, не соответствующими этим паттернам (основные признаки несоответствия: молодой возраст, отсутствие «солидной выправки» и степенности, демократичность поведения, включая и речевое, скромная или даже небрежная манера одеваться). Степень удивления порой была очень большой, что говорило о наивном подчинении мифологическим стереотипам. Порой представления о профессорах, на наш взгляд, были совершенно детскими, напоминая отношение ребенка к Деду Морозу и представления о нем. Профессорам-медикам, современным трикстерам, охотно прощают барственные замашки и даже прямое хамство; основанием для отказа в доверии является обычно только явная беспомощность или откровенная ошибка в диагностике и лечении, успешность осуществления трикстерских функций легализует самые различные вольности и не порождает претензий, во всяком случае, серьезных. Анекдоты о грубом поведении светил медицины – большой пласт фольклора, можно привести в пример рассказы о тверском хирурге

профессоре В.В. Успенском, отличавшемся независимым нравом. Характерно, что в состав фольклорных историй о нем входит целый пласт анекдотов о ссорах с представителями местного начальства и членами их семей, где профессор предстает не только независимым, но и ядовито-остроумным (включая мастерское использование сниженной лексики), вполне реализуя трикстерский потенциал. При этом фольклорные рассказы воспринимаются обычно с позитивной оценкой и без сочувствия к тем, кто заставлял доктора тратить время на бюрократические излишества или выслушивание нелепых жалоб проникших на прием «по блату» псевдобольных.

Воспоминания о человеке с типичным «профессорским обликом» находим в беллетристике киевского доктора П.Е. Бейлина [Бейлин 1980: 262]. Перед нами классический облик, совпадающий с паттерновыми чертами профессора Преображенского, прекрасно созданного Е. Евстигнеевым: шуба, меховая шапка-боярка, дорогая трость, очки, в более ранний период часто заменявшиеся на пенсне, получившее в итоге соответствующее семантическое приращение, хотя пользовались им почти одинаково все слои населения, исключая разве что крестьян и ремесленников, носивших типичные очки с заушниками. В какой-то мере эти черты в несколько шаржированном виде можно узнать в докторе Айболите, прообразом которого, по весьма правдоподобной версии, послужил весьма популярный врач и организатор здравоохранения Цемах Шабад (1864-1935), почетный член и вице-президент Медицинского общества Еврейского научного института, живший в Вильно.

Реальный социальный тип профессора не обладает тем постоянством, которое присуще мифологическому образу, этот тип менял свои признаки в зависимости от эволюции культуры. Менялись место в социальной элите, сама принадлежность к ней, кодекс поведения, обладание жизненными благами, наличие уважения со стороны, частотные черты внешности, служебный и личный быт. В частности, социальные льготы профессурой как правило утеряны, черты внешности не воспроизводят «старую профессуру» в духе евстигнеевского профессора Преображенского или хотя бы филипповского лектора-астронома, хотя, как уже говорилось, публика продолжает довольно часто ждать появления этих черт и даже активно пытается их искать.

Оценка личности и деятельности профессора (о последней могут при этом вообще ничего достоверно не знать) колеблется в диапазоне «пиетет/пейоратив». Последнее отображается, например, в фольклор-

ных прозвищах-характеристиках вроде «профессор кислых щей». По нашим наблюдениям, в настоящее время ее сознательно применяют к лицам, не обладающим культурой, близкой к «профессорскому» паттерну, соответствующей внешностью, но особенно – к не обладающим глубокими и оригинальными знаниями, чрезмерно и искусственно пекущимся о сохранении «профессорской репутации», слишком часто и неуместно афиширующим служебную должность, а также получившим звание в сомнительных и дискредитированных организациях. Также, по нашим наблюдениям, в таких случаях при упоминании соответствующего человека к его имени безо всякой необходимости добавлялось приложение «профессор», что создавало иронические коннотации и имплицировало утверждение, что профессорский статус данного лица настолько неаутентичен, что требует постоянной и навязчивой словесной аффирмации[7]. Равным образом, группы людей с диаметрально иным отношением как к действительности, так и к языковым клише, негативно относятся к словам «ученый» (утверждают, что его не любил Л.Д. Ландау, употреблявший прозаичный канцеляризм «научный работник») или, например, «заслуженный деятель» (мы наблюдали случай, когда профессор, получивший это звание, применяя его к самому себе, заменял на созданной по той же модели выражение «заслуженный клоун»).

Устойчивый паттерн имеет два основных варианта, которые мы с некоторой долей условности именуем «классическим» и «трикстерским». Первый тип характеризуется отстраненным и формально-вежливым поведением, плавной и литературно-правильной речью, сдержанной манерой чтения лекций, подчеркнуто корректным поведением (если речь не идет об экстремальной коммуникативной ситуации), умеренным употреблением алкоголя, причем с предпочтением редких и дорогих сортов, курением дорогого табака в умеренных количествах, элегантным внешним видам (в одежде, прическе), дорогой обстановкой в жилище, образцовым порядком в нем (поэтому «академический профессор» в мифологическом сознании долгое время наделялся валентным отношением к нанятой домработнице, которая и должна была следить за бытовым порядком; прислуга в профессорских квартирах в то время, когда институт домработниц стремительно вымирал, закреплялась в фольклорных рассказах о профессорском быте).

Трикстерская разновидность обладает как раз ярко выраженными инвертированными чертами. Демократичная и грубовато-

ироничная манера общения (включая употребление обсценной лексики, порой весьма интенсивное), неакадемичное чтение лекций, ирония и желчность, неухоженная внешность, запущенное жилище, демонстративное нарушение этикетно-социальных условностей, злоупотребление алкоголем (или употребление дешевого некачественного алкоголя), обильное курение (часто дешевых сигарет и табака). Типичным представителем второго типа являются, напр., В.Б. Шкловский, А.А. Любищев и А.А. Реформатский. Слава о трикстерских манерах последнего была широка уже при жизни, а затем стала фольклоризироваться [*См., напр.,* Фрумкина 2004]. Нетрудно заметить, что дифференциальные признаки двух типов выстраиваются в типичные пары. Однако профессор-трикстер сохраняет ядерные черты: обширные знания, проницательность — вплоть до хитрости, независимость. Даже в неприбранном жилище остаются в большом количестве книги, рассказы о неимоверном числе которых превращаются даже в полуфантастические повествования. Хорошим примером являются повествования о «юродивом» поведении М. Баранчука, который, во время его пребывания в провинции, воспринимался именно в таком качестве, хотя говорить о своей гипотезе «магматических существ» не прекращал и даже получал фактическую легитимацию на такого рода беседы. С одной стороны, это была удобная позиция для того, чтобы иметь возможность довольно свободно высказываться, основанная на семиотической инверсии, возможно, хорошо продуманной. С другой, восприятие в качестве юродивого есть крайняя форма трикстероморфной мифологизации. Такой юродивый сочетает типичные черты: нелепость, вызывающую презрение окружающих, и скрытое могущество, порождающее в итоге страх. Равным образом, можно вспомнить суеверный пиетет обывателя перед М. Захарьиным, отраженный, в частности, Иваном Шмелевым.

Нередко профессорский облик дополняется портфелем (особенно старым и потертым) и тростью. Последняя связана с семантемой физического недостатка, что явно исходит из трикстерской предыстории самой мифологемы в целом, хотя в мире социальных реалий ведет происхождение от городской моды, которой стремились соответствовать представители имущих слоев (людей с физическим недостатком среди профессуры, скорее всего, в целом столько же, сколько и среди иных слоев населения (не рассматриваем сейчас теорию В.П. Эфроимсона о высокой частоте случаев подагры), а отличие в том, что такие люди оказываются на виду; неровность походки была

в той или иной степени присуща П.Л. Чебышеву, И.П. Павлову, М. Захарьину, А.А. Реформатскому).

Также в профессорское поведение иногда включается любовь к детям. Рассказы о И.А. Каблукове содержат и упоминания о том, что он носил в кармане коробку леденцов, которые и раздавал детям на улице, делая это церемонно, с поклоном [Полищук 1983; Белый 1931: 255–256]. Однако нелепой сентиментальностью, пусть и по отношению к детям, профессор не наделяется. Это относится и к такой частотной черте, как привязанность к домашним животным, как «классическим», так и к необычным, экзотичным. В этом отношении фотографии К.-З. Лоренца, запечатлевшие его с гусями (в том числе и сидящим по шею в воде в компании двух водоплавающих) никак не отклоняются от профессорского облика, хотя и не совпадают с «академическим» его вариантом. В кратких воспоминаниях В.Л. Топорова о супругах Тронских упоминается их привязанность к коту, снабжавшемуся едой куда лучше самих хозяев [Топоров 1999].

Для профессорской речи характерны частые инвективы по отношению к «профанам», что эффектно суммируется в известной фразе Преображенского: «Вы стоите на самой низшей ступени развития!». Как трикстерам, профессорам обычно позволяется несколько больший объем критики и даже нигилизма по отношению к окружающим, чем тем, кто находится вне этой социальной группы. Вообще богатство вербального поведения обращает на себя внимание, речь профессора наделяется мощным перлокутивным потенциалом, порою превращаясь в вынесение важного приговора («диагноз профессора»).

В рассказах о повседневном поведении суточные циклы обычно извращены. С одной стороны, зависимость профессора от институтского расписания, гибкого и неравномерно членящего время, отражается и на его распорядке жизни. С другой -, он много работает по ночам, превращая ночь в день. Привычка заниматься ночной работой и сейчас распространена в среде вузовских преподавателей.

«Чуждая науке жеманная стыдливость долгое время определяла отношение к анекдоту. Из-за этой стыдливости потеряны (возможно, навсегда) другие анекдоты о Каблукове, о человеке, которого поэт признавал одним из житейских прототипов своего Рассеянного. В научной литературе о почетном академике И.А. Каблукове их не сыщешь. Там, в лучшем случае, упоминается лишь факт существования таких анекдотов, застенчиво упрятанный в закуток вводной фразы или придаточного предложения, и никто из писавших об ученом

не решился предать эти анекдоты бумаге. Историк науки счел моветонным их присутствие в своих благопристойно-серьезных сочинениях. Физико-химику было невдомек, какую ценность они представляют для "лириков". Хочется верить, что кто-нибудь все-таки записал их и что эти записи еще послужат изучению фольклорной основы творчества Маршака» [Петровский 2006: 153-216]. Каблуков явно страдал дизлексией, что наиболее часто обретало форму метатез («лопа колбнула» вместо «колба лопнула» и т.п.), сильно портивших эффект от его лекций, однако такое речевое поведение с явными чертами неврологической патологии вполне вписывалось в стандарт «необычно и странно говорящего профессора», что и объясняет (помимо обычной жестокости) атмосферу веселья на его занятиях.

Указанные типы обладают разной динамикой изменений. «Трикстерский» более зависим от социальной ситуации, заметно трансформируется, типаж же «академический», «профессора старой школы» («Преображенский») более стабилен, консервативен и ситуативно независим, хотя именно второй в реальности уже практически не встречается.

Профессор в фольклорной системе наделен рядом валентных связей. Во внешней среде выделяются избранные и непосвященные, причем обе эти зоны дробятся на несколько более мелких. Наиболее близкой является зона учеников, обычно питающих беззаветную преданность (явная мифологическая идеализация, которую однако же довольно часто пытаются отыскать в реальности). Как правило, среди них попадается хотя бы один актор-предатель, которого впоследствии клеймят и как аморального отступника, и как человека, умственными качествами не обладающего, попавшего в круг учеников по ошибке. Иной связью является противостояние профессора и акторов-недоброжелателей, которые подвергают его гонениям и шельмованию. В каждой образцовой профессорской биографии момент противостояния должен быть, это часть стандартной сюжетной структуры. В противостоянии, независимо от результатов, профессор сохраняет свои взгляды, часто также и внутреннюю независимость, а противников он разоблачает по меньшей мере язвительными инвективами (включая прозвища и краткие характеристики), которые закрепляются, становясь фольклором и образцами «профессорского остроумия».

Практически обязательным является и такой сюжетный элемент (и вообще валентная связь) как борьба профессора с «лже-профессорами» В категорию «лже-» попадают люди, получившие ме-

сто интригами и/или не обладающие должными знаниями и культурой, соответственно, разнообразно лишенные обаяния подлинности. «Лже-» как враги могут отождествляться с внешними силами вообще. Именно на этих парвеню профессорское язвительное остроумие и обращается больше, чем на кого бы то ни было еще. Характерно, что для отнесения к сообществу противников достаточно просто убогого интеллекта, собственно враждебные действия не обязательны. Оскорбление науки, ее этоса, самого разума уже ставит человека в разряд врагов, так как оскорбляя науку, он автоматически оскорбляет и ее служителей, «подлинных профессоров». Одна из форм комически осмысленной борьбы, травестирования противника является розыгрыш, возможно, очень злой и даже неприличный. Любовь к остроумным розыгрышам – часть типичного профессорского остроумия и стандартов профессорского поведения, равно как и частотное содержание современного институтского фольклора.

Сирконстантами «профессорских сюжетов» оказываются долголетие, в той или иной степени одинокая старость, смерть от болезни, часто с долгим течением, что в немалой мере оказывается фиксацией и обобщением ряда реальных биографических фактов. Суицидные финалы, независимо от их реальной частоты, обычно не акцентируются, если только им не придаются черты своеобразной «светской агиографии» и такая смерть не героизируется. Самоубийство профессора Посошкова в романе А. Дудинцева «Белые одежды» (вообще наглядно демонстрирующим структурные особенности профессорского нарратива) является образцом именно так интерпретированной смерти. Подчас отношения со смертью превращаются в своего рода игру, некое подобие «плясок смерти», напр., история о ложном извещении о смерти находившегося в экспедиции Д.К. Заболотного, устроенной гражданской панихиде и последовавшей профессорской мести в виде произнесения поздравительной речи в честь устроителя панихиды на классической латыни. Во всяком случае, страх перед смертью сводится к минимуму, природа же такого отсутствия может быть различной: от стоической до вполне религиозной.

Можно заметить, что нарративы о жизни профессоров содержат структурные черты, характерные для агиографии[8], что, однако, требует осторожности при попытках выявить их изоморфизм. Их следует, по возможности, отличать от агиографических черт, присущих нарративу о научной жизни вообще (обязательные противники и помощники, нежданно явленная помощь, преодоление большого пре-

пятствия и счастливый исход, связываемый с научным результатом, оказывающимся нередко и победой над противниками).

Профессорский юмор в наиболее ярких формах представлен в трикстерской разновидности. Яркими фигурами с таким юмором, подчас обсценным и маргинальным, в отечественной культуре были Ю.М. Лотман, А.А. Реформатский, Н.В. Тимофеев-Ресовский, генетик И.А. Рапопорт, патологоанатом Я.Л. Рапопорт. Нередко трикстерский потенциал такого юмора реализовывался в ситуации, имеющий отношение исключительно к сфере науки, как например, классические остроты Я.Л. Рапопорта в адрес О.Б. Лепешинской (по поводу «открытия» ею «живого вещества» и «обнаружения» чудесных свойств соды) [Рапопорт 2004: 98]. Реформатский являет пример активного ономастического творчества, преимущественно в виде создания антропонимов-прозвищ («МаоцзеДуня» и под.)[9]. Собранные нами прозвища, возникшие в академической среде, требуют отдельного исследования. Разного рода шутки и вообще эксцентричные аграмматизмы во время лекций могут объединяться и в целые сборники. Сперва они нередко фиксируются в тексте лекционных конспектов, являясь типичными маргиналиями, а при их последующем хождении внимание обращается не только на оригинальность самих суждений, но и на связь с личностью сказавшего.

Представления о профессоре отображаются и в мортальном фольклоре, особенно в 1950-1970-е гг., когда на надгробиях нередко указывали ученые степени и звания, часто с указанием области деятельности и специальности. Собранный нами материал требует отдельной публикации, укажем лишь, что по нашим данным, уже в 1970-е годы число таких надписей начинает сокращаться, а в 2000-е становится единичным, хотя все же встречается (правда на надгробиях людей, пользовавшихся по тем или иным причинам достаточной известностью, само профессорство обычно не мотивирует появления таких инскрипций). Это особенно заметно на материале некрополей крупных городов, служивших преимущественным местом захоронения представителей мира науки. Можно также отметить фиксацию звания на дверных табличках, хотя это чаще относилась не к обычным, дешевым и грубоватым табличкам, а сделанным специально, на заказ. Оскудение в настоящее время частоты подобного инскрипционного материала говорит, помимо прочего, о социальной девальвации профессорского звания и об изменениях в динамике реализации мифологемы, хотя в силу общей устойчивости мифа, активизация

этой динамики при возникновении в будущем благоприятной ситуации вполне возможна.

Распределение вещей, принадлежавших профессору, обычно имеет значение для окружающих, помимо реальной ценности предметов. Это не обязательно книги, подчас просто безделушки. Хранятся рукописи, черновые записи. Отдельно хранятся такие документы как эпиграммы, пародии, карикатуры (часто это экспромты на деловых бумагах, проектах заключений, «оборотках»), за обладание которыми разворачивается «борьба наследников» (автор наблюдал сцену, едва не перешедшую в потасовку) и которые затем копируются и даже распространяются.

Поездка на могилу учителя часто воспринимается не просто как долг памяти (или долг религиозный), но как поездка за благословением, помощью или для беседы – вплоть до своеобразного отчета о сделанном.

Дальнейшие трансформации расхожих представлений о «профессоре» во многом будут зависеть от специфики реальности социальной, однако в виду мифологического генеза этих представлений можно предвидеть устойчивость и живучесть традиционных форм.

Примечания

1 Как забавный, но показательный курьез отметим случай, когда претендентка на обучение в аспирантуре настолько не представляла специфики этой деятельности, что описывала цель предприятия как получение специальности кандидата, а потом и доктора, то есть как аналогичную предыдущим ступень высшего образования. Очевидно, что к активности в деле поступления ее провоцировал миф, а не рациональная картина социальной реальности, где слова «кандидат» и «доктор» обросли коннотациями мифологического свойства.

2 В этом отношении оказывается оправданным сделанное выше различение «профессора» и «академика» как мифологических конструктов. «Академик» оказывается небожителем, который «смертным» себя не являет, «профессор» же – именно трикстером-посредником, обеспечивающим связь разных миров.

[3] Типичный трикстер явлен в образе главного героя популярного сериала «Доктор Хаус», причем анализ текста фильма позволил сделать вывод, что серьезных отступлений от правдоподобия облика в целом нет, а значит, кинематографическую реконструкцию следует признать талантливой. Иной, зафиксированный нами неоднократно пример: суждения вроде «должно же быть средство медицинской помощи для случая N!». Хотя для того, чтобы понять нелепость фразы, не надо погружаться в кантовский анализ должного и сущего, достаточно взглянуть на историю медицины с немифологической точки зрения и перестать воспринимать врача как шамана.

[4] Вместе с тем трикстероморфное поведение, подчас обретающее черты антиповедения, в фильме вполне вписывается в новую, творимую на глазах реальность нового социума и выглядит там нормальной.

[5] Так же мифологизируются многие профессии, не случайны эпизоды появления лжедуховенства, обирающего жителей деревень. Поинтересоваться подлинностью статуса никому не приходит в голову. Нам пришлось наблюдать случай, когда некий молодой человек выдавал себя за монаха, дабы получить индивидуальные льготы для учебы в ВУЗе, и наглая безыскусная ложь успешно активизировала мифологические пласты мышления вполне серьезных людей, не подвергавших сомнению эту версию событий (подлог в итоге был разоблачен именно благодаря более критическому мышлению некоторых здорово-недоверчивых, знакомых к тому же с реалиями церковной жизни)

[6] Это напоминает медицинские диагностические предписания, когда врачей учат не ориентироваться на расхожие суждения о ярких чертах той или иной болезни, а обращаться к методам, имеющим реальный верифицирующий потенциал, напр., не увлекаться поисками «чахоточного телосложения», а направлять больного на рентгено- или флюорографию.

[7] В процессе сбора материала мы нашли рукописную «Песнь о профессоре (N), девочке Тане и яйце Тамагочи». В тексте, где первая и третья «песни» написаны неправильным стилизованным пентаметром, а вторая – раешником, некто N постоянно именуется профессором, что создает иронические смыслы и провоцирует комический эффект.

[8] Черты именно агиографического нарратива отчетливо видны, например, в фильме «Хокинг» (*Hawking*), снятого Ф. Мартином в 2004 году.

[9] Воспроизведение дискурса А.А. Реформатского отражено, например, в сборнике «Лингвисты шутят».

Библиография

Бейлин 1980 – Бейлин П.Е. Поговори со мною, доктор. Киев: Радяньский письменник. 1980. 366 с.

Белый 1931 – Белый А. На рубеже двух столетий. М.-Л.: Земля и фабрика. 1931. 500 с.
Китаев-Смык 2009 – Китаев-Смык Л.А. Психология стресса: психологическая антропология стресса. М.: Академический проект. 2009. 943 с.
Петровский 2006 – Петровский М.С. Книги нашего детства. СПб.: Изд-во И. Лимбаха, 2006. 424 с.
Полищук 1983 – Полищук В.Р. Теорема Каблукова. М.: Знание. 1983. 176 с.
Рапопорт 2004 – Рапопорт Н.Я. То ли быль, то ли небыль: о времени и о себе. Ростов-на-Дону: Феникс. 2004. 270 с.
Руднев 2005 – Руднев В.П. Словарь безумия. М., 2005. 380 с.
Топоров 1999 – Топоров В.Л. Двойное дно. Признания скандалиста. М.: Захаров-АСТ, 1999. 464 с.
Фрумкина 2002 – Фрумкина Р.М. Внутри истории. М., Новое литературное обозрение, 2002. 480 с.
Фрумкина 2004 – Фрумкина Р.М. Реформатский сегодня// Семиотика, лингвистика, поэтика: К столетию со дня рождения А.А. Реформатского. М.: Языки славянской культуры, 2004. С.723-729.
Эфроимсон 2010 – Эфроимсон В.П. Генетика гениальности. М.: Время знаний, 2010. 376 с.

Наталия Демина

Защита диссертации как обряд перехода*

В редакторской статье журнала «Social Education» некто под псевдонимом SJN опубликовал прощальную статью, связанную с уходом на пенсию. Прощаясь со своими коллегами, автор совершает своеобразный обряд перехода. Он отмечает, что большую часть своей взрослой жизни был членом «племени» географов, которому Роберт Макни посвятил такие строки: «Так же, как и у племени, у них есть свои тотемы и табу, свои герои племени, свои сакральные книги и символы, свои крики единения, свои характерные способы мышления и коммуникации, свое разделение труда, свои методы установления власти, свои способы отбора кандидатов на исследование неизученных земель и свой взгляд на другие племена» (McNee 1967: 4-5, *цит. по*: Some Rites of Passage 1993: 279.). SJN иронично замечает, что достаточно легко описать то, чем отличается одно научное «племя» от другого, но достаточно сложно, – что сплачивает каждую отдельную группу (Some Rites of Passage 1993).

Научный мир России также разделен на значительное число больших и малых научных «племен» со своими обрядами, ритуалами и церемониями. Однако почти всем российским ученым для получения первой научной степени пришлось пройти через испытание аспирантурой и участие в диссертационном диспуте. Степень кандидата наук (PhD или соответствующая ей степень в академической системе другой страны) – «необходимое и достаточное условие для приема в научное сообщество» (Ziman 1968: 64).

В данной статье аспирантура и диссертационный диспут рассматриваются с помощью двух метафор. Во-первых, как обряд перехода из сообщества учеников в сообщество ученых: для этого используются антропологические подходы Арнольда ван Геннепа и Виктора Тернера. Подробно анализируются составные черты данного обряда перехода. Во-вторых, описывается альтернативный подход Пьера Бурдье, предпочитавшего обряды перехода рассматривать как обряды институционализации. Используя его логику, аспирантура и защита диссертации представляют собой переход из мира неученых (мир Небытия в науке) в мир ученых (мир научного Бытия).

Защита диссертации как обряд перехода

Как справедливо отмечает Джон Зиман, научная степень сертифицирует два совершенно противоположных умения: 1) знакомство с элементарной грамматикой и синтаксисом определенной области науки; 2) успешное завершение скромного, но оригинального исследования. Сертификация соискателя как компетентного ученого всецело находится в руках существующего истеблишмента (Ziman 1968:65). Мы полагаем, что ритуал защиты кандидатской диссертации представляет собой обряд перехода из мира учеников в мир ученых. Термин "rites de passage" был введен французским этнографом Арнольдом ван Геннепом. Целью его книги «Обряды перехода» (1908) было создать классификацию «последовательности церемоний, сопровождающих переход из одного состояния в другое, из одного мира (космического или общественного) в другой» (Геннеп 2002: 15).

Обрядом перехода можно считать любой ритуал или церемонию, связанную с изменением социального статуса затрагиваемого ритуалом лица или лиц, например, погребение, посвящение в рыцари, инициацию, крещение (в частности, боевое) и т. д. Обряды перехода имеют двойную функцию: они свидетельствуют об изменении статуса и магическим путем осуществляют это изменение (Лич 2001: 95). Как отмечали А. ван Геннеп, Анри Жюно (Henry Junod) и др., обряды перехода не ограничиваются только случаями жизненных кризисов, но могут сопровождать любую перемену из одного состояния в другое. Виктор Тернер полагал, что обряды перехода не ограничиваются только движением между приписываемыми статусами. Они касаются и вхождения в достижительный статус (Turner 1989:95), в нашем случае в сообщество ученых. Чтобы перейти из мира учеников, студентов в мир ученых, нужно совершить определенные действия, пройти через определенные церемонии, отвечающие «определенному строю чувств и определенной ментальной ориентации» научного сообщества (Геннеп 2002: 8). И дело не только в каких-то физических действиях или подготовке научных статей, имеющих материальное воплощение на бумаге, но и в нематериальных аспектах. Так, Дж. Зиман отмечает, что поведение профессионального исследователя обусловлено нормами научного сообщества, поэтому молодой исследователь должен изменить свои нормы студента на нормы научного сообщества, к которому он хочет принадлежать (Ziman 1968:73). Однако не достаточно просто ознакомиться с существующим консенсусом норм. Соискатель должен интернализовать научное отношение: научиться

вести себя как ученый, привыкнуть «думать по-научному». Зиман полагает, что «современным научным сотрудником становятся, а не рождаются» (Ziman 1968:81).

Разумеется, аспиранту в процессе подготовки кандидатской диссертации подчас приходится заниматься совершенно «несакральными» вещами, недаром Майкл Махони назвал одну из глав своей книги об ученых достаточно иронично «Обряды перехода: Избранные нелепости в ходе обучения в аспирантуре» (Mahoney 1976). Однако в формирующие годы обучения в аспирантуре молодые исследователи приобретают интеллектуальные установки, знание методик, навыки в выполнении технических процедур, представления о социальных конвенциях, дающих им возможность стать полноправными членами научного сообщества. «Аспирант не только изучает новейшую методику по своему предмету и вносит в него свой, пусть и небольшой, вклад, - он знакомится с правилами научной аргументации и полемики, вырабатывает свою собственную версию стандартов аргументации и доказательства, требуемую в исследовательском сообществе» (Ziman 1968: 145).

Российский социолог Вадим Радаев, опубликовавший книгу о 75 простых правилах исследовательского проектирования, сделал интересные, на наш взгляд, замечания о формальных и неформальных особенностях коммуникации в российской науке. Он, в частности, полагает, что диссертация является не столько научным исследованием, сколько квалификационной работой. Ее можно считать «пропуском» в профессиональное сообщество. В диссертации «главное не новизна, а соблюдение установленных правил и конвенций. <…> Диссертация рассматривается как квалификационный тест, по которому оцениваются уровень соискателя и его готовность влиться в профессиональный цех». «Вся процедура защиты — приглашение оппонентов, сбор отзывов на диссертацию и автореферат вплоть до заключительной процедуры голосования членов Совета с опусканием в урну условных шаров "за" или "против" нашей работы — есть не что иное, как сбор поручительств и рекомендаций профессионалов. Они призваны подтвердить одну простую вещь — нас можно допустить в круг ранее избранных. <…> Диссертация — это свидетельство нашей профессиональной "кредитоспособности". Не более, но и не менее того» (Радаев 2001: 87-88).

Излишне впечатлительным аспирантам он советует просто принять правила игры научного сообщества. «Принято считать, что

именно на обсуждении диссертант должен пройти через чистилище, где его (ее) примерно высекут, покажут собственное место и отправят на непременную доработку. <. ..> Официальное обсуждение — это последнее испытание, тренировка перед ритуалом "посвящения в рыцари". На самой защите все, как правило, проходит более формально и доброжелательно. Предполагается, что соискатель уже "всему научен" и его (ее) можно отпустить с миром» (Ардаев 2001: 88-89).

Ван Геннеп выделял в обрядах перехода три категории обрядов вторичного, более низкого порядка: обряды отделения — прелиминарные, обряды промежуточные — лиминарные и обряды включения — постлиминарные**. Все они могут быть частью одного и того же церемониального цикла. Любой из вторичных обрядов может приобрести статус самостоятельного, автономного этапа. Так, например, помолвка является промежуточным обрядом, самостоятельным этапом между отрочеством (девичеством) и женитьбой (замужеством) (Геннеп 2002:24). На наш взгляд, аспирантура и защита диссертации включают в себя несколько последовательных этапов перехода из мира учеников в мир ученых. Ученик переходит из профанного мира в мир сакральный, мир ученых. Так же, как и при классическом обряде перехода, этот переход нуждается в регламентации, упорядочении, соблюдении определенных ритуалов, чтобы сакральный мир не потерпел ущерба.

Итак, ученик гласно заявляет о своем желании приобщиться к миру ученых (получить степень кандидата наук). Он собирает необходимые документы, пишет реферат, готовится к экзаменам: по специальности, философии, иностранному языку. В идеале, вступительные экзамены в аспирантуру играют роль обряда отделения от мира учеников. Не все выдерживают эти испытания и становятся аспирантами. Период обучения в аспирантуре — промежуточная, лиминарная стадия перехода из мира учеников в мир ученых. В течение всего этого периода в идеале проходит исследовательская работа, полевые исследования, чтение научной литературы по теме научного исследования, подготовка и публикация статей, дискуссии на семинарах, общение с научным руководителем, участие в конференциях. Все это дает возможность ученику впитать в себя стиль и методы научной работы. Сдача аспирантского минимума по специальности, философии, иностранному языку, в идеале предполагающая посещение лекций по философии, занятия по иностранному языку и подготовку к экзаменам, представляет собой промежуточный обряд. Диссертационный

диспут сочетает в себе обряд отделения и обряд включения. Им завершается отделение от мира учеников и приобщение к сообществу ученых. Банкет по случаю успешной защиты диссертации завершает обряд включения. Совместная трапеза — банкет — играет, несомненно, важную роль, представляя собой обряд приобщения.

Цель обрядов включения, по выражению членов племени ваяо Восточной Африки (Werner 1906:102-103, цит. по: Геннеп 2002:40), «ввести ребенка в мир», или, как говорят даяки Бакаранга, «выпустить ребенка в мир», подобно тому, как спускают корабль на воду (Ling Roth 1896: 102, цит. по: Геннеп 2002: 40). Формальная церемония—обряд инициации — простая функция отделения, проведение границы, сообщение инициируемому и обществу его / ее нового статуса. В идеале весь цикл: вступительные экзамены — аспирантура — кандминимум — диссертационный диспут представляет собой «умирание» соискателя как ученика и «воскрешение» как ученого. Вступившего в мир ученых воскрешают, учат жить, но иначе, чем в мире учеников. В отличие от классических форм обрядов перехода, аспирантура часто проходит без физического и морального отделения от среды, где ученик находился раньше. Обряд отделения выражен не в столь явной степени, как в своей классической форме. Не происходит перемены одежд, ритуального омовения, перемены прически и прочего радикального изменения облика инициируемого.

Аспирант как лиминарная персона

В своей книге «Лес символов. Аспекты ритуала ндембу» Тернер остановился на рассмотрении обрядов перехода с разработанными лиминарными периодами: хорошо маркированными и растянутыми во времени. Пограничный период — «лиминарность» — он анализировал как межструктурную ситуацию. Тернер предпочитает видеть переход как процесс, как становление, а в случае обряда перехода — как трансформацию (Turner 1989: 93-94). Первая фаза — отделение — включает в себя символическое поведение, означающее отделение индивида или группы от ранее фиксированной точки в социальной структуре или как набора культурных условий (состояний). Во время промежуточного лиминарного периода положение субъекта ритуала амбивалентно. Он проходит через область, которая обладает некоторыми чертами предыдущего и будущего положения. Переход завершается в третьей фазе. Переходное состояние, или «лиминарная персона», определяется либо именем, либо набором символов. Аспирант

играет роль «инициируемого», или «неофита». Символизм, привязанный к «неофиту» и окружающий лиминарную персону, сложен и причудлив (Turner 1989: 96). Аспирант приобщается к конвенциям, нормам и целям сообщества, в которое он входит.

Субъект обряда перехода в лиминарной фазе «невидим». Структурная невидимость лиминарных персон имеет двойственный характер. Они уже не классифицированы и еще не классифицированы. Неофиты рассматриваются как эмбрионы, новорожденные младенцы, для их описания используются символические средства, различающиеся от культуры к культуре. Существенная черта этого символизма состоит в том, что неофиты «не живы» и «не мертвы», с одной точки зрения, и «живы» и «мертвы», с другой. Их состояние — это двойственность и парадокс, смешение всех привычных категорий. Тернер приводит слова Якоба Бёме, который любил повторять «Все вещи состоят из Да и Нет». Тернер отмечает, что лиминарность может рассматриваться как «Нет» всем позитивным структурным утверждениям, но и в некотором смысле являться источником их всех и более того — быть областью идеальных возможностей, откуда могут проистекать новые идеи и отношения (Turner 1989: 97).

Неофиты обычно отделяются, частично или полностью, от области культурно определенных и упорядоченных статусов и положений. Ндембу иногда говорят о неофитах как о тех, кто «находится в другом месте». Когда их выводят из сакральных мест укрытия, они часто переодеты, в масках или гротескных костюмах, их тела покрыты полосками из белой, красной и черной глины и т. п. Инициируемые могут рассматриваться как абсолютно бесполые или же двуполые существа и как вид человеческой первоматерии - недифференцированного сырого вещества. Другой структурно негативной характеристикой переходных существ является то, что у них ничего нет. Нет статуса, собственности, характерных отличительных черт, светской одежды, ранга, родства, ничего, что могло бы их демаркировать от их коллег. Это состояние, пишет Тернер, является прототипом сакральной бедности (Turner 1989:98-99).

Говоря о позитивных аспектах лиминарной фазы обряда перехода, Тернер говорит о процессах роста, трансформации и переформулировки старых элементов в новые. Удивительное единство лиминарности: тот, который ни это и ни то, и то и это одновременно. Тернер отмечает, что между неофитами и их инструкторами и при общении неофитов друг с другом существует набор взаимоотношений, ко-

торые составляют «социальную структуру» чрезвычайно специфического типа. Это очень простая иерархическая структура: между инструкторами и неофитами часто существует полное доминирование первых и полное подчинение последних; среди неофитов часто существует полное равенство. Хотя неофиты ранее могли занимать разные положения, ранги, в лиминарный период все эти различия и градации теряются. Лиминарная группа неофитов является сообществом товарищей, ее отличает отсутствие всякой иерархии. Это товарищество преодолевает рамки различий в ранге, поле, возрасте и родстве, которое можно описать известным девизом «Один за всех и все за одного». Власть инструкторов основана не на юридических санкциях, а на самоочевидном авторитете традиции. Авторитет старших абсолютен, в том смысле, что они представляют собой общее благо и общие интересы сообщества. Пассивность неофитов, их податливость и покорность инструкторам, подчинение указаниям, сведение их к единообразным условиям существования являются знаками роста и движения к новому статусу в жизни (Turner 1989: 100-101).

На наш взгляд, едва ли можно говорить о современных аспирантах как сообществе товарищей, слишком оно разрозненно и поглощено борьбой с реалиями рыночной экономики. Точно так же сложно говорить и об абсолютном доминировании научных руководителей над аспирантами. Наша метафора «обряд перехода», примененная к аспирантуре и защите кандидатской диссертации, имеет свои пределы. Современный научный руководитель играет скорее роль советчика, наставника, коммуникатора. Так, В. Радаев отмечает, что роль руководителя заключается в том, чтобы помочь «войти в профессиональное сообщество — и не через черный ход, а через нормальную дверь. <…> Руководитель призван … подсказать, как себя вести, чтобы не нарушить формальных процедур и неформальных конвенций, "прикрыть" при возникновении нештатных моментов» (Радаев 2001: 102).

Самое важное в лиминарном периоде — внутренние, а не внешние изменения в человеке, проходящем обряд перехода. Сокровенное знание, или «гнозис», приобретаемый неофитом в лиминарный период, изменяет саму суть неофита, накладывая не него отпечаток. Его показная покорность — это, на самом деле, впитывание сил, которые станут активными после того, как его социальные статусы будут переопределены обрядами включения. Происходит не просто биологическое или физическое изменение, а онтологическое. Прохождение

всей промежуточной стадии чрезвычайно важно — пропуск ее означает, что человек не получает новый статус. Так, человек из племени ндембу, прошедший обрезание в больнице, а не в племени, не считается мужчиной, т. к. не прошел необходимых ритуальных процедур (Turner 1989: 102). Точно так же, человек, купивший диссертацию или использовавший другие «неритуальные» методы получения степени кандидата наук, считается в научном сообществе «ненастоящим» кандидатом. В кулуарах люди не преминут сообщить друг другу, что для коллеги G написал диссертацию коллега I, что защита стоила столько-то и столько-то. Однако, как и по отношению к племени ндембу, для людей, внешних по отношению к миру ученых, грани между человеком, прошедшим обрезание «по-настоящему», и тем, кто сделал его в больнице, стираются и практически неразличимы. Именно поэтому научная степень является столь привлекательной для чужаков из внешнего мира: пришел, получил и ушел.

Передача научной сакральности

Структурная простота лиминарной ситуации во многих инициациях компенсируется его культурной сложностью. Один из самых важных аспектов—передача священного, сакры, сердца лиминарной материи. Неофитам показываются священные предметы, реликвии богов, героев и предков. Часто примечательной чертой таких священных предметов является их формальная простота, однако их интерпретация достаточно сложна. Неофитов учат основам теогонии, космогонии и мифической истории их обществ или культов, особенно по отношению к демонстрируемой сакре. Большое значение придается сохранению в тайне природы сакры, напеваемых формул и даваемых инструкций (Turner 1989:102-103).

Тернер упоминает исследование Джейн Харрисон (J. Harrison), которая выделила три главных компонента передачи сакры в древнегреческих мистериях. Эта классификация верна для обрядов инициации по всему миру. Сакра может передаваться 1) показом, «то, что показывается»; 2) действием, «то, что делается»; 3) наставлением, «то, что говорится» (Harrison 1903, цит. по: Turner 1989:105-106). Неофиты уводятся с их статусных позиций и, следовательно, от их ценностей, норм, чувств и техник. Они также лишаются своих прежних методов мышления, чувствования и действования. Во время лиминарного периода неофитов заставляют и поощряют думать об их обществе, космосе и тех силах, которые генерируют и поддерживают

их. Лиминарность частично может рассматриваться как стадия рефлексии. Передача сакры и других форм эзотерического знания включает три процесса, которые следует рассматривать параллельно. Первое — это сведение культуры к признаваемым компонентам или факторам; второе — перекомбинация в фантастические или монстрообразные образцы и формы; и третье - их перекомбинация и перестроение, чтобы сделать их осмысленными для нового положения или статуса, в который входит неофит (Turner 1989: 105-106). «Лиминарность — область примитивных гипотез, где существует определенная свобода искажения факторов существующей реальности». Производится беспорядочное смешение и столкновение категорий события, опыта и знания в целях педагогического воздействия. Эта свобода имеет довольно узкие пределы. Неофиты возвращаются в общество с более внимательным и настороженным отношением и расширенным знанием о том, как работают вещи, но они снова должныподчиняться обычаям и законам. Им было показано, что альтернативные пути мышления и действования, отличные от тех, которые установили божества или предки, могут привести к разрушительным последствиям (Turner 1989:106).

При инициации закладываются аксиомы космологии сообщества. Тернер пишет и об алогичных иррациональных элементах сакры. Центральным кластером алогической сакры является символический образец всей системы верований и ценностей данной культуры, в архетипичной парадигме и первичности. Он использует метафору печати в связи с онтологическим характером, приписываемым многим инициациям к сокровенному потаенному знанию. Термин «архетип» обозначает по-гречески печать или оттиск, и эта сакра, представленная в непостижимой простоте, «впечатывает» в неофита основополагающие представления о культуре сообщества. Неофитам говорят также, что они от сказанного и увиденного наполняются мистической силой. В соответствии с целью инициации, эта сила дает им способность успешно решать задачи их нового статуса, в этом мире и последующем. Таким образом, передача сакры учит неофитов, как думать о своем культурном окружении с некоторой долей абстрактности, и предоставляет им конечные точки референции. В то же время считается, что она изменяет их природу, трансформирует их из одного вида человека в другой. Она окончательно объединяет человека и институцию (Turner 1989:108).

Можно сказать, что и аспирант приобщается к священным для данного научного сообщества источникам и предметам. Посвящаемый аспирант приобщается к «священной» научной литературе и истории исследований в области своей специализации. Научные дарования, авторитеты - герои науки - цитируются им в публикациях. Знание жития ученых - «святых», научного «иконостаса» требуется продемонстрировать на экзамене, в научных статьях, выступлениях на конференциях, в диссертации и автореферате. Молчание, отсутствие увеселений, сидение в библиотеке, долгие часы размышлений — все это сопровождает передачу научной сакры. В какой степени происходит трансформация из ученика в ученые, зависит как от самого неофита аспиранта и его инструктора — научного руководителя, так и от «племени» - научного сообщества.

Граница между миром неученых и ученых — и воображаемая, и реальная. Историк П. Милюков так рассказывает о магистерских испытаниях, в частности, о своей пробной лекции, дающей право читать лекции на положении приват-доцента: «Впечатление публики было благоприятное: dignus est intrare*** <…> И я счастливо перешагнул границу от ученика к ученому. Этим было закреплено и мое социальное положение в московском обществе, где, в противоположность военному и чиновному Петербургу, университетский круг по традиции стоял на первом плане» (Милюков 2001:120).

«Нейтральной полосой», «пограничным столбом» служит аспирантура. Каждый, кто пишет диссертацию, в течение двух и более лет оказывается в промежуточном пространстве, одновременно и воображаемом и реальном, между двумя мирами. Происходит «круг вращения», «полный оборот» человека, вначале существующего в среде неученых, а потом переходящего в мир ученых. Человек оказывается «обернувшимся вокруг себя»: он смотрит на сакральное, будучи в состоянии профанном, а потом наоборот. «Такие изменения не проходят без нарушения общественной и личной жизни; и именно на то, чтобы смягчить вредные последствия таких изменений, направлены многие обряды перехода» (Геннеп 2002: 17). Происходит как бы умирание для мира профанного и воскрешение в мире сакральном, который впоследствии становится для ученого обычным.

Защита диссертации

Ученые могут воспринимать новичка как чужого. Диссертационный диспут снимает с непосвященного «табу индивидуальной от-

чужденности» (Геннеп 2002: 31). «Чужеземец»-неученый не может сразу попасть на территорию «племени» ученых. Он должен заранее и издалека объявить о своем желании получить ученую степень и выдержать испытательные экзамены. Хотя процедура защиты диссертаций в разных странах разная, но механизм действия обряда перехода и включения всегда такой же, как и этапы сближения между чужеземцами и туземцами: остановка, ожидание, переход, вход, включение. Ритуал защиты диссертации допускает различные интерпретации. Ван Геннеп пишет о том, что различные обряды наслаиваются на обряды перехода и комбинируются с ними столь тесно, что невозможно дать однозначную интерпретацию того или иного обряда (Геннеп 2002: 16). Некоторыми чертами защита диссертации напоминает обряд инициации в греческой Элевсине. Происходит смотр кандидатов. Жрецы (члены Ученого Совета), путем наложения запрета (табу) отстраняют тех, чьи руки нечисты и речь невнятна (такой отбор встречается и в Африке во время посвящения в тайные общества, он вменяется в обязанность жрецу-колдуну) (Геннеп 2002: 85-86). Время образует знаки особого свойства, фиксирующие различные отношения темпоральности и следования друг за другом.

Защита диссертации — своего рода мистерия, под которой Геннеп понимает «совокупность церемоний, которые, проводя неофита из профанного мира в сакральный, оформляют его прямую и окончательную связь с последним» (Геннеп 2002: 85). Ученый Совет и ВАК представляют собой институты, ответственные за знание обрядов, руководство церемониями, охрану святынь и тому подобное, т. е. выполняют функции, которые в древние времена было закреплены за определенными семьями. Последовательность обрядов, порядок рассаживания за столом, очередность выступлений — все это должно быть соблюдено как в основных чертах, так и порой в мельчайших деталях. Положение ВАК о диссертационном совете (Положение 2002) играет роль ритуального руководства по проведению обрядов. Несомненно, что «порядок сам по себе является существенно значимым магически-религиозным элементом» (Геннеп 2002:85).

Последовательность церемонии такова. 1) Собираются все посвящаемые вместе с «сакральными» предметами (экземплярами диссертации и автореферата). 2) Собираются члены Ученого Совета (совета «племени»). 3) Начинается совет «племени». Глава совета «племени» (председатель Ученого Совета, либо его заместитель, либо и. о.) объявляет ФИО новообращаемого, тему его диссертации — ра-

боты, на основании которой будут судить о готовности неофита к приобщению к миру ученых, 4) Ученый секретарь рассказывает о жизненном пути индивида. 5) Обращаемый получает слово и рассказывает о том, какой сакральный научный труд он подготовил. 6) Обращаемому задают вопросы, позволяющие убедиться в том, что соискатель готов (не готов) вступить в племя. Порой задаваемые вопросы играют роль бичевания, принятого во время обрядов инициации. Геннеп отмечает, что во всей церемонии бичевание имеет смысл обряда отделения, а затем и обряда включения (Геннеп 2002:76). Члены выше, чем у новичка. Вопросы порой превращаются в наставления от членов совета «племени». Нередко вопросы несут в себе явную или завуалированную форму поддержки. 7) Научный руководитель — инструктор, наблюдавший и сопровождавший прохождение обращаемого через промежуточную, подгото-вительную стадию, рассказывает о том, почему он считает соискателя гото-вым к вступлению в «племя». Научный руководитель вводит обращаемого в мир ученых. 8) Два оппонента выступают с рассуждениями о готовности (не-готовности, что чрезвычайно редко) соискателя к вступлению в новое племя. 9) Обращаемый отвечает на замечания оппонентов. 10) Идет дискуссия, где члены «племени» и все пришедшие на заседание Совета могут высказать свое мнение о соискателе. 11) Соискатель выступает с заключительным словом, в которое нередко вплетаются благодарственные гимны всем тем, кто помог пройти соискателю через промежуточный этап, этап подготовки к обращению. Использование особого благодарственного возвышенного стиля — часть церемонии. 12) «Племя» избирает трех человек в счетную комиссию. 13) Проходит тайное голосование и осуществляется подсчет голосов. 14) Всех участников обряда перехода приглашают обратно в зал, где торжественно объявляют о результатах голосования совета «племени». Звучат возгласы, аплодисменты, за ними следуют пожатие рук, объятия. Порой соискатели и члены группы поддержки плачут от радости или пережитого нервного потрясения. Новообращенный приглашает всех к совместной трапезе. 15) Довольные участники идут в отдельную комнату или специальный зал для банкетов, где уже накрыт стол. Происходит совместная консолидирующая трапеза (post-perfomance supper) и нередко распитие горячительных напитков, совместный перекур.

Совместная трапеза (банкет)

Банкет (совместная трапеза) — обряд включения, материального единения, «таинство причастия». Единение порой может быть окончательным. Но иногда оно действует лишь в период переваривания предложенного угощения. Так, эскимосы считали чужеземца, капитана Лайона, своим гостем лишь в течение 24 часов (The Private Journal of Capi G.-F.Lyon 1824:350, *цит. по*: Turner 1988). Иногда обряд угощения заменяется или дополняется обрядом подношения даров. Это этап, который, по В. Тернеру, можно было бы назвать ритуалом «охлаждения» (cooling down) (Turner 1988: 9). В. Радаев отмечает, что «тяжелые времена, вызванные горбачевским антиалкогольным указом 1985 г., давно миновали. И организация банкета (скромного или пышного, в зависимости от возможностей диссертанта), как и в славные советские времена, всеми ожидается. И ничего зазорного здесь нет. Никто не расценивает приглашение на банкет как примитивный подкуп — это лишь часть ритуала по защите диссертации и светлый праздник завершения его публичной части» (Радаев 2001: 98).

Спиртные напитки нередко играют составную часть обряда включения (банкета). Потребление спиртных напитков может быть как действием профанным, так и сакральным, в зависимости от контекста ситуации, и люди могут даже не подозревать о том смысле, который несет та или иная ситуация. Совместное распитие напитков символизирует начинающуюся или длительную социальную солидарность или, по крайней мере, дружественный настрой (Washbume 1961: 270). Алкоголь является средством, как понижающим напряженность, так и увеличивающим ее (Horton 1943; 199-320). Акт выпивания может служить символическим маркером, отличающим один социальных контекст от другого (Honigmann 1963: 157-169), например, отделяя рабочее время от свободного. Д. Мандельбаум полагает, что «алкоголь — это культурный арте-факт; формы и смыслы потребления алкоголя, так же, как и любого другого артефакта, обусловлены культурой. Форма обычно совершенно явно оговаривается, включая виды напитков, объем и скорость приема, время и место выпивания, сопровождающий ритуал, пол и возраст пьющего, роли вовлеченных в выпивание и ролевое поведение, соответствующее выпиванию» (Mandelbaum 1965:281). У ацтеков, во время важных религиозных церемоний нужно было как следует напиться, иначе боги будут недовольны (Thompson 1940: 68). По мнению В. Эрлих, культурные традиции определяют способы и формы потребления алкого-

ля, только если в сообществе достигнуто некоторое равновесие, если сообщество не находится в некотором кризисе, иначе культурные традиции быстро сметаются и происходят резкие изменения по отношению к потреблению алкоголя (Mandelbaum 1965:288).

Защита диссертации как обряд институционализации

Пьер Бурдье в статье «Обряды институционализации» («Rites of Institution») предложил альтернативный подход к обрядам перехода. Французский социолог отмечает, что для развития теории обряда перехода ван Геннепа необходимо поставить вопрос о социальном значении границ или пределов, которые ритуал позволяет пройти законным путем. Ему кажется, что само название «обряд перехода» подчеркивает перемещение во времени, вместо того чтобы делать акцент на одном из самых существенных аспектов этого обряда — отделении тех, кто прошел через обряд, не от тех, кто еще не прошел, а от тех, кто не сможет пройти его в любом случае. Таким образом устанавливается устойчивое различие между теми, к кому обряд имеет отношение, и теми, к кому не имеет. Именно поэтому Бурдье предпочел называть обряды перехода обрядами посвящения или обрядами легитимации или же — обрядами институционализации (rites of institution) (Bourdieu 1991: 117).

Лоик Вакант в своем предисловии к английском переводу книги П. Бурдье резюмирует, что «…предметом обсуждения Бурдье является действие социальной алхимии, посредством которой социальная иерархия маскируется, - для тех, кого она поощряет, не в меньшей степени, чем от тех, кого она исключает, — под шкалу человеческого превосходства, так что исторически произвольно возникший социальный порядок, укорененный в материальности экономической и политической власти, преобразуется в то, что отражает каждое заметное проявление аристократии ума. Под этим утлом зрения, присуждение элитной степени — скорее не "обряд перехода" по ван Геннепу, а обряд институционализации, т. к. оно скорее демаркирует не "до" и "после", а различает—и продвигает вверх — тех, кто достоин занимать видные социальные позиции, от тех, кто будет этим людям подчиняться. Это вызывает почтение и освящает этих людей, в самом сильном смысле этого слова, т. е. делает их святыми «любой человек, который посещал церемонию вручения дипломов в британском или американском университете, не мог не поразиться ее архаичному ре-

лигиозному настрою, который так восхитил Робертсона Смита» (Waequant 1995).

Бурдье попытался выявить инвариантные свойства таких социальных ритуалов, как обряды институционализации. Он отмечает, что обряды институционализации освящают или легитимируют границы, ранее считавшиеся произвольными. Обряды перехода привлекают внимание наблюдателя к процессу перехода, вместо того, чтобы подчеркивать значимость самой линии, самого порога, границы, через которую проходит инициируемый. Что же на самом деле отделяет эта линия? — спрашивает Бурдье. Обряд освящает, институционализирует разницу, не между, например, мальчиками, подвергнутыми и не подвергнутыми обрезанию, а между мужчинами и женщинами, между маскулинным и феминным мирами (Bourdieu 1991; 118).

Следуя логике Бурдье, в рассматриваемом нами случае аспирантуры и диссертационного диспута обряд институционализации отделяет не мир учеников и ученых, а мир не ученых и ученых. Обряд освящает, легитимирует границу между двумя этими мирами. Тем не менее, если в обряде, разделяющем мир мужчин и женщин, эта граница задается самой природой (хотя в настоящее время операции по перемене пола не такое уж редкое явление), то граница между миром ученых и не ученых не кажется такой жесткой и непреодолимой. В любом возрасте человек, ранее не принадлежавший к миру ученых, может задаться целью и подготовить диссертацию для получения ученой степени.

Бурдье спрашивает: знаем ли мы на самом деле, что означает освятить разницу? Институционализировать, в данном случае, освятить, означает санкционировать определенное состояние вещей, установленный порядок, точно таким же путем, каким это делает конституция в юридическом и политическом смысле этого слова. Обряд делает разницу известной и признаваемой. Она начинает существовать как социальное разделение, известное и признаваемое как задействованными, так и не задействованными лицами (Bourdieu 1991:119).

Процесс присуждения ученой степени, используя логику Бурде, имеет символическую эффективность, которая совершенно реальна, поскольку она реально изменяет человека, проходящего освящение: во-первых, потому что она изменяет представления других, которые они ранее имели о нем, и, что самое главное, их поведение по отношению к нему (наиболее видимые изменения состоят в том, что ему

присваивают уважительные титулы и действительно связанное с ними уважение); во-вторых, потому что обряд одновременно изменяет представление, которое инициируемый имел о себе и поведение, которого он должен придерживаться, чтобы соответствовать этому представлению (Bourdieu 1991: 119). Бурдье отмечает, что акт институционализации является актом социальной магии, который может создать различие как из ничего, так и (что чаще встречается) путем использования ранее существовавшей разницы между полами, разницы в возрасте и пр. Продолжая свою мысль, он говорит о том, что в случае социальных классов различные принципы дифференциации производят различные разделения, которые не всегда полностью конгруэнтны друг другу. Однако социальная магия всегда умудряется разрывать существующую социальную непрерывность (Bourdieu 1991:120). Таким образом, какой бы зыбкой и иллюзорной ни казалось грань между тем, кто получил ученую степень, и тем, кто ее не получил, она все же существует и институционализирована.

Институционализировать, присвоить звание, степень, титул значит навязать право быть тем, кем необходимо быть или не быть. Это означает обозначить, объяснить кому-то, кто он такой и как вследствие этого он должен себя вести. Институционализировать, дать социальное определение, идентичность также означает задать границы. «Положение обязывает» (noblesse oblige) — означает действовать в соответствии со своей сущностью, что в случае дворянина означает действовать в соответствии со своим рангом и отказаться от поступков, могущих подорвать его (Bourdieu 1991: 120-121). В случае уполномоченного говорить от лица коллектива — это его привилегия, обязанность, его истинная функция, словом, его компетенция (в юридическом смысле этого слова). Социальная сущность — это набор социальных атрибутов и атрибуций, идущих от акта институционализации как торжественного акта категоризации, который производит то, что он обозначает (Bourdieu 1991: 121).

Акт институционализации является, таким образом, актом коммуникации, но особого рода: он обозначает кому-то его идентичность, одновременно выражая для него эту идентичность и налагая ее на виду у всех, тем самым авторитарно сообщая ему, кто он есть и кем должен быть. Человеку, которому объявляют о присуждении ученой степени кандидата наук, говорится, что он теперь ученый и должен вести себя, как этого требует социальное понимание термина «ученый». Акт присваивания имени (act of naming) — особое соци-

альное суждение атрибуции, которое предписывает инициируемому то, что предписано данным социальным определением. Наиболее реальный эффект ритуала институционализации в том, что человек чувствует себя обязанным соответствовать этому определению, быть на высоте своей функции. Человек, получивший ученую степень, признается и рассматривается так всем обществом, начиная с его собственной семьи, и этот взгляд на него может поощрить его соответствовать своей новой сущности, жить согласно с его новой социальной природой (Bourdieu 1991:121).

«Стань тем, кто ты есть», — вот принцип, который лежит в основе перформативной магии всех актов институционализации. Присваивание научной степени, говоря языком Бурдье, фатально — оно помещает человека внутрь рамок, которые ему предписаны и которые он должен признавать. Функция всех магических границ (между мужчинами и женщинами или миром ученых и не ученых) состоит в том, чтобы помешать тем, кто находится внутри, по эту сторону границы пересечь ее, умалить свое положение или деклассироваться. Бурдье приводит слова Парето о том, что элиты ослабевают (waste away), когда они перестают верить в себя, когда они теряют свой боевой дух и нравственные принципы, и начинают пересекать границу не в том направлении. Это также является одной из функций акта институционализации — навсегда воспрепятствовать любой попытке пересечь линию, нарушить границу, дезертировать или уйти (Bourdieu 1991:122).

Бурдье пишет, что универсальная стратегия для эффективной борьбы с искушением вести себя неподобающим образом состоит в натурализации различия, в его превращении во вторую природу посредством внедрения в сознание и инкорпорирования в форме габитуса. Эту роль должна играть предварительная подготовка и сам обряд инициации. Как показали психологические эксперименты, приверженность людей к тому или иному социальному институту прямо пропорциональна строгости и болезненности обрядов инициации (в нашем случае — экзаменов и защиты диссертации). Работа по внедрению, посредством которой достигается установление произвольной границы между ученым и не ученым миром, стремится к натурализации решающих разрывов в форме чувства границ, когда одни понимают необходимость поддерживать свой ранг и соблюдать дистанцию, а другие — знать свое место и быть удовлетворенными своей судьбой, быть теми, кем они должны быть, лишаясь, таким образом,

самого чувства лишенности. Это же может привести к появлению длительных предпочтений, подобно классовым вкусам, которые, будучи принципом «выбора» внешних знаков, выражающих социальное положение, — одежда, но также телесный аксис или язык, делая всех агентов носителями отличительных знаков (в нашем случае, очков, бороды, степенного вида, книг, использования научной терминологии, непонятной непосвященным, стиля жизни, режима дня), из которых знаки отличия — лишь подкласс, способный объединять и разделять людей не хуже, чем явные барьеры и запреты — например, приводя к классовой эндогамии. Инкорпорированные знаки отличия служат обозначением социальной позиции, напоминанием тем, кто забыл о том, какое положение предписано им научной институцией (Bourdieu 1991; 123-124).

Акты социальной магии, такие, например, как присуждение ученых степеней и званий, могут быть успешными, только если институционализация гарантируется всей группой или признанной институцией. Даже когда акт совершается отдельным уполномоченным лицом, который действует по утвержденной форме (в утвержденные сроки, в определенном месте, с набором процедур, который считается правильным, т. е. социально валидным и потому ритуально эффективным ритуалом), он, главным образом, покоится на вере всей группы (которая может присутствовать физически), т. е. на социально обусловленных диспозициях знания и признании институциональных условий валидного ритуала. Бурдье замечает, что это означает то, что символическое воздействие ритуала будет варьироваться — одновременно или последовательно — в соответствии со степенью, в которой люди, для которых совершается ритуал, лучше или хуже подготовлены, или более или менее предрасположены получить его (Bourdieu 1991:125).

В отличие от самозванца, который не является тем, кем кажется, который узурпирует имя, титул, права и почести другого человека, в отличие от «исполняющего обязанности», замещающего или помощника, играющего роль руководителя, не имея соответствующей квалификации, легитимный представитель является объектом гарантированной, сертифицированной в качестве правильной, веры. Он является тем, кем он кажется. Его реальность — как носителя ученой степени — основывается не на его личных убеждениях или притязаниях, всегда могущих вызвать усмешку и недоумение, а на коллективных убеждениях, гарантированных институцией и получивших конкрет-

ное воплощение в виде «корочки из ВАК», свидетельства. Знаки уважения, упоминание, что N является к.с.н. или д.филос.н. — являются многократными повторениями инаугурационного акта институционализации, совершенного всеми признанной властью и потому основанной на общем консенсусе. Они рассматриваются как доказательство признания не просто по отношению к данному человеку, но более того — по отношению к тому институту, который институционализировал его (вот почему уважение к формам и формы уважения, которые определяют вежливость, столь политизированы). Вера каждого, предшествующая ритуалу, является условием эффективности ритуала (Bourdieu 1991:126).

Бурдье завершает свою статью вопросом «обладали бы обряды институционализации такой силой, … если бы они не были способны придавать, по крайней мере, видимость смысла, цель тем существам без цели, которыми являются человеческие существа, придавать им чувство обладания ролью, значимость, выводя их тем самым из состояния ничтожности?» Подлинный смысл чуда, производимого обрядом институционализации, без сомнения, состоит в том факте, что он заставляет посвящаемых верить, что их существование оправдано, что оно имеет цель. Однако различительная природа символической власти делает так, что придание какому-то классу людей статуса Бытия означает неизбежное соскальзывание дополнительного класса людей в Небытие или меньшее Бытие» (Bourdieu 1991: 126).

Мы можем заметить, что, к счастью, небытие в науке не является несчастьем или трагедией для большинства людей. Небытие как ученого и Бытие как не ученого в нашем обществе подчас считается делом более прагматичным, рациональным и прибыльным. Многие политики, общественные деятели считают возможным «нырнуть» в ученое Бытие, получить научную степень и «вынырнуть» в свое Бытие, позаимствовав сакральные знаки уважения научного сообщества. Однако, как справедливо отмечает Бурдье, чудо символического ритуала исчезает, если кто-то видит, что магия слов просто освобождает предварительно заведенные пружины-диспозиции (Bourdieu 1991:12

Заключение

На наш взгляд, метафоры «обряда перехода» и «обряда институционализации» дают возможность рассмотреть проблему качества научной аттестации в России под новым углом зрения. Тернер, в частности, полагал, что лиминарная стадия обряда перехода является

точкой на плоскости времени и пространства, где проявляются глубинные ценности любого сообщества (Turner 1988: 102).

Как отмечает Зиман, научное сообщество, являющееся «добровольной ассоциацией индивидуальностей, посвятивших себя трансцендентной цели — продвижению знания», может опираться только лишь на усилия каждого соблюдать заявленные нормы научного этоса (Ziman 1968:96). При прохождении обряда перехода или институционализации неподготовленными и не проникнувшимися его истинным сакральным смыслом чужаками происходит загрязнение сообщества ученых, влекущее десакрализацию существующих границ. Поэтому, чтобы сохранить свои ценности и избежать дальнейшей профанизации ритуалов, научное сообщество должно предпринять действенные меры по самосохранению и защите от чужаков.

Примечания

* Републикация статьи «Институциализация в сообществе ученых: защита кандидатской диссертации как обряд перехода» // Журнал социологии и социальной антропологии. 2005. Том VIII. № 1:98-113.

** От *лат.* limen – «вход, дверь, граница, межа, порог, рубеж».

*** «Достоин войти» (*лат.*)

Библиография

Геннеп А., ван. Обряд перехода: Систематическое изучение обрядов / Пер. с франц. Ю.В. Ивановой, JI.В. Покровской. М.: «Восточная литература» РАН, 2002.

Лич Э. Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов. К использованию структурного анализа в социальной антропологии / Пер. с англ. М.: «Восточная литература» РАН, 2001.

Милюков П. Воспоминания. М.: Вагриус, 2001.

Положение о диссертационном совете. Утверждено приказом Минобразования России от 9.04.2002 г. № 1305 // Бюллетень ВАК. 2002. № 3. Май.

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых правил. М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001.

Bourdieu P. Rites of Institution // Bourdieu P. Language and Symbolic Power. / Ed. and Intr. John B. Thompson. Transl. by G. Raymond and M. Adamson. Cambr., UK: Polity Press, 1991. PP. 117–126.

Constantinides H. The Duality of Scientific Ethos: Deep and Surface Structures // The Quarterly Journal of Speech. Annandale. 2001. Vol. 87. Issue 1. PP. 61–72.

Harrison J. Prolegomena to the Study of Greek Religion. L.: Cambr. Univ. Press, 1903.

Honigmann J.J. Dynamics of Drinking in an Austrian Village // Ethnology. 1963. Vol 2. PP. 157–169.
Horton D. The Functions of Alcohol in Primitive Societies: A Cross-cultural Study // Quaterly Journal of Studies on Alcohol. 1943. Vol. 4. PP. 199–320.
Ling Roth H. The Natives of Sarawak and British North Borneo. T. 1. L., 1896.
Mahoney M.J. Scientist as Subject: The Psychological Imperative. Cambridge: Ballinger Publishing Company, 1976.
Mandelbaum D.G. Alcohol and Culture //Current Anthropology. 1965. VoL 6. No. 3. PP. 281–293.
McNee R. A Proposal for New Geography Course for Liberal Education: Introduction to Geographic Behavior // New Approaches to Introductory College Geography Courses. Publication n. 4. Commission on College Geography. Washington, D.C.: Association of American Geographers, 1967. PP. 4–5.
Some Rites of Passage // Social Education. Arlington. 1993. Vol. 57. Issue 6.
The Private Journal of Capt. G.-F.Lyon. L., 1824.
Thompson J.E.S. Mexico before Cortez, N. Y.: Scribner, 1940.
Turner V. The Anthropology of Performance. N.Y.: PAJ Publications, 1988.
Turner V. The Forest of Symbols. Aspects of Ndembu Ritual Ithaca and London: Cornell University Press, 1989.
Wacquant L. Reading Bourdieu's «Capital». Foreword to the English-language translation of Pierre Bourdieu, La noblesse d'État. Grandes écoles et esprit de corps (Paris, Editions de Minuit, 1989); The State Nobility (Cambridge, Polity Press, 1997). University of California-Berkeley, Centre de sociologie européenne du Collège de France, Department of Sociology, February 1995. (http://www.homme-moderne.org/societe/socio/wacquant/capital.html).
Washbume C. Primitive Drinking. N. Y. and New Haven: College and Univ. Press, 1961.
Werner A. The Natives of British Central Africa. L., 1906. PP. 102–103.
Ziman J.M. Public Knowledge. An Essay Concerning the Social Dimension of Science. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1968.

Константин Банников

Вход как выход: социально – антропологические рефлексии на тему [в]хождения в науку

Апология жанра

Антропология академической жизни оказалась для меня сложным жанром в силу неизбежной апелляции к личному, весьма поверхностному, опыту отношений с РАН, и, как следствие, крайней субъективности повествования, недостаточной обоснованности обобщений и риска вызвать негативные эмоции коллег, которых так легко случайно обидеть. Рефлексируя по этому поводу и исследуя поле собственных воспоминаний и эмоций на фоне меняющегося мира, можно более остро представить условность этнографического «поля», метод которого состоит из фиксации сонма личных воспоминаний и переживаний. Более импрессионистским жанром чем антропология, выглядела бы этология академической жизни. Впрочем, почему бы даже не алхимия? В задаче сделать самого себя объектом собственного исследования возникает образ алхимического Уробороса, змеи, кусающей собственный хвост… А если говорить серьезно, то этнография – это наука, в которой не может быть мусора. Как известно, мусорные кучи – ценный объект этноархеологических исследований. Поэтому, даже не зная, с чего начать, начну с самого начала.

Хроники полевой социализации

В августе 1994 года археологический отряд академика РАН В.И. Молодина завершал полевой сезон на плато Укок и готовился к отбытию в Академгородок, на «зимние квартиры» (Молодин, 2000). В один из дней к ним прискакал всадник и предложил купить мясо коня, который сломал ногу при переправе через реку по затопленному из-за жары, растопившей ледники, мосту. Везти целую тушу в село Джазатор (около 80 км, через перевалы Кыскыртау (2254 м) и Бугумуюз (2848 м)) не было никакой возможности, и, находясь в безвыходном положении, они, естественно, были рады любой, даже символической сумме. Тем более что в то время работники развалившегося скотоводческого совхоза давно не видели денег. Молодину целый конь был вообще ни к чему, но все-таки он его купил, притом по высокой розничной цене, которую сам и назначил. Финансовое положение академических институтов в те времена было не лучше, чем у

постсоветских скотоводов, но наживаться на чужой беде противно природе сибирских археологов, не понаслышке знающих о том, как много значит мертвый конь для всадников плато Укок. Перед отъездом отряд Молодина этого коня торжественно подарил конкурирующему отряду Н.В. Полосьмак, которому предстояло еще на некоторое время задержаться. Мясо можно было хранить недолго, поэтому все члены отряда, преимущественно студенты исторического факультета Новосибирского государственного педагогического университета, его ели, балансируя на грани белковой интоксикации, но не доели, останки завялили над костром и, возвращаясь, разобрали с собой по домам.

Автор сих строк принимал самое живое участие в посмертной участи джазаторского коня, и когда год спустя он отправился в Москву для поступления в аспирантуру ИЭА РАН, среди его скудных пожиток и немудреного имущества имелся холщевый мешочек с тем самым мясом, завяленным над экспедиционным костром…

Восемнадцать лет спустя, в марте 2012 года я вновь пришел на плато Укок, продолжая собственную, уже этнографическую, экспедицию (Банников, 2007: 90-110), и там мне повстречался… «призрак» того коня. Употреблять понятие «призрак», даже в кавычках, на страницах академического издания не принято, поэтому можно было бы сформулировать определение более наукообразно, например: «символическая проекция образа конкретного коня в области традиционных этико-экологических представлений номадов Центральной Азии первой половины XXI века», однако аспирантура в ИЭА РАН учит быть проще.

Итак, 27 марта 2012 года я собирался перейти через перевал Кыскыртау, чтобы наблюдать, как некто Ертостык со своим стадом, застигнутым врасплох ранним окотом, будет кочевать на весенние пастбища через перевал Бугумуюз. Возле стойбища Кара-Тас я встретил всадника. Это был Алтынбек Кайрымов, тот самый человек, у которого в 1994 году Вячеслав Иванович Молодин приобрел коня. Через пару дней я поселился на стойбище Алтынбека, и среди прочих историй, за которыми мы коротали длинные укокские вечера, он поведал мне и эту. Посмертная участь коня отнюдь не окончилась его «транзитом» из традиционной культуры алтайских казахов в субкультуру новосибирских археологов с его последующим коллективным поеданием, но имела продолжение в сфере экономических и символических отношений семьи Алтынбека.

«Молодина мы все всегда уважали. Потому что и он нас уважал. Хотя и академик, большой как бы человек, да, но с нами, простыми чабанами всегда уважительно разговаривал. Пригласит всегда, чаем напоит, все покажет, расскажет, туда-сюда… Я ему тоже свое мнение выскажу, он всегда к нему, мне казалось, прислушивался…» (Молодин, 2006).

Алтынбек, как и подавляющее большинство местных жителей, с теплом вспоминают «дела минувших дней», когда на Укоке велись археологические раскопки, а что касается продажи коня, то цена, предложенная Вячеславом Ивановичем, повергла его в шок. До сих пор в себя прийти не может: «Мы же тогда, можно сказать, денег вообще не видели, а тут у меня получилось 600 000 рублей! (прим.: по курсу 1994 года это составляло примерно 100 долларов – К.Б.). Таких денег мы сроду не видели! Как у нас принято, я все отнес отцу, рассказал, так, мол, и так. Пришлось зарезать коня, но вот подвернулись такие люди, хорошо купили. Отец меня похвалил, 500000 рублей забрал себе, а мне дал 100000. И вот у меня в кармане столько денег. Иду, а навстречу табунщики, табун пригнали, выпить хотят. И говорят мне: «Бери жеребенка за 80000!» Я и взял, конечно. Вырастил, объездил. Ездил на нем, ездил, а потом собрался жениться. Надо было шапку жене подарить такую, из голубого меха, она еще закручивается как-то так…»

– Норка?

– Да нет, синтетика, наверное. Уж как-то слишком она была дорогая. 950 рублей стоила (прим.: После деноминации 950000 рублей стали 950 рублями. Интересно, что в глазах человека, ведущего почти натуральное хозяйство, синтетических предмет одежды престижа кажется более ценным, чем из натурального меха, т.к. меховая одежда – это что-то обычное и повседневное – К.Б.). Я коня этого продал за 800, не хватает, пришлось еще 150 добавлять. А конь тот, у мужика, который его у меня купил, убежал, да так что не нашли. Конечно, волки съели.

– А где голова коня, которого съели археологи?

– Да вон она, на крыше лежит. Головы нельзя же просто так выбрасывать».

За такими разговорами «под бездонным куполом Азии», под шелест горящего в печке кизяка, казалось, будто и не было всех этих двадцати лет, всех этих московских аспирантур-докторантур, что они и не нужны были вовсе, ведь самое главное, чему можно было

научиться, я научился здесь, на Укоке, в археологических экспедициях ИАЭ СО РАН. Впрочем, если бы это была не аспирантура в ИЭА РАН, да еще под руководством Сергея Александровича Арутюнова, то я, пожалуй, так бы и считал. Однако без Укока и экспедиций Полосьмак в моей жизни не случилось бы ни Москвы, ни аспирантуры с докторантурой у Арутюнова, ни много чего другого важного и интересного. Дело не в формальном образовании, но в том, что для большинства студентов, побывавших в отрядах Полосьмак и Молодина больше одного раза, сначала «поле» стало образом жизни, и лишь затем «наука» стала образом мысли. Из нашего университетского выпуска аспирантуру как дальнейший этап жизненного сценария выбрало большинство студентов. Из выбравших большинство защитилось. Возможно, это был тот самый случай, когда полевое «бытие» определяет сознание, программируя причинно-следственные связи будущего, или, проще говоря, судьбу.

Обменный курс курсовика

Должен заметить, что 1990 годы, которые нынче принято именовать «лихими», для гуманитарного, в частности, исторического образования были счастьем. Старые идеологические догмы уходили, новые только формировались, поэтому в начале 1990-х мы все учились так же «маниакально», как таскали камни на скифских курганах Укока. Над страной носились «вихри перемен», еще не маячила на горизонте затхлая гэбэшная «стабильность», еще не отбрасывала жирную нефтяную тень на все живое «вертикаль власти», еще парламент был местом для дискуссий. Но и тогда политика нам всем казалось чем-то глупым и унылым. Кто все эти люди – Ельцин, Зюганов, Жириновский, Березовский?.. Мы слушали лекции Брюса Линкольна, копали курган с Карлом Ламберг-Карловским, снимали кино с командой National Geographic!.. А какие разговоры мы вели в процессе раскопок, таская камни по восемь часов ежедневно! Остававшиеся в лагере дежурные по кухне чувствовали себя несчастными и выпавшими из жизни от того, что в тот день дежурили на кухне, а не носили вместе со всеми камни… Мы общались в экспедициях с учеными открытого мира, а в своих городах скупали на последние деньги вдруг хлынувшие на прилавки книги, о существовании которых не подозревали, и жили в ГПНТБ. Нам вдруг открылся целый космос, и мы хотели забраться в него как можно дальше. Поэтому я решил учить японский. Куда уж дальше…

В конце второго курса истфака НГПУ я написал… курсовик. С кем не бывает. Он показался мне настолько гениальным, что я решил – из всех живущих под луной его достоин читать только С.А. Арутюнов и никто другой. К тому моменту я, кажется, прочитал все его труды, которые имелись в новосибирской ГПНТБ, и питал к их автору, наверное, те же чувства, которые испытывали фанаты Элвиса Пресли при слове «Элвис». Получил стипендию, сел в плацкарт, приехал в Москву, и вот, «здрас-с-сьте, Сергей Александрович, я – Костя Банников, привез Вам почитать то, о существовании чего Вы и не подозревали – мой блистательный курсовик…»

На самом деле, для такой сверхнаглости нужно, как минимум, два обстоятельства: 1) чтобы тебе было лет двадцать; 2) чтобы общество вокруг тебя пребывала бы в состоянии не стагнации, или как сейчас говорят, «стабильности», но в состоянии развития, обновления, поиска – свободы. Студенты это состояние чувствуют особенно остро и страдают космическими амбициями, им кажется, весь мир вращается вокруг их курсовиков, оттого и норовят отнести их в центр мира (Банников,1997: 86-94).

Кто другой, кстати заметить, меня на порог бы не пустил, как это, увы, приходилось наблюдать впоследствии в обращении некоторых бывших сокурсников с их нынешними студентами. В унижении студента порой чувствуется месть преподавателя за свои нереализованные амбиции в мировой науке. Арутюнов же, выразивший свою, пожалуй, единственную нереализованную амбицию в стихах: «Известный миру я ученый, но ей же богу, как на грех, хотел бы стать простой вороной, летать, орать, и класть на всех», другими комплексами, как известно, не страдает. Он пригласил меня в свой кабинет, прокатив на самом высоком в моей тогдашней жизни лифте здания Президиума РАН, полистал курсовик, и сказал: «Нормально». С тех пор он всегда говорил «нормально», что бы я у него не написал – заметку или книжку, кандидатскую или докторскую.

Лишь один раз, помню, когда Сергей Александрович редактировал мою статью для Арктической энциклопедии школьника, посоветовал мне проще выражаться потому, что (внимание!) если школьник не поймет какую-то «заумь», то он решит, что его не уважают… Это – школа.

Другим классом этой школы было участие в экспедициях Нины Месштыб на Дальний Восток и Крайний Север. Нина – мой друг. То же самое могла бы сказать изрядная часть населения Хабаровского

края, Камчатки, Командорских островов и несколько оленеводческих бригад Ямала и Гыдана. После тех экспедиций я с трудом употребляю роботизированный термин «информанты». Они все становились нашими друзьями – кто на время экспедиции, а кто и на долгие годы. В общем, я, никогда пороком человеконенавистничества не страдавший, увидел, как на самом деле можно любить живых людей, только в этнографических экспедициях Месштыб, поскольку в более ранних археологических экспедициях у Полосьмак мы все любили преимущественно мертвецов. В связи с этим небольшая, но важная лично для меня деталь. Накануне переноса мумифицированного тела скифской женщины из кургана «Ак-Алаха-3», (той самой, которой предстояло предстать «праматерью человечества» «принцессой Кадын» в истериках желтых СМИ), Наталья Викторовна Полосьмак нарвала полевых цветов и украсила ими камералку, приготовив ее для встречи… не бога и не «праматери человечества», а человека. Пусть даже мумифицированного.

В общем, о вхождении в науку мне что-либо нового и сказать нечего. Что обеспечивает это вхождение? Пример коллег, учителей, друзей – людей. Бережное отношение к человеку, даже если он археологический объект, уважение к читателям, даже если они школьники, умение увидеть во второкурснике коллегу, даже если ты - член-корреспондент, а в чабане – интересного собеседника, даже если ты - академик.

Вот так и выглядят в обычной жизни те самые синхронно-диахронные информационные связи, обеспечивающие непрерывность культуры, ее, с позволения сказать, семиотический объем (Арутюнов, 2012: 212). Но информационных связей «век недолог», если они не закреплены связующим раствором таких мало изученных в антропологии, но важных настолько, что в состоянии категоризировать (фундаментировать!) т.е. обеспечивать постоянством цивилизационные сущности, феноменов моральных эмоций, как доброжелательность, радушие, сочувствие, совесть, любовь… Если усомниться в их основополагающем цивилизационном потенциале, то можно в качестве умственного эксперимента представить себе, допустим, японца, лишенного страха «потерять лицо». Или христианство, лишенное доброжелательности, радушия, сочувствия, совести, любви. В истории христианства это случалось и продолжает случаться время от времени, и тогда мы видим, как сначала церковь с выхолощенной моралью

разлагает общество, а затем общество разрушает церковь. И начинает историю заново.

«Технос» и «антропос»

Я не разделяю пессимизма некоторых антропологов, переживающих как личную трагедию принципиальную невозможность разделения субъекта и объекта в гуманитарных науках, с завистливой тоской поглядывающих в сторону точных наук. Точность – это точка. А реальность состоит из запятых.

Закономерно, что «человеческое, слишком человеческое» явление моральных эмоций обеспечивало развитие иудео-христианской цивилизации, воплотившейся в ее современном состоянии в цивилизацию по сути своей антропоцентричную, сделавшую смыслом своего существования человеческую личность. Правда, ей для этого пришлось пережить две мировые войны и множество более ранних историко-антропологических метаморфоз, каждая из которых была результатом попыток реализации утопических проектов, пытающихся найти альтернативу существующим цивилизационным основам, исходя из стремления «улучшить несовершенную человеческую природу». Каждая из таких ревизий-утопий, как правило, приводила к чудовищным гуманитарным потрясениям, выходом из которых была новая ступень гуманизации в общечеловеческом развитии. Хотя чем выше была эта ступень, тем глубже становилась пропасть последующей катастрофы. Культурная эволюция бывает обратимой.

Необходимые или просто полезные «драйверы» развивающейся личности при ее вхождении в науку все те же, цементирующие фундамент цивилизации – доброжелательность, радушие, сочувствие, совесть, любовь – формирующие атмосферу, особенно отличающую полевые институты. Еще не поступив в аспирантуру ИЭА РАН, я в полной мере ее почувствовал. Отправляясь в Москву сдавать вступительные экзамены, я предполагал, что за аспирантуру или как минимум за общежитие придется платить. Несколько месяцев работы промышленным альпинистом, плюс полгода преподавания в самой престижной спецшколе Новосибирска, плюс сдача комнаты в квартире заезжему англичанину, интересующемуся НЭПом в Сибири, позволили мне собрать довольно много денег… Сумку со всеми деньгами, паспортом, и раритетным учебником японского языка я потерял в подмосковной электричке. Зашел в отдел аспирантуры сообщить, что хочу поступать на заочное отделение и возвращаться, откуда прие-

хал… Казалось бы, заведующей должно быть все равно. Но ей было не все равно. Если бы Ирина Анастасовна Амирьянц не уговорила бы меня продолжать поступать в очную аспирантуру, а потом не уговорила бы дирекцию платить, кроме стипендии, еще и за мое общежитие, плата в котором за месяц одно время равна была цене вышеописанного коня, то, скорее всего, не случилось бы у меня ни кандидатской, ни докторской… А скольким еще аспирантам, докторантам, стажерам была жизненно необходима ее помощь?! Большинство из нас были патологически не в состоянии общаться с бюрократами конторы, распределявшими места в общежитии. Верхние этажи корпусов ДАС-2 в Коньково представляли собой «чайна-таун», самый настоящий – с гирляндами из драконов и портретами Мао Цзе Дуна на дверях. Там обитали китайские торговцы вещевого рынка Коньково, и я, ночами разгружавший карго в Домодедово, возвращался под утро в ДАС и видел холл общежития, заваленный тюками, которые я три часа тому назад сдавал на склады «Ист-Лайна» в Теплом Стане. Естественно, что в такой обстановке начальство ДАСов воспринимало аспирантов как досадное недоразумение, а аспиранты отвечали взаимностью. А Ирина Анастасовна умела общаться со всей этой публикой, и своим мягким голосом очень вежливо по телефону выбивала нам койко-места. Помимо своих основных служебных обязанностей, она выполняла крайне важную функцию – функцию посредника между средой обитания здравого смысла РАН и средой абсурда «рановских» бюрократических подсистем.

Пить или писать? Наука как социальный эскапизм

«Диссертацию пишет. Хорошо, что не пьет», – оправдывалась моя бывшая теща перед родственниками, с которыми я так и не успел познакомиться.

В самом деле, занятия наукой для многих моих однокурсников, да и для меня самого, были в середине 1990-х одновременно и нишей социального эскапизма, и фактором своеобразной надсоциальной идентичности. Есть два порога аутсадности, или лиминальности, по А. ван Геннепу, нижний – это бомж, и верхний – философ типа Диогена (Ван Геннеп, 1999). В плане жизнеобеспечения Диоген – этот тот же бомж, только с «положительным пиаром»; их объединяет общее асистемное состояние, с той лишь разницей, что у бомжа асистемность вынужденная, а у философа это осознанный выбор. Состояние объекта обстоятельств характеризует положение на нижнем пороге

лиминальности («на дне»), субъекта – на верхнем пороге (вовне «суеты сует», а, значит, как у папы римского – над «городом и миром»).

Переходные исторические периоды совершают перезагрузку общества в масштабах перемены конфигурации структурных, базисных институтов. Так институт средней школы оказался «на дне», институт высшего и академического образования – «во вне», и принял на себя социализаторские функции средней школы, особо актуальные на фоне процессов десоциализации/ресоциализации, охвативших систему образования еще с советского периода. Для большинства советских людей факт поступления в абстрактный ВУЗ был престижнее обладания конкретной специальностью. На вопрос о делах ребенка: «Чем занимается?» ответ «учится» был исчерпывающим, особенно в сельской местности. Чему и где конкретно человек учится – то были ненужные подробности. Так же до сих пор можно увидеть в титрах синхрона в телепрограмме «кандидат наук», «доктор наук» и т. д. Каких наук? Продюсерам и аудитории эта информация кажется избыточной. Образование представляется ценностью абсолютной, и разлагать ее на нечто относительное – значит понижать степень ценности.

Социализаторские аспекты образовательных систем отразились в фольклоре. Из 1980-х запомнилось: «Что такое ВУЗ? Это аббревиатура «Выйти Удачно Замуж». – «Что такое ГПТУ? – Господи, Помоги Тупому Устроиться»… Постсоветский период, открывший новые возможности и предъявивший личности новые вызовы, распространил социализаторскую функцию и на аспирантуру.

Адекватность и адаптивность в период национальной гиперинфляции требовали от молодого человека, живущего в русле традиционных жизненных сценариев, работы, заработка, перспектив, стабильности, семьи, тогда как занятия наукой во вдруг открывшейся миру стране требовали все это отложить. Традиционный жизненный сценарий требовал тратить лето на занятия натуральным хозяйством, на вскапывание огородов на дачах старших родственников, и это бы вовсе не мешало науке-как-профессии. Но для молодых людей в середине 1990-х не было науки-как-профессии. Наукой можно было заниматься при условии, если она станет образом жизни.

Наука-как-образ-жизни требовала тратить все время без остатка на нечто более интересное – экспедиции, конференции, путешествия. Деньги зарабатывались случайными заработками, и в этом открылось еще одно преимущество московской аспирантуры: в Москве, по сравнению с регионами, случайно заработать было легче. На зару-

бежные конференции я ездил автостопом (Тромсё) или на велосипеде (Рейкъявик), совмещая приятное с полезным. Это непередаваемое чувство – сесть на тяжело груженый велосипед, оттолкнутся от поребрика ногой, и покатиться из Коньково вниз по Профсоюзной, объезжая ползущие в пробке машины. Все едут кто куда, а я еду в Рейкъявик. Доложить чего-то там на конференции «History of Arctic and Subarctic Regions» (Bannikov, Meschtyb 2000: 251-262).

Лиминальное состояние сознания. Адаптация к промежуткам

Прежде чем первые гранты от зарубежных фондов позволили нам зарабатывать головой, дописать диссертации и элементарно выжить в «этой стране», занимаясь наукой, мы, обитатели всякого рода ДАСов, зарабатывали другими частями тела. Я зарабатывал спиной, разгружая самолеты в Домодедово, мой сосед за стенкой, иногда сдавал кровь на станции переливания, где платили по 70 рублей за раз плюс талон на обед. Потом он устроился работать установщиком палаток для вьетнамских торговцев на рынок в Лужниках. Палатки должны были быть установлены до полпятого утра, когда ворота рынка откроются для полчищ торговцев с тележками товаров, и все они должны были быть убраны до двух часов дня, когда армада тракторов двинется через площадь, сгребая мусор в курганы высотой с трехэтажный дом. Сосед проработал в этом адском режиме на рынке пару лет. Я выдержал неделю. На вид нехитрое это занятие – установка палаток – требовало исключительной сноровки, особенно зимой, когда разогретые в полдень тканевые тенты за ночь смерзались до «пластичности» кровельного железа, а элементы телескопических конструкций каркаса выдавливали из пальцев кровь сквозь матерчатые перчатки. Сосед был родом из провинциального городка Казахстана, из русской семьи, то есть из диаспоры. Семьи русских диаспор, не имея возможности помогать своим уехавшим в Москву и Санкт-Петербург детям деньгами, помогали продуктами натурального хозяйства, проявляя присущую диаспорам консолидированность – один раз в какой-то период времени они в складчину нанимали фуру и отправляли с ней в российские столицы для родственников дары своих садов и огородов. Условия на грани выживания в иных аспирантурах стали для их аспирантов фактором естественного отбора согласно которому, «все что нас не убивает, делает нас сильнее». Этот мой сосед, поработав на вьетнамском вещевом рынке, со временем освоил интеллектуальные рынки Восточной и Юго-Восточной Азии и взялся

писать кандидатские и докторские диссертации для аспирантов из Вьетнама и Китая, которые пёк как пирожки. В том месте, где он проходил аспирантуру, коммерческие защиты были поставлены на поток, но сколь бы ни были коррумпированы диссертационные советы, свою часть работы – изготовление диссертационного исследования – товарищ выполнял безупречно. Нынче он доктор наук, проректор одного из московских вузов, главный редактор одного научного и двух популярных журналов.

Случаи коммерческих защит в ИЭА РАН мне неизвестны. Писать за деньги диссертации здесь просто не для кого, поэтому во время аспирантуры мне пришлось освоить ряд смежных специальностей. Я работал грузчиком, экспедитором, разносчиком рекламы магазина «Ленинский, Дом 6, дубленки» и контролером других разносчиков, гардеробщиком в мафиозном ночном клубе, преподавателем этнографии в частном эзотерическом вузе, где вместо пяти лет студенты должны были обучаться двенадцать (в такт астральным циклам), – все это было очень и очень познавательным с этнографической точки зрения и необременительным с психологической. В отличие, скажем, от моего бригадира в Домодедово, подполковника ВВС, героя Советского Союза, переживавшего свое положение как социальное поражение, моя идентичность никак от очередной «шабашки» не страдала, она всецело принадлежала РАН, и где бы я ни подрабатывал, везде в первую очередь наблюдал людей. Это была экспедиция с включенным наблюдением в этнографию города. «Ты, говорят, в “золотых мозгах” работаешь? Я там тоже в прошлом году работала…», – говорит мне девушка с двумя высшими образованиями, кандидат математики, подрабатывающая проституцией в ночном клубе «Московский», в том самом, где я подрабатывал гардеробщиком. «В институте математики?», – спрашиваю. «Нет, – говорит, – в ресторане на 22-м этаже…». Единственное, о чем жалею, так это о том, что не вел тогда дневники.

Этот опыт выживания в мегаполисе я бы отнес бы к своей аспирантской программе на правах «полевой практики». Дело в том, что опыт внесистемного существования учит использовать профессиональные этнографические навыки для выживания между структурами, и, в конечном счете, – создавать новые эффективные структуры.

Мои вчерашние сокурсники, из тех, кто не пошел в аспирантуру, также работали где придется, – на рынках, складах и т.п., но, не имея оснований ассоциировать себя с такой уважаемой структурой, как

академия наук, переживали свое положение более остро. Однако работа по специальности «учитель истории» им казалась не меньшим социальным поражением, чем работа грузчика бывшему летчику-истребителю. Из нашей группы больше половины поступили в аспирантуры. Но были и такие, кто просто спились, не вынеся груза собственных амбиций, так сказать, escape в один конец. А кто-то чуть было не спился. Тех, кто «чуть было не…» спасла, как это ни дико прозвучит, именно аспирантура. Вот реальный диалог двух бывших однокурсников – «уже» аспиранта и «пока еще не…» – во время вечернего распития спиртных напитков, события, отдаленным последствием которого явилась блестящая кандидатская диссертация по этнографии и трансформация грузчика в доцента вуза: «У меня к тебе вопрос. Я хочу поступать в аспирантуру, только не знаю в какую… Все равно в какую. В гуманитарную, естественно. Что бы ты посоветовал? – Если все равно, тогда зачем поступать? – Понимаешь, у меня растет сын. И когда-нибудь его спросят – кто твой папа. И что он ответит? Мой папа – грузчик на складе пиратских кассет?!..»

Согласование амбиций, статуса и идентичности, как оказалось, имеет терапевтический эффект. Так что, в самом деле, уж лучше писать диссертацию, чем пить. Хотя, соглашусь, сравнивать в качестве факторов социального эскапизма аспирантуру и алкоголизм – метод уж слишком новаторский. И все же, если агрессивные виды спорта может стать конструктивной заменой криминальным увлечениями подростков, а занятия искусством – сублимацией маний и фобий, то почему бы не рассмотреть в подобном качестве и «хождения в науку»? Тем более что «полевого материала» предостаточно.

Транспорт через «пустыню бесстатусности»

Российское общество традиционно отличается высокой чувствительностью к статусам и символам их репрезентации. Эта чувствительность достигла степени гротеска в период социально-исторической перезагрузки середины 1990-х, что немедленно отразилось в фольклоре про «новых русских», сегодня уже почти исчезнувшем. Популярный сюжет – столкновение «шестисотого мерседеса» и «запорожца» с вариациями развития событий. Этот пласт анекдотов произвел свои анекдотно-интеллектуальные рефлексии: «Сталкиваются два “шестисотых”, выходят два “новых русских” и спрашивают друг друга “а где запорожец?”…» Ни «мерседеса», ни «запорожца» у меня никогда не было, я предпочитаю перемещаться на горном вело-

сипеде – транспорте, который с момента появления на российских дорогах проделал определенный путь эволюции в системе восприятия статусных символов людьми, от них зависимыми. Сегодня это – просто транспорт, любители которого просто хотели бы, чтобы город был для него чуть более приспособленным, и, тем не менее, его символический статус сохраняет значение. Так Маша Гессен, бывший главный редактор журнала «Вокруг Света», уволенная за отказ публиковать статью на тему «Путин и журавли», именно на велосипеде эффектно приехала в Кремль в сентябре 2012 на встречу к Путину по его приглашению, символически подчеркивая независимость своей позиции посредством транспортного средства, независимого ни от чего, кроме земного тяготения. В 1996 году первые горные велосипеды, едва появившиеся на улицах Москвы, выглядели примерно так, как в 2012 году выглядит марсоход на поверхности Марса. Свой первый маунтинбайк я купил на первый журналистский гонорар. То был журнал «Эксперт». За пару иллюстраций к статье Николая Плужникова о шаманизме мне заплатили бешеные деньги.

Характерно, что в своей системе координат водители Москвы и Подмосковья пытались найти место статусу человека на горном велосипеде – предмете необычном и недешевом. Сами же байкеры, люди совершенно незнакомые, при встрече на любых улицах демонстрировали символическую солидарность – приветствовали друг друга кивком или жестом руки. Простого обладания предметом оказывалось достаточным для формирования субкультуры, в фокусе ценностей которой была заложена идея свободы от системных предписаний, материализованной в транспортном средстве, не зависящем от топлива, пробок, знаков социальной иерархии, – полная антитеза автомобилю по всем пунктам. Характерно, что то же самое в полной мере ощущали и водители. На дорогах при виде горного велосипеда они чаще выражали восхищение, чем раздражение, иногда сигналили, показывали большой палец, чего-то спрашивали на светофорах.

Пытаясь найти место маунтинбайку в привычной системе иерархии, охранник парковки возле одного из бизнес-центров, – пространства, принадлежащего исключительно большим черным машинам, – однажды снискал откровение… Такие охранники обычно ругались с велосипедистами, но здесь реакция стража Системы на несистемное явление была иной. Человек в униформе долго смотрел на велосипедиста, отстегивающего замок блокиратора, подбирая слова

для выражения чувств, потом изобразил пальцем жест библейского пророка и изрек истину: «И круто! И полезно!»

Социальная стратасфера.
Когда межстратовые барьеры не достают до неба

Когда я посещал друзей-бизнесменов в их офисах, мне прощался мой внешний вид, далекий от всех дресс-кодов, а мой велосипед стоял на парковках рядом с их мерседесами. Однажды на такой парковке я поспешил обнять друга прежде, чем он успел предупредить своего телохранителя… Друг потом извинялся перед коллегами за мое несистемное поведение, поясняя: «Ну… это… диссертацию он пишет в академии наук…». Дескать, хоть и блаженный он, но занимается уважаемым занятием, а каким именно, и где именно – не имеет особенного значения.

Жизнь у всех сложилась по-разному и развела многих вчерашних сокурсников на разные социальные полюса и по разные стороны баррикад политических взглядов. Но что соберет в одном пространстве на некоторое время представителей таких разных социальных групп, как: a) доцент-почасовик, b) банкир-миллиардер и c) кремлевский функционер? Их соберет защита ученой степени одного из них или концерт Макаревича, на который они приедут на: a) горном велосипеде, b) большой черной машине с охраной, c) служебной машине с мигалкой. Приедут они, соответственно: a) с митинга оппозиции, b) со «стрелки» с конкурентами, c) из кабинета на Старой площади. В буфете они выпьют, поговорят о прошлом(!), а из настоящего расскажут друг-другу анекдоты: a) про удачливых лузеров «иванов-дураков», b) о «новых русских», c) на тему власти (Путин, Дума, менты, мигалки). Потом они разъедутся по своим траекториям и буду изредка созваниваться, скорее из осознаваемого чувства вневременной ценности своих диахронных связей, отличающей старых однокашников, чем из безотчетной потребности в синхронных коммуникациях, какие отличают единомышленников.

Выше приведены не аллегории, но описана реальная ситуация. Общество, расколотое на два больших класса – ненавидимых и презираемых, пока еще сохраняет эти два моста, висящие над пропастью, еще более глубокой, чем разница между реальным «мерседесом» и велосипедом, – мост культуры и мост науки.

P.S.

Со времен законов Хаммурапи принято брюзжать на «молодое поколение», что, дескать, книжек не читают, живут в интернете и пьют пепси. В 2012 году я издал биографию и библиографию С.А. Арутюнова (Арутюнов, 2012b) ко дню его восьмидесятилетия и выложил книгу в интернет. Неизвестно и не так важно, через сколько лет книжная палата донесет ее экземпляры до библиотек, – книга нашла читателей в тот же час, когда ее виртуальная версия распространилась в сети. Студенты Сергея Александровича начали пересылать друг-другу ссылки с радостными комментариями. Вот один из них (орфография и пунктуация сохранены): «!!наслаждайтесь одним из самых интересных людей, живущих на этой планеееете!..». Какие еще нужны основания для оптимизма?

Список сокращений

ВУЗ – высшее учебное заведение
ГПНТБ – Государственная публичная научно-техническая библиотека
ГПТУ – государственное профессионально-техническое училище
ДАС – дом аспиранта и стажера
НГПУ – Новосибирский государственный педагогический университет

Библиография

Арутюнов 2012a – Арутюнов С.А. Силуэты этничности на цивилизационном фоне. М.: ИНФРА-М. 2012.

Арутюнов 2012b – Арутюнов С.А. Жизнь как текст. Москва-Хельсинки: ARC. 2012.

Банников 1997 – Банников К.Л. Представления о жизненной силе в традиционных японских верованиях // Этнографическое обозрение. 1997, № 3. СС. 86–94

Банников 2007 – Банников К.Л. Традиционная культура в эпоху глобальных трансформаций // Расы и народы. 2007, вып. 33. М.: Наука. СС. 90–110.

Bannikov, Meschtyb 2000 – Bannikov K., Meschtyb N. Nuclear Power and the Ecology of Indigenous Culture in the Russian Far East // Aspects of Arctic and Sub-Arctic History (Ed. by I. Sigurdsson and J. Skaptason) Reykjavík, 2000. C. 251–262.

Ван Геннеп 1999 – Ван Геннеп А. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М.: Восточная литература. 1999.

Молодин 2000 – Молодин В.И. Древности плоскогорья Укок: тайны, сенсации, открытия. Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс. 2000.

Молодин 2006 – Молодин В.И. Меч каролингов. Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс. 2006.
Молодин и др. 2004 – Молодин В.И., Полосьмак Н.В., Новиков А.В., Богданов Е.С., Слюсаренко И.Ю., Черемисин Д.В. Археологические памятники плоскогорья Укок (Горный Алтай). Новосибирск: ИАЭ СО РАН. 2004.
Полосьмак 2004 – Полосьмак Н.В. Всадники Укока. Новосибирск: Инфолио-пресс. 2004.

Максим Пулькин

«ВАКовские» журналы и научное сообщество: проблемы взаимоотношений

В сущности, мне противны все морали, которые гласят: “Не делай этого! Отрекись! Преодолей себя!” – напротив, я расположен к таким моралям, которые побуждают меня вечно что-то делать и с утра до вечера и ночью грезить и не думать ни о чем другом, как только о том, чтобы сделать это хорошо, настолько хорошо, как один я и в состоянии сделать!

Фридрих Ницше

Специфика переживаемой нами сегодня ситуации заключается в том, что публикация в рецензируемом журнале становится одним из важнейших показателей успешной работы как научного работника (преимущественно Академии наук), так и учреждения, в котором он состоит. Во Всемирной сети периодически появляются сенсационные сообщения о том, что ВАКовский список полностью отменен. Но столь же часто в Интернете можно встретить и суровые предупреждения о стремительном росте значения этого списка для разных сфер научной жизни. На сайте ВАКа он представлен во всей своей устрашающей красе, демонстрируя никогда прежде не виданное изобилие печатных изданий.

Можно сказать, что русская склонность к максимализму проявилась здесь в полной мере. Наметился и активно пробивает себе дорогу, становится определяющим свежий подход к оценке успешности деятельности гуманитария. Согласно новым критериям, появление книг, в том числе и фундаментальных работ, объявлено второстепенным успехом на фоне сравнительно небольшой статьи, опубликованной в издании, носящем гордое имя ВАКовского. Система, в которой Списку отведена главенствующая роль, без следа поглощает поток всех прочих публикаций, упраздняя многочисленные внезапно появляющиеся и быстро исчезающие из поля зрения ученых сборники научных работ на разные темы, метко названные в народе «братскими могилами».

Этот фактор научной жизни больше нельзя игнорировать. Несмотря на широкое и интенсивное кулуарное обсуждение этой новой для научного сообщества проблемы, она еще не удостоилась тщательного, в полном смысле слова научного исследования. Академическое сообщество не высказывает протеста явным образом, если не считать пары-тройки скандальных обсуждений на интернет-форумах и ряда публикаций в газете «Поиск», и лишь покорно строит предположения о том, когда же эта новая напасть исчезнет по велению свыше. Возможно, свою роль здесь играют сложные эмоции, связанные с явным процессом разрушения устоявшихся за десятилетия норм. Между тем к анализу, спокойному и беспристрастному, следует приступить как можно скорее. Ведь это и серьезная практическая проблема, связанная с выживанием научных организаций, и важный теоретический вопрос из области, называемой сегодня антропологией академической жизни. В создавшейся ситуации грань между наукой и не-наукой, жизнью и игрой, серьезным размышлением и словоблудием постепенно стирается. Цель данной работы состоит в том, чтобы заложить фундамент для изучения этого нового явления российской научной жизни.

В данном исследовании я могу опереться на собственный опыт взаимодействия с научными журналами. Мне удалось бесплатно опубликовать свои статьи в таких авторитетных и уважаемых в академической среде изданиях как «Антропологический форум» (2 статьи), «Российская история» (1), «Традиционная культура» (4), «Религиоведение» (2), «Вестник Свято-Тихоновского университета» (1), «Культурно-историческая психология» (1), «Одиссей» (1), «Клио» (4), «Труды Тверского университета» (3), «Исторический архив» (1), «Новый исторический вестник» (1), «Вестник Российской христианской гуманитарной академии» (1) и в других научных изданиях, включенных в пресловутый Список. Кроме того, я вхожу в состав редколлегии журнала «Современные исследования социальных проблем», издающегося в Красноярске и также обозначенного в Списке.

К сложной научной проблеме нужно подходить издалека. В незабвенные 1990-е гг. в ходу среди гуманитариев была шутка о том, что теперь историк похож на неуловимого ковбоя Джо. Он неуловим не потому, что слишком быстро скачет на своем мустанге по обширным прериям, а потому, что никому не нужен: его и не пытаются поймать. Мне в связи с сегодняшним временем в голову при-

ходят другие аналогии, но тоже анекдотического свойства. Нынешние гуманитарии похожи на дам, по разным причинам и с разными целями стоящих вдоль обочины дороги и тщетно пытающихся привлечь внимание гордо проносящихся мимо пассажиров. Усилия дам оказываются напрасными, ведь потенциальные клиенты быстро, на глазах меняют свою ориентацию. Прелести изящного стиля их больше не интересуют, для них приоритетными становятся вопросы высоких технологий, и до «лириков» им больше нет никакого дела.

Дамы на обочине: проблемы классификации

Приступающему к написанию научных статей и даже самонадеянно собирающемуся их опубликовать приходится первоначально отказаться от предубеждения, существующего среди коллег, о том, что время публикации статьи обратно пропорционально количеству коньяка, выпитому в тесной компании с главным редактором издания (варианты: съеденная красная икра, бурные ночи страсти и т. п.). К сожалению, это помогает далеко не всегда. Могу сказать про себя: такой опыт полностью отсутствует. Более того, мало-мальски знакомые люди в качестве сотрудников редакции немедленно предъявляют исключительно суровые требования к текстам публикаций. Как говорится, «ничего личного, только бизнес». Мы также уделим совсем немного внимания многочисленным изданиям, осаждающим нас навязчивой рекламой низких цен за публикацию. Как ни странно, они тоже присутствуют в Списке, но лишь на первый взгляд, с точки зрения непосвященных, являются в нем полноправными участниками. Особенно много таких журналов в провинциальных университетах, издательства которых небезуспешно стараются заработать на создавшейся ситуации. Чтение такого рода изданий весьма часто становится не только неблагодарным, но и совершенно абсурдным занятием, пустой тратой времени. Так, в одном из рецензируемых журналов мне запомнилась статья о биосоциальных истоках империи. Привлеченный необычным подходом к популярной теме, я погрузился в чтение. В первых абзацах статьи речь шла о том, что наиболее подробно данную проблему рассматривал Л.Н. Гумилев. Далее кратко излагалась его теория, а в завершение автор счел необходимым указать, что выдающийся этнолог был полностью прав в своих воззрениях на становление и развитие империй. В итоге, после прочтения ряда таких исследований, возникает ощущение, что статьи в некоторых журна-

лах (их весьма немало) публикуются совсем не для чтения, а для реализации каких-то иных целей, известных только самому автору.

Исходя из сказанного, можно сформулировать первую простую классификацию журналов. Это деление их на провинциальные и столичные. Такое деление имеет место, и отрицать его наличие стало бы нелепостью. Но все же оно представляется мне призрачным. Здесь необходимы существенные оговорки, пояснения и комментарии. Подавляющее большинство солидных рецензируемых журналов сконцентрированы в Москве, где для их успешной деятельности имеются необходимые финансовые и интеллектуальные ресурсы. Нередко журнал издают отдельные кафедры, небольшие научные структуры, коллективы единомышленников внутри известных учреждений. Например, сотрудники редакции альманаха «Одиссей» (далеко не все работники Института всеобщей истории) с гордостью называют себя «одиссеевцами». Аналогичными изданиями, заслужившими уважение коллег, стали «Антропологический форум» и «Традиционная культура», издаваемая небольшим коллективом Центра русского фольклора.

Многие знаменитые журналы, в том числе, и только что упомянутые, часто и охотно приглашают провинциальных авторов. Эти приглашения появляются в сети Интернет и становятся легкодоступными всем, кто посещает соответствующие сайты. Возникает ситуация, при которой столичные журналы превращаются в прибежище для лучших авторов из провинции. Иногда эти призывы связаны с горячим желанием получить определенную сумму денег для дальнейшего развития журнала: публикация рассматривается в тесной связи с наличием у автора подписки (примером здесь является «Религиоведение»). Но суровое рецензирование при этом все равно осуществляется, и откровенно слабые статьи безоговорочно отвергаются. По законам симметрии некоторые провинциальные журналы становятся тихой обителью для столичных неудачников.

Эта простая закономерность будет постепенно преодолеваться. У нас на глазах формируется глобальная деревня, в которой, как и в обычной деревне, сокрытие какой-либо информации станет невозможным, а каждый отдельный индивид будет чувствовать на себе внимание множества посторонних лиц в любой момент своей жизни. В конце концов, в современной гуманитарной науке создается такая атмосфера, при которой место постоянного пребывания исследователя и его институциональная принадлежность не имеют принципиального значения. Если есть безлимитный Интернет и минимальные

навыки работы в сети, все прочие проблемы становятся легко решаемыми. Заметим, что владение интернет-технологиями на невысоком уровне требуется постоянно. Здесь возникают серьезные диспропорции между поколениями ученых. Воистину, если бы старость могла полноценно овладеть компьютером, и если бы молодость знала то, что освоено и наработано старшим поколением!

Другая классификация журналов связана с таким болезненным вопросом как оплата публикаций. Здесь уже сформировались, существуют и наверняка будут сохраняться в обозримом будущем три группы изданий. Одни из них — провинциальные супердоступные красотки в простых дешевых одежках-обложках, а то и совсем без них, выставленные напоказ в электронном варианте, согласные оказать соискателю ученой степени любые услуги за умеренную плату. Иногда здесь же встречаются элитные столичные журналы, которые взимают за те же нехитрые и древние как мир удовольствия более значительную мзду, сопоставимую с месячной зарплатой научного сотрудника. По сути дела, это новый несложный и доходный бизнес, сформировавшийся и активно набирающий обороты у нас на глазах. Создатели этих журналов пытаются сыграть на растущем в последнее время спросе на публикации в рецензируемых изданиях. При этом судьба науки их интересует меньше всего. Когда рыночный спрос понизится, они будут столь же активно торговать любым другим товаром. Иногда они проявляют недюжинную коммерческую хитрость. Первоначально вопрос об оплате не ставится, и обнадеженный автор направляет свои тексты в издание, откликаясь на многочисленные придирчивые замечания и соблюдая строгие, изощренные правила оформления статей. И лишь затем возникает вопрос о деньгах.

Вторая группа изданий — гордые дамы, которые едва ли согласятся снизойти до скромного провинциального исследователя. Как правило, они ориентированы на столичных авторов, относящихся к узкому кругу столичной научной богемы и явно обладающих сверхчеловеческими способностями, просто не существующими за пределами МКАД. Довольно часто на сайтах этих журналов отсутствуют правила для авторов, что служит недвусмысленным, ясно читаемым намеком: «Чужие здесь не ходят!», «Оставь надежду навсегда, несчастный замкадыш!» и т. п.

Речь в моей статье пойдет о совсем других журналах — симпатичных, скромных, верных труженицах науки, благодаря постоянным усилиям которых сохраняется как круг достойных авторов, так и

ощущение востребованности гуманитарных исследований. Именно подобные издания не только создают новые статусы отдельных персон и поддерживают устоявшиеся авторитеты, но и делают доступными широкой аудитории новейшие результаты научных изысканий. Однако в общении с ними, как и в знакомстве с простыми земными девушками, возникают психологические проблемы. Поэтому первый совет может быть простым: необходимо решиться, позволить себе отправить работу в редакцию столичного журнала. Кто сказал, что невозможно дотянуться до звезды? Опыт показывает, что очень даже возможно. В частности, представители одного авторитетного столичного журнала, приехав в наш город, с недоумением рассказывали, что в их редакцию никогда не поступали статьи из Петрозаводска, которые они были бы рады получить. Ясно, что столь странную ситуацию нужно преодолевать, соблюдая при этом некоторые простые, но необходимые рекомендации.

Нескромное обаяние редакции

Роль редакций журналов в функционировании современной науки, как говорится, трудно преувеличить. На них, по сути дела, возложена функция самых настоящих организаторов науки. Ведь становятся востребованными, появляются в журналах, входящих в Список, только те статьи, которые получили одобрение редакций. При этом в гуманитарных науках (к счастью, не во всех) автор, как правило, весьма ограничен в выборе. Заметим, что в технических науках ситуация еще сложнее. В любом случае для достижения успеха, в первую очередь, важно учитывать специфику конкретного журнала. Даже самая замечательная статья может оказаться невостребованной и отвергнутой в том случае, если она не соответствует принятым в данной редакции стилям, приоритетам, особенностям подачи материала и разным другим специфическим чертам конкретного издания, которые становится очевидными только после внимательного изучения содержимого ряда номеров. Заметим, что в подавляющем большинстве случаев редакции не вступают в переписку с авторами, причины отказа в публикации при этом вполне закономерно остаются загадкой.

Редакции журналов представляют собой небольшие коллективы единомышленников, весьма патриотически настроенных по отношению к своему изданию и скептически, иногда до полного презрения — ко всем прочим. Они вполне резонно считают себя вправе созда-

вать собственные законы, по которым следует действовать всем, желающим оказаться в числе счастливых авторов. Иногда это довольно неожиданные требования. Например, известный ВАКовский журнал «Культурно-историческая психология» активно продолжает традиции, заложенные выдающимся советским психологом Выготским. Замечательные статьи, представленные в этот журнал, могут оказаться отвергнутыми по одной простой причине: при отсутствии ссылок на труды этого плодовитого автора, произведения которого, честно сказать, будет очень полезно почитать каждому образованному человеку. Некоторые журналы по каким-то своим соображениям требуют фотографии авторов, но в дальнейшем не публикуют их портреты на своих страницах. Порой требования оказываются значительно более суровыми. В особенности это касается журналов, издаваемых различными православными учебными заведениями. Их немало, они отличаются особой ангажированностью, четким требованием следовать заданным курсом под угрозой полного разрыва отношений.

Все это в совокупности создает особые условия для научного творчества. Благодаря деятельности редакций некоторых научных журналов, заинтересованных в привлечении как можно более широкого круга читателей, постепенно открывается простор для популярного стиля изложения, реализации литературных талантов ученых иногда даже в ущерб науке. Это означает эмоциональный стиль изложения, ориентацию в большей степени на обыденный опыт, чем на проверенные теории, и в конечном итоге, — на массовый спрос. Для так называемых «добротных» статей, содержащих точные научные данные, материалы, цифры и т. п., в подобных журналах остается всё меньше места и перспектив. В частности, меня не раз удивляло, как быстро и легко самые разные журналы соглашались публиковать мои статьи об ужасных происшествиях: самосожжениях старообрядцев. Я совершенно не ожидал такого развития событий. Думается, что, например, научные статьи по аграрной истории, украшенные множеством таблиц, в буквальном смысле слова выстраданные авторами, не пользуются такой же популярностью. В дальнейшем эти мои тексты породили некоторое количество ссылок, которыми я теперь могу гордиться как важным показателем научных успехов и востребованности моих трудов читателем. Но есть одно предостережение против увлечения популярным стилем повествования. Парадоксальным образом горячие темы и жареные факты в статьях, претендующих на успех в научном сообществе, должны сочетаться с активным использованием

современного научного новояза, мало понятного обывателю, но вызывающего у него чувство почтения, сходное с ощущениями дикаря, участвующего в магическом обряде под завывания шамана. В данном случае это еще и дань приличиям (хочется сказать, одному из немногих оставшихся приличий), присущим академической среде.

Есть и другие существенные проблемы, которые возникают при обращении к ВАКовским изданиям. Это вопросы методологии. Честно признаться, они всегда являлись неким подобием кукушонка в гнезде историка. Теперь к ним придется обратиться в полной мере, что, впрочем, уже начало происходить. Однако и сам этот поворот стал весьма парадоксальным и неоднозначным явлением. Историкам, равно как и многим другим гуманитариям, сегодня приходится осваивать те сферы познания и те науки, которые прежде никогда, с вузовских времен, не являлись областью их профессиональных интересов. В особенности это касается социологии, психологии, культурологии. Множество журналов активно предлагают авторам публиковать статьи на стыке этих наук, всячески поощряя интеграцию различных областей знания. Достичь такого объединения разных наук и мнений в одной несчастной голове, благодаря предыдущим годам учебы слишком мало приспособленной для такой цели, остается необыкновенно сложной задачей, требующей упорного самообразования. Но если ВАКовские публикации действительно необходимы, то иного пути здесь просто нет.

Научное сообщество уже начало реагировать на этот стремительный разворот в отношениях с журналами. Причем реакция оказалась разнообразной. Во-первых, ширятся ряды ученых, которые радостно восприняли эти изменения как призыв отказаться от каждодневной работы в пыльных и некомфортных архивах и перейти к чисто умозрительным «открытиям» новых проблем, описание которых так легко и удобно осуществлять сидя дома у монитора. Эти статьи можно распознать по изобильным неуместным цитатам из зарубежных социологических и психологических трудов. В трудах по истории церкви зарубежных классиков легко заменяют цитаты из Евангелия. Во-вторых, сохраняется значительная часть научного сообщества, для которого изменения прошли незамеченными. Они продолжают напряженную работу в архивах, вылавливая в них многочисленные факты и создавая все новые мегабайты научной информации, но результаты их изысканий все чаще остаются невостребованными. В-третьих, оставшаяся часть научного сообщества крайне невелика и

обитает преимущественно в столичных городах. Эти ученые регулярно общаются с зарубежными коллегами, формируют столичную научную среду и состоят в редколлегиях журналов (а также сами в них печатаются, в том числе и в тех, которые остаются недоступными простым смертным).

Период после публикации является столь же существенным и ответственным, как и время ожидания этого радостного события. Среди редакторов изданий наличествуют разные представления о взаимоотношениях с теми, кто уже удостоился высокой чести и был представлен на страницах их изданий. Крайне редко встречаются легкомысленные журналы, напоминающие особ, ориентированных на беспорядочные связи с максимально широким кругом озабоченных своей научной карьерой персон, извергающих научные теории при всяком удобном случае. Чаще всего мы имеем дело с редакциями, ценящими верность и с благодарностью принимающими новые статьи от тех, кто уже «отметился» на страницах их журналов. Иногда они даже поздравляют с праздниками, приглашают на конференции, включают в состав редколлегий, просят присылать отзывы о вышедших номерах журналов и т. п. Понятно, что такие отношения необходимо ценить. Для себя я выбрал иной сценарий поведения: максимальное число разных журналов. Однако такую рекомендацию я не могу дать своему читателю.

Огугленные мозги: как это работает?

Утверждают, что человеческий мозг и есть самая мощная и неприступная крепость. Новые идеи, идущие на штурм этой твердыни, весьма часто терпят поражение и откатываются назад. Но ударная сила Интернета оказалась достаточно могучей для того, чтобы одолеть эту оборону. Особенно успешно действует в этом направлении поисковая система Google, в доли секунды предоставляющая индивиду необходимую информацию по любой проблеме. Это новое явление коренным образом преобразует научное творчество. Основная специфическая черта функционирования мозга удивительного существа, называемого современным ученым, состоит в том, что накопление информации, ее постоянное обновление, обработка и анализ в значительной мере вынесены за пределы его сознания и доверены Интернету как универсальному источнику знаний и мнений обо всем на свете. Добросовестный поиск информации, еще совсем недавно составлявший основу деятельности ученого-гуманитария, даже форми-

ровавший своеобразную эстетику научного труда, все чаще заменяется поиском в Интернете, а обширные полки с толстыми книгами исчезают, заменяясь компактным компьютером.

Но это чисто внешние изменения. За происходящим, приходится констатировать, скрываются значительно более серьезные сдвиги научного сознания. В современной литературе появляются мрачные оценки происходящего: «Компьютер становится искусственным протезом теряющих способность мыслить людей» [Марков 2011: 443]. Я не склонен оценивать ситуацию столь же пессимистически, мне видится несколько иная картина. В 1990-е гг. множество библиотек, в том числе и самых крупных, оказались в ситуации, когда система обеспечения их новейшей литературой перестала функционировать. Так сложилась ситуация, при которой все надежды ученых, связанные с получением сведений о событиях в мире науки, возлагались на всемирную паутину, и она начала осуществлять эту функцию во всевозрастающих масштабах.

Вскоре эти надежды оказались связаны не только с получением информации, но и с самореализацией в виртуальном пространстве. Известен своеобразный лозунг современного творческого человека: «Жизнь надо прожить так, чтобы о тебе помнил Google!». Таким образом, общение ученого с компьютером представляет собой замкнутую систему. С одной стороны, исследователь получает из Сети необходимые для успешного продолжения изысканий данные. Но, с другой стороны, он вновь радостно отправляет свои открытия во Всемирную паутину в поисках признания и в надежде, что они будут востребованы другими анонимными пользователями для их собственных трудновообразимых целей. При этом постоянно сохраняется ощущение того, что количество говорящих, выплескивающих свои мысли в виртуальное пространство несоизмеримо больше числа воспринимающих информацию. В то же время говорить и слушать собеседника получается далеко не у всех: нет ни желания, ни физических возможностей.

Исключение здесь составляют специалисты, сплоченные в устойчивые группы в рамках виртуального пространства. В настоящее время усиленно формируются и становятся все более влиятельными неформальные объединения ученых по сетевому принципу. Примером может послужить сайт «Всемирная история», на котором размещаются рецензии на новые издания, информация о конференциях и важных для гуманитарной науки событиях, личные

страницы историков. В этом взаимодействии место проживания специалиста, его ведомственная принадлежность расцениваются как формальные второстепенные признаки. Как показывают современные исследования этой проблемы, «современные сети коммуникации характеризуются открытостью, децентрализованностью, преобладанием горизонтальных связей, саморазвитием, автономностью включенных в них узлов» [Общество 2011: 70]. Существование российской гуманитарной науки сегодня в значительной мере поддерживается за счет сетевого устройства межличностного взаимодействия, и всевозможные научные издания, на сайтах которых размещаются, а иногда (правда, пока весьма редко) обсуждаются публикуемые в них статьи, играют в этом процессе далеко не последнюю роль.

Грядущие изменения, или Мелодии волшебной дудки

Итак, мы наблюдаем феерическую картину. Толпа гуманитариев, зачарованная мелодией «E-library», с давно и напрочь огугленными (от слова «google»!) мозгами, как в известной сказке о Крысолове, движется в некотором направлении. Напомним, о чем идет речь. По средневековым легендам, в небольшом немецком городке, в лето господне 1284, в день святых Иоанна и Павла, появился некий молодец лет 30, прекрасно одетый, так что очевидцы событий любовались им. С собой он имел серебряную дудку странного вида. И все дети, числом около 130, услышав ту дудку, последовали за ним вон из города, ушли и исчезли, так что никто не смог впоследствии узнать, уцелел ли хоть один из них. Современники задавались непростым вопросом: он безжалостно погубил их или, может быть, увел в лучший мир?

Эта древняя легенда поневоле вспоминается в связи с происходящими в современной науке явлениями. Научная публика, как зачарованная, движется в одном направлении. Возникает неизбежный вопрос: в какую сторону будут развиваться события? Попытаемся ответить. Она шагает, подобно околдованным персонажам легенды, навстречу Смерти. Речь идет о новом печальном явлении, которое метко названо «смертью Автора». Любая высказанная в печати достойная и важная мысль немедленно становится широкодоступной узкому кругу заинтересованных лиц, неоднократно перерабатывается ими, вновь запускается в оборот, а затем подвергается всё новым метаморфозам. Таким образом, начинает в полную силу действовать коллективный разум Интернета, но об авторских правах в такой ситуации приходится напрочь забыть. Заметим, что это составная часть

огромной проблемы защиты прав автора в научной и не только в научной сфере. С одной стороны, творцы всевозможных произведений и даже создатели техники вполне обоснованно утверждают, что их права не защищены в должной мере, что лишает их стимула к продолжению изобретательства. С другой стороны, пиратство в Интернете стало своего рода жизненным кредо для множества соотечественников и основательно представлено на глобальном уровне.

Например, в некоторых странах (в том числе благополучных) существуют и пользуются вполне понятной широкой поддержкой населения партии электронных «пиратов», приносящих колоссальные убытки индустрии развлечений, шоу-бизнесу, но затрагивающих во время своих стремительных набегов и науку. Их главным требованием является сохранение преступного по своей сути статус-кво в сфере авторских прав. В научной гуманитарной сфере есть своя специфика. Например, в Интернете и по электронной почте щедро распространяются призывы представить тексты для бесплатной публикации в виде монографий. В реальности такие книги издаются в одном-двух экземплярах, выдаваемых автору, а тексты выставляются для продажи в Интернете. В целом мы наблюдаем постепенно усиливающиеся и расширяющиеся потоки анонимной информации, каждодневно обрушивающейся на индивида. Ее создатели и распространители предельно обезличены. Им нет никакого дела до научной этики. Обвинения в плагиате или распространении непроверенных данных для них пустой звук.

Итак, наигрывая на своей высокотехнологичной дудочке, Крысолов уводит нас в загадочные пространства Интернета. Общая тенденция уже очевидна. Ситуация будет развиваться вполне логическим образом: сначала сайты журналов, затем полнотекстовые версии статей, находящиеся в открытом доступе, а затем и полное исчезновение бумажных версий научных изданий. Этот процесс уже начался и стремительно развивается. В ближайшее время будет открыта дорога для ничем не ограниченной и никем не контролируемой публикации работ, а создание трудов на бумаге будет восприниматься как что-то далекое и странное. Сегодня мы таким же образом с почтением и скрытой усмешкой рассматриваем древние берестяные грамоты. В конце концов, проблема издания монографий просто исчезнет. Все они, годами лежащие на полках, быстро найдут себе место на бескрайних и пока слабо освоенных Наукой просторах виртуального мира. Кроме того, в совсем недалеком будущем современные компью-

терные программы будут доработаны таким образом, что исчезнет и необходимость использовать клавиатуру. Текст будет распознаваться и вводиться при помощи голосовых команд, что, конечно, резко увеличит производительность научного труда, но едва ли улучшит его качество. Затем усовершенствуются пока еще нелепые компьютерные программы, которые станут автоматически переводить научный текст на любой литературный язык, что устранит последние барьеры в распространении информации.

Восстание цифр, или все-таки размер имеет значение

Давний спор о том, имеет ли значение размер или все дело в умелом применении, пора заканчивать. Принято считать, что современным миром управляют цифры. С этим утверждением трудно поспорить. Любой представитель современного общества со всех сторон опутан явными и тайными цифровыми значениями, определяющими все важнейшие стороны его личной и общественной жизни и порождающими в сознании религиозно настроенных личностей ассоциации с апокалипсическими пророчествами (числом Зверя). Это всевозможные pin-коды, пароли, ИНН и номер страхового полиса. В научной сфере произошло своеобразное восстание цифр. Вместо удобного для индивида, потребителя услуг, способа управления электронными устройствами восставшие цифры дерзко определяют статус человека, научного учреждения, они словно карают и милуют по своему усмотрению. Иначе говоря, в системе учета публикаций этот элемент существования современного индивида доведен до своего логического завершения, то есть полного и неоспоримого абсурда. Как пишет современный культуролог Б.В. Марков, «мы живем в эпоху конца антропологии, которая тайным образом конфискована машинами и новейшими технологиями» [Марков 2011: 445].

Как видно из сказанного выше, публикации в ВАКовских журналах создают почву для еще одного нового и пока не осмысленного антропологами явления: оценки результатов научной деятельности в количественных показателях. Здесь число журнальных публикаций занимает приоритетное место при оценке учреждения или отдельного индивида, вовлеченного судьбой в научное сообщество. Честно говоря, это одно из нелепейших изобретений нашего непредсказуемого времени. С таким же успехом можно отождествлять мужественность с размерами определенной части тела. Это дает некоторые точные количественные критерии для сравнений, однако странно, унизитель-

но и в конечном итоге всё же нецелесообразно. Кроме того, так возникает почва для манипуляций и нездоровой конкуренции. Заметим, что в такой обстановке количественные показатели (цитирование в том числе) должны стать объектом отстаивания со стороны руководства научных учреждений, тщательного контроля, взаимной поддержки. Негативных проявлений избежать не удастся. Вероятнее всего, вскоре сформируется коварный рынок цитирований, действующий по принципу: «Не заплатишь — не сошлюсь!». Надо постараться, чтобы он (порядок цитирования) приобрел облик, хотя бы отчасти напоминающий цивилизованные нормы поведения.

Решение проблемы цитирования скоро появится и будет, скорее всего, весьма разнообразным. С одной стороны, сегодня часто приходится слышать, что к числу наиболее цитируемых будут отнесены наиболее абсурдные публикации, содержащие не только непроверенные, но и противоречащие здравому смыслу суждения. Понятно, что число критиков такого рода исследований окажется весьма значительным, что в высшей степени положительно скажется на количестве цитирований. Это можно воспринимать скорее как шутку. Ведь опубликовать абсурдное произведение в уважаемом издании, где с ним смогут ознакомиться многочисленные читатели, весьма непросто, а размещение статьи в журнале, не предъявляющем к читателю серьезных требований, подобно гласу вопиющего в пустыне. Но, с другой стороны, есть и иной путь, значительно более трудоемкий, под силу не каждому, но он позволяет избежать ущерба для репутации с одновременным достижением искомой цели. Это несколько научных тем, которые исследователь может и должен разрабатывать одновременно. Понятно, что исследования по единственной проблеме привлекут внимание ограниченного круга специалистов. Исследования, осуществленные одним автором по разным темам, станут объектом внимания разных групп ученых и породят больше цитирований. В конечном итоге, количественные показатели могут повыситься, но у самого автора в такой ситуации возникает ощущение жонглера, одновременно подбрасывающего и ловящего множество яиц. Кстати, поговорим о яйцах.

Яйца и Курицы: проблемы взаимоотношений

В настоящее время стремительно формируется общество, которое культурологи именуют «цивилизацией молодых». Его суть заключается в том, что лучше адаптируются в жизни, чувствуют себя

более уверенно те, кому сейчас 30—40 лет. Авторитет старшего поколения оказался сильно поколеблен происходящими изменениями. К нашей теме эта трагическая ситуация имеет самое прямое отношение. ВАКовский список в целом оказался мощным фактором, способствующим разобщению индивидов. В частности и в особенности это разобщение затронуло различные поколения ученых. Это выглядит тем более трагично в силу характерных черт развития российской науки на рубеже тысячелетий. В 1990-е гг. приток в научные и образовательные учреждения оказался минимальным по причине низкой оплаты труда и в связи с сомнениями, существовавшими в значительной части общества по поводу перспектив выживания академической, и в особенности гуманитарной науки. Затем, в так называемые нулевые годы, наступил период относительного экономического благополучия. Приток молодежи в научные учреждения стал реальным фактом. Вследствие этого возникла ситуация, при которой в научных учреждениях работают, с одной стороны, пенсионеры изрядного возраста, пришедшие в них еще в советское время и ставшие теперь незаменимыми работниками, а, с другой стороны, — неопытная молодежь.

При этом мы можем с горечью наблюдать, как вполне понятное добросовестное желание старших обучить младшее поколение уму-разуму, так и нежелание приходящих им на смену специалистов считаться с этим опытом. Но при этом все они должны адаптироваться к господству Списка и используют для этого свои собственные жизненные стратегии. Суть этих новых условий, к которым приходится быстро приспосабливаться, заключается в том, что число публикаций в рецензируемых изданиях, включенных в Список, может оказаться одинаковым у представителей разных поколений ученых. При этом весьма часто приходится наблюдать, что у представителей младшего поколения число публикаций и даже количество цитирований значительно больше, чем у заслуженных ученых.

Здесь есть повод для раздумий. Понятно, что и в данном случае реакция научного сообщества на происходящие события оказывается различной. По-прежнему остается значительной и незыблемой в своем поведении та часть ученых (в основном старшего поколения), которая считает, что ничего особенного не происходит. Они продолжают вести научную деятельность таким образом, как она сложилась в советское время. В этом поведении нет ничего дурного: советская наука запомнилась миру как одна из наиболее передовых. Но вот

именно для осуществления публикаций в ВАКовских журналах такой стиль поведения равносилен самоустранению (чтобы не использовать более резкое слово). Другая прослойка состоит из учеников, которые относятся к своим наставникам критически (иногда, по молодости, даже излишне).

На первый взгляд, разница между первыми и вторыми заключается в лексике. Там, где старшие привыкли изъясняться с использованием привычного им словаря, унаследованного от советского периода, молодежь переходит на малопривлекательный современный научный новояз. Такие попытки отнюдь не лишены смысла. Они позволят мимикрировать и стать условно своими в столичных научных сообществах, что иногда очень существенно облегчает и укорачивает путь к ВАКовским публикациям. При более внимательном рассмотрении этой проблемы мы можем увидеть, что для молодежи характерен поиск новых путей, востребованных тем, расширение горизонтов исследований. Впрочем, последняя закономерность проявляется далеко не всегда. Нередко встречаются новаторы из числа ученых старшего поколения и явные консерваторы из молодежной научной среды. Кроме того, молодое поколение сформировалось в условиях новой, возникающей у нас на глазах постписьменной цивилизации, что явно негативно сказывается на их подготовке и стиле изложения идей.

Вместо заключения: мои рекомендации

Первая и самая главная рекомендация очень проста: не живите в мире, которого нет, каким бы привлекательным он ни был. XIX век, как и XX, к большому сожалению, прошли, наступил XXI. Из этого печального обстоятельства приходится сделать ряд неизбежных выводов. Вторая рекомендация заключается во внимательном чтении тех изданий, в которые направляется статья. Каждое из них имеет свою специфику, игнорирование которой сделает все ваши усилия абсолютно бессмысленными. В-третьих, очень важна мотивация. Хорошо, если это высокие побуждения: сделать известными публике малоизученные факты и скрытые от глаз непосвященных проблемы. Если такого рода аргументы для вас не имеют значения, то очень полезно задуматься о сохранении учреждения, где вы ныне работаете, и о получении премий за успехи в научной деятельности. В-четвертых, существенным фактором является методология исследований. Сегодня заметным остается желание следовать устоявшимся образцам, поддерживать традиции научных школ, сформировавшихся в далеком

прошлом. С этим благородным желанием иногда приходится бороться: оно далеко не всегда помогает достижению желаемой цели. В-пятых, очень важен постоянный поиск и коллекционирование сведений о журналах, в которых можно, а значит необходимо, поместить статьи. Это должен быть постоянный процесс, поскольку требования журналов все время меняются, появляются новые издания, старые перестают быть доступными (иногда даже приходится слышать вопрос: «Ведь вы у нас уже печатались?»). Изучение самих журналов лучше всего проводить путем активного использования мнений Интернет-сообщества, которое весьма часто высказывается о существующих изданиях, отмечая их положительные и, в особенности, отрицательные свойства.

Библиография

Марков 2011 — Марков Б.В. Люди и знаки. Антропология межличностной коммуникации. СПб.: Наука, 2011.

Общество 2011 — Общество сетевых структур: монография / под общ. ред. М.В. Ромма, И.А. Вальдмана. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011.

Раздел III

СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕНЫЙ И ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

Сергей Абашин

Всматриваясь в поле после боя*

В первом номере первого постсоветского выпуска журнала с новым названием «Этнографическое обозрение» (бывшей «Советской этнографии») директор российского Института этнологии и антропологии В.А. Тишков выступил со статьей «Советская этнография: преодоление кризиса» [Тишков 1992]. В ней было недвусмысленно заявлено о глубинном кризисе, в котором оказалась советская, точнее уже постсоветская, наука. Ее главными проблемами назывались иерархическая система и власть должности, не позволявшие критиковать господствующие концепции и предлагать новые подходы [Тишков 1992: 5]. Тишков тесно увязывал кризис советской этнографии с недостатками при проведении полевых исследований: сужением географии экспедиций и сокращением времени пребывания в них, незнанием местных языков, переориентацией с непосредственного наблюдения на анкетные опросы, свертыванием изучения отдельных общин в пользу народа в целом, безответственностью перед теми, кого изучают, и навязыванием роли старшего брата со стороны столичных специалистов. «Утонченная книжная компиляция никогда не заменит, – писал ученый, – добытого с помощью этнографии первичного знания, никакие метатеоретические или критико-историографические рассуждения не заменят мягко и скромно сформулированных теоретических заметок на полях собственных полевых дневников…» [Тишков 1992: 11].

Из серии сочувственных или неодобрительных откликов на статью Тишкова, которая задала тон в кризисном восприятии состояния российской этнографии на все постсоветское время, хочу выделить текст Сергея Соколовского «Этнографические исследования: идеал и действительность» [Соколовский 1993а; Соколовский 1993б]. Последний, продолжая критику советской этнографии, сделал новый поворот в анализе ситуации в науке [Соколовский 1993б: 13, 14]. Соколовский подверг тотальной деконструкции веру в то, что поле яв-

ляется тем местом, где рождаются этнографические факты и проходят истинную проверку теоретические схемы. Размышляя о понятии реконструкции применительно к работе этнографа, Соколовский писал: «Казалось бы, сама интенция дисциплины, именующей себя этнографией, есть чистая дескриптивность, фиксация того, что есть "там", "вне меня", а ее кредо – онтологическая феноменология, описание вещей "как они существуют в мире". Отображение, "фотографирование", констатация – вот тот модус, в котором должны были бы исполняться все техники и технологии этнографического исследования, и вдруг реконструкция, внезапно слитность "вещи" и "феномена" оказывается мнимой: язык вскрывает под тонким ледком неразличения непреодолимую пропасть, навеки отсекающую путь нашему исследователю к "обретению" желанной "вещи", оставляя его лишь с безнадежно субъективной "интерпретацией", своего рода "реконструкцией" чужого и чуждого "конструкта", перцептивным "следом" несбывшегося обладания…» [Соколовский 1993а: 3, 4]. Иначе говоря, провозглашаемая и лелеемая в науке объективность, которую будто бы находят в поле, является, по его мнению, всего лишь стилистическим эффектом, ссылка же на то, что «я там был», служит средством легитимации и утверждения личного или дисциплинарного статуса. Не существует неискаженного восприятия и понимания, разные способы улучшения методики (например, более длительное проживание в поле) решают одни проблемы и создают новые.

Так что же лежит в основании этнографического знания? Профессионализм, который измеряется языковыми навыками, длительным проживанием в изучаемом сообществе, умелым применением разнообразных методик, использованием правильных ссылок на труды предшественников? Или еще умение ученого изложить свою историю в виде академического текста, убедить коллег и аудиторию читателей/ слушателей в том, что его личный опыт несет в себе важные наблюдения и выводы [Гирц 2004; Writing Culture 1986]? Может быть, особенности исследователя как личности, его пол, возраст, индивидуальные способности? Связь со структурами власти и с колониальным, европоцентристским и универсалистским взглядом на мир, унаследованным из тех времен, когда этнография была едва ли не прямым проводником имперских интересов [Asad 1998]? Характеристики (общие и национальные) академического пространства, к которому исследователь принадлежит, и то место, которое он в этом пространстве занимает [Bourdieu 2003]?

Разворачивая, вслед за Тишковым и Соколовским, свой взгляд с поля на себя в поле, я хочу поделиться своим опытом полевой работы в одном селении – назовем его Эски-кишлак, т.е. «старый кишлак» – в Таджикистане в 1995 и 2010 гг.[1] В данном тексте речь пойдет о тех обстоятельствах и ограничениях, которые сопровождали полевое исследование и могли существенно повлиять на представления об изучаемом сообществе. Я предлагаю этот пример не для того, чтобы ответить на поставленные выше общие вопросы. Моя цель скромнее: добавить в копилку публичных обсуждений полевых впечатлений собственные наблюдения и оценки, поставить личный эксперимент рассказа о прошедшем поле и анализа тех или иных его особенностей, задуматься и научиться говорить о поле как проблеме.

Вхождение

Мой выбор Эски-кишлака был случайным. Я не искал для исследования сообщества с какими-то определенными социальными и демографическими характеристиками, и у меня не было готовых представлений о «среднем» или «типичном» кишлаке. Я уже проводил исследования в 1988-1991 гг. в Ферганской долине, жил по нескольку месяцев в других селениях, поэтому не имел иллюзий по поводу типичности. Каждое такое место, каждая община, каждый человек – уникальны, и интересно понять и изучить эту уникальность, а не умозрительную усредненность.

Первоначально у меня было только три самых общих, практического свойства критерия для выбора. Первый – это должна была быть Ферганская долина, и кишлак должен был быть узбекским, так как к тому времени я немного изучил узбекский язык и совсем не знал таджикского и киргизского. Второй критерий – кишлак должен был быть по возможности не очень большим, чтобы я мог познакомиться со всеми его жителями и проследить максимально полно все цепочки связей между ними. Третий – мне нужна была поддержка каких-то местных жителей, которые помогли бы мне устроиться в кишлаке, договориться с местной властью и найти жилье. В результате же выбор все равно лишь отчасти совпал с моими пожеланиями.

Хотя до того я работал главным образом в Узбекистане, мне показалось, что подходящий кишлак можно найти в таджикистанской части Ферганской долины, и я обратился за помощью к своему старшему коллеге (к сожалению, теперь уже покойному) – Валентину Ивановичу Бушкову, который многие годы работал в Ленинабадской

области Таджикистана. Мы вместе полетели в Ходжент (бывший Ленинабад) и встретились там с таджикским этнографом Мухиддином Файзуллаевым, которого Бушков давно знал и с которым я тоже был знаком. По совету Файзуллаева было решено обратиться за помощью к Ф.Ш., старому приятелю моих коллег (увы, тоже ныне покойному). Он был родом из районного центра Ш. и работал начальником одного из отделений ходжентской милиции, что было для нас совсем не лишним. Так выбор сузился до одного района.

Дальше все зависело от личных связей Ф.Ш., а такие связи были у него с Эски-кишлаком. Дело в том, что, несмотря на свою таджикскость, о которой, поругивая узбеков, он говорил при каждом удобном случае, Ф.Ш. имел тесные родственные связи с узбеками. Его бабушка (мама матери) и жена были эскинками: бабушка являлась сестрой Бободжан-раиса, в прошлом одного из местных председателей колхоза, чье имя, правда, в тот момент мне ничего не говорило. Бушков, Файзуллаев и я отправились вместе с Ф.Ш. в Эски-кишлак, заехали к его родственникам, познакомились с Бободжан-раисом – к тому времени уже дряхлым стариком, бодрость которого поддерживалась, кажется, только легкими наркотиками. Затем мы поехали в О., где я кратко рассказал действующему председателю колхоза И.Х. о своих планах, после чего тот кому-то позвонил и дал указание разместить нас при эскинской больнице, в небольшой комнатке для приезжих.

Скоро мои коллеги и я переехали в Эски-кишлак. Он оказался огромным – около 700 семей, не считая жителей остальных селений джамоата/ сельсовета. Это меня очень расстроило: если на каждую семью тратить хотя бы день (чтобы пообщаться, записать услышанное и увиденное), то для знакомства со всеми понадобится два полных года! Я понимал, что за несколько месяцев каких-то прочных отношений с местными жителями в такой ситуации у меня не сложится – не будет возможности вести длительные и доверительные разговоры с одними и теми же людьми, наблюдать за их жизнью, уточнять и перепроверять данные, и я буду вынужден, пытаясь охватить более широкий круг информаторов, проводить непродолжительные опросы, хотя подбор моих собеседников все равно останется ограниченным. Следовательно, одно из моих предварительных условий оказалось невыполненным.

Однако менять что-либо было сложно – время шло, и я не мог продолжать тратить дни и недели на поиски новых вариантов, скорее

всего столь же непредсказуемых. К тому же оказались задействованными многие личные договоренности, которые неудобно было нарушать. Таким образом, стремление найти поддержку среди местных жителей – третий критерий отбора кишлака для изучения – обернулось тем, что я сразу попал в зависимость от этой поддержки и уже не я сам, а за меня делали выбор.

К. и Х.

Остаться в Эски-кишлаке было полбеды. Но я никак не мог себе позволить жить несколько месяцев в комнатке при больнице! Там мне пришлось бы все время находиться у всех на виду – без какой бы то ни было возможности уединения. В комнатке не было кухни, что ставило бы передо мной проблему питания: обе существовавшие в кишлаке чайханы в 1995 г. не функционировали, в больничной же столовой кормили очень однообразно и более чем скудно. Ну и, наконец, в мои исследовательские планы изначально входило наблюдение за повседневной жизнью какой-нибудь местной семьи – лишить себя такого поля я не мог, зная, что только проживание внутри домохозяйства даст шанс проникнуть в кишлачные секреты.

Со своими спутниками, помогавшими мне в самом начале, я отправился к руководству сельского совета и попросил найти семью, которая согласилась бы принять меня в качестве жильца – конечно, за какую-то плату. Над моей просьбой задумались и обещали помочь. Вскоре меня представили К., бывшему учителю, а к тому времени пенсионеру. Мы отправились к нему домой. Дом находился в удобном месте, в самом центре Эски-кишлака. К. жил с женой, их младший, но уже взрослый, успевший жениться, сын умер (я узнал потом, что он повесился), невестка уехала, поэтому в доме была свободная комната, которую мне и предложили. Поселиться в семье К. было удачей и почти примирило меня с Эски-кишлаком.

После того как бытовые вопросы были решены, мы вернулись в Ш., потом поехали в город К., где я неделю работал в архиве, снова заглянули в Ш. и Эски-кишлак, а затем уехали в Ходжент. Оттуда Бушков улетел в Москву, я же, уже в одиночку, прямиком отправился в долгожданное поле, в дом К. Неделю я знакомился с кишлаком, постепенно расширяя свои знакомства, много общался с приютившим меня хозяином, который поделился массой интересной информации, положившей начало моим дальнейшим разысканиям. И вдруг по прошествии этой недели (дальше цитирую свой дневник):

Встал утром. Все, вроде, как обычно. Пил чай. Кушал лепешки. К. отправился что-то делать. Прохожу как-то мимо него, а он вдруг говорит: “Сергей, ищите себе другое место сегодня”. Как гром среди ясного неба. “Почему? У вас есть какие-то проблемы с продуктами?” – “Нет, – отвечает, – продукты как-нибудь найдем. Туда-сюда ездить надо”. Куда ездить – ничего не понял. Побежал на улицу, встретил секретаря сельсовета, а он говорит, что К. собрался по делам уехать из Эски-кишлака и что он (секретарь) уже говорил, чтобы мне место определили опять в больнице. Оказывается, К. уже заранее решил от меня избавиться и заранее предупредил об этом сельсовет! А ведь только неделю назад обещал: сходим туда, сходим сюда, поедем с председателем колхоза по полям. Прошла лишь неделя, и все опять надо начинать заново.

Это был настоящий шок. Почему К. вдруг решил нарушить договоренность – точно сказать не могу. Его объяснение, что он хочет куда-то уехать по делам, в принципе выглядело правдоподобным. В Эски-кишлаке люди жили, не выстраивая долгосрочных планов: если условия и возможности изменялись, многие были готовы тут же отреагировать – собраться и уехать, бросить одну работу и перейти на другую, пока же ничего не происходило – неспешно копались у себя на участке или бездельничали в чайхане. Если у К. появились какие-то срочные дела, то, конечно, он не мог уехать, оставив меня в своем доме. Однако я больше склонялся к версии «заговора» и чувствовал, как и Герасим Павлов за сто лет до меня, что попал в какую-то ловушку. Точнее, версий было две.

Первая – эскинские начальники наблюдали за мной (со многими из них я успел пообщаться) и, видимо, не очень понимали, что я делаю в кишлаке. Если встать на их позицию и учесть их жизненный опыт, то мои действия – интерес к делам колхоза и родственным связям, переписывание книг в сельсовете, собирание всевозможных слухов и т.д. – должны были выглядеть в их глазах крайне подозрительно. Напомню, что в 1995 г. в Таджикистане шла настоящая гражданская война с исламской оппозицией и одновременно сложная внутренняя борьба внутри элиты – борьба на всех уровнях. Эскинская верхушка, имея определенные успехи в этой борьбе, тем не менее, чувствовала себя неуверенно – у этих людей было много внешних и внутренних оппонентов, или врагов, как они считали. Тем более у них была стигма узбекского меньшинства в национальном таджикском государстве. Возможно, их подозрения и страхи по поводу того,

кто я и чем занимаюсь, дошли и до К., который имел родственные связи с председателем колхоза, и, предложив мне уйти из его дома, он решил таким образом обезопасить себя – не брать на себя ответственность за мои поступки. Вторая версия, менее реальная, но тоже правдоподобная, – К. регулярно посещал мечеть, где в то время тон задавали радикально настроенные лица, и влияния на него каких-то разговоров о том, что с русским тесно общаться не стоит, я также не исключаю.

Итак, мне пришлось опять поселиться в комнате при больнице. Исследование потихоньку продвигалось, я старался больше общаться с жителями кишлака и не оставлял надежды найти тех, кто согласился бы принять под свой кров чужестранца. Однако любые мои намеки на то, что я хочу переселиться в жилой двор, оканчивались неудачей. Первая половина 1990-х гг. была тяжелым временем для эскинцев (назову их таким условным прозвищем): зарплаты практически перестали выплачивать, доходы от приусадебных участков резко снизились. Жители кишлака испытывали огромные экономические трудности и постоянный стресс. Все были дезориентированы в оценке того, что будет дальше, как лучше поступать, с кем можно иметь отношения, а от кого надо бы держаться в стороне. Никто не спешил давать каких-то обещаний и что-либо предпринимать, не зная, чем это может закончиться. Не помогала в том числе и моя готовность оплачивать проживание. Люди не только опасались, что их расходы на содержание гостя превзойдут компенсацию с его стороны, но и не хотели привлекать к себе внимания пересудами в кишлаке.

Как показал неудачный опыт с К., из числа тех, кто мог бы принять меня в своей семье, выпала целая категория – местная интеллектуальная элита в лице учителей, врачей, работников сельсовета. Знание русского языка и навыки общения с представителями других культур, полученные во время учебы в городе, а также неплохое финансовое положение в советское время делали именно их наиболее подходящими для роли проводников в мир локального сообщества. И действительно, во время своей полевой работы в Эски-кишлаке я постоянно пользовался такого рода помощью. Тем не менее, никто из знакомых учителей или врачей, с которыми я почти сдружился и проводил много времени, не решился пригласить меня пожить у них. Более того, – и это было еще удивительнее – мало кто приглашал меня к себе домой с обязательным для такого события угощением (от кото-

рого, признаюсь, я бы не отказался, постоянно пребывая в полуголодном состоянии).

Сейчас я объясняю этот факт не только подозрениями в мой адрес и экономическим расчетом – нежеланием тратить деньги на прием гостя, но и определенным кризисом социальных статусов. Интеллектуальная элита, которая прежде занимала высокое положение в местной иерархии, больше всех пострадала от перемен, последовавших за падением советского строя. По ней экономические трудности и распад СССР, крушение идеологии и политического режима ударили в первую очередь и сильнее всего. Все материальные и символические ресурсы, на которые эти люди опирались, в одно мгновенье девальвировались. Учителя и врачи были просто не в состоянии сохранять те высокие стандарты престижности, в том числе гостеприимства, которых требовал их прежний статус. В этой ситуации пригласить меня к себе домой и продемонстрировать свое нынешнее плачевное положение казалось им гораздо большей проблемой, чем не приглашать вовсе. Ровно по этой же причине прекратилось проведение махалля-туев[2].

Сказанное объясняет, что́ случилось дальше. Спустя примерно полтора месяца моего пребывания в кишлаке, и соответственно поисков мною подходящего жилья, поселиться у него в доме мне предложил Х. – один из самых бедных на тот момент жителей Эски-кишлака, который жил около больницы и с которым я поэтому часто сталкивался. На первый взгляд удивительно, что в кризис семья Х., видимо, испытала наименьший шок, однако этому есть объяснение. Конечно, как и другие эскинцы, ее члены многое потеряли и едва сводили концы с концами, но в то же время социальный их статус нисколько не изменился: они были внизу социальной иерархии – внизу нее и остались. Х. не трогали слухи и местные политические интриги, не особенно заботила проблема сохранения социального престижа, а вознаграждение, которое я предлагал, было вполне ощутимой добавкой к скудному бюджету его хозяйства.

Я недолго думал над предложением Х. – моя поездка приближалась к своей середине, а мне необходимо было погрузиться в быт местной семьи и посмотреть на эскинское сообщество изнутри, пусть и глазами самых бедных его представителей. И в дальнейшем в своем переселении к Х. я не разочаровался. Благодаря его соседским и родственным связям я ближе познакомился с кругом людей, которые при иных обстоятельствах скорее всего выпали бы из моего поля зрения,

увидел Эски-кишлак с той точки зрения, какую мне было бы трудно занять, общаясь исключительно с местной интеллигенцией.

Наблюдение или участие?

Попав внутрь сообщества, я сразу, поначалу даже не осознавая этого, оказался на сложных пересечениях различных интересов и влияний. С первой минуты появления в Эски-кишлаке я уже находился под воздействием всех этих течений – меня самого изучали, разглядывали, во мне видели того, кем я не мог себя и вообразить. Я вступил в сложные отношения с эскинским обществом, и эти отношения не были мне подвластны.

Еще одно происшествие стало для меня и предостережением, и испытанием.

В тот июньский день я был в гостях у С., моего ровесника. Встретились мы накануне на одной из свадебных вечеринок, разговорились. На самой свадьбе он вел себя развязно – шумел, матерился. Позвал меня к себе домой в гости, я отказывался, но потом поддался на уговоры – в гости, как я уже говорил, меня звали нечасто, и надо было пользоваться любым приглашением, чтобы посмотреть, как живут эскинские семьи, и иметь шанс пообщаться подольше и в более непринужденной обстановке. Придя к себе домой, С. вдруг присмирел, перестал демонстрировать крутость и развязность. Жена подала ужин, мы с хозяином разговорились. С. занимался частной торговлей – вместе с друзьями-таджиками закупал и отвозил козий пух в Улан-Удэ; пока работы не было, он без дела сидел в Эски-кишлаке, выпивал каждый день, искал, чем заняться и с кем поболтать. Разговор продолжался до поздней ночи, и я остался у С. ночевать.

Рано утром мы вместе вышли на улицу, и С. опять повел себя активно и шумно, привлекая к себе внимание окружающих. Он затащил меня в чайхану, здесь же оказались его знакомые (в Эски-кишлаке все знакомые) и спиртное. Я посидел в этой компании полчаса, выпил свою долю – две пиалки дрянной водки – и отправился домой спать. А к вечеру узнал новость, о которой записал в своем дневнике:

Значит, история с убийством такая. Утром еще один мужик (Т.), ему около 50 лет, решил купить мясо. Мясник, ему было около 60 лет, отказался продавать за таджикские рубли и потребовал российских. Первый мужик, видимо очень скандального характера (он поссорился как-то с отцом, украл у него деньги и сидел за это в

тюрьме, от него ушла жена), пошел в сельсовет и сказал председателю, что вот, мол, так и так, если не продаст мясо, убью. Аксакал [председатель сельсовета] *пообещал разобраться. А этот Т. где-то потом успел выпить (якобы его споил один из мужичков, с которыми я утром сидел в чайхане – и это мне теперь многие напоминают, что, конечно, не очень хорошо), вызвал мясника на улицу и ударил его ножом в шею и живот. Характерная деталь: когда медики приехали к убитому, рядом на улице совершенно никого не было (а это довольно людное место), и только когда стали его забирать, появились люди, а к вечеру там была уже целая толпа мужчин. Теперь здесь все только и говорят об этом убийстве да о таджикских деньгах. Кстати, у мясника, хотя и была жена, детей не было: жили убийца и убитый недалеко друг от друга.*

Причина конфликта была связана с введением в начале мая 1995 г. в Таджикистане собственной местной денежной единицы – рубл (в местном правописании без мягкого знака)[3]. Новые деньги по номиналу, цвету и рисунку были похожи на старые советские купюры, но меньше размером. По объявленному официальному курсу один рубл приравнивался к ста российским рублям. В середине мая этими новыми деньгами стали выдавать пенсии и часть (не более 50%) зарплаты, приблизительно 250-500 таджикских рублей на человека. Разумеется, такой суммой – примерно от 5 до 10 долларов США[4] – обеспечить домохозяйству весь наличный оборот было невозможно, а значит, все продолжали пользоваться российскими деньгами, что формально считалось незаконным. К этому надо добавить, что российский рубль сохранял свое значение в качестве основного средства платежа и потому, что пользовался спросом при торговле в Узбекистане и в других соседних странах (доллар был недоступен местному населению), тогда как таджикский рубл там мало кому был нужен.

На черном рынке рубл, не успев войти в обращение, тут же рухнул в два раза – за один рубл давали только пятьдесят российских рублей. Это стало причиной множества конфликтных ситуаций. Частные продавцы товаров и услуг не хотели терять половину своей выручки и поэтому, естественно, требовали платы российскими, а не таджикскими рублями. Покупатели товаров и получатели услуг вполне, как они полагали, справедливо, по закону, требовали принимать таджикские рубли по курсу, установленному государством. Такое противоречие между официальным курсом, утвержденным по со-

ветской привычке, и теневым, сложившимся стихийно, столкнуло интересы различных людей. В результате деньги, будучи, согласно политэкономическим законам, средством безличных рыночных отношений, оказались в плену локальных личных связей и представлений о справедливости.

Т., судя по рассказам, был человеком неуравновешенным, но, тем не менее, он действовал по логичной для опыта советского времени схеме: обратился к представителю власти, который в этой ситуации ничего не мог и не хотел делать, потом, поняв, что чиновники самоустранились, выпил спиртного и уже после того, получив все возможные моральные и физические допинги, набросился с ножом на обидчика. Я также предполагаю, что между соседями бывали и другие ссоры, если они не смогли решить вопрос о цене мяса полюбовно, а данный конфликт был лишь кульминацией прежних отношений.

Так или иначе, среди действующих лиц в цепи событий, которые привели к преступлению, оказался и я. Убийца выпивал в компании, которая образовалась и при моем участии, что не осталось незамеченным, – при обсуждении этой истории все упоминали данный факт. Через неделю-другую о происшествии уже не вспоминали, и, очевидно, оно никак не отразилось на моем общении с эскинцами, но все-таки несколько часов и даже дней я находился в некотором смятении и напряжении, не зная, каких последствий мне теперь ждать.

Таким образом, помимо собственного желания я оказывался замешанным во внутриэскинских процессах, о которых имел смутное представление и результатов которых не мог ни прогнозировать, ни предупреждать. Попав в поле, я влиял на своих информаторов и сам же попадал под их влияние. Меня использовали – иногда втемную, выставляя как щит или таран, мной манипулировали, вокруг меня разворачивались скрытые сражения и интриги. Не подозревая этого, я становился заложником изучаемых мной людей и обстоятельств.

Наблюдение за наблюдающим

Расскажу об одном маленьком приключении, чтобы завершить разговор о своем вхождении в поле и тех препятствиях или условиях, которые возникают на этом пути.

Это тоже было в июне – вот что я записал в дневнике:

Приехали на машине два мужика. Один ко мне подсел: “Вы откуда? Чем занимаетесь? Как живете?” Вроде бы обычный интерес. И вдруг: “Покажите-ка свой паспорт”. А сам кто такой – не гово-

рит. Нетрудно, впрочем, было догадаться – из местного КГБ. Я, конечно, паспорт дал, но сначала объяснил, что знаком с Ф. Ш. [напомню, он занимал большую должность в милиции]. *Это несколько охладило пыл. Потом было самое интересное. Мужик представился: "Я Мамадов, начальник районного КГБ. Если у Вас будут какие-то проблемы националистического характера, обращайтесь вот к нему", – и показывает на одного из врачей больницы (мы уже сидели у него в кабинете – я сначала не понял, зачем окончание разговора ведется при этом враче – он, кстати, молчаливый, и я о нем мало знаю). Может быть, меня приняли за агента Ташкента? Во всяком случае, волей-неволей местный начальник КГБ признался, что его беспокоят таджикско-узбекские взаимоотношения в районе. Любопытно, что он мне открыто показал своего внештатного сотрудника в Эски-кишлаке. Интересно только, этот начальник случайно заехал в эскинскую больницу (вроде бы искал доктора) или сделал вид, что случайно, а на самом деле проверял меня?*

Сейчас уже надо, наверное, объяснять молодому поколению, что Россия и Средняя Азия были когда-то одной страной. Начав в 1988 г. этнографические исследования в регионе, я ездил не в другую страну, а в свою – с одной и той же властью, с одной и той же идеологией, с теми же деньгами и с тем же социальным порядком. При этом существовали свои формальные и неформальные правила, согласно которым, например, приезжего из Москвы, из Академии наук, даже если это был всего лишь 25-летний начинающий ученый, принимали как важного гостя: на разных мероприятиях сажали на одно из самых почетных мест – вместе со стариками, местное начальство считало своим долгом пообщаться и оказать внимание. Среди населения ходили разговоры, что приезжие, которые выдают себя за этнографов и интересуются подробностями местной жизни, на самом деле - кагэбэшники. Помню анекдотический случай, когда один мой узбекский знакомый (это было в 1990 г.) спустя весьма продолжительное время, которое я жил в его семье, убежденно заявлял, что я на самом деле «из КГБ» и никакие мои опровержения не убедят его в обратном. Так или иначе, хотя формально аспирант или младший научный сотрудник из Москвы занимал низкую ступень в формальной социально-административной иерархии, – даже более низкую, чем многие местные жители, неформально он оказывался в роли «старшего брата», носителя символических властных полномочий, и получал целый ряд привилегий. Этот факт свидетельствовал о неинституциализирован-

ных диспропорциях в статусах, которые сохранялись в советское время. Впрочем, пожалуй, я был бы в похожем положении и если бы проводил исследования в российской глубинке.

В 1995 г. я попал в совершенно новую, непривычную для себя ситуацию[5]. Таджикистан стал независимым государством, появились границы, на которых проверяли паспорта и вещи, начали выпускать свои деньги. Здешние государственные институты больше не подчинялись Москве (хотя советский Центр все еще имел огромное влияние на Республику, поскольку на ее территории по-прежнему находились российские войска и значительная часть гуманитарной помощи шла из России). Старые привычки еще действовали, и отношения выстраивались по той же – похожей на колониальную – схеме, но все чаще мне приходилось оглядываться по сторонам и ловить себя на мысли, что я нахожусь в другой стране. Теперь я был не представителем того места, где сосредоточена верховная власть и принимаются решения и которое можно было бы назвать метрополией или Центром. Теперь я был чужаком, иностранцем, представителем государства, которое, как могли предположить местные чиновники, преследует собственные интересы, не совпадающие отныне с интересами независимого Таджикистана. При этом для локальной власти был еще важен вопрос, какое именно государство я представляю и какие задачи здесь выполняю.

Оптика

Войдя или входя (этот процесс вряд ли можно считать в какой-то момент законченным) в поле, я уже оказался в определенных отношениях с разными людьми и группами, какие-то из них были мне ближе, какие-то – дальше, с одними я мог найти контакт, с другими – нет. Вся эта конфигурация связей уже определенным образом направляла, помимо моей воли, исследовательские интересы, создавала определенную оптику видимого и невидимого, существенного и второстепенного.

Заметной частью моего круга общения в Эски-кишлаке, как я уже говорил, были учителя и врачи. Это объясняется, в частности, тем, что жил я при больнице и рядом с больницей, там меня знали, ко мне привыкли, там считали себя хозяевами, которые должны заботиться обо мне как о госте. Около больницы было своеобразное место сбора, где врачи и учителя, свободные от работы, могли посидеть, перекусить, сыграть в шахматы или в карты. И я часто проводил свой

досуг с ними, с азартом играл в шахматы и много общался, используя такую возможность для установления контактов. Шахматные баталии были удачным поводом для начала общения, так как никто не воспринимал наблюдение за игрой или участие в ней как вторжение чужака в их личное пространство – по умолчанию в игре могли участвовать все желающие.

Конечно, учителя и врачи, а в кишлаке их было, напомню, несколько десятков человек, – это люди, с которыми я мог почти свободно разговаривать по-русски. К тому времени я немного знал узбекский язык, мог вести какую-то простую беседу, задавать вопросы и понимать сказанное в ответ, мог следить за разговорами окружающих и читать не слишком поэтические тексты – к концу моего пребывания в Эски-кишлаке эти умения окрепли. Некоторое знание узбекского языка позволяло мне также демонстрировать свое желание сблизиться с людьми, преодолеть барьер недоверия. Передавая меня по цепочке знакомым и родственникам, мой очередной визави обязательно добавлял: «Он понимает, знает по-узбекски», что сразу настраивало разговор на более дружелюбный лад. И все-таки для более откровенного и более спонтанного общения, необходимого для вживания в местное общество, мне, разумеется, комфортнее было говорить по-русски. И это было вполне реально. Русский язык в советское время был обязательным предметом в школах, телевизионные программы шли на русском языке, русские или русскоязычные люди время от времени приезжали в кишлак, поэтому даже те жители Эски-кишлака, которые (к их числу относились в основном женщины) редко выезжали за пределы кишлака, в принципе кое-что понимали по-русски и могли сказать пару слов. Большинство же мужчин отслужили два, а кто и три года в армии, – как правило, где-нибудь в России, где они смогли свой школьный русский превратить во вполне сносный язык общения. Ну и, наконец, значительное число местных мужчин время от времени бывали в тех или иных городах, ездили торговать в Россию и имели множество других возможностей практиковаться в русском языке. Поэтому я почти не испытывал языковых трудностей в своем исследовании – в конце концов я использовал оба языка, подстраивая свои возможности к возможностям того человека, с которым доводилось говорить.

Преимущественное общение с учителями и врачами объяснялось еще и тем, что нас сближали близкий образовательный ценз, набор европейских манер поведения, привычка к интеллектуальным

разговорам, рациональное видение окружающего мира и натренированность представлять информацию в более систематизированном виде – все эти навыки приобретались в городской среде, через которую мы прошли. Мне легче и удобнее было задавать вопросы людям, которые уже научились смотреть на эскинское сообщество со стороны. Многие из этого образованного класса входили в число родственников председателя колхоза и остальных чиновников, поэтому можно сказать, что я общался с теми, кто олицетворяет или обслуживает власть. Правда, с самим председателем поговорить хотя и удалось, однако довольно формально и недолго, с некоторыми другими ключевыми фигурами и вовсе не было встреч – их собственный взгляд на себя и эскинское сообщество остался для меня если не полной загадкой, то более или менее вероятным предположением.

Мне, конечно, было гораздо труднее услышать иной язык описания Эски-кишлака, альтернативный языку образованного класса. Из круга моего общения совершенно выпала и другая часть местной элиты, которая создавала свой экономический капитал в советское время в теневых сферах – торговле и скотоводстве. Эти люди держались по привычке замкнуто, стараясь не афишировать свою деятельность и не вступая в контакты с теми, кого они могли рассматривать как потенциальную угрозу. В таких случаях я довольствовался лишь информацией, полученной со стороны.

Отчасти закрытой для меня оказалась и группа действующих исламских лидеров Эски-кишлака. Многие из них никак не шли со мной на контакт, и, хотя мы время от времени пересекались на каких-то мероприятиях, общения не получалось. Когда же я решился постучать в дом к одному из мулл и на правах гостя буквально вынудил его поговорить со мной – из этого ничего путного не вышло. Мулла в нарушение правил гостеприимства, которых в кишлаке обычно строго придерживаются, не пустил меня в дом. Это был неприятный момент, но поучительный. Я объясняю такое поведение этого человека даже не столько нарочитой отстраненностью от русского и немусульманина, сколько советской привычкой скрывать свою религиозность, а также тем, что в то время в Таджикистане шла гражданская война и подозрения в исламизме могли стать источником больших неприятностей. Мулла не очень представлял, кто я, зачем приехал в кишлак и чего от него хочу, поэтому предпочел нарушить нормы приличия, но не рисковать своей безопасностью. Я все же сумел провести несколько бесед с отдельными религиозными деятелями, с чле-

нами их семей, что позволило составить представление о жизни и деятельности этой группы эскинцев. Некоторый недостаток прямого общения с ними я постарался восполнить подробным расспросом обычных жителей Эски-кишлака об их собственных религиозных практиках и представлениях, об их отношении к разным исламским лидерам и к событиям, которые происходили в этой среде на рубеже 1980-1990-х гг.

Очень трудно было проникнуть в женский мир Эски-кишлака. Женщин можно было, конечно, встретить на улице, в школе и больнице или на празднике, но в этом пространстве существовали строгие правила, которые исключали возможность спокойного продолжительного разговора. Бывая в гостях в той или иной семье, я всегда попадал в рамки строгого этикета, согласно которому ее разнополые члены располагались в отдельных помещениях (любой двор имел внешнюю и внутреннюю части – ташқари и ичқари), что исключало участие женщин в общем разговоре. Только в семье Х., живя там постоянно, я мог более свободно наблюдать за поведением эскинских женщин и даже общаться с ними в непринужденной домашней обстановке. У меня были беседы и с другими, образованными женщинами, но в целом их мир остался для меня более закрытым, хотя мой предыдущий этнографический опыт – в других кишлаках, где мне доводилось подолгу жить в семьях, позволяет составить впечатление о роли женщин в местном обществе.

В советской этнографии, которая была ориентирована на реконструкцию прошлого, главными информаторами считались пожилые люди. Помню, во время этнографической практики мы, студенты, первым делом отправлялись в сельсовет, чтобы составить список жителей наиболее преклонного возраста, и затем отправлялись по их адресам – чаще всего такие встречи заканчивались разочарованием, так как подобные информаторы на деле мало что могли сказать вразумительного и не были готовы к долгому, изнурительному собеседованию. В Эски-кишлаке, история которой была одним из приоритетов моего исследования, пожилые люди, способные что-то вспомнить и рассказать, были для меня ценным подарком. Но, разумеется, я не ограничивал свое внимание стариками и людьми среднего возраста. Среди моих знакомых были и мои сверстники – молодые эскинцы двадцати-сорока лет, которые сами проявляли ко мне интерес и были инициаторами знакомства. Со многими из них у меня сложились почти приятельские отношения. Я мог, таким образом, узнать мнение

молодежи о тех или иных событиях, понять степень их компетенции, привязанности к кишлаку, готовности принимать или нарушать какие-то общепринятые нормы. В семье Х. я мог наблюдать и за детьми, их отношениями между собой и с родителями.

Кроме социальных, возрастных и гендерных барьеров, которые оставались важными факторами, затрудняющими исследование, существовали и другие сложности в общении. Значительное число местных жителей постоянно находились на работе, причем выезжали вниз – на хлопковые поля, и оставались там целыми днями; часть местных жителей на все лето выезжала за пределы кишлака – куда-нибудь на выселки по ущелью, в небольшие горные местечки около родников; были еще и чабаны, уходившие далеко в горы пасти скот. Общественный транспорт в 1995 г. работал плохо, бензин был дорогим, и жители практически не пользовались своими легковыми машинами. Выехать за пределы Эски-кишлака было для меня сложным предприятием, поэтому не получилось в достаточной мере, как хотелось бы, поговорить с жителями других мест, где жило много эскинцев. Разумеется, я сталкивался с этими людьми в самом Эски-кишлаке и несколько раз пешком путешествовал по соседним выселкам, где также успевал немного пообщаться с местным населением, переброситься несколькими словами, но завязать длительные, постоянные и доверительные отношения при таком режиме встреч не удавалось.

Все вышесказанное означает, что я не смог услышать полностью голос определенной части эскинского общества, голос людей, которые думают немного иначе, иначе дают оценки истории и нынешней ситуации, иначе выстраивают свои жизненные стратегии и выбирают тактику поведения. Впрочем, нельзя сказать, что диапазон голосов, мной услышанных, был узок и ограничивался исключительно образованными интеллектуалами. Парадокс в том, что история с К., который по какой-то причине неожиданно выставил меня из своего дома, привела меня в итоге в дом Х., который, как я уже говорил, относился как раз к очень простому классу, далекому от начальства, учителей или религиозных деятелей. Я постарался сдружиться с этой семьей, расспрашивал ее членов о жизни в кишлаке, о людях, которые живут вокруг, я каждый день наблюдал за их взаимоотношениями друг с другом и с родственниками и соседями, работал вместе с ними на приусадебном участке, ходил на туи, вникал, где они позволяли, в их проблемы. Я заглянул в уголки, откуда жизнь кишлака выглядела по-

особому – здесь многие нормы и правила соблюдались не так строго, но не по причине какой-то особой лояльности к советской идеологии, а скорее из-за простоты и непосредственности, характеризовавших быт этой семьи. Эти люди, в отличие от тех, кто вроде бы был мне ближе по статусу и привычкам, вели себя намного более открыто, что давало возможность наблюдать такие стороны повседневной жизни, которые представителями более образованного слоя прятались и цензурировались в присутствии чужака. Я часто слышал от Х. и его близких критические и даже иронические комментарии к событиям и фактам, которые другими воспринимались всерьез, что позволяло мне оценивать увиденное и услышанное с разных социальных позиций. Такой контраст был очень полезен и продуктивен для исследования.

Карта

В 1995 г., бродя в одиночку или кого-нибудь сопровождая, я чаще всего наугад передвигался по селению и по незримому лабиринту социальных сетей, сталкивался с разными людьми и наблюдал за разными ситуациями, что позволяло видеть эскинскую жизнь с разных углов зрения. Я рисовал свою собственную карту, с помощью которой ориентировался в существующих в этом сообществе социальных связях, обходя закрытые для меня места, и засиживаясь там, куда меня впускали. Эта карта вовсе не совпадала с теми картами, которые использовали сами члены сообщества, передвигаясь по социальному пространству кишлака. Я не обладал и не мог обладать всеми теми знанием и опытом, какими обладает любой местный житель, и тем более мне была недоступна вся совокупность этих знаний и опытов – то идеальное состояние, которого желает достигнуть этнограф и которого он, разумеется, никогда не достигает. Сколько бы я ни прилагал усилий, встречаясь с людьми и собирая новые интервью, моя собственная карта или картина – реконструкция на основе увиденного и услышанного – состояла из небольших фрагментов тех карт или картин, что находились в повседневном пользовании эскинцев.

Однако наивно было бы думать, будто стоило лишь найти какую-то одну «истинную» карту, известную местным жителям, и перерисовать ее, как сразу бы пришло понимание устройства данного сообщества. Взгляд любого из эскинцев не являлся нейтральным, а тоже отражал определенную структурную позицию, которую занимал

этот человек, его собственную конфигурацию связей, интересы, жизненный опыт, линию поведения по отношению к другим жителям кишлака. Все эти индивидуальные картины сложно назвать искажениями некой реальности, потому что одной такой реальности не было – существовало множество разных интерпретаций того, чтó она такое.

Для создания своей карты мне нужен был компас, т.е. вопросник, который вводил бы меня в пространство интерпретаций. Мой стандартный вопросник был настроен прежде всего на тему родственных связей собеседника – кто его братья, кто отец и братья отца, кто дед и братья деда, чем они занимались и занимаются (в какой-то момент я понял, что сам – а не мои информаторы – игнорирую женскую линию родословной, после чего стал расспрашивать также о матерях, бабушках, сестрах и дочерях). Такой опрос позволял формализовать и структурировать разговор, придавать ему логику и последовательность – ведь очень сложно было самому сохранять внимание и удерживать внимание собеседника, если не имеешь нити для беседы и не знаешь, чтó спросить в следующий момент[6]. Кроме того, при выяснении родственных связей я знакомился заочно и с теми людьми, с которыми не общался, создавал своеобразную картотеку на эскинцев[7], получал хотя бы самое приблизительное представление об их позиции в сообществе и мог потом использовать эту информацию в новых опросах.

В ходе выяснения родословной неизбежно возникали сюжеты, зацепившись за которые, можно было, уже по ходу беседы, перенаправлять разговор на новые темы. Чей-то дед оказывался аксакалом, чей-то отец – муллой, чьим-то родственником был бригадир или раис, у одного было необычное имя, у другого – прозвище, у третьего не было детей, и он взял на воспитание сына брата, кто-то имел несколько жен, кто-то уехал в Адрасман, кто-то стал учителем. Такого рода упоминания служили, при тактичном дирижировании беседой, вполне естественным поводом для более основательного проникновения в воспоминания и образ мыслей человека.

По мере того как число больших и маленьких (иногда на бегу) интервью и просто задушевных разговоров, предваряющих или завершающих интервью, увеличивалось, стало обнаруживаться, что большинство из них так или иначе между собой пересекаются – ссылками на определенные имена и события, которые, очевидно, были сквозными и в какой-то степени объединяли эскинцев. Повторя-

лись, к примеру, имена местного лидера басмачей, председателя сельсовета сталинской эпохи и история свержения последнего, рассказ о конфликте мулл в начале 1990-х гг. и т.д. Я решил именно эти имена и события сделать главными объектами своего исследования, после чего начал сознательно разворачивать разговоры с информаторами в интересующую меня сторону, добиваясь от них любых воспоминаний и просто суждений в связи с этими темами и одновременно сохраняя родословно-биографическую канву беседы.

Мне как исследователю хотелось услышать от местных жителей развернутые рассказы и объяснения, которые можно было бы пересказать и даже процитировать (хотя отсутствие звукозаписывающей техники не позволяло делать полноценной записи интервью). Я искал насыщенности, последовательности и ясности в такого рода нарративах, поэтому своими вопросами всячески провоцировал и подталкивал собеседников к тому, чтобы они создавали собственные интерпретации. Но для самих людей перечисленные критерии не были теми принципами, которыми они дорожили и которых придерживались. Для них скорее были важны половинчатость, двусмысленность и противоречивость, позволявшие более гибко реагировать на контекст коммуникации, на состав участников разговора, их социальный статус, манипулировать ожидаемыми и неожиданными эффектами. Даже умолчание являлось способом что-то сказать или дать понять, хотя, разумеется, для меня оно означало, что я пропущу какой-то знак, не прочитаю его и не положу в свою копилку фактов.

Кроме редких случаев, когда нарративы уже заранее были продуманы и сообщались мне в готовом и не раз проговоренном виде, я, как правило, общался с информаторами, которые путались в своих «показаниях», не могли, начав рассказ, подвести его к завершению и на полпути отклонялись в сторону. Немало было примеров, когда один и тот же человек, с которым я беседовал несколько раз, при каждой нашей встрече добавлял новые детали, а иногда полностью менял всю логику и аргументацию изложения. Нередко в отношении дат или каких-то других фактологических подробностей (кто? сколько? где?) информация от разных людей различалась, поэтому при написании текста я пользовался версией, которая выглядела – наверное, в зависимости от степени сложившегося у меня доверия к тому или иному собеседнику – наиболее правдоподобной.

Чтобы не оказаться в плену тех или иных интерпретаций, я старался не только разнообразить свое общение, но и наблюдать за тем,

что происходит вокруг меня, – непосредственное и не слишком заметное для окружающих участие в тех или иных событиях, «подглядывание», «подслушивание» и фиксация всего увиденного и услышанного были одним из способов понять, чтó информаторы не договаривают и не включают в свои нарративы. Я старательно ходил (и добивался приглашения) на свадьбы и поминки, много раз участвовал в ритуале чтения Корана. Вместе с членами семьи Х. я часами собирал урожай абрикосов и очищал их от косточек, помогал, чем мог, в других делах по дому, следил, что и как готовят, как ухаживают за детьми и стариками, что надевают и т.д. Мне, к сожалению, не удалось увидеть ни одного махалля-туя в самой Эски-кишлаке (пришлось их реконструировать во многом по ретроспективным описаниям), но я напросился в поездку со знакомыми в соседний Янги-кишлак, где местные выходцы из Эски-кишлака решили организовать свой собственный махалля-туй – пиршество было внеплановым и устраивалось в июле, а не зимой потому, что его организаторы хотели успеть провести праздник, пока был жив глава семьи – буквально доживавший последние дни старик. Тогда я почувствовал все «прелести» жизни в степи, где жара достигала 50 градусов и приходилось дышать буквально раскаленным воздухом. Неудачной оказалась моя попытка в августе совершить с компанией медиков восхождение к вершине горы, где находится почитаемое святое место: не выдержав интенсивной нагрузки во время ночного подъема в гору, я с огорчением вынужден был повернуть обратно и на спуске, в абсолютно кромешной тьме, опасно подвернул ногу – эта история для местных жителей не прошла незамеченной, и они напомнили мне о ней в 2010 г., полагая, видимо, что «святой», охраняющий гору, «не пустил» меня к себе.

В любой компании я пытался понять, о чем присутствующие говорят, какие темы обсуждают, каких людей упоминают, чтó их волнует и радует. Я стремился получить представление о жизни Эски-кишлака не только из рассказов, но и в процессе соучастия в этой жизни. Впрочем, при всем расхождении интерпретаций и практик, в чем всегда полезно убеждаться на собственном опыте, те и другие тем не менее существовали в неразрывном единстве. Увиденное и услышанное требовало получения каких-то объяснений и комментариев у местных жителей, иначе многое из того, что происходило в кишлаке, осталось бы мной как минимум не понятым, а может, и во-

все не увиденным (поскольку делалось непублично или даже в тайне).

Этика в поле

Сбор материалов по мере погружения в жизнь Эски-кишлака поставил передо мной проблему их дальнейшего использования. Многие данные касались личной жизни, судеб отдельных людей и целых семей. Довольно большой объем информации я почерпнул в неформальных разговорах, когда мои собеседники, привыкнув ко мне, рассказывали какие-то истории и давали свои оценки, уже не задумываясь над тем, чтó я буду с этим делать. Некоторые истории были посвящены местным дрязгам и склокам, и одни персонажи в них приукрашивались, а другие, напротив, демонизировались.

Я, конечно, не предупреждал каждого своего собеседника перед каждым разговором с ним, что все им сказанное может быть использовано мной для своих (научных) целей. Мне важно было вызвать людей на откровенность и добиться от них доверия, сократить социальную и культурную, даже личную дистанцию между нами как раз в надежде на то, что это откроет мне доступ к большему объему разнообразной информации. Да и было бы просто глупо, проживая в селении не один месяц и имея хорошие отношения со многими членами местного сообщества, любые контакты и любые попытки доверительной коммуникации формализовать, словно речь шла о допросе у следователя, – такое поле теряло всякий этнографический смысл.

Вместе с тем я, конечно, ни от кого не скрывал, что занимаюсь в кишлаке изучением его истории, местных обычаев, того, как эскинское население живет. Я специально не вводил окружающих в заблуждение, старался объяснить свои цели при первой же встрече и не отмалчивался, когда меня спрашивали об этом. Другое дело – как разные эскинцы воспринимали меня и мои слова, могли ли они, не имея достаточного представления о научной деятельности, четко осознать те потенциальные риски, которые неизбежны, когда отвечаешь на вопросы постороннего человека. Предполагаю, что часто мои информаторы, включив меня в свой повседневный мир, переставали отдавать себе отчет в том, чтó я здесь делаю и какие цели преследую. Этика приема гостя, интерес к новому человеку и возникавшие личные симпатии заставляли их порой наивно говорить о том, о чем, с моей точки зрения, они вряд ли были бы готовы сказать публично. Подобную ситуацию можно сравнить с обманом, но тогда этнографи-

ческая работа в поле по определению – из-за неизбежной разницы в мировосприятии исследователя и исследуемых – несет на себе печать невольного обмана. Надо признаться, что полевое исследование само по себе – ненормальное явление. Человек, который постоянно что-то выпытывает, ходит из дома в дом, без разбора набивается в гости и в приятели, ведет себя неправильно – и с точки зрения своего привычного образа жизни, и с точки зрения изучаемого сообщества. Но для того, чтобы нормализовать эту ситуацию, этнограф вынужден – произвольно или непроизвольно – закрывать глаза на неприятные моральные вопросы и подозрения, забывать о такого рода неправильности поведения.

По возвращении из поля я размышлял над вопросом, стоит ли шифровать название селения и имена людей, в нем проживающих, чтобы смягчить тот непредумышленный урон, который моя книга могла бы им нанести. Сложность в том, что, оперируя большим количеством архивных документов, ссылками на публикации и постоянно обращаясь к деталям местной географии и местной истории, скрыть название кишлака было невозможно. А это в свою очередь делало в значительной мере бессмысленным шифрование имен. Для читателя, который никогда не был и не будет в Эски-кишлаке, нет никакой разницы между реальными и выдуманными именами. Для читателя же, который бывает в кишлаке или живет там, вряд ли станет секретом, о ком на той или иной странице идет речь. Тем не менее, в некоторых случаях я решил спрятать фигуры конкретных людей за инициалами – следуя правилу, что не все, даже известные факты, можно называть своими именами.

Выход и возвращение

На протяжении всех пяти месяцев, которые я жил в Эски-кишлаке, меня охватывало то лихорадочное стремление собирать все новые и новые факты и расширять список опрошенных, то полное отчаяние, когда становилось очевидным, что всего не узнаешь и всех не опросишь, из-за чего не хотелось двигаться и было только одно желание – хотя бы немного осмыслить, привести хоть в какой-то порядок то, что уже собрано. Должен сказать, что такое постоянное напряжение, невозможность до конца расслабиться сильно утомляли и психологически истощали меня. К этому можно добавить фактически полную оторванность от семьи, друзей и коллег (стационарная телефонная связь с внешним миром в кишлаке не действовала, а мо-

бильных телефонов тогда еще не было). Значительные бытовые неудобства и непростые отношения с местными жителями, накапливавшаяся физическая и моральная усталость заставляли меня с радостью думать о приближающемся отъезде из кишлака. Романтический настрой и чувство долга перед этнографической наукой, с которыми я приехал в поле, через неполных полгода – срок, надо признаться, не такой уж и большой – почти полностью иссякли.

Сейчас я думаю, что среди факторов, выталкивавших меня из поля, был еще один, который можно назвать этнографическим парадоксом. Чем дольше я жил в кишлаке, чем подробнее становилась моя карта, с помощью которой я ориентировался в местном сообществе, чем больше я узнавал о его жителях, чем больше накапливал успехов и неудач в отношениях с ними и чем эти отношения оказывались плотнее – тем короче становилась дистанция между мной как исследователем, с одной стороны, и объектом моего исследования – с другой. Цель максимально раствориться в иной культурной и социальной среде – составляющая кредо этнографа! – на деле оборачивалась тем, что я переставал быть исследователем, глаза «замыливались», пропадало чувство новизны и экзотичности того, что я вижу, которое обеспечивало некоторую отстраненность и одновременно делало четкими очертания исследуемых явлений. Наверное, я все лучше узнавал и чувствовал окружающий меня мир, но такое знание становилось скорее практическим, чем аналитическим. Единственным способом избежать превращения из ученого в местного жителя, который проживает, а не анализирует свою жизнь, являлись выход из поля и восстановление необходимой дистанции.

Если вход в эскинское сообщество был трудным и сопровождался разного рода терзаниями, то выход произошел совершенно безболезненно. Я просто сел со своей сумкой в машину и, сделав ряд пересадок, через несколько часов был в Ходженте. После этого все мои связи с жителями Эски-кишлака прервались. Перед отъездом я попрощался с теми, кого успел увидеть. Х. и пара его знакомых, которых я хорошо знал, организовали для меня прощальный обед. Все было трогательно, но и достаточно обыденно – эскинцы были озабочены своими повседневными проблемами, и мое исчезновение, как и пребывание в кишлаке, прошло, кажется, если и замеченным, то без какого-либо острого внимания к моей персоне.

В 2010 г., спустя пятнадцать лет, я вернулся в Эски-кишлак. Это была неожиданная для меня самого поездка, связанная с новыми ис-

следованиями. Я не планировал ее заранее и даже боялся возвращения – меня пугало, что оно разрушит уже сложившееся и окрепшее за полтора десятилетия мое представление о кишлаке. Вдруг я увижу что-то по-другому, вдруг увлекусь выяснением подробностей, которые не смог узнать в 1995 г., вдруг окажется, что собранная мной информация была неверной? Я боялся, что новая поездка в Эски-кишлак заставит меня переписывать и дописывать книгу, т.е. вынудит опять отложить на неопределенное время ее публикацию.

Все эти страхи, видимо, имеют в своей основе недоверие к собственной полевой информации, понимание, «из какого сора» складывается книжная картинка, которая потом нехитрыми риторическими приемами превращается в концепции и теории. Читая записи в дневнике (плюс архивные материалы и публикации), разглядывая фотографии, пытаясь восстановить в памяти эмоции, которые я ощущал в 1995 г., я отчетливо видел все разрывы и пробелы в собранных материалах. Однако за полтора десятилетия выжидания вся эта полевая информация превратилась в самодостаточный текст, разложенный по полочкам, классифицированный, очищенный от излишеств, противоречий и субъективизма, расцвеченный, насколько получилось, умными словами, украшенный ссылками на научные авторитеты. Пятнадцати лет было достаточно, чтобы заставить себя забыть или оттеснить на задний план все сомнения, неувязки, недоделки, несостыковки. Теперь эту информацию можно было использовать, приписывая ей смыслы и интерпретации и входя с ними в академическое пространство с его специфическими правилами и конкурентной борьбой. Теперь можно было сконструировать свой образ Эски-кишлака и представить его в качестве научного, а значит, правильного и окончательного. Возвращение же в Эски-кишлак, казалось мне, нарушит уже состоявшееся примирение с тем, что происходило со мной в 1995 г., сделает явными недостатки полевой работы, обнаружит новые пробелы и неточности, вновь породит сомнения[8].

На самом деле все прошло довольно благополучно. Эскинцы встретили меня очень приветливо. На этот раз быстро удалось найти комнату в частном дворе, легко восстановились многие знакомства – люди обо мне не забыли и сразу шли на контакт. Местные жители уже не были придавлены страхом и тяжелыми заботами – они с удовольствием звали к себе в гости, тратили много времени на то, чтобы сопровождать меня, и всячески мне помогали. Я буквально с утра до вечера проводил время в разговорах, и, пожалуй, интенсивность мое-

го общения была намного выше, чем в предыдущее пребывание в кишлаке.

Совсем другой – намного более открытый и гостеприимный прием я объясняю целым рядом изменений, которые произошли за пятнадцать лет. Во-первых, в целом стабилизировалась ситуация и в Таджикистане, и в Эски-кишлаке. Это не означает, что жить стало легче, или что новое государство успешно развивается. Наоборот, практически все прежние локальные институции (колхоз, больница, школа) деградируют, зарплаты остаются на крайне низком уровне, созданные в советское время базовые инфраструктуры изнашиваются и приходят в негодность. Тем не менее, люди адаптировались к такой ситуации, приняли ее как данность и научились планировать свое будущее и зарабатывать на жизнь в условиях экономического упадка. Благодаря, в первую очередь, трудовой миграции в Россию (в каждой семье один-два человека работают за границей) у жителей Эски-кишлака появились личные средства для того, чтобы как-то наладить и даже улучшить качество своей жизни, сделать ее повседневный ритм более предсказуемым[9]. Соответственно, восстановились, пусть и в новой конфигурации, социальные иерархии и заработали различные ритуалы, связанные с демонстрацией благополучия, а также опять возник интерес к приезжим.

Во-вторых, изменился мой собственный – возрастной и социальный – статус. Если в отношении к молодому человеку, пусть даже из Москвы, оставалась некоторая неопределенность – в каком качестве его воспринимать, какую роль ему приписывать и как себя с ним вести, то по отношению к доктору наук такая неопределенность уже практически исчезала. Значительное число моих прежних пожилых собеседников умерли, а возрастная разница с большинством новых собеседников была уже не слишком критической. К этому можно добавить, что я вернулся в Эски-кишлак не как новичок, который ничего не знает о местной жизни, а как человек, который мог ориентироваться в локальных отношениях, знал ключевые события и имена, был способен сразу переходить к важным деталям, минуя предварительные этапы знакомства, которые в 1995 г. порой сильно затягивались и были мучительной, но неизбежной частью притирки к полю.

Трансформации в конфигурации власти и памяти, в моем статусе и в практиках коммуникации по-новому определили мое место и мою роль внутри поля и открыли в нем участки, ранее от меня закрытые.

Одним из последствий всех этих изменений стало, в частности, более близкое знакомство с семьей влиятельного председателя колхоза И.Х. Я заранее познакомился с его зятем – Ф.А., бывшим председателем района, – и очень рассчитывал взять у раиса новое интервью. Но получилось так, что И.Х. умер незадолго до моего приезда в Эски-кишлак. Я смог только довольно тесно пообщаться с его близкими родственниками и присутствовать на поминальных мероприятиях. Настороженность и дистанция, которые я явственно чувствовал в 1995 г., на этот раз не ощущались и я смог взглянуть на многое в эскинской жизни глазами людей, которые в 1970-1980-е гг. составляли высшую элитную группу в кишлаке. Мне удалось также встретиться с некоторыми эскинскими муллами, «потомками святых», со смотрителем местного мазара (святого места), у которого я скопировал интересные документы, посмотреть и сфотографировать мазар ходжей. Такие встречи значительно умножили мои прежние сведения об этой категории эскинцев. В этот приезд я за десять дней успел побывать в соседних селениях, где взял несколько интервью, попутешествовал по окрестностям Эски-кишлака. Новые технические возможности – а теперь у меня были цифровой фотоаппарат и диктофон – заметно пополнили имеющийся в моем распоряжении видеоряд Эски-кишлака (обеспечив меня, в том числе, материалом для нового – десятого – очерка) и дали возможность записать прямую речь информаторов[10].

Открытие новых оптик – даже в течение очень короткого срока – конечно, привело к уточнению и существенному дополнению моих прежних материалов, но все равно не вызвало радикального пересмотра прежней социальной и ментальной карты Эски-кишлака, которую я нарисовал в 1995 г. Таким образом, можно сделать вывод, что даже самый субъективный, самый односторонний и самый неполный взгляд, которым обладает этнограф, в состоянии схватить наиболее существенные черты изучаемого сообщества и позволяет более или менее плодотворно ориентироваться в сложном и противоречивом переплетении его взаимосвязей.

* * *

Во введении к книге «Культура, власть, место: Изыскания в критической антропологии», изданной в 1997 г., американские антропологи Акил Гупта и Джеймс Фергюсон подвергли критическому анализу ряд понятий, составляющих фундамент этнографической методологии [Gupta, Ferguson 1997a]. Главной жертвой их деконструкции

стало понятие культуры как отдельной семиотической системы или отдельной общности (ассоциируемой с народом, племенем, нацией и т. д.), на которые делится человечество и которые являются объектами изучения и сравнения между собой. Гупта и Фергюсон предложили увидеть мир более подвижным, менее устойчивым и жестко не фиксированным, одновременно они предложили анализировать культуру как процесс воображения и совокупность отношений господства-подчинения [Gupta, Ferguson 1997б]. В рамках этой критики авторы поставили под сомнение понятие места, в котором заключена культура, или пространственной территориальности в качестве обязательного атрибута культуры.

Логичным продолжением такой деконструкции стала критика Гуптой и Фергюсоном понятий «локальность/ месторасположение» (locality) и «община» (community) – традиционных мест и объектов этнографических полевых исследований. Эти места или объекты никогда не были просто даны изначально, а создавались дискурсивно и исторически, т.е. возникали в результате усилий как местных жителей, так и государства и других акторов, включая историков, краеведов и этнографов. Понятия локальности и общины, пишут авторы, создавались нагруженными восприятием их в качестве природных и аутентичных в сравнении с искусственным и внешним глобальным миром [Gupta, Ferguson 1997a: 7]. Локальное обычно связывается с традицией, а глобальное – с модернизацией, поэтому их взаимодействие рассматривается как влияние одного на другое и ответное сопротивление. Гупта и Фергюсон призывают отказаться от этой дихотомии и обратиться, например, к изучению миграций и средств коммуникации, которые, как и путешествия этнографов, переопределяют заново восприятие общины.

Другая совместная статья тех же авторов – «Дисциплина и практика: "Поле" в антропологии как место, метод и местоположение» – посвящена развитию критики этнографического поля как места [Gupta, Ferguson 1997в]. Вся этнографическая риторика о входе в поле и трудностях, с этим связанных, и о выходе из него, о страданиях и героизме полевика, об изучении местных языков и длительном проживании в поле, об обряде перехода, который исследователь в поле переживает, о дистанции между полем и домом, где он вспоминает, что́ ему довелось испытать «там», – все это уже содержит в себе образ поля как отдельного и изолированного другого/ чужого мира, экзотичного и даже отсталого, а потому требующего изучения. «Идея

иного, несхожего, – пишут Гупта и Фергюсон, – играет ключевую роль в ритуале полевых исследований» [Gupta, Ferguson 1997в: 16].

Вместе с критикой американские антропологи предлагают переосмыслить заново и оживить разные формы полевой работы: «Отказываясь от образа проторенной дороги, ведущей к всестороннему и целостному постижению "другого общества", этнография все более явно начинает предпочитать гибкую и открытую стратегию, усложняющую наше понимание различных стран, народов и их судеб, которая обеспечивается более пристальным вниманием к различным формам знания, получаемого из разнообразных социальных и политических источников (locations)…» [Gupta, Ferguson 1997в: 37]. Авторы призывают перестать видеть поле только как небольшую деревню, населенную иноязычными жителями с диковинными обычаями, а полевика – как белого мужчину американо-европейского происхождения, принадлежащего к среднему классу. Они напоминают, что современные антропологи играют разные гендерные, социальные и культурные роли и, соответственно, имеют разные представления о том, что́ и ка́к следует изучать. Они ищут новые вопросы и темы, обращая внимание на разные виды движения (миграция, беженцы, внутригородские передвижения), неукорененности (бездомные, пригороды), обезличенных (медиа, виртуальные пространства) и непостоянных (магазины, офисы, аэропорты) отношений и т.д.

Все эти рассуждения американских антропологов созвучны моему опыту и моим выводам, которые я получил во время исследования в Эски-кишлаке и в процессе работы с полученными там материалами. Они точно формулируют те ограничения, которые возникли в поле, и те новые вопросы, которые ждут если не разрешения, то изучения и анализа. Должен признать, что в своем исследовании в 1995 г. я обратил, видимо, не слишком большое внимание на те же миграции. Я не игнорировал эту тему вовсе и, конечно, наблюдал, как эскинцы постоянно перемещаются между разными селениями, входящими в сельский совет/ джамоат Эски-кишлак, как они мигрировали и мигрируют за пределы джамоата, создавая иногда целые анклавы выходцев из кишлака в соседних селениях и поселках. Я видел, что с миграцией существенно изменяются многие социальные связи, культурные привычки, идентичности. Однако сам я жил довольно изолированно в одном кишлаке и был ограничен в передвижении – в том числе из-за экономического кризиса начала 1990-х гг., о чем уже упоминал. Мое внимание было приковано к месту, если пользоваться

словами Гупты и Фергюсона, как к центру социального пространства, что, возможно, создавало иллюзию жесткости локальных границ. Видимо, кризис и идущая в начале 1990-х гг. в Таджикистане гражданская война сами усиливали эту жесткость локальности, временно снижали влияние внешних воздействий и отношений, вынуждая и меня ограничивать мой обзор.

Такой перекос стал особенно для меня очевиден в 2010 г., когда я узнал, что тысячи эскинцев, главным образом молодых мужчин (хотя и не только их), мигрировали в Россию и в другие страны для заработка. Многие из них оказались в Москве, сократив или даже уничтожив для меня дистанцию между полем и моим собственным домом. Хотя в 1995 г. столь массовой миграции еще не было, это не означает, что она была совершенно новым явлением. Чем-то похожим на нынешнюю миграцию была, например, военная служба в советское время, когда те же молодые люди на протяжении нескольких десятков лет регулярно перемещались в Европейскую Россию или в Сибирь, где жили два-три года, осваивали новые практики и идентичности – некоторые оставались и на более длительные сроки. Если добавить к этому учебу, торговую миграцию, путешествия в отпуска и т.д., то картина передвижений эскинцев в недавнем прошлом будет не менее впечатляющей, чем сегодня. К сожалению, я могу лишь обозначить это явление, но не анализировать более детально.

Другая тема, к которой, наверное, я присмотрелся бы пристальнее, если бы начинал свое исследование сейчас, – материальное, символическое и виртуальное пространства Эски-кишлака. Какие вещи, архитектурные формы, материалы и образы (фотографические или художественные) наполняют мир людей, живущих в кишлаке? Какова история этих предметов и образов, как они циркулируют в местном сообществе? В центре внимания мог бы оказаться вопрос о музеях, посредством которых разные группы Эски-кишлака пытаются осмыслить и представить «эскинскость» (в 2010 г. в Эски-кишлаке было два музея – в здании сельсовета/ джамоата и в одной из школ). Или, например, вопрос об именованиях и переименованиях (улиц, школ, новых выселков). Сейчас бы меня увлекла тема о том, как эскинцы представляют себя в своих жилых пространствах, в частности в гостиных, – какими вещами и изображениями они их населяют, как наделяют вещи смыслами и функциями (характерный пример – в гостиной ставят стулья, которые используют чаще всего не по прямому назначению, а для демонстрации европейскости/ продвинутости). Ис-

следование Эски-кишлака могло бы затронуть вопросы сосуществования узбекского, таджикского и русского языков – как с их помощью маркируются жилища, публичные места, официальные помещения. Или, может быть, я понаблюдал бы за тем, чтó представляет собой местная кухня и как в рационе питания отражаются социальные и символические изменения. Читатель, я уверен, может и сам пофантазировать и найти множество других объектов, которые было бы интересно изучить.

Еще одна тема, почти полностью выпавшая – не из моего поля зрения, но из моего исследования и текста, – это воздействие печатного слова или скорее даже телевизора и кино на людей. В каждом эскинском доме в 1995 г. был телевизор и все члены семьи собирались около него по вечерам, чтобы посмотреть новости узбекского телевидения, индийский фильм или бразильский сериал по российскому каналу, принять виртуальное участие в политических дебатах или нескончаемых мелодраматических перипетиях взаимоотношений южно-американских телегероев. В том же году повсеместно распространилась мода на видеомагнитофоны, которые открывали неограниченные возможности для просмотра любых видеожанров – от боевиков и фильмов о мафии до спортивных программ и порнографии. В советскую эпоху документальные хроники и художественные фильмы, которые демонстрировались в клубе и в телевизионных приемниках, давали более бедный видеоряд с сильным пропагандистским содержанием, но в свое время сам факт их появления открыл для эскинцев другой мир и новые перспективы, новые образцы поведения, выбора одежды и т.д., что, конечно, было переворотом в сознании и самовосприятии жителей отдаленного горного селения.

Я писал об учителях и школах, но, конечно, эта тема должна была быть представлена намного полнее. Школьная дисциплина, разного рода школьные практики и ритуалы, отношения между школьниками разных полов и возрастов, а также учителей между собой и т.д. – все это влияло на эскинское сообщество не меньше, а даже больше, чем та же больница, которой я посвятил целый очерк.

Если бы я проводил исследование в 2010, а не в 1995 г., то мог бы, наверное, написать о волейболе, который стал в Эски-кишлаке чрезвычайно популярным, публичным и социально значимым видом спорта. Или о мобильных телефонах, которые к 2010 г. сформировали в кишлаке новые практики обмена информацией, установления, поддержания или разрыва связей. Или о приватизации созданной в со-

ветское время экономики, о том, какую роль играют неправительственные организации и международные инвестиции в переустройстве социальных иерархий. Вероятно, я обратил бы внимание на выходцев из Эски-кишлака, которые уже сумели устроить свою жизнь не только в Ходженте, Душанбе или Ташкенте, но и в России, Европе, США. Не исключено, что я действительно напишу об этом когда-нибудь – или кто-то другой возьмется за такое исследование, может быть даже из числа самих эскинцев.

В 1995 г. я изучал то, что видел тогда. Мое видение было ограничено моими способностями как полевика, а также состоянием самого поля – его напряжением в момент кризиса и сопротивлением внешнему взгляду/ контролю. Возможно, я шел на поводу у своих интересов и заблуждений, а возможно, мой путь направляли интересы и заблуждения моих собеседников. Парадокс в том, что в силу своей роли этнограф обречен идти в поле, чтобы искать там материал для своих реконструкций, обречен ссылаться на поле как на точку отсчета в своей деятельности – именно полем по-прежнему испытываются и утверждаются в этнографическом сообществе его компетенция и авторитет. Точно так же этнограф обречен на то, чтобы его реконструкции были поставлены под сомнение (им же самим или кем-то другим), чтобы поле оказалось в итоге всего лишь недостижимым идеалом, на практике же – мучительной и неблагодарной работой, а нередко – средством вольных или невольных манипуляций и подтасовок. Вырваться из этого замкнутого круга, оставаясь в научном и дисциплинарном пространстве, нельзя – можно лишь осознать задачи и ограничения и попытаться действовать в имеющихся обстоятельствах.

Примечания

*[1] Работа выполнена в рамках проекта «Антропология академической жизни как новаторская практика этнографического описания и этнологического понимания» по программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» и представляет собой сокращенный вариант одной из глав книги, которую я готовлю об этом селении. В книге будут раскрыты его названия и многие имена героев этой статьи.

[2] Имеется в виду большой пир, который устраивается по случаю обрезания [см.: Абашин 1999]. В Эски-кишлаке туй имеет ряд особенностей, которые будут обсуждаться в подготовленной к изданию книге.

[3] Позднее была осуществлена новая денежная реформа и введены в оборот новые купюры – сомони.

[4] Один доллар США в мае 1995 г. стоил примерно 5000–5100 российских рублей, к августу его курс снизился до 4400–4450 рублей.

[5] Антрополог Рассел Занка, который проводил исследование в начале 1990-х гг., описывает свой «американский» опыт пребывания в постсоветском Узбекистане: [Zanca 2011].

[6] Другой темой моих опросов поначалу было описание ритуалов, в первую очередь махалля-туев, что также позволяло как-то структурировать общее представление об истории кишлака и его социальной композиции.

[7] В более ранних своих поездках в другие кишлаки Ферганской долины я в качестве картотеки использовал похозяйственные книги, которые велись в сельсоветах. В Эски-кишлаке я тоже обратился к таким книгам, но расхождения между зафиксированной в них информацией и реальностью оказались настолько существенными, что пользоваться ими в качестве картотеки не получилось.

[8] Могу сослаться на другие случаи повторного посещения поля с анализом как произошедших изменений, так и первоначального опыта: [Abu-Lughod 1999; Humphrey 1998].

[9] К слову, члены семьи Х. (сам он к тому времени умер), которые в 1995 г. числились бедняками и аутсайдерами, одними из первых в кишлаке освоили путь трудовой миграции и к 2010 г. существенно поправили свое социальное положение, заметно поднявшись по иерархической лестнице.

[10] Наличие доступной мобильной связи облегчило мне координацию передвижений по кишлаку, обеспечило постоянную связь с Москвой и даже выход в Интернет. К слову, мобильные телефоны сильно повлияли на само эскинское сообщество, что могло бы стать предметом отдельного исследования.

Библиография

Абашин 1999 – Абашин С.Н. Вопреки «здравому смыслу»? (К вопросу о «рациональности/ иррациональности» ритуальных расходов в Средней Азии) // Вестник Евразии. 1999, №№ 1-2 (6-7). СС. 92–112

Гирц 2004 – Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры» // К. Гирц. Интерпретация культур. М.: РОССПЭН, 2004. СС. 9–42

Соколовский 1993а – Соколовский С.В. Этнографические исследования: идеал и действительность // ЭО. 1993, № 2. СС. 3–13

Соколовский 1993б – Соколовский С.В. Этнографические исследования: идеал и действительность // ЭО. 1993, № 3. СС. 3–14

Тишков 1992 – Тишков В.А. Советская этнография: преодоление кризиса // ЭО. 1992, № 1. СС. 5–19

Abu-Lughod 1999 – Abu-Lughod L. Preface to the Second Edition // L. Abu-Lughod. Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society. Updated Edition with a New Preface. University of California Press, 1999. PP. XI–XXVII

Asad 1998 – Asad T. Introduction // Anthropology and The Colonial Encounter / T. Asad (ed.). NY: Humanity Books, 1998. PP. 9–19

Bourdieu 2003 – Bourdieu P. Participant Objectivation // Journal of the Royal Anthropological Institute. 2003, vol. 9, № 2. PP. 281–294

Gupta, Ferguson 1997а – Gupta A., Ferguson J. Culture, Power, Place: Ethnography at the End of an Era // Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology / A. Gupta and J. Ferguson (eds.). Durham, NC: Duke University Press, 1997. PP. 1–29

Gupta, Ferguson 1997б – Gupta A., Ferguson J. Beyond «Culture»: Space, Identity, and the Politics of Difference // Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology / A. Gupta and J. Ferguson (eds.). Durham, NC: Duke University Press, 1997. PP. 33–51

Gupta, Ferguson 1997в – Gupta A., Ferguson J. Discipline and Practice: «The Field» as Site, Method, and Location in Anthropology // Anthropological Locations. Boundaries and Grounds of a Field Science / A. Gupta, J. Ferguson (eds.). University of California Press. 1997. PP. 1–46

Humphrey 1998 – Humphrey C. Preface to New Edition // C. Humphrey. Marx Went Away – But Karl Stayed Behind. Updated Edition of Karl Marx Collective: Economy, Society and Religion in a Siberian Collective Farm. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1998. PP. VII–XXII

Writing Culture 1986 – Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography / J. Clifford and G.E. Marcus (eds.). University of California Press, 1986

Zanca 2011 – Zanca R. Life in a Muslim Uzbek Village: Cotton Farming after Communism. Wadsworth, Cengage Learning, 2011

Дина Писаревская

Особенности полевого исследования в мегаполисе: от этнической жизни к стилю жизни*

При проведении полевого исследования в городе проживания важно не только грамотно расставить акценты между перспективой «инсайдера» и «аутсайдера». Может получиться и так, что теоретические посылки применительно к объекту изучения изменяются, и исследователь начинает смотреть на проблему с иного ракурса. Подсказывать новые подходы может само поле, а может и современная литература по данной тематике. Казалось бы, банальные истины, но посмотрим, как это отражается в исследовательской практике и в рефлексии исследователя на конкретном примере – в данном случае это будет изучение еврейской молодежи в Москве.

В современном мире один и тот же человек может быть участником нескольких субкультурных сообществ и приверженцем нескольких стилей жизни. Если раньше сообщества можно было идентифицировать по определенной модели поведения их участников, по их одежде, прическе и аксессуарам, по их любимому музыкальному стилю, то сейчас четкие границы разрушаются в рамках общей тенденции к разнообразию. Каждый может выбрать для себя свой собственный набор артефактов из общего «супермаркета стилей», в котором каждый элемент можно комбинировать с любыми другими [Hodkinson 2002: 38]. Принятие этой теоретической позиции создает определенные сложности при изучении современных молодежных сообществ. Больше не удается строить предположения о принадлежности молодого человека к субкультурному сообществу, руководствуясь какими-либо внешними проявлениями, поскольку число возможных интерпретаций будет слишком велико [Muggleton 1997: 192]. Известная исследовательница британской клубной культуры Сара Торнтон отмечает, что даже если участники какой-либо группы (например, посетители британских клубов в начале 1990-х годов) признают свою принадлежность к ней, они подчеркивают, что их вкусы индивидуальны и скорее отличаются от вкусов других носителей этой культуры, чем подчиняются групповым нормам, а сама группа также гетерогенна [Thornton 1995: 99]. Все это позволяет сделать вывод о том, что современные субкультуры скорее можно определить с помощью слова «разнообразие», чем искать в них четко

определенные границы [Muggleton 2000: 75], и среди исследователей ведутся дискуссии о новых подходах в рамках «Post-subcultural Studies» в связи с тенденцией пересмотра понятия «субкультура» [Weinzierl, Muggleton 2003]. Участников какого-либо конкретного сообщества по интересам скорее можно назвать приверженцами определенного стиля жизни, нежели носителями субкультуры. При этом границы размыты и во времени: человек может совмещать несколько жизненных стилей либо переходить от одного жизненного стиля к другому, более для него интересному.

В 1997 г. британский антрополог Р. Дженкинс писал в статье «От племен к этническим группам» о том, что начиная с 1960-х годов слово «племя» (*tribe*) стало сменяться более нейтральным и не вызывающим ассоциаций с колониальной эпохой термином «этническая группа» [Jenkins 1997]. В то же время слово *tribe* вновь вернулось в научный дискурс, однако в новом, постмодернистском значении. М. Маффесоли в 1996 г. пишет о тенденции роста маленьких групп и сетей и о растущем отделении от абстрактной общей публичной сферы [Maffesoli 1996: 40; 46]. В таких сообществах – «нео-трайбах» (*neotribes*) – наблюдается недостаток индивидуализма. Они, в рамках постмодернистской парадигмы, не имеют четкой социальной структуры, обладают текучестью, носят временный характер и, в свою очередь, могут делиться на более мелкие фрагменты. Они основаны на эмоциях, которые сближают участников группы и дают им основу для идентичности. В «нео-трайбах» нет традиционных практик, связанных с включенностью или невключенностью в сообщество – они одновременно и объединяют, и разделяют людей. Такие сообщества характерны для современной городской культуры. К «нео-трайбам» обращался и Э. Беннетт, говоря об их применимости к гибкости и изменчивости групп в молодежной культуре [Bennett 1999]. Роль индивидуализма в теории Маффесоли является спорной (в частности, такие исследователи как А. Фарлонг и Ф. Картмел [Furlong, Cartmel 1997] и У. Бек [Beck 1992], наоборот, говорят о росте индивидуализма в нестабильном мире, где риски растут, а роль традиционных семейных, школьных и рабочих связей падает [Huq 2006: 30]. З. Бауман, напротив, подчеркивает индивидуалистический характер, текучесть и поверхностность нео-трайбов: по его мнению, в них выражена попытка вновь найти «общины», однако она вместо этого ведет лишь к еще большей фрагментарности [Bauman 1992].

Сходных теоретических посылок придерживается и теория «жизненных стилей» [Jenkins 1983, Chaney 1996]. Термин изначально использовался для изучения рабочей молодежи в Белфасте в начале 1980-х гг., однако затем, после отхода от термина «субкультура» (из-за ее неизбежного сопоставления с доминирующей культурой), он стал применяться и для исследования молодежных групп. Так, Д. Чейни обращался к нему при исследовании потребительских стратегий поведения членов различных сообществ, в которых использование каких-либо предметов потребления означает принадлежность к группе. Жизненные стили выступали как наиболее гибкие, неоднозначные и неопределенные структуры, на которых основана социальная идентичность. Р. Шилдс использовал оба термина – и «жизненные стили», и «неотрайбализм», для исследования сообществ. Он подчеркнул, что они сохраняют определенные признаки субкультур (разделяемые символика, ценности, вкусы и предпочтения), однако при этом многие идентичности определяются медиа и рынком [Shields 1992]. Д. Маглтон предложил рассматривать постмодернистские субкультуры, в которых соединяются и гибкость, и некое содержание [Muggleton 2000]. Часть исследователей рассматривают термин «жизненные стили» как «зонтичный» термин, применимый к культурным практикам и идентичности в целом, хотя эта точка зрения разделяется и не всеми [Hodkinson 2002: 24]. В целом, я исхожу из парадигмы, что жизненные стили современной городской молодежи определяются неотрайбализмом, при этом я все же стремлюсь выделить частично какие-либо субкультурные черты у молодежных сообществ.

Обладая данными теоретическими и методологическими предпосылками, я стала заниматься проектом по изучению молодежных сообществ в рамках еврейских диаспор в различных странах мира. Мне стало интересно, насколько их можно применить к данным сообществам. В 2010–2012 гг. я исследовала молодежь, посещающую мероприятиях еврейских организаций Москвы и (для сравнения) других городов России, а в 2011–2012 гг. проводила включенное наблюдение, анкетный опрос и экспертные интервью в одной из организаций прицельно. По сути, исследование проходило в два этапа (2010–2011 гг. и 2011–2012 гг.), и результаты можно было, в том числе, также сравнить между собой. Целью полевого исследования было выявить степень выраженности еврейской самоидентификации у молодежи, особенно среди тех ее представителей, которые первый год

посещают подобные мероприятия. На «новичках» делался акцент в исследовании 2011–2012 гг. Возрастные рамки участников исследования охватывали людей 18-30 лет (возраст молодежи), с акцентом на студентов.

Вначале я постаралась выяснить, какие именно количественные и качественные критерии могут выражать отношение молодежи к еврейским ценностям. Далее было выделено, какие элементы еврейской знаковой символики и социокультурных практик являются наиболее востребованными у еврейской молодежи и могут измерять ее отношение к еврейским ценностям и, соответственно, говорить о ее этнической идентичности.

Для изучения молодежных сообществ в российских еврейских общинах в 2010–2011 гг. были применены методы включенного наблюдения, анкетирования еврейской молодежи (октябрь 2010 г. – май 2011 г.), экспертных интервью у «лидеров мнений» – руководителей еврейских организаций и активистов еврейских организаций, а также у участников мероприятий. В Москве выборка участников еврейских мероприятий была сделана по принципу «снежного кома», респонденты заполняли анкеты сами в присутствии исследователя. При проведении интервью с «лидерами мнений» и с активистами еврейских организаций анкета заполнялась исследователем. В других городах выборка была сделана по аналогичному принципу, однако общение с респондентами происходило посредством электронной почты, после чего они присылали заполненную анкету. Анкета была единая для всех участников и состояла из 37 вопросов. Всего было проанализировано 300 анкет (Москва и Московская обл., а также Санкт-Петербург, Тверь, Кострома, Киров, Екатеринбург, Хабаровск), но в данной работе речь идет об ответах московских участников. В рамках исследования, которое проводилось в 2011–2012 гг. в еврейской организации Москвы, было собрано порядка 200 анкет от участников еврейских молодежных мероприятий и проектов из Москвы и, для сравнения, аналогичной организации Екатеринбурга. Анкета состояла из 25 вопросов. Также была проведена серия из 10 глубинных интервью.

Благодаря возрасту и своему еврейскому происхождению, я воспринималась другими участниками мероприятий как «своя», что привело к большей доверительности общения. При этом я посещала мероприятия достаточно избирательно, чтобы не стать полноценным «инсайдером» и суметь соблюсти хотя бы минимальную дистанцию

между собой и респондентами, которая позволяет сделать критические выводы со стороны, когда от полевой работы происходит переход к работе аналитической. Существует точка зрения, что исследование с позиции полного «инсайдера» не должно становиться «абсолютом», к которому следует стремиться. Однако, безусловно, нужно предпринять шаги, чтобы из человека, не знакомого с чужой культурой, превратиться в человека, хорошо о ней информированного (но не обязательно «инсайдера» или эксперта в данной области). П. Ходкинсон в статье «Инсайдерское исследование в изучении молодежных культур» предупреждает, что респонденты могут высказывать ничем не подкрепленные или ошибочные утверждения, допущения, догадки, если исследователь позиционирует себя как «профессиональный *Другой*» (*professional stranger*) [Hodkinson 2005]. Таким образом, то, что они говорят во время анкетирования или экспертных интервью, может не соответствовать тому, что во время наблюдения в поле выявил сам исследователь, или тем данным, которые он обнаружил в ходе предварительного анализа. Особенно часто исследователь получает ошибочные сведения, когда только начинает заниматься какой-либо проблемой. Поэтому рекомендуется проводить интервью в два этапа, а также делать свою методологию исследования открытой и доступной для своих коллег и говорить о субъективности исследователя, где это необходимо, чтобы был возможен критический взгляд на результаты работы со стороны. Таким образом, я и поступала – в рамках исследования 2011–2012 гг. интервью и анкетирование проводились в два этапа, с промежутком в полгода.

По итогам исследования было установлено, что еврейская самоидентификация у молодых людей, заполнявших анкеты и отвечавших на вопросы глубинных интервью, заметно выражена, несмотря на то, что у большинства в их семье еврейская атмосфера не присутствовала либо присутствовала незначительно. Например, большая часть молодых людей отмечают еврейские праздники, ощущают чувство солидарности с Израилем, считают, что важно чувствовать себя евреем, придают значение наличию в своем круге общения еврейской компании. Было установлено, что отнюдь не семья занимает значительное место в формировании идентичности и отношения к еврейским ценностям у еврейской молодежи в Москве. Еврейская идентичность у молодых людей, заполнивших анкеты, была сформирована скорее не в семье, в связи с недостаточной передачей еврейских традицией из поколения в поколение, а проектами организаций, нацеленными на

получение знаний по еврейской истории, культуре, традициям («Сохнут», «Гилель», «МЕОЦ», «Эзра», «Израильский культурный центр» и др.). По результатам исследования 2010–2011 гг., большинство относит себя к евреям, порядка 20% написали, что относят себя одновременно и к евреям и к иной национальности («еврейка-русская», цитируя одну из респонденток), здесь мы имеем дело с примером дуальной идентичности. По данным частично обработанных анкет и экспертных интервью, в рамках исследования 2011–2012 гг. мы имеем дело преимущественно с еврейской (порядка 60%), а также с дуальной, гибридной идентичностью (как указывают сами опрошенные: «я русский-еврей»).

При этом молодежь посещает мероприятия, позволяющие получить профессиональные и общекультурные знания не только по еврейской, но и по нееврейской тематике, а также развлекательные мероприятия. Какие-либо мероприятия для молодежи в организации, которую я посещала в 2011–2012 гг., проходят практически ежедневно. Еврейские молодежные сообщества обладают проектной структурой и формируются как на основе еврейской идентичности, так и на базе общих интересов и хобби, стиля жизни, т. е. на эмоциональном выборе «быть вместе» с людьми, обладающими сходным жизненным стилем [Писаревская 2011].

В рамках исследования 2010–2011 гг. проводилось анкетирование, и при ответе на вопрос, какими источниками информации, связанными с еврейской культурой, пользуются молодые люди, выяснилось, что среди источников информации, что объяснимо возрастом участников, лидирует Интернет: 64% представителей молодежи посещают еврейские сайты в Интернете, получают рассылку на еврейские темы по электронной почте. 48% часто слушает еврейскую музыку и песни, и еще 42% делает это редко, что может свидетельствовать о стремлении российской еврейской молодежи к культурным связям с Израилем, так как здесь имеется в виду современная израильская музыка. Также востребованными являются израильские фильмы. Молодежь ощущает свою принадлежность к глобальному сообществу русскоязычных евреев, возникшему благодаря развитию средств коммуникации и медиа [Fialkova 2005], молодые люди совершают поездки в Израиль к друзьям, и подобная мобильность приводит к тому, что, в рамках концепции транснационализма, идентичность человека может оказаться разделенной между несколькими обществами.

В определенном смысле это коррелирует с одной особенностью современных субкультурных сообществ. К примеру, носители субкультуры готов любят подчеркивать свою идентичность с людьми, разделяющими их вкусы, из других стран мира. При этом широкая географическая распространенность субкультуры, к которой они себя относят, кажется им особенно привлекательной [Hodkinson 2002: 68].

Кстати, если остановиться ненадолго на этом исследовании субкультуры готов, то можно заметить еще один любопытный момент. Для британской носителей этой субкультуры самые важные практики – это посещение каких-либо мероприятий и общение с себе подобными. На одном из фестивалей примерно 66% респондентов, заполнявших анкету, отметили, что ночные клубы и пабы являются одной из трех наиболее привлекательных для них аспектов явления в целом, а для 43% общение было самым привлекательным видом деятельности [Hodkinson 2002: 85]. Очевидно, это характерно для носителей и многих других субкультур. При этом мероприятия, которые посещают участники упомянутого исследования, делятся на субкультурные и на те, которые проходят вне рамок субкультуры, но на которые приходят отдельные группы представителей этой субкультуры.

Я спросила у своих респондентов в анкете 2011–2012 гг., что именно им кажется наиболее привлекательным в еврейской молодежной организации как таковой (без упоминания конкретных организаций). Здесь ответы и мнения участников можно разделить на две большие группы. Часть представителей молодежи приходят в еврейские организации, чтобы получить общение, завязать новые знакомства и приобрести новых друзей, приятно провести время (по оценкам одного из участников исследования, «у еврейской молодежи неисчерпаемый человеческий потенциал»). Части из них интересны проекты, важные для повышения образовательного уровня или возможного профессионального роста. Интерес к еврейским знаниям, истории и традиции также присутствует, но лишь один респондент ответил, что хотел бы получить больше знаний о современной внутренней политике Израиля. На момент написания статьи еще не все результаты исследования были обработаны, однако можно утверждать, что подавляющее большинство опрошенных отметило пункты «общение» и «новые знакомства» (всего можно было выбрать не более пяти вариантов ответа).

При ответе на вопрос, касающийся этнической идентичности респондентов, о том, что позволяет считать человека евреем, в пункте

«участвовать в еврейских молодежных мероприятиях» проценты по результатам исследования 2010–2011 гг. распределились следующим образом: «обязательно» – 21%, «желательно» – 54%, «не имеет значения» – 18%. Однако наличие еврейской компании является в большинстве случаев важным (51%) либо очень важным (30%), и это при том, что среди знакомых опрошенных больше неевреев: у 60% представителей молодежи, у 15% примерно поровну евреев и неевреев, 25% больше евреев (как правило, эти респонденты учились в еврейской школе). Как правило, на еврейских мероприятиях в рамках различных проектов молодые люди приобретают новых друзей, после чего организуются походы группой на какие-либо мероприятия вне проектов еврейских организаций (например, походы в кино), что способствует сплоченности группы, а также, опять-таки, соответствует упомянутым выше тенденциям развития субкультур в современном мире. Примерно 10% опрошенных москвичей высказали мнение, что информацию о еврейских мероприятиях не всегда легко получить «централизованно»; чаще всего она передается «из рук в руки», через знакомых.

Сейчас среди еврейской молодежи Москвы большой интерес вызывают необычные акции и мероприятия, в основном на основе актуальных для большого города моделей, что создает их конкуренцию с нееврейскими мероприятиями. Такие мероприятия, с одной стороны, вступают в конкуренцию с аналогичными нееврейскими мероприятиями (которые, возможно, привлекают больше народа и лучше организованы, поэтому могут вызывать больший интерес у потенциального участника), а с другой, привлекают в еврейские молодежные сообщества новых членов и позволяют удерживать старых. При этом еврейская составляющая мероприятий может отходить или не отходить на второй план. Например, это могут быть курсы по изучению английского языка, семинары по приобретению лидерских навыков, обучающие семинары по бизнесу. Это может быть курс занятий в автошколе или конкурс на лучшее стихотворение. Однако это может быть и городской квест «Руах», который регулярно проводится и посвящен еврейской тематике. Это может быть дискотека в клубе в честь еврейского праздника. Это может быть занятие по еврейской культуре и истории, поданное в необычной интерактивной форме. На отмечании «Шаббатов» по пятницам, помимо традиционной религиозной церемонии, большую часть времени занимает тематическая часть, которая каждую пятницу разная («театральный Шаббат»,

«морской Шаббат» и др.). При этом растет интерес к мероприятиям в рамках благотворительных, волонтерских проектов (например, регулярные акции по уборке еврейского кладбища, посадка цветов перед зданием синагоги и др.). Очень популярны программы по образованию в Израиле (широкий выбор программ «Маса», большая часть программ рассчитана на людей до 30 лет) и программа, позволяющая за 10 дней посмотреть Израиль («Таглит»). Программа «Таглит» была создана в 1999 г., рассчитана на молодежь 18-26 лет, и ее роль в формировании еврейского национального самосознания сложно переоценить. По словам участников, поездка позволила им посмотреть на мир по-другому, получить новые знания и новые впечатления, приобрести новых знакомых и друзей. Произошло «знакомство с исторической родиной», «усилилась связь с Израилем», «поездка в Израиль помогла мне окончательно почувствовать себя еврейкой», как пишут респонденты [Писаревская 2011: 107]. Это свидетельствует о том, что программа является эффективным инструментом привлечения новых участников в еврейскую общину, наряду с проектами еврейских организаций, которые проводятся в Москве.

В ходе включенного наблюдения удалось сделать предположение, что когда молодой человек делает выбор между участием в еврейском и аналогичном нееврейском проекте, он выбирает первый ради общения, причем общения среди «своих».

Получается, что для молодых людей участие в различных еврейских мероприятиях становится своеобразным стилем жизни. «Новички» могут приходить в еврейскую организацию в поисках знаний по еврейской культуре, истории и традициям. В анкетировании 2011–2012 гг. практически все участники отметили, что хотели бы приобрести больше знаний о еврейской истории, традициях и религии. В открытых вопросах анкеты «Какие еврейские молодежные проекты Вам кажутся наиболее интересными?» и «Проекта на какую тему, на Ваш взгляд, не хватает?» лидирует упоминание лекций и семинаров по еврейской истории, культуре народа (порядка 65%). О своем интересе к проектам по истории еврейского народа участники говорили мне и в личных беседах. Потом, когда их еврейская идентичность станет более выраженной под влиянием этих проектов, у них, как показывают наблюдения на примере тех, кто уже несколько лет участвует в жизни еврейских молодежных организаций, будет превалировать интерес к нееврейским проектам, осуществляемых также в рамках еврейских организаций, так как знания по еврейской культуре

ими уже получены и им это уже не так интересно. Но для них это все равно останется одним из стилей жизни, наряду с какими-либо другими.

Однако, «новички» могут приходить и ради проектов, не стилем жизни, с акцентом на общении со «своими», просто этнический компонент будет не столь ярко выражен, как общность интересов. Таким образом, можно предположить, что в обоих случаях мы наблюдаем переход от общности, основанной на этническом принципе, к общности, основанной не только на нем, но и обладающей открытыми возможностями для непосредственной коммуникации своих участников. Для большинства опрошенных в 2011–2012 гг. важны открытость в еврейской организации, возможность завязать новые знакомства и приобрести новых друзей. Также они имеют общие интересы и набор совместных хобби. Имеют место и этническая, и групповая идентичности. Приведем фрагмент из одного интервью:

«Есть надежда, что будет все больше интересных мероприятий, которые дадут возможность евреям, живущим в России, узнавать друг о друге, о еврейской культуре и традициях еврейского народа. Необходимо развивать в городах России данное движение, так как со временем, к несчастью, многие забывают о своей принадлежности к иудаизму, что очень печально. Организации… помогают человеку помнить об этом и дают возможность заводить новые знакомства и создавать компанию близких по духу людей». (ПМА, из личного архива автора, 2012 г.)

По оценкам лидеров мнений, полученным в ходе экспертных интервью, в 1990-е гг., в связи с экономической ситуацией в стране, принадлежность к еврейскому сообществу открывала «окно в мир», позволяла получить новые знания. Сейчас, при наличии множества альтернативных возможностей для участия в образовательных программах и проведения досуга, молодежные проекты еврейских организаций могут восприниматься как «местечковые», по сравнению с «большим миром». В них приходят найти «своих» и «свое» – еврейское, но при этом не обязательно знание, либо знание важно, но не принципиальна его тематика. Конкуренция между еврейскими и неевреейскими предложениями характерна не только для больших городов. Так, респондентка из Твери в 2010 г. указывает на возможность выбора: она участвует в городских квестах, дискотеках, развлекательных мероприятиях, ходит на курсы, но при этом хочет учить английский язык именно в рамках еврейской общины.

Как отметила одна из респонденток в интервью в 2012 г.,

«Мне нравятся, как… организовывают шаббаты. Они стараются сделать их разными и неповторимыми… Понравилась идея с гитарой. С ней стало как-то веселее. Еще я слежу за направлением «театр», это действительно классная идея, когда ты можешь пойти в театр с еврейской компанией… Вообще появляется все больше направлений: спорт, танцы. Т. е. теперь каждый может найти что-то для себя». (ПМА, из личного архива автора, 2012 г.)

Еврейское молодежное сообщество в целом представляет собой знаковую систему, включающую в себя каналы коммуникаций (типы межличностных связей, структуры сообществ, формы общения, а также нормы – правила их организации) и средства коммуникации (знаки и символы как средства кодирования и временной трансляции коммуникативных структур), оно обладает собственными специфическими практиками, что в определенной степени приближает его к понятию [Щепанская 2004: 30] субкультурного сообщества. Участники еврейских мероприятий ощущают свою идентичность (не только этническую, но и принадлежность к сложившемуся коллективу) и отличие от остальных, и имеет место влияние на повседневные практики даже тех, кого нельзя назвать активным участником всех мероприятий (например, регулярное посещение тематических «Шаббатов» по пятницам или походы в театры в рамках театрального проекта), эти особенности являются одними из факторов наличия субкультуры, поэтому они в какой-то мере сближают данное сообщество с субкультурным. Еврейские молодежные организации предлагают для участников самые разнообразные варианты проведения досуга (отмечание праздников, встречи с деятелями бизнеса, спортивные мероприятия, походы, дискотеки, встречи с писателями и т. п.), которые позволяют молодому человеку при желании практически полностью проводить свое свободное время только на мероприятиях в рамках этих организаций, и это является для него и для его друзей жизненным стилем. Представители еврейской молодежи в 2010–2011 гг. указывали:

«Нужно на семинарах затронуть побольше тем, например, технику, автомобили, IT». (ПМА, из личного архива автора, 2010 г.)

С другой стороны, даже самые активные участники мероприятий (т. наз. «актив»), как правило, принимают участие и в других городских мероприятиях и проектах. Однако один и тот же человек может быть приверженцем нескольких хобби, нескольких «стилей

жизни», в связи с их гибкостью и изменчивостью в современном динамичном мире.

Когда мы исследуем еврейскую идентичность у молодых людей, посещающих проекты еврейских организаций, мы имеем дело с «сервисной самоидентификацией», когда еврейское самосознание проявляется на еврейских мероприятиях и в еврейской компании, но при этом может не проявляться в других компаниях. В качестве проблем, возникающих, на их взгляд, перед еврейскими организациями, сами респонденты в 2010–2011 гг. указали: «Проблема в том, что участники мероприятий привыкли получать, но редко готовы что-то давать обратно». Это соответствует теории жизненных стилей с точки зрения потребительского поведения. Однако в ходе включенного наблюдения в 2011–2012 гг. эта особенность не была отмечена: участники творчески подходили к проведению мероприятий, придумывали новые идеи и предлагали их. Однако можно сделать вывод, что мероприятия, на которые молодые люди приходят в связи с их этнической идентичностью, становятся для них своеобразным стилем жизни, и в дальнейшем они посещают мероприятия еврейских организаций ради общения со «своими», ради эмоциональной общности и общности интересов.

Таким образом, на примере полевого исследования еврейской молодежи в Москве и последующей обработки и анализа его материалов я рассмотрела то, как в теории, практике и рефлексии исследователя отображаются особенности изучения сообществ в мегаполисе. В данном конкретном случае и теория, и практика исследования заставили исследователя сделать поворот от изучения этической общности к изучению конкретного стиля жизни.

Примечания

* Работа выполнена в рамках проекта «Антропология академической жизни как новаторская практика этнографического описания и этнологического понимания» по программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре».

Библиография

Bauman 1992 – Bauman Z. Intimations of Postmodernity. L.: Routledge, 1992.
Beck 1992 – Beck U. Risk Society: Towards a New Modernity. L.: Sage, 1992.

Bennett 1999 – Bennett A. Subcultures or Neo-Tribes? Rethinking the Relationship between Youth, Style and Musical Taste. // Sociology. 1999. № 33(3). PP. 599–617.
Chaney 1996 – Chaney D. Lifestyles. L.: Routledge, 1996.
Fialkova 2005 – Fialkova L. Emigrants from the FSU and the Russian-language Internet // Toronto Slavic Quarterly. 2005. № 12 (URL: http://www. utoronto. ca/tsq/12/fialkova12. shtml)
Furlong, Cartmel 1997 – Furlong A., Cartmel F. Young People and Social Change: Individualisation and Risk in Late Modernity. L.: Sage, 1997.
Hodkinson 2002 – Hodkinson P. Goth: Identity, Style and Subculture. Oxford: Berg, 2002.
Hodkinson 2005 – Hodkinson P. Insider Research in the Study of Youth Cultures // Journal of Youth Studies. 2005. № 18 (2). PP. 131–149.
Huq 2006 – Huq R. Beyond Subculture: Pop, Youth and Identity in a Postcolonial World. L.: Berg, 2006.
Jenkins 1983 – Jenkins R. Lads, Citizens and Ordinary Kids: Working Class Youth Life-Styles in Belfast. L.: Routledge & Kegan Paul, 1983.
Jenkins 1997 – Jenkins R. Rethinking Ethnicity: Arguments and Explorations. L.: Sage, 1997.
Mafessoli 1996 – Maffesoli M. The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in MassSociety. L.: Sage, 1996.
Muggleton 1997 – Muggleton D. The Post-Subculturalist // The ClubCultures Reader: Readings in Popular Cultural Studies / Ed. S. Redhead. Oxford: Berg, 1997.
Muggleton 2000 – Muggleton D. Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style. Oxford: Berg, 2000.
Shields 1992 – Shields R. The Individual, Consumption Cultures and the Fate of Community // Lifestyle Shopping: The Subject of Consumption / Ed. R. Shields. L.: Routledge, 1992.
Thornton 1995 – Thornton S. Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital. Cambridge: Polity, 1995.
Weinzierl, Muggleton 2003 – Weinzierl R., Muggleton D. What is “Post-subcultural Studies” Anyway? // The Post-subcultures Reader / Ed. D. Muggleton, R. Weinzierl. Oxford: Berg, 2003. PP. 1–23.
Писаревская 2011 – Писаревская Д. Б. Еврейская молодежь России: жизненный стиль // Диаспоры. 2011. № 2. СС. 99–116.
Щепанская 2004 – Щепанская Т. Б. Система: Тексты и традиции субкультуры. М.: ОГИ, 2004.

Даниил Тумаркин

За морем телушка – полушка, да рубль перевоз (о двух этнографических экспедициях на острова Океании)

Отечественные этнографы обычно собирают научные материалы либо в своем городе (в архивах, библиотеках, проводя опросы, наблюдения и т. д.), либо совершая экспедиции и кратковременные выезды в другие районы России и в зарубежные страны. Но вся эта деятельность происходит на суше, на “твердой земле”. Работа в океанских научных экспедициях имеет свою специфику. Попытаюсь рассказать об этом на примере участия группы этнографов и ученых смежных специальностей в двух экспедиционных рейсах на острова Южных морей. Но сначала, в самом сжатом изложении, о предыстории этих экспедиций и моем жизненном пути, приведшем на борт научно-исследовательского судна “Дмитрий Менделеев”.

От Л.Я. Штернберга до С.П. Толстова: попытки организации этнографической экспедиции в Океанию

Этнографическое изучение народов Океании (этноокеанистика) имеет в нашей стране давние и богатые традиции. Основы этой отрасли отечественного народоведения были заложены русскими кругосветными мореплавателями первой половины XIX в. и Н.Н. Миклухо-Маклаем. Российские мореплаватели и путешественники, побывавшие на островах Океании, обогатили науку не только своими наблюдениями, которые содержатся в многочисленных публикациях и рукописях, не только уникальными рисунками, но и обширными этнографическими коллекциями, которые в подавляющем большинстве сосредоточены в петербургском Музее антропологии и этнографии (МАЭ), ведущем начало от петровской Кунсткамеры.

В конце XIX – начале XX в. экспедиционные выезды русских ученых в Океанию прекратились. Однако уже в середине 1920-х годов, когда в едва оправившейся от голода и разрухи стране начали выдвигаться грандиозные планы научных исследований, появилась идея продолжить изучение народов Южных морей. Инициатором выступил выдающийся ученый и организатор науки Л.Я. Штернберг. В ноябре 1926 г. он участвовал в III Тихоокеанском научном конгрессе, который проходил в Токио. Как представитель АН СССР Лев Яковлевич ознакомил собравшихся с изданной на русском и английском

языках книгой “Тихий океан: Русские научные исследования”, для которой написал раздел “Этнография”. В этом очерке содержатся такие строки: “Миклухо-Маклай был последним из наших исследователей прошлого века в Южном океане, но русская наука надеется, что он найдет продолжателей. Рост музеев мировой культуры и рост этнографической науки в Союзе рождает поколение, которое будет с честью продолжать славно начатое дело своих предшественников” (Штернберг 1926:170). Вернувшись в СССР, Лев Яковлевич начал пропагандировать идею отправки советских этнографов в Океанию, но в августе 1927 г. скончался.

Призыв Л.Я. Штернберга нашел благоприятный отклик, особенно на берегах Невы. Его поддержал, в частности, влиятельный ученый и партийный функционер Н.М. Маторин, который в 1931 г. возглавил журнал “Советская этнография” (ранее – “Этнография”), а в 1933 г. стал первым директором Института антропологии и этнографии АН СССР. В своей “установочной” статье в обновленном журнале Николай Михайлович предложил отправить экспедицию на Новую Гвинею “для изучения одного (или группы) из примитивнейших народов земного шара по марксистскому методу”, хотя признавал, что для этого “придется преодолеть много политических и технических затруднений” (Маторин 1931:38). И действительно, “политические затруднения” временно отбросили проект в небытие. Уже в 1934 г. Маторин был освобожден от руководящих должностей, а в январе 1935 г. арестован за идейную связь с “контрреволюционной зиновьевской оппозицией” и в октябре 1936 г. расстрелян. В те же годы, как известно, был нанесен сильнейший удар по советской этнографической науке, от которого она начала оправляться к концу 1930-х годов.

В январе 1938 г. во влиятельном журнале “Наука и жизнь” появилась статья известного биолога проф. П.Ю. Шмидта (ученого секретаря советского Тихоокеанского комитета), в которой обосновывалась необходимость снарядить большую советскую комплексную научную экспедицию на Тихий океан. Основное внимание предполагалось уделить исследованию климата, господствующих ветров и течений, океанского дна, происхождения и природных особенностей островов, но подчеркивалась важность изучения их жителей в связи с популярной тогда гипотезой о “затонувших” материках. “Для экспедиции, - писал П.Ю. Шмидт, - предполагается выстроить специально приспособленное для научной работы судно достаточно крупных

размеров, чтобы вместить 8 основных лабораторий, многочисленные лебедки и другие приспособления, а также помещения для 37 научных и технологических работников, кроме необходимой команды". Как сообщил автор, "общий план такой экспедиции был в 1937 г. выработан Тихоокеанским комитетом Академии наук и Зоологическим институтом <…> и в настоящее время ждет только утверждения высших инстанций" (Шмидт 138:20-23).

Статья П.Ю. Шмидта привлекла внимание Совета РГО и сотрудников МАЭ. Дело в том, что в апреле 1938 г., по указанию "свыше", на фоне массовых репрессий в нашей стране торжественно отмечалось 50-летие со дня смерти Н.Н. Миклухо-Маклая, который был объявлен "великим русским ученым-гуманистом"[1]. Состоялись торжественные заседания Академии наук в Москве и РГО в Ленинграде. На первом присутствовали, кроме Президента Академии В.Л. Комарова и других академиков, многочисленные гости, второе, с участием родственников "белого папуаса", вел Председатель РГО акад. Н.И. Вавилов. Николай Иванович во вступительном слове потребовал максимально популяризировать и продолжать деятельность "великого гуманиста". С общим докладом, выдержанном в юбилейных тонах, выступил член Совета РГО член-корреспондент АН СССР Л.С. Берг. Специальная комиссия, созданная Советом, разработала программу мер по увековечиванию памяти знаменитого путешественника (Хроника 1939:306-308).

В 1930-х годах в МАЭ главным и по существу единственным знатоком культуры народов Океании был А.Б. Пиотровский, дядя нынешнего директора Эрмитажа. Глухонемой от рождения, болезненный человек, Александр Брониславович – автор более десятка трудов, опубликованных в СССР и за рубежом. Но главным своим делом он считал работу с океанийскими коллекциями МАЭ, особенно с коллекциями Миклухо-Маклая. А.Б. Пиотровский – главный организатор выставки о "белом папуасе", устроенной в 1938 г. в МАЭ. Он же вместе с арабистом и семитологом проф. И.Н. Винниковым подготовил двухтомник трудов путешественника, опубликованный в 1940-1941 гг.

Как вспоминает член-корреспондент РАН зоолог А.И. Жамойда, который, будучи подростком, весной 1938 г. работал волонтером в МАЭ, волна репрессий коснулась и этого научного учреждения. Были арестованы два его сотрудника, а Александр Брониславович получил предписание подготовиться к высылке в Самарканд. Решение о вы-

сылке удалось отменить, так как руководители МАЭ объяснили “органам”, что без Пиотровского невозможно выполнить указание “свыше” об устройстве выставки и подготовке к печати трудов Миклухо-Маклая (Жамойда 1996:140-147).

Александр Жамойда ознакомил Пиотровского с упомянутой выше статьей Шмидта и с юношеской горячностью предложил ходатайствовать о посылке в Тихий океан еще одного судна специально с этнографическими целями. Пиотровский, по словам Жамойды, “не смеялся”, но ответил, что “’это слишком круто и что в крайнем случае можно будет отправить несколько сотрудников и высадить на острова” (Жамойда 1996:143). Спрошенный тогда же о перспективах этнографической экспедиции в Океанию Л.С. Берг сказал, что “это еще не утверждено правительством, но вполне возможно” (Жамойда 1996: 11–12). Но в августе 1940 г. выдающийся ученый-генетик Н.И. Вавилов, руководивший деятельностью РГО и поддерживавший включение этнографов в экспедицию, которую предполагалось отправить на Тихий океан, был арестован, объявлен “врагом народа” и в конце 1941 г. умер в тюремной больнице.

С началом Отечественной войны подготовительные мероприятия по организации экспедиции были прекращены, как явно несвоевременные. Однако осенью 1943 г., когда после сражений под Сталинградом и на Курской дуге наметился перелом в ходе войны и победа над гитлеровской Германией из лозунга начала превращаться в реальность, отправка экспедиции в Южные моря вновь начала дебатироваться в руководящих кругах РГО и АН СССР. Горячим сторонником участия этнографов в “хождении за три моря” стал С.П. Толстов, который в декабре 1942 г. возглавил (фактически – создал заново) в Москве Институт этнографии (ИЭ)[2] и одновременно был заведующим кафедрой этнографии, а в 1943-1945 гг. и деканом истфака МГУ. Человек властный, честолюбивый, притом прекрасный организатор, Сергей Павлович начал разрабатывать перспективный план развития ИЭ, призванный превратить этот Институт в ведущий и авторитетный центр в области этнографии и антропологии.

Единственным советским ученым, сколько-нибудь серьезно знакомым с проблемами этнографии Океании, был тогда С.А. Токарев (А.Б. Пиотровский умер в 1942 г. от голода в блокадном Ленинграде). Сергей Александрович стал с годами ученым-энциклопедистом, занимавшимся историей этнографической науки, этногенезом, культурой и бытом народов многих регионов мира, уделял большое внима-

ние религиоведению. Но его “первая любовь” – народы Океании. В 1929-1933 гг., еще не будучи сотрудником ИЭ, Сергей Александрович опубликовал два труда об общественном строе меланезийцев. В них содержалась трактовка некоторых проблем первобытности, которая существенно отличалась от концепции Моргана-Энгельса, объявленной “единственно правильным учением”. Не желая отказываться от своих воззрений, Сергей Александрович предпочел выбрать для своих исследований другой регион и другой круг проблем, в который не входили ранние формы семьи и рода. Однако в 1943 г. С.П. Толстов вызвал С.А. Токарева в Москву из эвакуации и назначил его заведующим сектором Австралии и Океании (позднее – сектором Америки, Австралии и Океании), поручив сосредоточиться на подготовке двух фундаментальных публикаций – тома “Народы Австралии и Океании” (в запланированной серии “Народы мира”) и пятитомного Собрания сочинений Миклухо-Маклая. Сергей Павлович считал, что в связи с подготовкой этих трудов целесообразно предпринять поездку на Новую Гвинею.

8 октября 1943 г. С.А. Токарев записал в своем дневнике: “Т[олстов] настаивает на включении в перспективный план этнографической экспедиции на Нов[ую] Гвинею; я считаю это фантастикой и не думаю, чтобы кто-нибудь согласился поехать на долгий срок (а на короткий нет смысла) в эту нездоровую местность; но на всякий случай в план поставлю”. Сергей Александрович добавил, что подготовка и проведение такой экспедиции, помимо всего прочего, отвлекли бы его от других, более важных дел – написания заказанных директивными органами справок о спорных территориях в Европе, срочной подготовки Собрания сочинений Миклухо-Маклая, чтения новых для него лекционных курсов на истфаке МГУ и т.д. (Токарев 1995:184-185).

После окончания войны С.П. Толстов попытался приступить к практической подготовке запланированной экспедиции на Новую Гвинею. Обстановка для нее была благоприятной: в июне 1946 г. в стране торжественно отметили столетие со дня рождения Миклухо-Маклая и в Президиуме АН СССР, по-видимому, готовы были одобрить и финансировать эту дорогостоящую и по тем временам экзотическую экскурсию. 22 июля 1946 г. в дневнике С.А. Токарева появилась такая запись: “Неожиданно надо мной нависла новая опасность, притом серьезная: экспедиция на Нов[ую] Гвинею. Она официально включена в план Академии, и притом на будующий год; это я знал и

раньше, но не знал, что я утвержден начальником этой экспедиции. А я ехать в тропики, да еще на Нов[ую] Гвинею не могу, т.к. не переношу жаркого климата, а на Нов[ой] Гвинее наверняка погибну <…> Однако кто же может возглавить экспедицию? А срывать ее нельзя. Очень сложная проблема” [Токарев 1995:196].

Найти приемлемую кандидатуру не удалось, и это неудивительно: как уже отмечалось в статье, тогда не было других ученых, разбиравшихся в проблемах этноокеанистики. Правда, у С.А. Токарева появились два аспиранта, которые готовили диссертации по народам Океании – В.М. Бахта и А.И. Блинов, но они постигали тогда лишь азы этноокеанистики. Кроме того, в секторе Америки, Австралии и Океании, созданном в Ленинградском отделении ИЭ, начал работать Н.А. Бутинов, защитивший в 1946 г. кандидатскую диссертацию по истории западноевропейской этнографии (о культурно-исторической школе Ф. Гребнера). Первое время Николай Александрович занимался преимущественно описанием музейных коллекций и готовил под руководством С.А. Токарева в МАЭ экспозицию “Народы Австралии и Океании”. В этноокеанистскую проблематику он углубился постепенно, принимая участие в создании – под руководством и при постоянных консультациях С.А. Токарева и антрополога Я.Я. Рогинского – пятитомного Собрания сочинений Миклухо-Маклая, изданного в 1950-1954 гг., и тома “Народы Австралии и Океании”, вышедшего из печати в 1956 г.

Еще перед войной в штат МАЭ была зачислена Ю.М. Лихтенберг, занимавшаяся преимущественно музейной работой. Юлия Михайловна посильно участвовала вместе с Н.А. Бутиновым и в подготовке двух упомянутых фундаментальных публикаций. Немолодая (род. в 1891 г.) одинокая женщина, да еще аристократических кровей, не только не могла быть назначена руководителем экспедиции, но вообще считалась “невыездной”. Эту деликатную тему придется еще не раз затронуть в статье.

С.А. Токареву, по-видимому, удалось “отбиться” от нежелательной экспедиции, сославшись на слабое здоровье и чрезвычайную загруженность в ИЭ и на истфаке МГУ. Во всяком случае, запланированный выезд советских этнографов на Новую Гвинею не состоялся ни в 1947 г., ни в последующие годы.

Между тем в Президиуме АН СССР и в “директивных органах” вскоре по окончании Отечественной войны вернулись к идее комплексных морских научных экспедиций, прежде всего на Тихий оке-

ан, стратегическое значение которого по ряду причин значительно возросло в послевоенный период. Теперь необязательно было начинать со строительства специального “корабля науки”: для этих целей переоборудовали трофейное рефрижераторное судно “Марс”, которое в 1930-х годах возило в Германию бананы с островов Южных морей. На этом судне, переименованном в “Витязь”[3], за счет уменьшения грузового трюма увеличили количество кают, оборудовали лабораторные помещения, установили различные лебедки и другое оборудование. Уже в первые послевоенные годы “Витязь”, поступивший в распоряжение АН СССР, начал совершать регулярные рейсы – сначала в северной части Тихого океана, а потом и в южных широтах.

Разумеется, рейсы “Витязя” носили преимущественно океанологический характер и участвовали в них океанографы, геоморфологи, гравиметристы, гидрографы, метеорологи, гидробиологи и ученые смежных специальностей. Но С.П. Толстов не забывал о своем намерении отправить группу этнографов на Новую Гвинею. И поскольку самостоятельный выезд этнографов осуществить не удалось, Сергей Павлович обратился в Президиум АН СССР с просьбой включить этнографический отряд в состав очередной комплексной экспедиции на “Витязе”, который с 1957 г. начал проводить исследования в южной части Тихого океана, и предусмотреть высадки на Новой Гвинее и некоторых островах Океании. 13 ноября 1958 г. С.А. Токарев записал в дневнике: “На приеме у А.В. Топчиева (вице-президент АН СССР – *Д.Т.*) – относительно маршрута плавания “Витязя” в 1959 г. – чтобы он взял маршрут на о-ва Полинезии и взял наших этнографов; Топчиев просил подать об этом докладную записку, сам он сочувствует” (Токарев 1995:234). Однако в 1958-1970 гг. в экспедиционных рейсах “Витязя” в южную часть Тихого океана ни разу не участвовали этнографы (См., например: Крепс 1959; Гурецкий1969).

Роль Ю.В.Бромлея в организации этноокеанической экспедиции

Когда в конце 1970 – начало 1971 г. мне довелось впервые вплотную заняться этим делом, я ничего не знал о попытках, предпринимавшихся в предыдущие десятилетия. После инсульта превратившись в полного инвалида, С.П. Толстов в августе 1965 г. вынужден был покинуть пост директора ИЭ. Вряд ли после ухода на пенсию, в условиях нарастающей интеллектуальной деградации он интересовался далекой Новой Гвинеей и вообще помнил об этом острове. Во всяком случае, во время двух коротких разговоров со мной он ни

словом не обмолвился о проекте посылки туда этнографов. 28 декабря 1976 г. С.А. Токарев записал в дневнике: “Умер С.П. Толстов (сгорел от горящей папиросы!). Смерть, растянувшаяся на 12 лет! Ужасно!” (Токарев 1995:295). Что же касается самого С.А. Токарева, с которым у меня сложились теплые дружественные отношения, то в наших беседах он никогда не касался предыстории поездки этнографов на острова Океании. Впервые я прочитал процитированные отрывки из его дневника после его публикации в 1995 г. и лишь тогда понял, почему он держался так осторожно и отчужденно при подготовке нашей экспедиции и обсуждении ее результатов.

Между тем в 1960-х годах советские тихоокеанские исследования, в том числе в “Великом, но не Тихом” океане, приобрели значительный размах. Экспедиционный флот АН СССР пополнился большими, специально сконструированными экспедиционными судами, которые были построены на верфях ГДР. Теперь воды Южной Пацифики бороздил не только “Витязь”, но и приписанный к порту Владивосток белоснежный красавец “Дмитрий Менделеев”. Более того, “Витязь” дважды посетил новогвинейский Берег Маклая. Как сообщил штурман этого судна член Географического общества В.О. Гурецкий, “Витязь” в апреле 1966 г. простоял пять суток для заправки топливом, питьевой водой и свежими съестными припасами в гавани Маданга – небольшого города, выросшего на Берегу Маклая. Во взятом напрокат малолитражном автомобиле Гурецкий проехал по грунтовой дороге вдоль Берега Маклая, но посетить деревню Бонгу, где проводил стационарные исследования Н.Н. Миклухо-Маклай, не смог: дорога в этом направлении была размыта недавними тропическими ливнями, а главное – поврежден мост через реку Гогол. Встреченный в Маданге американский протестантский миссионер Дик Хейтер, чья миссия располагалась на холме близ Бонгу, рассказал Гурецкому, что местные жители хорошо помнят “тамо русс” Маклая (Гурецкий 1969:86-88).

В декабре 1970 г., когда в СССР уже началась подготовка к празднованию в следующем году двух памятных дат – 125-летия со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая и столетия с начала его экспедиционных работ на Новой Гвинее - “Витязь” снова посетил Берег Маклая и даже зашел на несколько часов в бухту Константина, где вблизи от берега расположена деревня Бонгу. Здесь на мыске Гарагасси - очевидно, по согласованию с дирекцией Института океанологии и представителями австралийской колониальной администрации

– участники экспедиции установили скромный обелиск в память о пребывании “тамо русс” в этих местах. Этнографов и вообще ученых-гуманитариев на борту “Витязя” не было (Почивалов 1970). Газетный репортаж об этом заходе побудил меня с удвоенной энергией добиваться включения этнографов в очередной научно-исследовательский рейс к берегам далекой Океании.

Автоэтнографические заметки на фоне эпохи

Интерес к странам и народам Южных морей появился у меня уже в школьные годы, накануне Отечественной войны. Он возник под влиянием книг о морских путешествиях, особенно Джека Лондона и Роберта Луиса Стивенсона. Огромное впечатление произвел на меня кинофильм “Пятнадцатилетний капитан”. В мечтах я видел себя карабкающимся по вантам на верхушку мачты, откуда открывался великолепный вид на океанские просторы, на выплывающие из-за горизонта острова, покрытые кокосовыми пальмами и окаймленные коралловыми рифами, на которые накатывались волны прибоя.

Беззаботное детство оборвала война. Дальше были голодная блокадная зима 1941-1942 гг., эвакуация, возвращение в Ленинград после прорыва блокады, учеба на истфаке ЛГУ, бесплодные поиски работы в условиях разгула государственного антисемитизма, преподавание истории в техникуме физкультуры, вступление в партию после XX съезда КПСС…

Мне уже приходилось неоднократно рассказывать о том, как благодаря Д.А. Ольдерогге и С.А. Токареву я стал этнографом и в 1957 г. был принят на работу в сектор Америки, Австралии и Океании Ленинградского отделения ИЭ (См., например: Попов 2004:465-466; Алымов 2008:1-3). На первых порах мне поручили заниматься составлением и сверкой музейных описей и “осовремениванием” текстов в экспозиции “Народы Австралии и Океании”. Но одновременно я работал над диссертацией. Еще в студенческие годы меня заинтересовала история превращения Гавайских островов из независимого государства, объединенного под властью Камеамеа I, в колонию США. Выбор темы был обусловлен не только ее значимостью и историко-этнографическом отношении, но и романтическим ареолом, которым этот архипелаг, расположенный в центре Тихого океана, был окружен в книгах писателей и путешественников. История “американизации” Гавайских островов освещена мной во множестве статей и двух монографиях; рукопись первой стала в 1963 г. кандидатской

диссертацией (Тумаркин 1964), за вторую - в 1972 г. мне были присуждены степень доктора исторических наук и академическая премия имени Н.Н. Миклухо-Маклая (Тумаркин 1971).

С.А. Токарев официально никогда не был моим научным руководителем, более того, выступал в качестве оппонента при защите мною обеих диссертаций. Но он щедро делился своими знаниями и идеями, рекомендовал в беседах и письмах (до моего переезда в Москву в 1964 г.) расширять научный кругозор в области этноокеанистики и теоретических проблем этнографии.

В 1950-1960-х годах не только у специалистов, но и среди широких кругов советских читателей приобрел известность норвежский путешественник и исследователь Тур Хейердал, совершивший знаменитое плавание на бальзовом плоту “Кон-Тики” от побережья Перу в восточную Полинезию. В опубликованных огромными тиражами переводах его увлекательно написанных книг утверждалось, что древние переселенцы прибыли в Полинезию из Америки с попутными ветрами и течениями, что плавание на “Кон-Тики” доказало возможность таких плаваний. Эта концепция противоречила утвердившемуся в науке мнению, что заселение Полинезии происходило из Юго-Восточной Азии, через западную Океанию (Меланезию и Микронезию). С.А. Токарев, терпимо относившийся к различным новациям, находил рациональные зерна в концепции Хейердала. Заинтересовавшись этой проблемой и проштудировав соответствующую литературу, я убедился, что данные антропологии, этнографии и лингвистики однозначно указывают на миграции предков полинезийцев в ареал их нынешнего обитания через западную Океанию, что контакты с обитателями американского континента, если и случались, то были незначительными и не оказали сколько-нибудь существенного влияния на антропологический тип и культуру полинезийцев. Но обоснован ли аргумент Хейердала, что течения и ветры в тропических и субтропических широтах направлены с востока на запад, от Америки к Азии, что это, в конечном счете, и определило направление миграций морских скитальцев? Известные специалисты по “полинезийской проблеме” в странах Европы, США и Австралии – убежденные противники Хейердала – не могли опровергнуть “навигационный” аргумент. Мне пришла в голову мысль проконсультироваться с океанологом, владеющим новейшими данными о тихоокеанских ветрах и течениях. Через знакомых я вышел на В.И. Войтова, сотрудника Института океанологии АН СССР, который уже участвовал в рейсах

“Дмитрия Менделеева” и специально изучал интересующую меня проблему. Рассказываю об этом потому, что со знакомства с Виталием Ивановичем начался мой путь в экспедицию на острова Океании.

В.И. Войтов сообщил, что, как доказали новейшие советские и американские исследования, наряду с течениями и ветрами с востока в тропических и субтропических широтах наблюдаются – пусть и не столь выраженные – водные и воздушные потоки, имеющие противоположное направление. Ими вполне могли воспользоваться древние “мореплаватели солнечного восхода”, которые проникали в Полинезию через западную Океанию, тем более что их лодки были снабжены балансиром, увеличивавшим устойчивость при волнах, и треугольным парусом, позволявшим маневрировать при встречном и боковом ветрах. Мы решили подготовить работу на эту тему, совместив данные этнографии, археологии, антропологии и лингвистики с материалами наук океанологического цикла.

В то время началась подготовка к XI Тихоокеанскому научному конгрессу, который должен был состояться в 1966 г. в Токио, и мы сочли уместным представить свои выводы этому международному научному форуму. Виталий Иванович предпочел отправиться в очередную морскую экспедицию, а я подал заявку на участие в конгрессе с нашим совместным докладом. Мне повезло. На высшем уровне было принято решение всемерно активизировать политику СССР в бассейне Тихого океана, где тогда фактически хозяйничали США, и американское вооруженное вмешательство в гражданскую войну во Вьетнаме могло привести к самым непредсказуемым международным осложнениям. В связи с этим в ЦК КПСС приняли предложение Советского национального комитета Тихоокеанской научной ассоциации (при Президиуме АН СССР) об отправке на конгресс внушительной делегации, включающей специалистов всех основных отраслей науки – от агрономии до этнографии, и выделении теплохода “Байкал” для перевозки командируемых ученых из порта Находка до Иокогамы и обратно.[4] Нам предписывалось не только достойно представлять и пропагандировать советскую науку, но и завязывать контакты с учеными из больших и малых стран региона, собирать социально-политическую и научно-техническую информацию и т. д.[5]

Советская делегация насчитывала 140 человек (ученых и “искусствоведов в штатском”) и была гораздо более многочисленной, чем на предыдущих конгрессах, причем впервые после Л.Я. Штернберга в нее были включены этнографы – четыре сотрудника Институ-

та этнографии. С.А. Арутюнов, И.С. Гурвич и Н.Н. Чебоксаров уже неоднократно выезжали за рубеж. Мне же, как “новичку”, предстояло пройти своего рода обряды инициации – “собеседования” в выездной комиссии сначала райкома, а потом ЦК КПСС. Если “новичка” не отсеивали под тем или иным предлогом, то обычно рекомендовали съездить в “надежную” страну социалистического лагеря. А тут – сразу в “капстрану”, да еще такую проблемную, как Япония. Мой плюс – членство в КПСС, минус – пресловутый “пятый пункт”. Казалось, что на конгресс отправится только текст доклада без автора. Но помогло то, что я выезжал за рубеж не один, не с двумя-тремя коллегами, а в составе огромной делегации, которая оформлялась как единый коллектив Иностранным отделом Президиума АН СССР. В середине августа делегация прибыла в Находку, а оттуда на теплоходе “Байкал” в Иокогаму – морские “ворота” Токио.

Об XI Тихоокеанском научном конгрессе (22 августа – 3 сентября 1966 г.) рассказано в статье, опубликованной в журнале “Советская этнография” (Тумаркин, Чебоксаров 1967: 155-165). Коснусь только доклада “Навигационные условия морских путей в Полинезию (в связи с дискуссией о заселении Полинезии)”, представленного мной в подсекцию “Этнология” секции “Антропология”. Текст был предварительно напечатан в Москве в виде брошюры на английском языке (Tumarkin, Voitov 1966). Ввиду ограниченности времени (20 минут), предоставлявшегося на доклад, я раздал брошюру присутствующим и кратко изложил ее содержание и основные выводы (к счастью, мог довольно прилично объясняться по-английски). Развернулась оживленная дискуссия, которую начал Тур Хейердал, темпераментно отстаивавший свою концепцию. Но пришедшие на доклад известные ученые-полинезианисты поддержали дотоле неизвестного им молодого советского коллегу и подчеркнули плодотворность сотрудничества этнолога с океанологом. Сообщение о дискуссии на модную тогда тему, переданное агентством Рейтер, было напечатано в газетах нескольких стран.[6]

Вернувшись в Москву, я встретился с В.И. Войтовым и рассказал ему об успехе нашего предприятия. Он познакомил меня с заместителем директора Института океанологии АН СССР А.А. Аксеновым, который ведал организацией экспедиций и сам нередко их возглавлял. Андрей Аркадьевич уже слышал о дискуссии с Хейердалом от сотрудников Института, участвовавших в конгрессе. Он долго со мной беседовал, расспрашивал о работах и планах и в заключение

сказал, что задумал экспедицию с участием ученых-“береговиков”, а потому с многочисленными высадками на тихоокеанские острова. В ее составе был бы уместен и этнографический отряд. Но ИЭ должен проявить инициативу и заручиться поддержкой в Президиуме АН СССР.

Писатель Даниил Гранин сравнил советских этнографов-океанистов с астрономами, которые всю жизнь исследуют далекие миры, не будучи в состоянии там побывать (Гранин 1966:17). Справедливость этой печальной метафоры я с особой силой ощутил по возвращении из Токио, где все встреченные мной океанисты выезжали в “поле” и рассказывали как о чем-то обыденном о планах предстоящих поездок на острова Южных морей. Я понял, что ни в коем случае нельзя упустить возможность, подсказанную А.А. Аксеновым. И дело было не только в романтической увлеченности морскими путешествиями, не только в присущем этнографу желании хотя бы посетить изучаемые народы. В сфере моих научных интересов оказался новый “объект”, который привлекал к себе большое внимание.

В 1963 г. в ИЭ торжественно отмечали 75-летие со дня смерти Н.Н. Миклухо-Маклая. Мне поручили сделать доклад и написать статью о “тамо русс” вместо заявившего об усталости от этой темы и к тому же впавшего в немилость Н.А. Бутинова. Я начал читать опубликованные дневники и статьи Маклая и … “заболел” личностью этого во многом замечательного человека. Не прекращая разработки прежних тем (“американизация” Гаваев, происхождение и миграции полинезийцев и т.д.) я после выполнения задания дирекции (Тумаркин 1963) понемногу продолжил погружаться в “маклаиану”. В связи с этим сфера моих научных интересов стала все больше смещаться к изучавшимся Миклухо-Маклаем народам Новой Гвинеи.

Одной из первых мер нового директора Института этнографии Ю.В. Бромлея стала почти полная смена руководства журнала “Советская этнография” и существенное обновление его редколлегии. В сентябре 1966 г. (сразу после моего возвращения из Японии) Президиум АН СССР по представлению Бромлея назначил главным редактором журнала Ю.П. Петрову-Аверкиеву, а одним из ее заместителей – автора этих строк. Мне было поручено руководить подготовкой статей и других материалов по народам зарубежных стран и теоретическим проблемам (“общей этнографии”). Работа в журнале отнимала много времени и сил, но зато существенно расширяла научный кругозор и повышала мой статус в ИЭ. В первые годы директор-

ства у Ю.В. Бромлея было немало открытых и скрытых противников среди консервативно настроенных сотрудников Института. Я открыто поддерживал более демократический стиль руководства и теоретические взгляды нового директора, резко контрастировавшие с догматизмом и авторитарными административными методами С.П. Толстова, и по мере сил организовал отпор его хулителям (см. Тумаркин 2003:212-220). В свою очередь, Юлиан Владимирович относился ко мне с симпатией и уважением.

Улучив подходящий момент, я рассказал Ю.В. Бромлею о плаваниях "Дмитрия Менделеева" и о комплексной экспедиции с участием ученых-"береговиков", задуманной А.А. Аксеновым. Не знаю, слышал ли Юлиан Владимирович о многолетних попытках отправить советских этнографов на Новую Гвинею. Скорее всего, ему было что-то известно о таких попытках – если не из разговоров в Президиуме АН СССР, то из перспективных планов работы, хранившихся в институтском архиве[7]. Но Юлиан Владимирович не стал касаться истории вопроса, заявив лишь, что ему понятно значение участия этнографов в запланированном рейсе, и поручил мне подготовить предложения по составу этнографического отряда. Как человек практичный, он предложил составить детальную смету, предусматривающую транспортные расходы, приобретение экспедиционного оборудования (палаток, надувных матрацев, консервов и т.д.) и подарков для островитян, а также выделение валюты на покупку экспонатов для пополнения океанийских коллекций МАЭ. Проект подробного обоснования планируемой экспедиции Бромлей попросил согласовать с дирекцией Института океанологии.

Начались мои поездки к "черту на Кузьминки" – в старинный дворец Дурасова на окраине садово-паркового комплекса Люблино - Кузьминки, где размещался тогда Институт океанологии АН СССР. В результате удалось уточнить и согласовать набор необходимых документов, а также познакомиться с несколькими ведущими учеными, которые собирались принять участие в "островном рейсе". Он был включен в план экспедиций на 1971 г. Когда об этом стало известно, Юлиан Владимирович пустил в ход заранее подготовленные документы. В 1970 г. предложение Ю.В. Бромлея было одобрено Президиумом АН СССР, а затем и высшей "инстанцией". Начался заключительный этап подготовки к экспедиции на "Дмитрии Менделееве".

Как и ожидалось, остро встал "кадровый вопрос": кто войдет в этнографический отряд и станет его начальником. О нежелании С.А.

Токарева участвовать в этом рейсе мы уже знаем. К сожалению, его послевоенные аспиранты В.М. Бахта и А.И. Блинов после защиты диссертации по разным причинам не остались работать в системе Академии наук. Первый в те годы занялся редакционно-издательской деятельностью и сделался писателем-популяризатором, второй стал преподавателем истории в вузе. Несомненным кандидатом на включение в отряд был Н.А. Бутинов, который претендовал на то, чтобы его возглавить. К 1971г. Николай Александрович стал известным специалистом по этнографии народов Океании, раньше меня начал серьезно изучать жизнь и труды Н.Н. Миклухо-Маклая, в 1970 г., после искусственных проволочек, защитил докторскую диссертацию "Папуасы Новой Гвинеи". К тому же он был на 14 лет старше меня. Казалось, Бутинов – наиболее очевидный начальник отряда. Но он занимался не только океанистикой, но и проблемами общей этнографии, причем выступал в качестве "возмутителя спокойствия", пытаясь в годы директорства С.П. Толстова опровергнуть основные положения учения Моргана-Энгельса о материнском роде. Такое "своеволие" возмутило всесильного директора, и по его указанию четыре известных ученых опубликовали в 1962 г. в журнале "Советская этнография" разгромную рецензию на работы Бутинова, объявив его "проводником буржуазной идеологии". Дело не ограничилось научной критикой. Николая Александровича едва не исключили из партии и запретили ему участвовать в VII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук, который состоялся в августе 1964 г. в Москве (Решетов 2000:6-10). С приходом в 1966 г. к руководству Институтом этнографии Ю.В. Бромлея отношение к Бутинову начало меняться. Но в партийных органах он по-прежнему считался не вполне благонадежным и едва ли был бы утвержден начальником отряда. Учитывая "идеологическую составляющую" и то обстоятельство, что Бутинов жил в Ленинграде, а вся организационная работа велась в Москве и при том по моей инициативе, Юлиан Владимирович принял решение рекомендовать меня в качестве начальника отряда. Бромлей тактично объяснил свое решение Н.А.Бутинову, однако обида у него осталась. И она не раз проявлялась во время нашей экспедиции.

В секторе Америки, Австралии и Океании Ленинградской части ИЭ появился еще один претендент на участие в экспедиции – Владимир Рафаилович Кабо, который, будучи студентом истфака МГУ, в 1949 г. за рассказанный анекдот про Сталина был арестован и провел

несколько лет в тюрьме и лагере. Освобожденный по амнистии летом 1953 г., он вернулся в Москву, окончил истфак, но устроиться на работу по специальности нигде не мог, и тогда руководитель Ленинградской части ИЭ Л.П. Потапов по протекции взял Кабо на работу в возглавляемое им учреждение[8]. Владимир Рафаилович обменял свою московскую жилплощадь на квартиру в пригороде Ленинграда и продолжил начатые еще в студенческие годы исследования в области австраловедения, которые обобщил в диссертации “Каменные орудия австралийских аборигенов”. Услышав о подготовке экспедиции в Океанию, Кабо попросил включить его в формируемый отряд, но получил отказ: беспартийный еврей, освобожденный из лагеря по амнистии, был явно “невыездным”. Обуреваемый желанием выехать за рубеж, он приписал отказ интригам другого еврея, Тумаркина, и затаил обиду на Ю.В. Бромлея (своего однокурсника) за то, что тот, понимая безнадежность этого дела, отказался ходатайствовать перед “выездными” органами о включении его в состав нашей экспедиции. Позднее, в постсоветский период, эмигрировав в Австралию, Кабо в своих публикациях вылил не один ушат грязи на “обидчиков”.

К 1971 г. я уже неплохо разбирался в проблемах этноокеанистики и продвинулся довольно далеко в изучении жизни и трудов Миклухо-Маклая. Но у меня не было опыта работы в “поле” – ни одного выезда!, - а потому необходимо было, прежде всего, включить в отряд опытного этнографа – “полевика”. Выбор пал на московского сотрудника ИЭ В.Н. Басилова, специалиста по среднеазиатскому шаманству. Он с радостью согласился отправиться на “Дмитрии Менделееве” и засел за изучение научного наследия Маклая и тома “Народы Австралии и Океании”.

Еще один этнограф-“полевик”, включенный в этнографический отряд – московский сотрудник ИЭ Михаил Васильевич Крюков. Специалист по этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии, особенно Китая, и некоторым проблемам общей этнографии, он проходил стажировку в Китае и имел опыт общения с иностранными учеными. Как шутил Михаил Васильевич, он не только работал в Институте имени Н.Н. Миклухо-Маклая, но и жил в Москве на улице, названной в честь этого ученого. Как он мог отказаться от предложения отправиться в экспедицию по следам Маклая! Михаил Васильевич предполагал заняться в экспедиции изучением социальных структур островитян и сбором материалов об их системах родства.

В состав отряда было решено включить антрополога и фольклориста. Поскольку “выездных” антропологов в ИЭ не оказалось, пригласили О.М. Павловского – сотрудника Института антропологии МГУ. Зато фольклорист в Ленинградской части ИЭ нашелся первостатейный – Б.Н. Путилов. Его “коньком” был фольклор южных славян, для изучения которого он неоднократно выезжал в Югославию. Но Борис Николаевич, как и я, “заболел” Миклухо-Маклаем. И поскольку намечалась высадка на Берегу Маклая, он отказался от другой научной командировки, чтобы отправиться с нами на “Дмитрии Менделееве”.

Н.Н.Миклухо-Маклай во время своих путешествий составлял словарики языков изучаемых им народов. Чтобы продолжить и развивать эти этнолигвистические изыскания, Н.А. Бутинов рекомендовал включить в отряд сотрудника Отдела Африки Ленинградского отделения ИЭ Николая Михайловича Гиренко (будущего известного правозащитника). До поступления на работу в ИЭ Гиренко два года работал переводчиком в Танзании, отлично владел английским и суахили, легко осваивал новые языки. Ему предстояло помогать Бутинову в изучении этнолингвистической ситуации, прежде всего на Берегу Маклая.

Незадолго до отъезда из Москвы наш отряд пополнился еще одним специалистом. По просьбе “сверху” в него была включена Ирина Мануэлевна Меликсетова – сотрудница Института востоковедения АН СССР, защитившая в 1968 г. кандидатскую диссертацию по истории французской колонии Новая Каледония. Поговаривали, что определенную роль сыграли родственные связи: она была падчерицей известного партийного деятеля и публициста Ю.А. Жукова. Так или иначе, Ирина Мануэлевна оказалась молодой симпатичной женщиной, скрашивавшей суровые будни нашего мужского коллектива.

VI –ой экспедиционный рейс «Дмитрия Менделеева»

10 июня 1971 г. участники экспедиции прилетели в Артем – аэропорт Владивостока, и вскоре я впервые увидел этот красивый город, раскинувшийся по берегам бухты Золотой Рог. “Дмитрий Менделеев” стоял у причальной стенки в центре Владивостока, под большим памятником героям гражданской войны. В моем полевом дневнике появились первые записи.

Нас приветствовали капитан корабля Михаил Васильевич Соболевский и заместитель начальника экспедиции Игорь Михайлович

Белоусов (сам начальник, А.А. Аксенов, перед выездом из Москвы заболел и должен был “нагнать” корабль, прилетев на самолете “Аэрофлота” в один из азиатских портов). О М.В. Соболевском – очень интеллигентном человеке, писавшем стихи и недурно игравшем на фортепьяно – остались самые приятные воспоминания. Он был не только опытнейшим навигатором, но и радушным хозяином, старался, несмотря на строгую регламентацию, создать на судне такую атмосферу, которая помогала участникам экспедиции плодотворно трудиться и хорошо отдыхать, чтобы легче переносить тяготы четырехмесячного рейса. Например, в салоне регулярно звучала симфоническая музыка, записанная на стереофоническую аппаратуру, организовывались шахматные турниры, на верхней палубе, если не штормило, еженедельно и по праздничным дням устраивали вечера танцев. Под стать капитану был И.М. Белоусов – морской офицер, ставший ученым-геоморфологом. Доброжелательность сочеталась у него с неподдельным оптимизмом.

Соболевский и Белоусов рассказали нам об “обитателях” судна. Оказалось, что экипаж состоял из 80 моряков, а в списке участников экспедиции значился 81 человек. Две трети из них – океанологи разных специальностей, остальные – “береговики” (географы, ботаники, зоологи, этнографы и т.д.). Все участники экспедиции были разделены на 10 отрядов.

Белоусов сообщил, что в этнографический отряд – пусть формально – включены два сотрудника “Центрнаучфильма” – режиссер и оператор В.Г. Рыклин и оператор А.Н. Попов. Причины: во-первых, ни к какому другому отряду их присоединить невозможно; во-вторых, им поручено создать полнометражный художественно-документальный фильм “К берегам далекой Океании”, и работать они будут преимущественно во время высадок, уделяя первостепенное внимание местам, связанным с Миклухо-Маклаем, так как рейс посвящен двойной годовщине – 125-летию со дня рождения “белого папуаса” и столетию с начала его экспедиционных работ на Новой Гвинее.

Капитан приказал своему старшему помощнику Г.А. Стренадько провести для новичков ознакомительную экскурсию по судну. Старпом, прежде всего, сообщил, что “Дмитрий Менделеев” имеет водоизмещение 6800 тонн и построен в 1968 г. на верфи восточногерманского города Веймар. Он сравним по высоте с пятиэтажным домом и имеет несколько палуб и надстроек. На главную палубу выходят окна

(иллюминаторы) кают комсостава экипажа и руководителей экспедиции, а также кают-компании и части лабораторий (другие – в зависимости от специфики – размещены в разных частях корабля). На этом же уровне – конференц-зал и салон начальника экспедиции. Ниже, ближе к ватерлинии, еще два “этажа” с каютами для большинства “научников” и матросов, их столовая, трансформируемая в кинозал, и кухня (камбуз) с пекарней. Еще ниже в трюмах склады, резервуары с дизельным топливом и пресной водой и само “сердце” корабля – машинное отделение с двумя дизельными моторами по 4 тыс. лошадиных сил в каждом. “Дмитрий Менделеев” был снабжен передовыми для того времени системами и устройствами, обеспечивавшими длительное и сравнительно безопасное плавание в открытом океане – радиолокатором и другими точными навигационными приборами, мощной радиостанцией, системой кондиционирования воздуха, опреснительной установкой, автоматической телефонной станцией и т.д.

Нашему отряду были выделены четыре двухместные каюты и одна из лабораторий с большим холодильником и сушильным шкафом. Здесь мы проводили собрания отряда, хранили снаряжение, подарки для островитян, лекарства, продовольствие, закупленное на всякий случай во Владивостоке.

Я поселился в каюте № 232 на второй палубе вместе с Басиловым. Рядом была каюта, в которой разместились Бутинов и Путилов. Еще одну каюту заняли Гиренко и Крюков. По гендерному признаку пришлось произвести некоторый размен: Меликсетова поселилась с сотрудницей Института океанологии, Павловский – со специалистом по ЭВМ из того же Института.

Закрываю глаза и живо представляю себе свою каюту. Вдоль одной из стен две койки, одна над другой, напоминающие спальные места в вагоне поезда, только деревянные бортики призваны помешать падению при качке. Под нижней койкой – выдвижные ящики. Над койками – “багажное отделение”. Под герметически задраивающемся иллюминатором – маленький стол с креслом, привинченные к полу, на столе намертво закреплен телефон. Рядом неподвижный угловой диванчик. Над ним – репродуктор, который невозможно отключить; по нему передают разные объявления, а в случае необходимости – аварийные сигналы. На стене возле двери напротив коек – умывальник со шкафчиком, под потолком электрический плафон и кондиционер. Узкий коридор вдоль кают разделен на отсеки с плотно

закрывающимися металлическими дверями (для увеличения живучести судна в случае пробоины в корпусе или пожара). В каждом отсеке туалет и маленькая душевая.

Отплытие из Владивостока было назначено на 15 июня, но задержалось на два дня из-за “неточностей” в выездной документации некоторых членов экспедиции. Такие задержки были обычным делом. “Я прекрасно помню, например, - пишет известный ученый-геофизик и поэт А.М. Городницкий о III рейсе, - как в 1974 году наше судно “Дмитрий Менделеев”, уже полностью снаряженное для выхода в экспедицию, около месяца простояло в порту, ожидая из Москвы “шифровку” с фамилиями участников экспедиции, “допущенных к рейсу”. Сведения эти, видимо, были настолько секретными, что о том, чтобы передать их по телефону или телеграфу, не могло быть и речи. Убытки, понесенные в результате этого простоя, исчислялись сотнями тысяч рублей, не считая валюты, но это решительно никого не волновало: карман ведь не свой - государственный” (Городницкий, 2011:321). Так что наша двухдневная задержка не только не удивила руководителей экспедиции, а скорее порадовала их своей кратковременностью.

Кстати, Городницкий, работавший тогда в одном из академических институтов Ленинграда, должен был участвовать в VI рейсе. Но, как вспоминает Александр Моисеевич, ему в начале 1971 г. закрыли визу на загранрейсы – формально из-за недавнего развода, а фактически из-за отказа стать негласным сотрудником (“стукачом”) (Городницкий, 2011:330-334). Он снова стал “выездным” через три года, после переезда в Москву и поступления на работу в Институт океанологии. Не участвовал Городницкий и в XVIII рейсе “Дмитрия Менделеева”, так как отправился в плавание на “Академике Курчатове”. Поэтому мне не довелось познакомиться с ним в полевых условиях. Но уже в 1971 г. о Городницком много рассказывали мне участники VI рейса, причем и моряки, и “научники” декламировали его стихи и пели под гитару сочиненные им песни.

Мы вышли из бухты Золотой Рог при спокойном море и хорошей погоде. Но к вечеру 19 июня пошел дождь и начался восьмибальный шторм, который сопровождался сильной качкой. Находившиеся на борту ученые по-разному реагировали на буйство стихии. Одни, по крайней мере, внешне, придерживались обычного образа жизни. Другие, хотя и испытывали определенный дискомфорт, старались ему не поддаваться и в целом справлялись со стрессовой ситуа-

цией. Зато третьи – я принадлежал к их числу – с посиневшими лицами ничком лежали на койках в своих каютах, отказывались от пищи, испытывали мучительные приступы тошноты, порой впадали в прострацию. Услужливая память в минуты просветления напоминала, что знаменитый английский флотоводец лорд Нельсон тоже плохо переносил качку, но, увы, это “тоже” не приносило облегчения. Столь же сильно страдали от качки Меликсетова и Бутинов, меньше – Гиренко, Путилов и Павловский, а Басилов и Крюков утверждали, что почти не чувствуют дискомфорта.

“Потерпи, должно полегчать, прикачаешься”, - утешали меня океанологи, участвовавшие во многих экспедициях. И действительно, уже через несколько дней вернулся аппетит и – хотя временами еще противно сосало под ложечкой – постепенно вернулась работоспособность. Повеселели и коллеги, в первые дни плавания жаловавшиеся на “морскую болезнь”. Помимо “прикачивания” (адаптации организма к постоянной качке) помогли изменившиеся к лучшему погодные условия: быстро идя на юг, корабль преодолел зону штормов и волнение теперь не превышало двух-трех баллов.

Мир экспедиционного корабля тесен и жестко определен замкнутым пространством. Здесь как нигде остро воспринимаются и становятся ощутимыми личные качества людей, так непохожих друг на друга. К счастью, в нашем отряде преобладали положительные эмоции. Спокойствие и доброжелательность излучал Путилов. Оптимизмом и деловитостью “заряжала” других Меликсетова, едва оправившаяся от недомогания. Сложнее складывались у меня отношения с Бутиновым. Он держался сухо и отчужденно, как бы давая понять, что ему, а не мне следовало руководить отрядом.

Корабль был советской территорией не только юридически. Порядки здесь напоминали те, которые существовали тогда на “шестой части света”.

У капитана помимо старшего помощника и трех других, ведавших техническим состоянием судна, его двигателя и предотвращением пожаров, имелся “первый помощник”, иначе говоря, замполит, который занимался идеологической работой (доклады, политинформации, стенгазета и т.д.; следил за настроениями и разговорами через “доверенных лиц” и – главное- должен был предотвращать побеги во время стоянок корабля в зарубежных портах. В VI рейсе нам повезло с первым помощником: Н.Г. Тур, разумеется, выполнял свои служебные обязанности, но был деликатным и доброжелательным челове-

ком. Зато в XVIII рейсе приемник Тура открыто и сладострастно занимался соглядатайством и доносительством. Он шнырял по судну, вмешивался в разговоры, неожиданно заглядывал в лаборатории, устраивал, как мне говорили, обыски в каютах, когда их обитатели съезжали на берег, с недоверием и едва скрываемой антипатией, относился к евреям. На некоторых научно-исследовательских судах, если не на всех, находился и штатный сотрудник КГБ, по легенде – научный работник. А.М. Гродницкий вспоминает об этом в связи со своим участием в 1977 г. в экспедиции на “Академике Курчатове”. Ведомственная принадлежность ученого “в штатском” была засекречена, но на корабле плохо сохраняются тайны. Посвященные называли его Федя-Лохматое ухо (Городницкий, 2011:361).

На “Дмитрии Менделееве” функционировал научно-технический совет - подобие Ученого совета сухопутного академического НИИ. В приказном порядке в него включены были начальники отрядов и несколько других наиболее уважаемых ученых. Этот совет, возглавляемый начальником экспедиции (или его заместителем), заседал регулярно “при любой погоде и непогоде”. Он заслушивал научные доклады, отчеты начальников отрядов, рассматривал планы исследований в открытом море и, конечно, во время высадок. Но последнее слово оставалось за начальником экспедиции, его приказы не подлежали обсуждению и выполнялись беспрекословно.

В лабораторном помещении, отведенном этнографам, почти ежедневно собирался этнографический отряд. На этих собраниях мы готовились к высадкам, особенно в деревню Бонгу, расположенную на Берегу Маклая. Подготовка велась в нескольких направлениях. Прежде всего, заучивали и запоминали наиболее употребительные слова и выражения из языка папуасов бонгу. В качестве пособий мы использовали словники бонгу, составленные Н.Н. Миклухо-Маклаем, и опубликованную в 1899 г. книгу немецкого миссионера А. Ханке “Грамматика и словарь языка бонгу”, которая существенно дополняла языковой материал, собранный русским путешественником. Бутинов и Гиренко штудировали этот язык в Ленинграде еще до отправления в экспедицию и теперь выступали в качестве преподавателей. Краткий бонгуанско-русский и русско-бонгуанский словарик, составленный ими и размноженный на гектографе, получили все члены отряда. Из научной литературы было известно, что на Новой Гвинее, главным образом среди мужчин, широко распространен пиджин – возникший в колониальной ситуации язык-гибрид, в котором фонетиче-

ски измененная английская и немецкая лексика сочетается с меланезийской грамматикой. В Государственной библиотеке им. Ленина (теперь Российская государственная библиотека) я обнаружил учебное пособие по пиджину, изданное в Австралии, заказал несколько ксерокопий и начал его изучать. Теперь я раздал эти копии коллегам и мы стали спешно осваивать основы пиджина. Не только в лаборатории, но и в нашей каюте я пытался объясняться с Басиловым только на пиджине.

Мы знали, что в соответствии с программой экспедиции высадки на берег, в том числе в Бонгу, будут кратковременными. Поэтому другой важнейшей задачей было детально спланировать работы во время высадок, выделить проблемы, требующие первоочередного внимания, точно определить обязанности и специализацию каждого члена отряда, формы его сотрудничества с коллегами. Проверялось и испытывалось снаряжение – палатки, противомоскитные сетки и т.д.

Нелегко было привыкнуть к корабельной пище. Участники экспедиции и офицеры экипажа питались в кают-компании за маленькими, покрытыми пластиковыми скатертями столиками, обслуживались буфетчицами (официантками). Но меню было однообразным и традиционно морским. Главные блюда – борщ по-флотски и макароны по-флотски. Зато хлеб – белый и черный - всегда был свежим и очень вкусным (из судовой пекарни). Суп подавали на обед и на ужин, а компот из сухофруктов – три раза в день, причем только жидкость, без “гущи”. В начале плавания почти не давали свежих фруктов и овощей. Но после первого захода в иностранный порт они появились в изобилии, главным образом яблоки и апельсины. Кроме того, во время пребывания в тропиках каждому “обитателю” судна полагалось “тропвино”, которое выдавалось раз в неделю – две бутылки сухого вина, которое по желанию заменяли двумя литрами вишневого сока.

Вспоминаю любопытный эпизод. Владимир Григорьевич Рыклин – большой любитель поесть – обычно просил и получал добавку (макароны по-флотски, рагу с картошкой и т.д.). Однажды он спросил официантку: “Почему Вы нам даете только жидкость от компота? Куда девается гуща?” Официантка смутилась, ничего не ответила и принесла целое блюдо с сухофруктами из компота. Вокруг столика, за которым сидел Рыклин, собралась группа “морских волков”, которая с любопытством наблюдала за происходящим. Когда Рыклин съел значительную часть принесенного, известный геофизик

В.А. Тулин ему сказал: “Это, батенька, не случайно подают только жидкость от компота. Действуя по инструкции, корабельный врач ежедневно добавляет в чан с компотом изрядную порцию брома, который притупляет эмоции и ослабляет половое влечение. Но дотошные “научники” давно установили, что бром поглощается сухофруктами и почти отсутствует в компотной жидкости. Поэтому сухофрукты из компота обычно выбрасывают за борт и подают к столу только отвар”. Рыклин очень встревожился, но “морские волки” заверили его, что случившееся не будет иметь долговременных последствий. Как говорится, до свадьбы заживет.

За этим анекдотическим случаем скрывается серьезная проблема – взаимоотношения мужчин и женщин в морских экспедициях. Об этом обстоятельно, со знанием дела и с тонким юмором рассказывал в своих воспоминаниях А.М. Городницкий, ранее посвятивший экспедиционным романам несколько лучших своих песен.

“Мне за почти три десятилетия плавания на самых различных судах, - пишет он, - довелось быть свидетелем многочисленных драматических ситуаций <…> когда на сотню и более мужчин приходится всего несколько женщин, а “моральный кодекс строителей коммунизма” перестает срабатывать уже на третий день после выхода из родного порта <…> На академических судах на период рейсов, длящихся в среднем около четырех месяцев, романы возникали между экипажем – с одной стороны и “наукой” – с другой. Это в равной степени относилось к недолговечным любовным связям офицеров с дамами из науки и каютных номерных или буфетчиц с научными сотрудниками, то есть с “чужими”. Романы эти, расцветая пышным цветом где-то к исходу первого месяца, (“Имей в виду, - поучал меня мой приятель – второй штурман на “Дмитрии Менделееве”, - у нас женщин разбирают прямо на трапе”) заканчивались обычно в последнем порту захода, где надлежало тратить накопленную за рейс валюту и приходила пора вспоминать о покупках, заказанных семьями, ожидающими на суше <…> Женщины из “науки” в океанских рейсах, как правило, расцветали. С одной стороны, они оказывались свободными от ежедневного унылого быта, порабощающего их на суше, - необходимости кормить и ублажать мужей, лечить и воспитывать детей, таскать огромные авоськи с продуктами, стоять во всевозможных очередях. С другой, – будучи всегда в меньшинстве, они становились предметом поклонения и ухаживания почти всего мужского состава

экспедиции, причем ухаживания эти, как правило, мало зависели от степени женской красоты” (Городницкий, 2011:286-288).

Сказанное Городницким в полной мере применимо и к VI рейсу “Дмитрия Менделеева”. Любвеобильный капитан Соболевский “крутил” романы сразу с несколькими молодыми женщинами – из “науки” и экипажа. Судовой врач открыто жил с одной из буфетчиц. Другие пары старались не афишировать свои отношения, но как уже упоминалось, в замкнутом пространстве экспедиционного корабля трудно было сохранять тайну. “Любовная лихорадка” не обошла стороной и наших ученых. Только – вопреки обобщению Городницкого – их “объекты” были тоже из “науки” (Городницкий 2011:310-311). В своих воспоминаниях Александр Моисеевич особо выделяет синоптика Клару Войтову – смуглую красавицу-брюнетку, которая, по его словам, была главной “секс-бомбой” в III рейсе “Дмитрия Менделеева” (Городницкий 2011:310-311). Клара – жена океанолога, который также регулярно участвовал в рейсах “Дмитрия Менделеева”, однако всегда без жены, т.к. по существовавшим тогда правилам, супругам не следовало участвовать в одной экспедиции. Как пишет Городницкий, у Клары было много поклонников, но за ней “кажется, совершенно безуспешно ухаживал наш блестящий капитан” (Городницкий 2011:310). Ослепительная Клара участвовала и в VI рейсе, в котором она явно была одной из избранниц Соболевского.

Пожар в открытом море – страшное бедствие. Поэтому на “Дмитрии Менделееве” были приняты все возможные меры предосторожности: оборудована централизованная система пожаротушения мощными струями забортной воды, во всех помещениях установлены датчики, сигнализирующие в капитанскую рубку о задымлении, повсюду развешаны пенные огнетушители и т.д. Противопожарной профилактикой и проверкой исправности упомянутых систем ведал один из помощников капитана со зловещей фамилией Погорелов.

Однажды утром в нашей каюте, как и в других корабельных помещениях, по внутренней трансляции прозвучали громкие звонки (семь коротких и один длинный), означающие шлюпочную тревогу. Такая тревога объявляется в крайних случаях, когда пожар потушить не удается, тогда и команде, и “научникам” следует собраться у спасательных шлюпок. Схватив спасательные жилеты, уложенные под пружинными матрасами коек, я и Басилов выбежали на шлюпочную палубу и приблизились к шлюпке № 2, к которой мы были заблаговременно “приписаны”. Около шлюпок собралось почти все “населе-

ние” корабля. Только тут капитан объявил в мегафон, что тревога учебная, и высказал разные замечания, не меняющие сути дела (не забыть надеть головной убор, прибегать не в босоножках, а в кедах и т.д.). Но уже в конце экспедиции, после захода в Суву, столицу Фиджи, на судне действительно произошел пожар: несколько ученых, собиравших вблизи от гавани кораллы на морском дне (их в то время можно было выгодно продать через комиссионные магазины Москвы и Ленинграда) положили в одной из лабораторий промокшую одежду и обувь в сушильный шкаф. Уставшие, они пошли отдохнуть в свои каюты, но вовремя не вернулись. Тканевая одежда и особенно резиновые кеды начали тлеть, повалил густой дым. Датчик задымления в этой лаборатории не работал, но, к счастью, проходившие мимо люди заметили сочившийся из-под двери дым и услышали треск начинающегося пожара. Позвонили в капитанскую рубку. По тревоге прибежали Погорелов и несколько матросов, которые сумели ликвидировать возгорание.

В тропиках наряду с постоянной качкой, изнуряюще действовали жара и духота. По этой причине “обитатели” судна предпочитали днем – даже в свободное от работы время, оставаться в помещениях, снабженных кондиционерами, и только самые привычные и выносливые решались загорать на пеленгаторной палубе, прозванной “сачкодромом”. Но поздно вечером, после захода солнца, когда спадал дневной зной, многие участники экспедиции выходили на ярко освещенную кормовую часть шлюпочной палубы. Здесь они отдыхали в плетеных креслах, вели неспешные беседы, слушали транзисторные радиоприемники. В эфире английские, японские, китайские, вьетнамские, таиландские голоса … Лишь изредка удавалось поймать одну из советских станций, чаще всего из Владивостока. “Небосклон усеян яркими звездами, как в планетарии, - гласит запись в моем дневнике. – Но это - “чужие” звезды. Большая медведица и Полярная звезда где-то за кормой, низко над горизонтом. Скоро они исчезнут, и покажется созвездие Южного креста”.

Вечером 21 июня пересекли тропик Рака. Перед этим по судовому радио объявление: “В 23 часа перейдем тропик Рака. Смотреть по правому борту”. Некоторые новички, хотя и недоумевая, выходили из кают, и вглядывались в океан с правого борта. Здесь они спрашивали “морских волков”, что же можно увидеть. Те хладнокровно отвечали: “Увидите буек с табличкой «тропик Рака»”. Только теперь новички понимали, что стали жертвой розыгрыша.

Плавание проходило в непростой международной обстановке: во Вьетнаме шла гражданская война, причем партизан Вьетконга поддерживали СССР и КНР, а сайгонское правительство – США и Франция. Чтобы спасти от разгрома сайгонский режим, вашингтонские власти отправили в эту страну экспедиционный корпус и приказали подвергать районы, занятые повстанцами, “ковровым” бомбардировкам с воздуха. Идя по Южно-Китайскому морю на юг, недалеко от побережья Вьетнама, “Дмитрий Менделеев” находился под неусыпным наблюдением американских кораблей и самолетов. 24 июня к нам близко подошел американский ракетоносец. Его командир запросил по-русски световым телеграфом: “Кто вы и откуда, куда направляетесь?” Получив ответ, он протелеграфировал: “Восхищен блестящим видом вашего корабля. Был в 1969 г. военно-морским атташе в Москве. Желаю удачи всем участникам экспедиции”. Несмотря на вовлеченность во вьетнамский конфликт, СССР и США продолжали поддерживать дипломатические отношения. Поэтому мирный тон командира ракетоносца понятен. Но, похвалив внешний вид судна и выразив добрые пожелания, он, пожалуй, вышел за рамки дипломатического протокола.

27 июня “Дмитрий Менделеев” пришел в Сингапур, куда должен был прилететь А.А. Аксенов. Андрей Аркадьевич – бывший штурман ВВС, человек жесткий, властный, но справедливый, сразу взял в свои руки руководство экспедицией, поручив Белоусову как своему заместителю курировать береговые отряды.

В Сингапуре корабль простоял четыре дня. Всех съезжающих на берег заранее разделили на тройки во главе со старшими, которые отвечали за “ведомых”. В одиночку ходить по городу запрещалось. Это правило действовало и при заходах в другие порты.

Это была моя первая встреча с городом-государством, сумевшим за короткий срок превратиться из довольно отсталой британской колонии в процветающую страну с высокотехнологичной промышленностью и развитой банковской системой. В 1970-1990-х годах мне довелось восемь раз посетить Сингапур – на борту “Дмитрия Менделеева”, задерживаясь на сутки при перелете в Австралию и на обратном пути в Москву, а в 1981 г. провести там две недели, участвуя в IV межконгрессном совещании Тихоокеанской научной ассоциации. Каждый раз я замечал значительные перемены: вырастали новые небоскребы, сносились целые кварталы ветхих домов, на месте которых появлялись гостиницы, универмаги, банки и т.д. Более того, у

моря отвоевывали значительные участки и на насыпных землях строили сотни крупнопанельных домов для решения жилищной проблемы.

В Сингапуре много туристических достопримечательностей. Но моряков с советских торговых и рыболовных судов, которые всегда маячили на рейде Сингапура, интересовали, прежде всего, “шмотки” – возможность “отоварить” в этом порту свои убогие суточные в валюте, которые выплачивались за каждый день участия в загранплавании. Пронырливые торговцы, по большей части индийцы, кое-как объяснявшиеся по-русски, держали специальные “русские магазины”, где по дешевым ценам продавали третьесортные товары, ловко ориентируясь на советский спрос: ковры машинной выделки из синтетических тканей, нейлоновые плащи-“болоньи”, блузки с блестками из ткани люрекс, складные зонтики, устаревшие модели магнитофонов и видеосистем и т.п. Многие товары были недоброкачественными, техника обычно быстро выходила из строя. Но моряков это не смущало, так как почти все купленное барахло предназначалось для перепродажи дома. В условиях острого дефицита или даже отсутствия многих товаров в СССР “шопинг” в Сингапуре и некоторых других зарубежных портах был для них важной статьей дохода. Экипаж и большинство “научников” нашего корабля не были в этом отношении исключением.

Обычно заход научно-исследовательского судна в Сингапур планировался на конец рейса, когда накапливались заработанные валютные суточные. Этот неписанный закон был нарушен в связи с необходимостью принять на борт А.А. Аксенова. Руководство разрешило выдать небольшой валютный аванс, но на него мало, что можно было приобрести даже в “русских магазинах”, а в других портах, которые предстояло посетить “Дмитрию Менделееву” (Маданг, Сидней, Сува, Токио) цены на “шмотки” были намного выше, чем в Сингапуре. В 1977 г. заход “Дмитрия Менделеева” в Сингапур состоялся, как и положено, в конце рейса.

30 июня наш корабль ушел из Сингапура. Только теперь началось выполнение научной программы экспедиции. Уже через несколько дней была устроена первая “станция”: корабль лежал в дрейфе или маневрировал в пределах квадрата, обозначенного плавучими буйками, и отряды океанографов развернули свои исследования. Одновременно береговые отряды завершали подготовку к первой вы-

садке – самой важной в программе экспедиции – работам на новогвинейском Берегу Маклая.

Но на пути к Новой Гвинее предстояло пересечь экватор. Со времен парусного флота это событие принято отмечать особым ритуалом – праздником Нептуна. “Подобные увеселения, - писал в 1830 г. о празднике Нептуна русский кругосветный мореплаватель О.Е. Коцебу – повышают настроение команды, помогают ей скорее забыть о перенесенных невзгодах и укрепляют ее мужество перед лицом новых опасностей. К тому же они оказывают благотворное влияние на само здоровье, ибо бодрый и веселый человек заболевает гораздо реже, чем угрюмый и подавленный” (Коцебу, 2011:544). В своих основных чертах праздник Нептуна сохранился до наших дней. Поэтому по мере приближения к экватору, наряду с океанологическими исследованиями и подготовкой к береговым работам, на судне начались приготовления иного рода: на кормовой части главной палубы сооружали помост для Нептуна и его свиты, а также “купель” (брезентовый бассейн с деревянным каркасом, наполненный забортной водой) для купания “грешников”, мастерили маскарадные костюмы, рисовали картинки и плакаты, придумывали шутливые стихи про каждого из новичков, которым предстояло пройти своеобразный обряд инициации.

6 июня в 15 часов громко загудела корабельная сирена и под оглушительный звон большого гонга и медных тазов на главную палубу выскочили несколько перепачканных сажей “чертей”, за которыми следовали Нептун с Нептунихой, Русалка, Звездочет, Брадобрей и Виночерпий. Чертей изображали матросы, а Нептуна и его свиту – члены экспедиции, в том числе уважаемые ученые, доктора наук. Капитан отдал рапорт Нептуну, после чего микрофон перешел к Звездочету (биологу Л.И. Москалеву). Масса зрителей наблюдала за церемонией сверху, со шлюпочной палубы, а новички, впервые пересекающие экватор (среди них – все члены этнографического отряда) унылой толпой сгрудились на корме. Черти подводили новичка – одного за другим – к помосту, ставили на колени. Звездочет зачитывал стишок – приговор, после чего черти мазали посвящаемого техническим вазелином с растертым в нем графитом, некоторых (в том числе и меня) заставили проползти через “чистилище” (брезентовую трубу, испачканную изнутри сажей), затем бросали в “купель”. Полуголый Виночерпий с “татуированной” на животе надписью “Пей – помрешь, не пей - помрешь” наливал вылезшему из купели поварешкой из бо-

чонка по хорошей дозе сухого вина. Жертвы чертей так усердно мылись потом в душе, что опреснительная установка не справилась с таким большим расходом воды, и на следующий день пришлось ввести временные ограничения на ее использование.

Вечером был устроен торжественный ужин с выпивкой, во время которого капитан вручил каждому из прошедших обряд посвящения диплом о пересечении экватора. Этот любопытный документ, якобы сочиненный самим Нептуном и изобилующий потешными речевыми оборотами, подписан М.В. Соболевским и скреплен корабельной печатью. Вот и сейчас, перечитывая сохранившийся у меня диплом, я вспоминаю подробности этого вечера.

После ужина начались танцы на шлюпочной палубе. Женщины принарядились и всячески демонстрировали свою женственность, мужчины превратились в галантных кавалеров, но некоторых качало не только от качки. С разрешения начальства празднование продолжалось до поздней ночи во многих каютах и лабораториях. Пили “тропвино”, припасенное для праздника Нептуна, и разведенный спирт, который “для технических целей” (промывка оптики и т.д.) имелся во всех лабораториях. При этом под гитару распевали песню Городницкого с актуальным текстом:

Дымится разведенный спирт
В техническом стекле.
Мы будем пить за тех, кто спит
Сегодня на земле.

8 июля “Дмитрий Менделеев” подошел к северо-восточному побережью Новой Гвинеи и после короткого захода в Маданг на следующий день бросил якорь в бухте Константина в заливе Астролябия, где вблизи от берега прячется за стеной тропического леса деревня Бонгу. Моя давняя мечта – пройти по следам Миклухо-Маклая – начала осуществляться. Безусловно, с точки зрения антропологии академической жизни полевая работа на островах представляет большой интерес и очень отличается от деятельности на борту научно-исследовательского судна. Хотя при высадках мы обычно не теряли контакта с “Дмитрием Менделеевым”: корабль либо стоял поблизости на якоре, либо уходил в море для проведения океанологических исследований и затем возвращался к месту нашей высадки. Поэтому сейчас я не стану рассказывать о наших высадках на Новой Гвинее, Фиджи, Науру, Новой Каледонии, Западном Самоа и некоторых других островах Океании. Надеюсь, что сделаю это в следующем выпус-

ке «ААЖ», т.к. на мой взгляд, антропология академической жизни на тропических островах заслуживает отдельного очерка.

Сейчас же хотелось бы только подчеркнуть, что участие в морских научных экспедициях и работа на тропических островах сопряжены с серьезной угрозой для здоровья. Наиболее распространенное заболевание – малярия. Несмотря на применявшиеся заблаговременно таблетки, все члены этнографического отряда заболели малярией, так как на Новой Гвинее и некоторых островах Меланезии у возбудителей малярии выработалась устойчивость к делагилу и другим употреблявшимся тогда профилактическим препаратам[9]. Эта болезнь в принципе излечима, но иногда дает тяжелые осложнения. У М.В. Крюкова развился цирроз печени, с которым он промучился несколько лет и был буквально спасен лекарем-китайцем. Я сам в 1977 г., участвуя в XVIII рейсе, заболел малярией “частен”, против которой были бессильны существовавшие тогда лекарства. Приступы возобновлялись каждые полтора месяца. Наконец в клинике московского Института тропической медицины мне предложили опробовать новое французское лекарство, присланное для апробации. Полушутя-полусерьезно сказали: “Лекарство довольно ядовитое. Не вполне ясно, кто погибнет раньше – пациент или плазмодии. Рискнете?” Я рискнул и в результате избавился от малярии, но лекарство серьезно повредило печень и желчный пузырь. Начались болезни, которые омрачили мою жизнь.

Такого рода экспедиции серьезно влияют на сердечно-сосудистую систему. После двух плаваний на “Дмитрии Менделееве” у меня развилась гипертония. А у В.Г. Рыклина – человека немолодого, с не очень здоровым сердцем – на Берегу Маклая в 1977 г. случился инфаркт. По жизненным показаниям пришлось оставить его в госпитале в новогвинейском городе Лаэ. Хорошо, что там работал врач из Чехословакии, понимавший русский язык, так как Рыклин почти не говорил по-английски. Подлечившись, Владимир Григорьевич через несколько месяцев прилетел в Сидней, а оттуда в Москву. В Москве этим делом КГБ занималось специально.

О подготовке повторного рейса отечественных этноокеанистов

Обстановка на “Дмитрии Менделееве” во время XVIII рейса мало чем отличалась от той, о которой я рассказал, но изменились некоторые действующие лица. Начальник экспедиции – известный гидробиолог М.А. Пономарева (А.А. Аксенова уложил в постель очередной

сердечный приступ), капитан – А.С. Свитайло, опытный мореход, но менее интеллигентный и творчески одаренный, чем его предшественник. Ходили слухи, что М.В. Соболевского отстранили от командования “Дмитрием Менделеевым” за чрезмерную любвеобильность.

Этнографический отряд, снова возглавленный мною, на сей раз насчитывал пять человек. Кроме меня, в экспедицию снова отправились В.Н. Басилов и И.М. Меликсетова. Н.М. Гиренко стал ученым секретарем, а потом руководителем Ленинградского отделения ИЭ и не считал возможным манкировать своими обязанностями. О.М. Павловский не выразил особого желания участвовать в новом плавании на острова Океании, излишне самокритично полагая, что сделал все возможное для физического антрополога в VI рейсе. Что касается Н.А. Бутинова и Б.П. Путилова, то они отсутствовали по причинам, которые отражали порядки, существовавшие тогда в СССР.

В частности, одна из дочерей Бориса Николаевича вышла замуж за иностранца и уехала с ним в США. Такие поступки не были противозаконными, но, мягко говоря, не одобрялись властями. В результате Путилов стал на несколько лет “невыездным”. А Николая Александровича подвели собственная неосторожность и зависть некоторых коллег. Бутинов завел в МАЭ “служебный роман”, который не особенно скрывал, и даже пытался рекомендовать свою избранницу в состав нашего этнографического отряда. Член партбюро, кандидат исторических наук отнес выездную характеристику на Бутинова в Василеостровский райком КПСС и при этом “настучал” про его “аморальное поведение”. Разумеется, характеристика не была утверждена, и Бутинов остался в Ленинграде.

Вместо выбывших в отряд были включены два молодых ученых – африканист из МАЭ Е.Н. Кальщиков и московский сотрудник ИЭ этносоциолог В.Н. Шамшуров. Они ранее не занимались изучением народов Океании, но постарались быстро войти в курс дела, усердно работали в экспедиции, и по ее окончании опубликовали результаты своих изысканий.

В XVIII рейсе к этнографическому отряду были снова прикомандированы кинодокументалисты В.Г. Рыклин и А.Н. Попов. По возвращении они создали короткометражный фильм и сюжеты для нескольких выпусков “Альманаха кинопутешествий”. Кроме них - в нарушение существовавших тогда порядков – в наш отряд была включена немолодая супружеская пара – художники М.Л. Плахова и Б.В. Алексеев. Они привезли из экспедиции не только картины и ри-

сунки, но и подробные дневники, на основе которых написали интересную книгу (Плахова, Алексеева 1981). В ней много внимания уделено работе этнографов.

Впрочем, этнографический отряд чуть не отправился в XVIII рейс без начальника. В пресловутой “шифровке” со списком лиц, допущенных к рейсу, я был назван Даниилом Давидовичем, тогда как в паспорте значился Даниилом Давыдовичем. Местные выездные органы отказались оформить мне Книжку моряка (вариант заграничного паспорта), ссылаясь на это расхождение. Я отправился к Президенту Дальневосточного научного центра АН СССР А.П. Капице (сыну выдающегося ядерного физика), с которым был знаком с 1966 г., когда мы оба участвовали в конгрессе в Токио, и попросил помочь. Капица, как член бюро крайкома КПСС, позвонил в соответствующий отдел крайкома и затем заверил меня, что дело будет улажено. Но на следующий день “выездники” сказали представителю Института океанологии: “Телефонный звонок к делу не пришьешь, нужна бумага”. Снова началась нервотрепка. Из-за меня откладывалось отплытие судна. Наконец договорились, что Пономарева и Свитайло письменно подтвердят, что я – это я, и отправят поручительство “выездникам”. 30 декабря 1976 г. мне была вручена Книжка моряка, и “Дмитрий Менделеев”, пройдя пограничный контроль, вышел в открытое море.

Некоторые итоги эпохи океанских экспедиций

Прочитав этот очерк, читатель может задаться вопросом, прав ли был С.А. Токарев, считая этнографическую экспедицию на острова Океании на борту одного из советских судов бесперспективной в научном отношении и крайне опасной для здоровья. Ответ не может быть однозначным. Конечно, в короткие сроки невозможно провести фундаментальные исследования. Нельзя недооценивать и медицинскую сторону дела: в такие плавания должны отправляться только молодые здоровые люди, способные выдерживать стрессовые ситуации и готовые рисковать ради науки. Но наш опыт показывает, что едва ли было правильно считать такие экспедиции бесперспективными. Ведь удалось встретиться с изучаемыми нами народами, познакомиться со средой их обитания, т.е. почувствовать genius loci, собрать сведения о современной языковой ситуации, трансформации самобытной культуры и быта, чтобы потом сравнить наши наблюдения с данными других исследователей, работавших в этом регионе. Основываясь на собственных материалах и привлекая другие источ-

ники, члены нашего отряда в 1970-1980-х годах опубликовали коллективную монографию “На Берегу Маклая (этнографические очерки)”, три небольшие книги и более десятка статей (На Берегу Маклая, 1975; Басилов, 1972, 1973, 1977, 1979; Кальщиков, 1981; Меликсетова, 1976, 1978; Павловский, 1972, 1973; Путилов, 1972, 1973, 1978; Тумаркин, 1972, 1973, 1977; Шамшуров, 1979). Особенно ценные материалы удалось собрать в новогвинейской деревне Бонгу. История позволила провести здесь сравнительное исследование, растянувшееся на столетие: Миклухо-Маклай в 1871-1883 гг. зафиксировал итоги самобытного развития папуасов бонгу и их первые контакты с чужеземными пришельцами, которые мы сопоставили с социо-культурной и языковой ситуацией в 1971-1977 гг. Этот сюжет рассмотрен мною в большой статье “Бонгу: сто лет социальных и культурных изменений на Новой Гвинее”, опубликованной на немецком языке (Tumarkin, 1977).

Но не следует и преувеличивать значение проделанной работы. Некоторые вопросы остались без ответа, сделанные выводы носили предварительный характер и нуждались в подтверждении (или опровержении) в процессе более продолжительных полевых исследований. Поэтому я и Владимир Николаевич Басилов, который не только дважды был моим соседом по корабельной каюте, но и больше других членов этнографического отряда понимал важность продолжения полевых работ на Берегу Маклая, решили попытаться снова отправиться туда на более длительный срок. Во время захода “Дмитрия Менделеева” в Порт-Морсби – столицу Папуа - Новой Гвинеи (ПНГ) в январе 1977 г. я посетил министра иностранных дел Альберта Маори Кики и тот дал понять, что его правительство благожелательно рассмотрит нашу заявку на проведение полевых исследований на Берегу Маклая продолжительностью в 3-4 месяца. Вернувшись в Москву, после излечения от малярии, я – с санкции Ю.В. Бромлея и Иностранного отдела (Управления внешних сношений) Президиума АН СССР, - отправил в Порт-Морсби официальную заявку на проведение полевых исследований на Берегу Маклая (провинция Маданг) группой из двух человек на протяжении трех месяцев, с приложением всех необходимых документов и программы работ. Вскоре пришел положительный ответ. Мы начали подготовку к экспедиции, намеченной на 1980 г.: совершенствовали свои познания в языке бонгу и местной разновидности пиджина, выписывали через ИНИОН и Ленинскую библиотеку по международному книгообмену (фактически

прекратившемуся после 1990 г.) новейшую научную литературу по интересующим нас вопросам, составили предварительную финансовую смету и списки необходимого экспедиционного оборудования.

Однако в конце 1979 г. началось советское вторжение в Афганистан. Это вызвало протесты и репрессалии со стороны западных государств. В частности, правительство Австралии приостановило действие соглашения о научном сотрудничестве с СССР. Правительство ПНГ – австралийской подопечной территории, лишь в 1975 г. ставшей независимым государством и оставшейся в финансовой зависимости от бывшей метрополии, – также отреагировало на события в далеком Афганистане. Постоянный заместитель министра иностранных дел ПНГ – вероятно, по наущению австралийских советников – прислал мне телеграмму, которая положила конец нашей подготовке. К сожалению, я не сохранил копию этой телеграммы, подлинник которой передал в Иностранный отдел, но хорошо помню ее текст: “Правительство постановило, что ваши полевые работы в провинции Маданг не будут отвечать интересам народов Папуа - Новой Гвинеи. Поэтому прошу считать недействительным наше предыдущее решение по данному вопросу”.

Я решил переждать обострение международной обстановки, а пока сосредоточил основное внимание на подготовке нового академического Собрания сочинений Н.Н. Миклухо-Маклая в качестве руководителя специальной группы, созданной в 1980 г. в ИЭ. Попав в “выездную обойму”, я в 1980-х годах начал регулярно выезжать за рубеж (в Англию, Францию, ГДР, Голландию, позже в Австралию) для сбора материалов о жизни и научном наследии “белого папуаса”, развернул вместе с Б.Н. Путиловым и несколькими другими коллегами поиски в московских и ленинградских архивах.

Между тем эпоха океанских экспедиций на научно-исследовательских судах, подчиненных Институту океанологии АН СССР, подходила к концу. А после крушения “реального социализма” и распада СССР, сопровождавшихся глубоким кризисом советской науки, эти рейсы почти полностью прекратились. Нищенское бюджетное финансирование пытались компенсировать перевозкой на “кораблях науки” иностранных туристов. Но всех собранных средств хватало не более, чем на месяц плавания. Во время таких рейсов почти не велись научные исследования. “Шеститысячники” (типа “Дмитрия Менделеева”) стояли на приколе в портах приписки, преимущественно во Владивостоке и Калининграде. Судьба большин-

ства из них была печальной. Так, “Дмитрий Менделеев”, совершив в 1993 г. последний небольшой рейс, восемь лет гнил у причала в Калининграде. В 2001 г. корабль перегнали в Индию, где он был выброшен на берег в порту Бхавнагар для последующей утилизации (извлечения цветных металлов и других ценных деталей, разрезки корпуса на части и доставки этого “металлолома” на металлургический завод). Через три года в индийском порту Мумбай (Бомбей) был таким же образом уничтожен флагман научно-исследовательского флота “Академик Курчатов”. К настоящему времени из 14 “шеститысячников” сохранилось пять. Ими ведает Тихоокеанский океанологический институт ДНЦ РАН. Как и в 1990-х годах, ввиду недостаточного финансирования на них возят иностранных туристов и не могут проводить серьезные исследования. Более счастливой оказалась судьба “Витязя”, пришвартованного у одного из причалов калининградского порта: “ветеран” превращен в морской музей и поддерживается в удовлетворительном состоянии.

В наши дни экспедиционный флот РАН начинает восстанавливаться. Но участие в таких рейсах этнографов-океанистов теперь было бы явным анахронизмом ввиду бурного развития скоростного воздушного сообщения в Юго-Восточной Азии и Океании. Например, сегодня при удачной стыковке можно примерно за сутки добраться из Москвы до Бонгу: самолетом “Аэрофлота” в Сингапур, оттуда рейсом “Air Niugini” (национальный перевозчик ПНГ) в Порт-Морсби, далее маленьким самолетом в Маданг на Берегу Маклая; здесь катер за 1 час доставит пассажира в деревню, увековеченную Миклухо-Маклаем. Правда, и сегодня нелегко получить у властей ПНГ разрешение на проведение полевых исследований, но внешнеполитических барьеров больше не существует. Главное – найти спонсора или получить грант у какого-нибудь российского или зарубежного фонда на перелет и пребывание в “стране райских птиц”. Поистине “за морем телушка-полушка, да рубль перевоз”.

Примечания

[1] В то время было принято торжественно отмечать годовщины не со дня рождения, а со дня смерти выдающихся, по мнению властей, революционеров, деятелей науки и культуры. Так, в феврале 1937 г. с невиданным размахом по всей стране было организовано празднование столетия со дня смерти А.С. Пушкина (Молок, 2000). Эти празднования использовались для внедрения в массы советского патриотизма, замешанного на великодержавном шовинизме, и были призваны отвлечь внимание населения от массовых репрессий.

[2] Обновленный институт стал официально именоваться Институтом этнографии АН СССР (с 1947 г. – имени Н.Н. Микулухо-Маклая), но входивший в состав его ленинградского отделения музей сохранил прежнее название – Музей антропологии и этнографии.

[3] Этот корабль был назван в честь корвета “Витязь”, доставившего в 1871 г. Н.Н. Миклухо-Маклая на Новую Гвинею, и одноименного корвета, на котором адмирал С.О. Макаров, проводя океанологические исследования, пересек в 1887 г. Тихий океан от Вальпараисо до Иокогамы.

[4] Из Москвы во Владивосток делегатам предстояло лететь самолетами “Аэрофлота”, а оттуда в Находку добираться поездом. Таким же образом делегации предстояло вернуться в Москву.

[5] На инструктаже делегатов перед выездом из Москвы представитель Международного отдела ЦК КПСС в качестве примера для подражания рассказал о попытке известного советского микробиолога получить при посещении японской научной лаборатории засекреченный полуфабрикат нового антибиотика.

[6] Этот эпизод не был упомянут в репортажах с конгресса, опубликованных в советских газетах, - вероятно, потому, что их авторы (корреспонденты ТАСС и АПН) были сторонниками Хейердала.

[7] К сожалению, при подготовке этой статьи мне не удалось ознакомиться с соответствующими делами, которые находятся в Архиве ИЭА или переданы на длительное хранение в Архив РАН. Возможно, в этих делах содержатся детали, позволяющие яснее понять причины многократных оттяжек с отправкой этнографов на острова Океании.

[8] Л.П. Потапов взял В.Р. Кабо на работу по просьбе его отца – своего старого знакомого, географа-сибиреведа.

[9] Сходная ситуация с антибиотиками: возникают резистентные к ним штаммы болезнетворных бактерий. Фармацевтические фирмы выпускают в продажу все новые и новые виды антибиотиков, которые со временем тоже становятся малоэффективными. В распоряжении советских медиков в 1970-х годах не было лекарств, способных надежно подавлять недавно появившиеся в тропиках штаммы малярийных плазмодиев и особенно предотвращать вызываемое ими заболевание.

Библиография

Аксенов, Белоусов 1975 – *Аксенов А.А., Белоусов И.М.* Загадки Океании. Экспедиция на научно-исследовательском судне “Дмитрий Менделеев”, М.: Наука, 1975.

Алымов 2008 – *Алымов С.С.* Полвека в науке (к 80-летию Даниила Давыдовича Тумаркина) // Этнографическое обозрение. Online. 2008, ноябрь.

Басилов 1972 – *Басилов В.Н.* Через сто лет после Маклая // СЭ.1972. № 5.

Басилов 1973 – *Басилов В.Н.* Деревня Бонгу сто лет спустя // Вокруг света. 1973. № 12.

Басилов 1977 – *Басилов В.Н.* Мужские дома в Бонгу // СЭ.1977. № 6.

Басилов 1979 – *Басилов В.Н.* Некоторые итоги полевых работ в Папуа – Новой Гвинее // Полевые исследования Института этнографии. 1977. М., 1979.

Бутинов – Бутинов Н.А. Путь к Берегу Маклая. Дальневосточные путешествия и приключения. Вып. 3 Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 1972.

Городницкий 2011 – *Городницкий А.М.* “Атланты держат небо”: Воспоминания старого островитянина. М: “Яуза”, ЭКСМО, 2011.

Гранин 1966 – *Гранин Д.* Месяц вверх ногами. Л.: Лениздат, 1966.

Гурецкий 1969 – *Гурецкий В.О.* По следам Миклухо-Маклая // Природа. 1969. № 3.

Жамойда 1996 – *Жамойда А.И.* В Музее антропологии и этнографии в конце 30-х // Курьер Петровской кунсткамеры. Вып.8-9. СПб., 1999.

Кальщиков 1981 – *Кальщиков Е.Н.* О материальной культуре населения некоторых районов Новой Гвинеи (полевые данные) // Пути развития Австралии и Океании. История, экономика, этнография. М.: Наука. ГРВЛ, 1981.

Коцебу 2011 – *Коцебу О.Е.* Путешествия вокруг света. М.: Дрофа, 2011.

Кребс 1959 – *Кребс Е.М.* На “Витязе” к островам Тихого океана. М.: Географгиз, 1959.

Крюков 1989 – *Крюков М.В.* Этот таинственный остров Эроманга М.: Наука, 1989.

Маторин 1931 – *Маторин Н.М.* Современный этап и задачи советской этнографии // СЭ. 1931. № 1-2. стр. 38.

Меликсетова 1976 – *Меликсетова И.М.* Встреча с Океанией 70-х годов. М.: Наука. ГРВЛ, 1976.

Меликсетова 1978 – *Меликсетова И.М.* Некоторые проблемы этнонационального развития в Папуа – Новой Гвинее // Национальные проблемы современного Востока. М.: Наука. ГРВЛ, 1978.

Молок 1997 – *Молок Ю.* Пушкин в 1837 г. М.:НЛО, 2000.

На Берегу Маклая 1975 – *На Берегу Маклая (Этнографические очерки).* М.: Наука. ГРВЛ, 1975.

Павловский 1973 – *Павловский О.М.* Сто лет спустя. Очерк антропологии Берега Маклая // Наука и жизнь. 1973. № 8.

Плахова, Алексеев 1981 – *Плахова М.Л., Алексеев Б.В.* Океания далекая и близкая. Путевой дневник художников. М.: Наука. ГРВЛ, 1981.

Попов 2004 – *Попов В.А.* Дмитрий Алексеевич Ольдерогге: шеф отечественной африканистики // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX века. Сост. Д.Д. Тумаркин. Отв. ред. В.А. Тишков, Д.Д. Тумаркин. М.: Наука, 2004.

Почивалов 1971 – *Почивалов Л.* По следам Миклухо-Маклая // Правда, 1971, 3 января.

Путилов 1972 – *Путилов Б.Н.* В Бонгу звучат окамы // СЭ. 1972. № 3

Путилов 1973 – *Путилов Б.Н.* Через сто лет после Миклухо-Маклая // Дальний Восток. 1973. № 3.

Путилов 1978 – *Путилов Б.Н.* Песни Южных морей. М.: Наука. ГРВЛ., 1978.

Решетов 2000 – *Решетов А.М.* Об авторе книги Николае Александровиче Бутинове // *Бутинов Н.А.* Народы Папуа Новой Гвинеи. СПб.: Петербургское востоковедение, 2000.

Токарев 1995 – *Токарев С.А.* Из дневников // Благодарим судьбу за встречу с ним (о Сергее Александровиче Токареве – ученом и человеке). М.: ИЭА, 1995.

Тумаркин 1963 – *Тумаркин Д.Д.* Великий русский ученый-гуманист (К 75-летию со дня смерти Н.Н. Миклухо-Маклая // СЭ. 1963. № 6.

Тумаркин 1964 - *Тумаркин Д.Д.* Вторжение колонизаторов в «край вечной весны». М.: Наука.1964.

Тумаркин 1971 - *Тумаркин Д.Д.* Гавайский народ и американские колонизаторы (1820-1865 гг.) М.: Наука.1971.

Тумаркин 1972 – *Тумаркин Д.Д.* По островам Океании (Этнографические работы во время 6-го экспедиционного рейса “Дмитрия Менделеева” // СЭ. 1972. № 2.

Тумаркин 1973 – *Тумаркин Д.Д.* На Берегу Маклая сто лет спустя // Проблемы этногеографии Востока. М., 1973.

Тумаркин 1975 а – *Тумаркин Д.Д.* Науру: проблемы и перспективы // Советский национальный Тихоокеанский комитет АН СССР. Информационные сообщения. 1975, январь-март.

Тумаркин 1977 б – *Тумаркин Д.Д.* Новая встреча с Океанией // СЭ. 1977. № 6.

Тумаркин 2003 – *Тумаркин Д.Д.* Ю.В. Бромлей и журнал “Советская этнография” // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. 1960-1990 годы. М.: Наука, 2003.

Тумаркин, Чебоксаров 1967 – *Тумаркин Д.Д., Чебоксаров Н.Н.* Антропология и этнография на XI Тихоокеанском научном конгрессе // СЭ. 1967. № 1.

Хроника 1939 - *Хроника* // Известия Гос. Географического общества. 1939. Т.71. Вып. 1-2

Шамшуров 1979 - *Шамшуров В.Н.* Анкетное обследование в новогвинейской деревне Бонгу. Предварительные результаты // Полевые исследования Института этнографии. 1977. М.:. ИЭА, 1979.

Шмидт 1938 - *Шмидт П.Ю.* Из жизни Тихого океана // Наука и жизнь 1938. № 1.

Штернберг 1926 – *Штернберг Л.Я.* Этнография // Тихий океан: Русские научные исследования. Л.: Изд-во АН, 1926.

Sternberg 1926 - *Sternberg L.* The Pacific: Russian Scientific Investigations. L.: Academy of Sciences Publishers, 1926.

Tumarkin 1977 - *Tumarkin D.* Bongu: Hundert Jahre soziale und kulturelle Wandlungen in Neuguinea // Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift. Vol. 23. № 1. Berlin, 1982.

Tumarkin, Voitov 1967 - *Tumarkin D., Voitov V.* Navigational Conditions of Sea Routes to Polynesia (in Connection with the Discussion on the Settlement of Polynesia) // Archaeology at the Eleventh Pacific Science Congress. Honolulu, 1967.

Раздел IV

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ НАУКИ

Иван Гринько

Репрезентация этнологии в отечественной художественной литературе: опыт и проблемы

По данным социологического опроса, недавно проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (81 %) не могут назвать ни одного ученого-современника.

Для этнологов эта проблема усугубляется еще и тем неприятным фактом, что большинство населения России просто не знает, что есть такая наука - этнология. Это вынуждены признать и сами этнологи «Антропология в России, вопреки тому, что число выпускников антропологических кафедр, как и число специализированных журналов, регулярно публикующих результаты соответствующих исследований, за последнее двадцатилетие многократно возросло, остается дисциплиной малоизвестной» [Соколовский 2009: 50]. Добавим к этому, что результат вполне ожидаемый, поскольку большая часть образованной публики под антропологией всегда понимала физическую антропологию, а вовсе не этнографию, переименованную в этнологию.

В этом отношении очень показательны итоги нашумевшего сетевого проекта по определению наиболее влиятельного интеллектуала России, который был организован модным интернет-порталом «Open space». В сотню наиболее известных умов страны не попал ни один этнолог. Сваливать это лишь на общий низкий культурный уровень аудитории российского сегмента Интернет нельзя, даже при том, что победил в конкурсе Виктор Пелевин, а конкуренцию ему составили Даниил Шеповалов и Александр Дугин.

В первую сотню признанных интеллектуалов вошли ученые, причем ученых- гуманитариев среди них было достаточно: историки - Юрий Афанасьев, Наталья Нарочницкая; культурологи - Борис Гройс, Григорий Ревзин, Михаил Ямпольский, Владимир Паперный; социологи - Даниил Дондурей, Борис Дубин; экономисты - Михаил Делягин, Евгений Ясин, Александр Долгин, Александр Аузан. Един-

ственным этнологом в итоговом списке оказался Эмиль Паин, занявший «почетное» 277-ое место, но и он в большей степени является политологом, хотя и закончил аспирантуру Института этнологии и антропологии РАН.

Характерно, что британской этнологии тоже пришлось пережить подобный удар. В 2004 году журнал «Prospect» организовал аналогичный опрос, и в сотне самых влиятельных интеллектуалов Великобритании так же не оказалось ни одного этнолога, хотя туда попали и социологи, и историки, и биологи. Это дало Томасу Эриксену право делать колкие замечания в адрес британских коллег *«В некоторых странах есть масса возможных каналов коммуникации между академическими учеными и «внешним» миром, в других они почти отсутствуют за исключением парочки публичных интеллектуалов»* [Eriksen, 2004: 39]. В России же, судя по результатам опросов, отсутствует даже эта «парочка», что делает вопрос коммуникации академического сообщества с окружающим миром особенно актуальным.

Естественно, что причин сложившегося положения много, впрочем, как и систем коммуникаций. В данной работе внимание будет сконцентрировано на одном из самых важных, хоть и непрямых путей к популяризации этнологии – художественной литературе. К тому же образ науки и ученого во многом определяет их место в современном мире, а чтобы понять, как формировался образ этнолога в массовом сознании, и формировался ли он вообще, имеет смысл проанализировать те картины профессиональной жизни, которые мог видеть советский и российский читатель в период после Второй мировой войны, когда собственно и закладывались основы современной российской этнологической школы.

Это действительно важный момент, поскольку первое знакомство с наукой, в том числе и будущих ученых [см., например, Брандис 1985] , происходит именно подобным способом. Не случайно в американских учебниках по культурной антропологии к первому же параграфу даны следующие вопросы: «Вспомните романы и фильмы, персонажем которых являются антропологи. Как они были изображены? Как описание их образа соотносится с описанием работы антрополога, данным в этой главе» [Haviland 1999: 33]. В этой статье и будет сделана попытка ответить на них, но применительно к отечественным реалиям. Тема взаимосвязи этнологии и литературы уже неоднократно поднималась в ряде отечественных и в зарубежных работ [Лотман 1996; Абашин 2003; Микульский 2003; Firth 1984;

Tallman 2002], однако в таком ключе проблема еще не рассматривалась.

В мировой литературе образ этнолога можно проследить уже со второй половины XIX-ого века. Один из самых ярких героев романов Жюля Верна - знаменитый Жак-Элиасен-Франсуа-Мари Паганель был «почетным членом Королевского географического и этнографического института Восточной Индии». У Редьярда Киплинга в романе «Ким» полковник Крейтон представлял этнографическую службу ее Величества в Индии.

Во второй половине XX века этнологами увлеклись фантасты, и ученые стали героями лучших работ Роберта Шекли и Роберта Силверберга достаточно вспомнить рассказы «Жертва Космоса» (*The Victim from Space* 1957) и «Рука владыки» (*The Overlord's Thumb* 1966). Целую серию романов «Мир Роканнона» (*Rocannon's World*) посвятила этнологам Урсула Ле Гуин, хотя надо признать, ее пример не совсем типичен, – все-таки отцом писательницы был один из крупнейших американских культурных антропологов Альфред Крёбер.

В последнее время эта тематика по-прежнему популярна среди зарубежных беллетристов. Взять хотя бы оригинальный сборник рассказов Дэна Роудса «Антропология и сто других историй» (*Anthropology and a Hundred Other Stories* 2000). Хотя автор откровенно иронизирует над своим персонажем, заставляя его заниматься такой актуальной проблемой, как гомосексуализм у скотоводов Центральной Монголии, но сам факт актуальности присутствия этнолога в художественном поле налицо.

Забегая вперед, сразу же стоит сказать, что, к сожалению, в советской и российской литературе подобные примеры были единичны. Хотя, если взять для сравнения такую близкую дисциплину, как археология, то, начиная с 1960-ого года и до 2000-х годов, свет увидело более двадцати художественных книг, так или иначе посвященных работе археологов. Причем писали их, в том числе, и профессиональные археологи. Достаточно вспомнить сборник повестей Валентина Берестова «Меч в золотых ножнах» (1964) или повести Кира Булычева «Агент КФ» (1984), «Город наверху» (1986) и его же серию романов «Театр Теней» (1998-2000). Прекрасным образцом этого рода является повесть Л.Н. Сабининой «Стрелы над крепостью» (1979), в которой рассказывается, как профессиональные археологи, мужественно перенося все тяготы полевой работы, борются со скупщиками

икон и расхитителями исторических ценностей. Несмотря на банальность сюжета, одна такая книга может сделать гораздо больше для формирования позитивного образа профессии, чем десяток научных монографий. Какова же была ситуация с репрезентацией этнологии в отечественной литературе?

***

Неоднородность и специфика материала не позволяют классифицировать образы этнологов иначе, как по художественным принципам. Таким образом, можно смело выделить 3 основные группы: главные герои, второстепенные и эпизодические персонажи и «персонажи-аллюзии».

Первым в отечественной литературе сделать этнолога главным героем рискнул белорусский писатель Владимир Короткевич (1930-1984). Повесть «Дикая охота короля Стаха» впервые была опубликована в журнале «Маладосць» в 1964 году. Сразу следует сказать, что этнографическая составляющая спасла эту книгу, поскольку основная сюжетная линия была целиком и полностью списана со знаменитого романа Артура Конан Дойла «Собака Баскервилей».

Фабула повести такова: молодой учёный-этнолог Андрей Белорецкий случайно попадает в родовой замок Яновских – Болотные Ялины. Его принимает хозяйка замка, Надея Яновская, последняя представительница своего рода. Она рассказывает Белорецкому, что ее род проклят из-за предательства, совершённого ее предком, на двадцать поколений. Надея – представитель двадцатого поколения, и она ожидает скорой смерти, с которой прервется и род Яновских. Белорецкий остаётся в замке, чтобы защитить Надею и выяснить, кто в реальности стоит за этим проклятьем.

Важно, что повествование ведется именно от лица Белорецкого, который откровенно выступает героем-резонером, и мотивы, по которым Короткевич решил сделать героя этнографом, лежат не только в сюжетной плоскости: «Я искал свой народ и начинал понимать, как и многие в то время, что он здесь, рядом, только за два столетия из нашей интеллигенции основательно выбили способность это понимать. Потому-то и работу я выбрал себе необычную — изучение, познание этого народа» [Короткевич 1964: 4], - рефлексирует Белорецкий.

С другой стороны, случайное появление молодого интеллигентного человека с университетским дипломом в глуши белорусских лесов тоже было маловероятным. Этнографическое исследование в

данном случае послужило завязкой для повести, и главный герой живописно отчитывается о своих изысканиях: «И чего только мне не доводилось видеть! Видел я церемонию с заломом, крапивные святки, редкую даже тогда игру в «ящера». Но чаще я видел последнюю картошку в миске, черный, как земля, хлеб, сонное «а-а-а» над колыбелью, огромные выплаканные глаза женщин». [Короткевич 1964: 5]

К сожалению, других подробностей его полевой работы в повести нет. Однако это и не столь важно, поскольку образ Белорецкого явно опередил свой американский аналог в лице Индианы Джонса. Помимо своей научной деятельности он активно занимается журналистикой, а кроме этого стоек к алкоголю, хорошо стреляет, участвует в «слепой» дуэли, борется, запугивает представителей местной администрации, а в итоге даже поднимает крестьянское восстание. В тексте дается прямое указание, что позже он отправится в Сибирь за революционную деятельность. Таким образом, Белорецкий меньше всего соответствует стандартному образу ученого - это типичный герой-одиночка. А его фраза «…я почему-то с удовольствием подумал, что у меня в кармане чудесный английский шестизарядный револьвер» [Короткевич 1964: 10], куда более уместно звучала бы в устах детектива, нежели этнолога.

Возникает вопрос, на чем было основано такое видение Владимиром Короткевичем своего персонажа-этнолога. С одной стороны, не исключено, что подобный романтизированный образ был навеян историями вокруг «этнографического трио» Богораз-Штернберг-Йохельсон. С другой стороны, если речь идет о Белоруссии, то есть более конкретный прототип Белорецкого – Адам Егорович Богданович. Он написал несколько работ по этнографии белорусского народа, в частности «Пережитки древнего миросозерцания у белорусов» (1895), состоял в минском отделении организации «Народная воля», активно печатался в периодических изданиях Минска и Гродно [Пширков 1966]. Как и Белорецкий, который вспоминает описанные в повести события в возрасте 96 лет, Богданович дожил до почтенного возраста, скончавшись в 78 лет. Кроме того, Адам Егорович был отцом одного из классиков белорусской литературы Максима Адамовича Богдановича, чью биографию профессиональный филолог и литературовед Короткевич был обязан знать.

Кто бы ни был прототипом Белорецкого, Владимиру Короткевичу этот образ удался, но, сожалению, в экранизации этой повести 1982 года он почти полностью исчез, и до широкой публики дошла

лишь тень Андрея Белорецкого в исполнении Бориса Плотникова. При этом главный «недостаток» – отсутствие описания этнографической работы – был целиком и полностью сохранен.

Снова отечественная литература обратилась к этнологии в поисках главных героев уже в первом десятилетии XXI века. Сперва главным героем своего первого романа «Номер Один или в садах иных возможностей» [Петрушевская 2004] сделала этнолога известная российская писательница Людмила Петрушевская.

Первая часть романа представляет собой длинный диалог, из которого становится ясна предыстория сюжета. Во время этнографической экспедиции исчезает один из ее участников, которого взяли в заложники в зоне смертников и потребовали выкуп пять тысяч долларов. Главный герой, младший научный сотрудник, этнограф, Номер Один по ходу этого диалога пытается выпросить у Второго (глава института) пять тысяч долларов, чтобы спасти заложника. Деньги ему получить удается, но при одном условии: нужно отвезти в город Н. двадцать тысяч долларов и оставить в залог Второму расписку на квартиру. Во время поездки в город Н. душа Номера Один вселяется в тело уголовника.

Если Короткевич работал в жанре этнографического романтизма, то произведение Петрушевской можно смело отнести к социальной прозе. Несмотря на определенную фантастичность сюжета, она скупо, но точно отразила многие печальные реалии современной отечественной науки. К большому сожалению, вряд ли этот реализм поспособствует формированию позитивного имиджа этнологии.

Первая часть романа представлена как диалог между научным сотрудником и директором его научно-исследовательского института. В этой дискуссии очень ярко проявляется конфликт, крайне актуальный для сегодняшнего дня, – между ученым и чиновником от науки. Интересы чиновника вполне очевидны, и самый главный из них - сократить расходы: «Вы сидите там со своим отделом, что вы делаете? … Зачем я вам плачу зарплату? На компьютере играете, хороший вам компьютер зачем было покупать?» [Петрушевская 2004: 8].

Вместе с тем, экономя на сотрудниках, глава НИИ отнюдь не прочь снимать сливки с их научных достижений в виде гранта от мифического Йеллоуфилдского университета или оплачиваемой поездки на симпозиум на Гавайях. Главное для него «мировое открытие» и непросто открытие, а «под маркой моего института». Использование

в данном пассаже притяжательного местоимения «мой» многое говорит о восприятие чиновником научной институции, как своей собственности, феодальной вотчины, что, увы, сегодня для российской науки не редкость.

Столь же характерна оценка начальством деятельности научных сотрудников и их профессиональных качеств: «вообще у вас отдел — это целый интернат для инвалидов по уму». [Петрушевская 2004: 6]

Оценка актуальности научной темы при таком уровне культуры тоже производится по весьма интересным критериям:

«Первый: «Они считают всех детей какой-то женщины общими детьми всех мужчин ее группы. И у каждого мужчины, таким образом, были дети от всех женщин его группы. И дети к каждому мужчине относятся как к отцу. Таким образом, не бывает вдов, сирот и разведенных. Это товарищество по жене так называемое. Обмениваются женами. Заменяют погибших. И считают все остальные народы очень несчастными, что те тайком изменяют друг другу, обманывают и тэдэ».

«Второй (кричит): «Вот это ценно! Это ценно! Шведская групповая семья, понял?» [Петрушевская 2004: 16]

Особенно ярко разница в системах ценностей видна, когда речь заходит о профессиональном долге этнолога.

«Первый: «Я ему сразу сказал, что я решил не открывать его для науки. Я не стал говорить, что это национальная святыня, мольбище энтти».

«Второй: «Он решил! Кто ты? Кто? Младший вообще научный! Он решил, ну вы гляньте. Это же мировое мероприятие! Честь института! Симпозиум! Как можно открытие не открывать!»

«Первый: «Ну, есть примеры. Некоторые ученые предпочитают не продолжать исследования, понимая, что это опасно для человечества или для нации… Понимаете, это их святилище. Если мы это дело разорим, вывезем — без святыни энтти погибнут» [Петрушевская 2004: 24].

Петрушевская в этом отрывке затронула очень важный момент в профессиональной этике этнолога – его работа не должна наносить вред субъекту исследования, и здесь идет прямая перекличка с кодексом этики Американской антропологической ассоциации. Первый пункт параграфа, посвященного полевым исследованиям, прямо гласит: «Антропологи-исследователи имеют основные этические обязательства перед изучаемыми людьми, биологическими видами и мате-

риалами и перед людьми, с которыми они работают. Эти обязательства могут превысить по значимости цель поиска нового знания и могут привести к решениям не предпринять или прекратить исследовательский проект, если основное обязательство находится в противоречии с другими обязанностями, например, перед спонсорами или клиентами» [Code of ethics 1998].

При этом Первый готов ради науки пожертвовать своим личным благополучием, карьерой, успехом в академической среде.

«Второй: «Бывший наш старший научный сотрудник… Сколько материала взял, и в том числе не своего. У тебя, в частности, скачал из компьютера. Это раньше чем ты тут его опубликовал? То есть он увел твои тексты?»

«Первый: «Я был не против. В интересах народа энтти. Пусть мир узнает». [Петрушевская 2004: 11]

Эти профессиональные принципы нашли отражение еще в «10 заповедях этнографа», сформулированных Л. Е. Штернбергом. Третья из них гласит: «Не профанируй науки, не оскверняй этнографии карьеризмом: настоящим этнографом может быть только тот, кто питает энтузиазм к науке» [Цит. по Гаген-Торн 1971: 142]. В данном случае Первый полностью соблюдает профессиональную этику, однако это вряд ли делает его более симпатичным в глазах читателя. Символично, что роман во многом посвящен проблеме выбора и сохранения идентичности, одной из главных проблем современной этнологии. Однако сам этнолог в романе свою идентичность теряет окончательно и бесповоротно, что можно считать мрачным прогнозом Петрушевской относительно судеб российской науки.

Если у Короткевича этнология предопределила связь между главным героем и местом действия повести, то в произведении Михаила Назаренко «Остров Цейлон» [Назаренко 2009] она объясняет не только место, но и отчасти философию произведения. Здесь можно говорить именно о культурно-антропологическом подходе – понимании человека через социо-культурный контекст.

«Обычно мы смотрим на человека — и что видим? Особые приметы, говоря языком протоколов. Моя задача — увидеть не человека, а сумму… как бы сказать… всего, что сделало его тем, чем сделало. Происхождение, родина, каста, профессия — всё. Если угодно, считайте это доказательством, что цельного “я” не существует»[Назаренко 2009: 74] - так объясняет суть своей работы главный герой «Острова» полковник Кимбол О’Хара. Этот персонаж перекочевал из

знаменитого романа «Ким» Редъярда Киплинга, совместив в себе черты собственно Кима и уже упоминавшегося выше полковника Крейтона. Именно такой персонаж понадобился Назаренко, чтобы плавно ввести читателя в мир своей повести, где история «большой игры» между Россией и Англией плавно переплетается с буддисткой философией. Пусть и с большой долей условности, но можно сказать о том, что этнология в данном контексте представляется наукой, объясняющей весь мир.

При этом, несмотря на столь глобальный контекст О'Хара четко понимает прикладной характер своей деятельности и гордится им:

«— Среди врачей есть, к примеру, диагносты и практики.

— Среди этнологов тоже, — О'Хара встал, положил на стол купюру и жестом остановил Чехова, который полез за кошельком. — Я практик. Пойдемте»[Назаренко 2009: 76].

Что важно, в повести Назаренко не только обозначено разделение этнологии на теоретическую и прикладную, но и раскрыто прикладное значение этнологических знаний: «О'Хара объяснял значение амулетов, показывал, как отличить фигурку Будды, сработанную недавно, от старой, хоть и плохонькой и аляповатой; рассказывал, как обходиться со множеством разноцветных каст, обитателей бесчисленных закоулков, чтобы получить скидку, а то и сохранить жизнь; и почему джат в ответ на обращение "погонщик ослов" рассмеется, а раджпут вытащит нож» [Назаренко 2009: 81]. Учитывая, скептическое отношение к роли гуманитарного знания в повседневной жизни даже у представителей естественных наук, этот момент видится весьма интересным.

Помимо всего прочего образ О'Хара постоянно напоминает о двух «классических» добродетелях любого ученого: точности - «В Индии пунктуальны только поезда и этнологи» [Назаренко 2009: 74], и аккуратности - «безукоризненно белая сорочка», «светлый костюм с некоторой претензией на щегольство» [Назаренко 2009: 83].

Несмотря на всё обаяние, которое он во многом унаследовал от киплинговского героя, О'Хара в повести Назаренко не может не вызывать у российского читателя определенные негативные коннотации, хотя бы потому, что вся его деятельность в «большой игре» направлена против Российской империи, а основным оппонентом по сюжету является Антон Павлович Чехов, символ российской интеллигенции. Это противопоставление, во многом сводит на нет весь позитив, который автор закладывал в своего Кима.

Эпизодические образы не менее важны и интересны, чем главные герои, а иногда за ними скрываются гораздо более интересные истории. Это, несомненно, относится к двум безымянным этнологам из автобиографической трилогии Александры Яковлевны Бруштейн (1884-1968) «Дорога уходит в даль» [Бруштейн 1958].

Первого кратко упоминает в письме одна из героинь, когда описывает историю своей жизни: «**…** сын мой был этнограф-путешественник, он поехал с экспедицией в Среднюю Азию — и не вернулся, погиб». [Бруштейн 1958: 125]

Сложно судить, чья конкретно биография легла в основу этого эпизодического сюжета. В описываемый период (1880-е годы) в экспедициях по Средней Азии погибли многие видные исследователи этого края: Н.Г. Петрусевич (1880), П.Я. Рейнталь (1882), Н.М. Пржевальский (1888), чуть раньше такая же трагическая участь постигла Ч.Ч.Валиханова (1865) и А.П. Хорошхина (1875). Надо отметить и еще одну деталь: безымянный «этнограф-путешественник», с большой долей вероятности, был военным этнографом, как и все вышеперечисленные исследователи. По сюжету романа, его отец был генералом, и вполне вероятно военная служба стала семейной традицией. Таким образом, в данном случае автор использовала некий собирательный образ военного этнографа, который был достаточно популярен в годы ее детства (1880-е – 1890-е).

Зато прототип второго безымянного этнографа, заслужившего резко негативную оценку автора, очень хорошо определяется, поскольку этот персонаж привязан к конкретному историческому событию – Мултанскому делу. Вот как коротко, но емко описывает его Бруштейн: «На суд был вызван «ученый энтограф», якобы знаток быта вотяков; он нес несусветную чепуху и утверждал на основании народных сказок, — сказки-то ведь слагались много веков назад, да еще он привел-то сказки не вотяков, а черемисов! — будто бы у вотяков есть, существует обычай человеческих жертвоприношений».

Несложно установить, что этим «энтографом», был профессор Казанского Университета Иван Николаевич Смирнов (1856-1904), один из ведущих специалистов по финно-угорским народам, автор объемного труда «Восточные финны, историко-этнографический очерк», вторую часть которого он уделил именно вотякам (удмуртам). Именно он был привлечен в качестве эксперта со стороны обвинения.

Любопытно, что подобные голословные оценки очень тесно перекликаются с речью адвоката обвиняемых - Н.П. Карабчевского: «Прежде всего: существуют ли вообще у вотяков человеческие жертвоприношения? Я знаю одного ученого, который уйдет из этого зала заседания вполне убежденный в том, что существуют. Этот ученый - профессор истории Казанского университета и вместе наш эксперт господин Смирнов. До настоящего дела он сомневался; у него было в распоряжении лишь три литературных указания по этому предмету, но и те относятся к давнему времени» [Карабчевский 1916: 64]. Не исключено, что образ некомпетентного «энтографа» сформировался у Бруштейн именно под влиянием речей представителя защиты, которые могли частично публиковаться в прессе. При этом самого Ивана Николаевича трудно заподозрить в предвзятом отношении к вотякам, тем более многие тезисы защиты из речи Карабчевского (названия вотякских богов, ритуал жертвоприношений, родовая структура), которые оправдывали подсудимых, явно взяты из монографии Смирнова [Смирнов 1890]. Надо отметить, что данный труд в 1896 году Академия наук оценила Уваровской премией, что свидетельствует о его высоком научном уровне. Однако если позиция адвоката по отношению к эксперту обвинения абсолютно ясна, то чем можно объяснить негатив, исходящий от автора романа? Версия о политическом заказе на традиционное изображение в советской литературе Российской империи как «тюрьмы народов», возможна, хотя и не доказуема. Однако стоит обратить внимание и на тот факт, что детство и юность Бруштейн прошли в Вильно, а именно в Западном крае политика в области национального была, пожалуй, наиболее противоречивой и непоследовательной, по сравнению с другими частями империи [Миллер 2004]. Это могло повлиять на мировоззрение будущей писательницы, что косвенно подтверждает ее авторское отношение к делу Дрейфуса, описанному в другой части трилогии. В свете этого этнограф-эксперт, привлеченный обвинением, автоматически становился отрицательным персонажем.

Аркадий и Борис Стругацкие, будучи представителями «научно-технической интеллигенции», в своих произведениях часто обращались к работе ученых, в том числе и гуманитариев – лингвистов («Попытка к бегству»), историков («Трудно быть богом»). Однако этнологи на страницах их книг появлялись хотя и относительно часто, но лишь в качестве эпизодических персонажей. В повести «Обитаемый остров» некие безымянные этнологи составляли заключение о

происхождении главного героя Максима Камеррера: «Он … взял следующую бумагу, вернее, довольно толстую пачку бумаг: "Извлечение из акта Специальной этнолингвистической комиссии по проверке предположения о горском происхождении М.Сима". … Это было любопытное исследование, в котором сводились воедино и обсуждались все доносы, показания и свидетельства очевидцев, так или иначе затрагивающие вопрос о происхождении Мака Сима; антропологические, этнографические, лингвистические данные и их анализ; результаты изучения фонограмм, ментограмм и собственноручных рисунков подследственного. Все это читалось как роман, хотя выводы были весьма скудны и осторожны. Комиссия не причисляла М.Сима не к одной из известных этнических групп, обитающих на материке». [Стругацкие 1971: 271]

Учитывая контекст этого «исследования» и инопланетное происхождение Мак Сима, в этом отрывке чувствуется легкий скепсис авторов по отношению к этнологическим исследованиям и степени достоверности их результатов.

Возможно, именно этот скепсис и стал причиной того, что Стругацкие в дальнейшем отказываются от использования персонажей этнологов. Известно, что этнологом должен был стать и один из главных персонажей повести «Гадкие лебеди» Рем Квадрига. Первоначально он выступал в роли заместителя начальника этнографической экспедиции, однако в финальную редакцию этот вариант не вошел, и Квадрига стал живописцем. [Неизвестные Стругацкие 2004]

Впрочем, в повести «Жук в муравейнике» Стругацкие описали этнолога более позитивно: «с Ядвигой Михайловной Лекановой меня ожидал небольшой сюрприз. … я как-то уже представлял себе старушку – божий одуванчик, согнувшуюся под невообразимым грузом специфического и самого ценного в мире опыта, бодренько семенящую все по той же территории Сыктывкарской школы. Черта с два – семенящую! Некоторое время она действительно педиатрствовала …, но потом она переквалифицировалась в этнолога… За последние четверть века ей довелось работать в шести различных организациях и институтах, а сейчас она работала в седьмом – в передвижном Институте земной этнологии в бассейне Амазонки». [Стругацкие 1979: 26]. Интересно, что несмотря, на то, что действие романа происходит в далеком будущем, работу этнолога по-прежнему связывают исключительно с различными экзотическими регионами – в данном случае с Южной Америкой.

Не совсем обычный образ этнолога возникает в повести «След Россомахи» Юрия Рытхэу (1930–2008), В ней одним из героев является чукча-этнолог Нанок. Что характерно реальным прототипом для этого персонажа послужил не этнолог, а магаданский археолог Тасян Теин [Бурыкин, 2001]. Неизвестно, насколько Рытхэу осознанно создал в массовом сознании комичный образ – чукча-этнолог, – однако деромантизация фигуры ученого очевидна. Помимо этого Рытхэу поднял весьма важную проблему нативной антропологии, ставшей весьма популярной в последнее десятилетие. Он скупо, но очень точно показывает нюансы взаимоотношений этнолога со своим народом.

«Научный интерес, — подчеркнуто повторила Айнана. — Добро бы тангитаны, а то и наши появились. В прошлом году приезжал Нанок из Анадырского музея. Все скупал — старые кожаные ведра, драные снегоступы… Он мне тоже не понравился.

— Но почему?

— Ну, как бы вам сказать… Словно он встал в стороне от всех нас, отделился, что ли…» [Рытхэу 1981:285]

Последнюю группу образов можно условно назвать персонажи-аллюзии – текстуально они никак не связаны с этнологией, однако в их именах есть четкие отсылки на реальных ученых. Подобных персонажей в отечественной литературе, как минимум, трое.

Один – «учёный с мировым именем, профессор Лев Христофорович Минц» из циклов рассказов Кира Булычева о Великом Гусляре. Впервые он появился в рассказе «Две капли на стакан вина» (1974) и стал активным участником гуслярской эпопеи. Прототипом этого героя стал его почти полный тезка Лев Миронович Минц – этнолог и один из главных популяризаторов этой дисциплины на сегодняшний день.

Другой представлен в ранней повести братьев Стругацких «Страна багровых туч» (1959).

«Третий член экипажа, высокий молчаливый казах, нахмурился:…

– Одну минуту, Николай Захарович… – Ляхов повернулся к Быкову. – Если не ошибаюсь, вы новый член экипажа?

– Да, познакомьтесь, – спохватился Краюхин. – Быков Алексей Петрович. Химик, инженер-ядерщик, водитель. Василий Семенович Ляхов – пилот… Верочка, идите сюда. Вера Николаевна Василевская – штурман. Чокан Кунанбаев – бортинженер» [Стругацкие 1959: 43].

В данном случае имя «молчаливого казаха» составлено из имен двух видных деятелей казахской культуры – Чокана Валиханова и Абая Кунанбаева. Чокан Валиханов (1835–1865), уже упоминавшийся выше, является автором многочисленных работ по этнографии Средней Азии.

Однако еще более изощренно вписан в текст повести Михаила Успенского «Там, где нас нет» (1995) знаменитый отечественный фольклорист Владимир Яковлевич Пропп (1895–1970).

«На краю Ямы, возле деревянного кумира Владыки Проппа, остановились, чтобы подождать коротконогого князя. Кумир был вырезан грубовато, но умело: всякий враз признал бы высокий лоб, добрый взгляд, аккуратные усы и крошечную бородку. Очи Владыки обведены были двумя кружками – без них, верили, он плохо будет видеть. Поклоняться Проппу стали еще в незапамятные времена, такие незапамятные, что никто и не помнил, что это за Пропп такой и зачем ему следует поклоняться. …. насчет Проппа никто ничего определенного сказать не мог, у него даже жрецов своих не было. Знали только, что жил он на свете семь с половиной десятков лет и установил все законы, по которым идут дела в мире» [Успенский 1995: 33].

В этом коротком отрывке Успенский, несмотря на всю свою иронию, сумел вместить массу фактической информации из биографии Владимира Яковлевича – от портрета и годов жизни, до его научных изысканий. Сами по себе подобные персонажи весьма опосредованно влияют на формирование образа этнолога, однако их стоило упомянуть, поскольку подобные герои могут простимулировать интерес к конкретным персонам, а значит и к науке.

* * *

Подводя итоги, можно отметить несколько важных моментов, которые характеризуют образ этнолога и этнологии в отечественной художественной литературе.

Прежде всего, редкость появления этнологов на страницах романов советских и российских писателей, – что не позволяет говорить о какой-то целостной картине. В различных произведениях, как было показано выше, представлены отдельные элементы профессиональной жизни этнолога, однако сложить их в единое целое крайне сложно.

Практически нигде не описана непосредственно работа этнолога, таким образом получить представление об их деятельности из ху-

дожественных произведений невозможно. Соответственно, невозможно понять их функцию в обществе, определить роль, которую они играют для современного социума.

Напротив, в большинстве случаев с этнологами связаны негативные коннотации или открытое выражение авторского скепсиса к ним и их работе (Бруштейн, Рытхэу, Стругацкие, Успенский, Петрушевская).

Среди книг, указанных в этой статье практически нет произведений для детей и подростков, а это влечет за собой падение интереса к науке среди молодежи, и соответственно сокращение притока потенциальных кадров.

Однозначно установить причины такой ситуации трудно. Однако можно воспринимать художественные произведения, как индикатор положения этнологии в социуме. В конце XIX-ого века этнология в России бурно развивалась и активно позиционировала себя в общественном пространстве – как результат, это нашло отражение в книгах, написанных даже полвека спустя. Напротив, послевоенная советская этнология ушла в область теории, не находила поля для прикладных исследований и выпала из общественной жизни – как результат, полукомичные образы, наподобие Нанока.

Аналогичным образом объясняется и практически полное отсутствие картин профессиональной жизни этнологов – у писателей не было доступных источников информации о ней, ввиду почти полного отсутствия научно-популярной этнологической литературы. По этой причине, никто и не пытался рисковать, вводя в сюжетную нить ученого, чья деятельность непонятна и загадочна.

Вопрос как изменить сложившуюся ситуацию остается открытым. Можно влиять на неё опосредованно, – активнее вторгаясь в публичное пространство, работая со средствами массовой информации, увеличивая количество научно-популярных изданий. С другой стороны, пример Владимира Богораза, чьи литературные и этнографические достижения прекрасно дополняли друг друга, по-прежнему актуален.

Доказательством этому может служить биография нашего современника, испанского этнолога Альберта Санчеса Пиньоля. Его антропологическое прошлое стало для него отличным подспорьем в литературе: «По профессии я антрополог, и я предпочитаю не разделять позиции своих персонажей, не вживаться в них. Я их описываю. Антропология – дисциплина, которая желает познать другого. Мои сле-

дующие романы также построены на антропологических принципах. Я уже не знаю, кто я: писатель-антрополог или антрополог-писатель» [Пиньоль 2006].

Библиография

Абашин 2003 - Абашин С.Н. Свой среди чужих, чужой среди своих. (этнографические размышления по поводу новеллы А.Волоса "Свой") // Этнографическое обозрение. 2003, № 2. с.3-25.

Брандис 1985 – Брандис Е.П. Рядом с Жюль Верном. Л., 1985.

Бруштейн 1958 - Бруштейн А.Я. В рассветный час. М., 1958.

Бурыкин 2001 - Бурыкин А.А. Элементы массовой культуры в традиционной духовной культуре этноса // Российская массовая культура конца XX века. Спб., 2001. с.15-27.

Гаген-Торн 1971 - Гаген-Торн Н.И. Ленинградская этнографическая школа в двадцатые годы (у истоков советской этнографии) // Советская Этнография, № 2, 1971 г., с. 142-143.

Карабчевский 1916 - Карабчевский Н. П. Речи 1882—1914 гг. М., 1916.

Короткевич 1964 - Короткевич В.С. Дикая охота короля Стаха. Минск, 1964.

Лотман 1996 - Лотман Л.М.Русская историко-филологическая наука и художественная литература второй половины XIX века. (Взаимодействие и развитие) // Русская литература. 1996, № 1. с. 19–44.

Микульский 2003 - Микульский Д. Мотивы этнографии и этнополитической культуры таджиков в романе А.Г.Волоса «Хуррамабад» // Центральная Азия: Источники, история, культура. Тезисы докладов конференции, посвящённой 80-летию Е.А.Давидович и Б.А.Литвинского. Москва, 3-5 апреля 2003 года. М., 2003. С.92.

Миллер 2004 – Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. М., 2004.

Назаренко 2009 - Назаренко М. И. Остров Цейлон // «Новый Мир». 2009, № 6. с. 66–97.

Неизвестные Стругацкие 2006 - Неизвестные Стругацкие. От «Понедельника…» до «Обитаемого острова»: черновики, рукописи, варианты / сост. С. Бондаренко. Донецк, 2006.

Петрушевская 2004 - Петрушевская Л.С. Номер Один, или В садах других возможностей. М., 2004.

Рытхэу 1981 - Рытхэу Ю.С. След Россомахи // Избранное. Т.2. Л., 1981.

Пиньоль 2006 – Пиньоль – антрополог-писатель или писатель-антрополог // Книжная витрина. 2006. Метод доступа: http://www.top-kniga.ru/kv/interview/interview.php?ID=20263

Пширков 1966 - Пширков Ю.А. А.Е.Богданович. Минск, 1966.

Смирнов 1890 - Смирнов И.Н. Вотяки. Историко-этнографический очерк // Известия Общества археологии, истории и этнографии при императорском Казанском университете. Т.08. Вып.2. 1890.

Современная наука 2011 - Современная наука: чем и кому она интересна? // Официальный сайт ВЦИОМ. Метод доступа: http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=111460
Соколовский 2009 - Соколовский С.В. Российская антропология: иллюзия благополучия // Неприкосновенный запас. № 1 (63). 2009. с. 45-64.
Стругацкие 1959 – Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. Страна багровых туч. М., 1959.
Стругацкие 1971 – Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. Обитаемый остров М., 1971.
Стругацкие 1979 – Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. Жук в Муравейнике. М., 1979.
Успенский 1995 – Успенский М. Там, где нас нет. М., 1995.
Code of Ethics – Code of Ethics of the American Anthropological Association // Метод доступа: http://www.aaanet.org/committees/ethics/ethcode.htm
Eriksen 2004 – Eriksen T. H. Engaging anthropology. Berg, 2006.
Haviland 1999 – Haviland W.A. Cultural anthropology. Harcourt Brace College publishers. 1999.
Firth 1984 – Firth R. Anthropology in Fiction: An Image of Fieldwork // RAIN. No. 64. 1984, p. 7–9.
Tallman 2002 – Tallman J. The ethnographic novel: finding the insider’s voice // Between Anthropology and Literature: Interdisciplinary Discourse. Ed. by Rose de Angelis. London, 2002. p. 11–22.

Наталия Миронова, Татьяна Филиппова, Наталия Лисевич

Некоторые практики репрезентации научного работника (на материалах фотодокументов Коми НЦ УрО РАН)

Визуальное восприятие окружающего мира является предметом изучения многих социально-гуманитарных и общественных наук. Особое место среди них занимает визуальная антропология, в фокусе которой визуальный образ представляет собой не только самостоятельный объект, но и средство познания окружающего мира. Данная статья представляет собой анализ фотографий при помощи методов визуальной антропологии в контексте исследований образов и репрезентации научного сообщества. Антропология академической жизни лишь недавно в российском научном сообществе оформилась в специальную область исследований. В данном случае, обращение к антропологии предполагает «не столько изучение человека вообще, но изучение конкретного способа существования человека академического образа жизни, а также совокупности ритуалов, коммуникативных и повседневных практик, сформированных сообществом «академических» людей» [Комарова 2011:25]. При этом предполагается, что академическое сообщество имеет собственную профессиональную субкультуру. Под субкультурой профессии понимается «совокупность стереотипов и норм поведения, форм дискурса, сложившихся в профессиональной среде, пронизывающих все аспекты жизни членов профессионального сообщества, функционирующих, в том числе, на уровне повседневности и транслируемых, посредством механизмов, традиций в рамках повседневных практик, профессионального фольклора» [Щепанская 2005:51].

История Коми научного центра насчитывает более шестидесяти лет. В 1939 г. в Коми АССР была создана сыктывкарская группа Северной базы АН СССР, располагавшейся в г. Архангельске. Трагические события начала Великой Отечественной войны вынудили эвакуировать в Сыктывкар два академических учреждения: Северную базу АН СССР из г. Архангельска и Кольскую базу АН СССР из г. Кировска Мурманской области. Почти сразу они были объединены в Базу АН СССР по изучению Севера. В 1944 г. при реэвакуации академических учреждений Коми обком ВКП(б) и Совет Министров Коми АССР ходатайствовали о сохранении академического учреждения в Коми АССР, в результате в г. Сыктывкаре была создана База Акаде-

мии наук СССР в Коми АССР (с 1949 г. - Коми филиал АН СССР, с 1988 г. – Коми научный центр Уральского отделения АН СССР, с 1992 г. – Коми НЦ УрО РАН). На сегодняшний день Коми НЦ УрО РАН является крупнейшим академическим центром на Европейском Северо-Востоке страны. В его структуру входят шесть специализированных институтов, более 100 отделов и лабораторий, комплексы научного оборудования. В центре Сыктывкара построен своеобразный академический городок с собственной научной и социально-бытовой инфраструктурой. В стенах учреждения работают около 1000 сотрудников. Коми научный центр стал одним из важнейших центров формирования интеллигенции Республики Коми [Самарин 2006].

В 1953 г. в составе Коми филиала АН СССР был организован Научный архив, который стал основным хранилищем истории академического учреждения Республики Коми. Научный архив Коми НЦ УрО РАН в течение нескольких лет осуществляет издание серии научно-справочных материалов к документальным фондам и коллекциям, хранящимся в архиве*. На сегодняшний день архив Коми научного центра ввел в научный оборот два фонда визуальных источников – фотодокументов и кинодокументов. Формирование коллекции фотодокументов произошло сравнительно недавно.

С 1946 г. в научном центре действовала собственная фотолаборатория, ее возглавляли и фактически являлись единственными сотрудниками: А.М. Кочев (1946–1952 гг.), В.Н. Максимов (1952–1963 гг.), А.С. Коптева (1963–1982 гг.), Б.А. Горев (1982–1999 гг.). После ликвидации лаборатории накопленные материалы в 1999 г. были переданы в архив, которые и составили основу будущего фонда фотодокументов. Также в фонде отложились фотоальбомы, подготовленные Советом ветеранов Коми НЦ УрО РАН в 1985–1996 гг. Отсутствие предварительной экспертизы и атрибутации фотодокументов значительно затруднило работу с фондом и затянуло сроки его обработки на несколько лет. Только в 2007–2008 гг. сотрудниками архива была проведена научно-техническая обработка фотодокументов. В результате был сформирован фонд № 18 «Фотодокументы», состоящий из трех описей: 1) Научно-организационная деятельность и общественная жизнь Коми НЦ УрО РАН (1920-е–2001 гг.) (262 дела, 8955 негатива, 160 контрольных отпечатков, 640 фото). В данную опись были включены снимки, отражающие следующие страницы истории научного учреждения: участие ученых в экспеди-

циях, коммунистических субботниках и праздничных демонстрациях; посещения Комиссий АН СССР по проверке деятельности учреждения в разные годы; заседания, в том числе юбилейные, Ученых советов, рабочие моменты и групповые фотографии сотрудников; визиты в Коми филиал академиков В.И. Скрябина (1946 г.), М.В. Келдыша (1972 г.), иностранных ученых и специалистов (Япония, ФРГ, Польша, Вьетнам, Америка. Италия, Финляндия); различные международные и всесоюзные конгрессы, совещания, конференции, симпозиумы («Арктика-91», «Чернобыль-91» и т.д.) и др.; награждения правительственными наградами сотрудников; встречи в разные годы с первыми секретарями ЦК КПСС и руководителями Российской Федерации. 2) Портреты сотрудников и гостей Коми НЦ УрО РАН (1940-е – 1995 гг.) (289 дела, 944 негатива, 49 контрольных отпечатков, 361 фото). 3) Фотоальбомы (1944-2000 гг.) «Сотрудники Коми НЦ УрО РАН, имеющие почетные звания», Книги почетных посетителей, Визиты руководителей СССР и АН, «Ветераны Великой Отечественной войны» и др. (19 дел, 694 фото).

В 2010 г. фонд дополнился четвертой описью – фотодокументами, отложившимися при подготовке энциклопедии «Город Сыктывкар», в которую вошли фотографии на бумажной основе и в электронном варианте.

До формирования отдельного фонда фотодокументов в научный архив поступали фотографий и в составе других фондов. Первые фотоальбомы относятся к 1947 г. Все важные события в истории академического учреждения фиксировались в юбилейных альбомах, например, приезд академика М.В. Келдыша в г. Сыктывкар (1972), Конгресс финно-угроведов (1985) и т.д. Кроме этого, большинство сотрудников центра увлекались фотоделом еще с советских времен, накопили в семейных архивах много любительских фотографий. В результате архив получает довольно большое количество фотографий и в составе фондов личного происхождения (к.т.н. А.Ф. Ануфриев, к.б.н. Н.С. Котелина и др.). Особой популярностью у исследователей пользуются фотографии и этнографические фотоальбомы из фонда Л.С. Грибовой – специалиста по традиционному народному искусству коми, личный фонд которой содержит большое количество иллюстративного материала к отчетам по этнографическим экспедициям, по искусству коми и коми - пермяков.

Таким образом, Научный архив получает довольно большое количество фотографий, как в составе фондов личного происхождения,

так и отдельные разовые поступления (в последние годы преимущественно в электронном виде), отражающих современную историю академического учреждения и Республики Коми. На сегодняшний день фотоколлекция архива насчитывает более 10000 единиц фотоснимков, среди которых фотографии, как на бумажном носителе, так и электронные.

Работа с фотодокументами имеет ряд особенностей. Как правило, поступающие в архив фотоматериалы представляют собой россыпь неатрибутированных снимков. Вопрос об определение ценности решает архивист. Надо отметить, что это очень серьезная творческая и исследовательская работа. Экспертиза ценности фотодокументов проводится на основании специальных критериев, применяемых в процессе описания фотодокументов. В процессе работы общими критериями оценки фотодокументов стали: содержание фотографии и внешние характеристики снимка. Наибольшую ценность представляли фотодокументы, в которых нашли своё отражение события, имеющие знаковое значение для истории научного центра. Критериями содержания стали – значимость лица и события, изображенного на снимке, полнота освещаемых событий.

При этом основным визуальным объектом остается человек, в нашем случае научный работник или человек академического образа жизни. Ретроспективный анализ фотодокументов показал, что они объективно иллюстрируют историю развития научного учреждения.

В фотодокументах научного архива содержатся фотографии первого отдельного здания, в котором располагалась База Академии наук СССР в Коми АССР. Согласно паспорту Базы Академии наук СССР в Коми АССР от 9 февраля 1946 г., «здание находится в г. Сыктывкаре Коми АССР, [по улице] Коммунистическая, 24. Год постройки здания - 1940. Здание - кирпичное, двухэтажное, система отопления - печная. Имеется водопровод и канализация. Число комнат - 34. Рабочая площадь под лабораториями и кабинетами 744 м^2, под подсобными помещениями (мастерские, склады) – 140 м^2, площадь общего пользования – 422 м^2. Кроме того, в одном конце здания имеется одноэтажная жилая достройка на одну квартиру. Из транспорта База имеет две грузовые автомашины, из коих одна машина - Газ «АА» тоннажем 1,5 т, непригодна для работы и подлежит списанию, и вторая - трехтонная «Зис-5». Кроме грузовых машин База имеет одну легковую автомашину марки «М-1», прошедшую 185000 км, требующую полного капитального ремонта, и одну рабочую ло-

шадь» [Документальная история 2009:209-211]. Судя по видовым фотографиям г. Сыктывкара 1940-50-х гг., данное здание значительно выделялось на фоне преобладающей деревянной застройки.

Во второй половине 1940-60-х гг. в Коми филиале АН СССР происходит формирование молодого научного коллектива. В это же время в стенах филиала продолжают работать представители старшего поколения высококвалифицированных специалистов, многие из которых начали свою научную карьеру в системе Академии наук еще в 1910-1920-е гг. [Самарин 2006:99]. Большинство из них получили блестящее образование в центральных вузах страны, владели двумя-тремя иностранными языками и воплощали в себе лучшие традиции отечественной науки. Среди них были такие выдающиеся ученые как д.г.-м.н., профессор А.А. Чернов, к.с.-х.н. И.С. Хантимер, д.г.-м.н., профессор В.А. Варсанофьева, к.б.н. А.А. Дедов, акад. А.А. Баев и др.

Условия жизни в Сыктывкаре конца 1940 - начала 1950-х гг. представляются первым ученым Базы весьма приемлемыми. Свидетельство тому письма А.А.Баева В.А. Энгельгардту о новостях в Базе АН СССР в Коми АССР за 1948 г.: «К Сыктывкару мы все больше и больше привыкаем, и он нам даже нравится. Поступающие сведения из других городов, не исключая и столиц, явно свидетельствуют, что снабжение здесь совсем неплохое. Мы здесь не знаем (почти) очередей, хлеб, масло, сахар, мясо, картофель и молоко есть постоянно» [Академик А.А.Баев 1997:171] или «Условия жизни в Сыктывкаре попрежнему достаточно хороши. В этом году здесь хороший урожай, и цены, вероятно, не будут особенно высокими» [Академик А.А.Баев 1997:183].

С первых дней работы учреждения одной из наиболее острых проблем в организации научных исследований стала теснота в рабочих помещениях. Если в 1948 г. общее количество сотрудников, работающих в филиале, было немногим больше 80-ти человек, то уже к 1953 г. в филиале насчитывается почти 200 научных и научно-вспомогательных работников (в т.ч. 22 аспиранта) [Документальная история 2009: 291]. На заседаниях и общих собраниях коллектива сотрудников неоднократно поднимали вопросы о нехватке рабочих помещений, тесноте и скученности в лабораториях. Об этом может свидетельствовать и тот факт, что при распределении жилплощади между сотрудниками в 28-квартирном доме, который был сдан в 1960 г., помимо жилых комнат и квартир (квартиры распределялись покомнатно) планировали выделить производственные помещения для ла-

бораторий радиобиологии; биологии растений; лесоведения; отделов языка и литературы; истории, этнографии и археологии; энергетики; комиссии по охране природы; отдела кадров [Документальная история 2009: 183-184].

В такой ситуации строительство лабораторного и гуманитарного корпусов Коми филиала было весьма актуально. И лишь в 1970-1990-х гг. происходят серьезные структурные изменения, ведется активное строительство новых лабораторных корпусов, растет численность работников Коми НЦ УрО АН СССР.

Подвергая анализу изображение научного работника на фотографии, можно получить информацию не только о его индивидуальных характеристиках (пол, возраст), но и о его внешнем виде. В данном случае, фотодокументы позволяют проследить, каким образом выделяется эта составляющая в образе ученого. Современные часто стереотипизированные представления, характеризуют внешность ученого в категории «Неопрятный». Известно, что в массовой культуре изображение Альберта Эйнштейна часто принимается за основу образа «безумного учёного». Виной тому внешний вид выдающегося физика на большинстве фотоснимков - учёный любил появляться в простом свитере и с растрёпанными волосами, что имеет явно негативную окраску и тиражируется в общественном сознании. При этом оформление внешности (одежда, аксессуары) немаловажно для публичного человека, каким чаще всего и является ученый. Конечно, он может иметь различный облик в процессе производства научного знания. В лаборатории – в белом халате. В экспедиции – в камуфляже и болотных сапогах. В процессе презентации своих научных результатов, на публике он всегда в деловом костюме. Внешний вид ученого – важнейший компонент производимого впечатления. Профессиональная идентичность ученого является имиджевой категорией, которая связанна с постоянной самопрезентацией, представленностью образа «Я» другим.

Ещё одним аспектом анализа фотоисточников является действие. Характер поведения-действия научного работника на фотографии может быть двух видов. Во-первых, оно может быть, обычным, нормальным поведением, которое представлено в моментах каждодневной рутинной работы: чтение литературы, организация и проведение опытов, экспериментов и т.д. Во-вторых, научное сообщество изобилует ритуальным, повторяющимся в соответствии с известной последовательностью, церемониальными по форме, торжественными

действиями. Например, защита диссертации – своеобразные обряд инициации, вступление в научное сообщество, принятие определенных правил поведения, специальной лексики для дальнейшего существования в его рамках. Примерами такого рода церемониальных действий, могут являться заседания Ученых советов, пленарные и секционные заседания конференций.

Деятельность научного сотрудниками может проявляться также в социальном взаимодействии-интеракции. Примером простейшего вида интеракции является разговор-диалог, который сам по себе является важнейшей составляющей производства знания. Диалогичность в презентации научного работника иллюстрируется фотографиями, посвященными научно-организационной и педагогической деятельности, например, встречи в разные годы с первыми секретарями ЦК КПСС и руководителями Российской Федерации, пресс-конференции сотрудников Коми НЦ с журналистами, заседания различного уровня. Для анализа интеракции очень важно пространственное положение партнеров, а также дистанция между ними. Характер дистанции может быть обусловлен теми ролями, которые присваиваются научным сообществом: академик, директор института, младший научный сотрудник, лаборант. Демонстрация дистанции отражает структуру иерархии внутри научного сообщества. Анализируя групповые фотографии можно отметить, что научные работники во время фотосъемки образуют как малые группы и микрогруппы (диады, триады), так и большие группы - публика, строй, но никогда – толпу или стихийную группу. Оба представленных варианта социальной организации управляемы и регламентированы, коллективное поведение отличается типичностью действий. Нетипичность коллективного поведения ученого может быть представлена в определенных ситуациях, связанных с досуговой деятельностью, участием в коммунистических субботниках, праздничных демонстрациях ученых, спортивных мероприятиях – академиадах.

Кроме того, важным источником визуальных данных является организация жилого и производственного пространства: меблировка (книги, картины, дипломы, сувениры), техническое оборудование, рабочее место (используемые приборы, посуда). Фотодокументы содержат богатый материал, иллюстрирующий повседневность и особенности быта научного работника с конца 1940-х годов по настоящее время, демонстрируют изменение интерьеров, смену лабораторного оборудования. Визуальные данные об организации быта науч-

ных сотрудников находят многочисленные подтверждения в документах. Анализ документов показывает, что работа первых советских ученых в Коми сопровождалась рядом бытовых трудностей и неудобств. При печном отоплении, приходилось самостоятельно заготавливать дрова. Из письма А.А.Баева В.А. Энгельгардту о новостях в Базе АН СССР в Коми АССР от 28 сентября 1948 г.: «…Много тревог доставила заготовка дров, но сейчас мы обеспечились топливом на всю зиму. Хуже дело с осенним ремонтом: у нас выбиты стекла, негодны рамы, двери, но пока я не смог добиться, чтобы все это было устроено – завтра отравляюсь на очередной штурм жилищно-коммунального управления. Переезжать в новый дом я не собираюсь – по многим причинам это не стоит делать (главное, что в своей теперешней квартире я совершенно независим)» [Документальная история 2009: 229].

О материальных трудностях, сопровождавших сотрудников в первые годы работы Базы, говорит тот факт, что с 1941 г. практиковалась передача имущества во временное пользование для поддержки эвакуированных сотрудников. В качестве материальной помощи выдавали мебель (стол и один стул на человека) и элементарную утварь. В послевоенные годы купить мебель многие ученые также не могли. Поэтому приказ руководства в 1948 г. о возврате имущества Базы вызвал у сотрудников большие затруднения, так как за прошедшие годы часть имущества пришла в негодность или была утрачена, но даже за возвращенный инвентарь требовалось возместить амортизационные расходы. Сотрудникам Базы пришлось возмещать полную стоимость утраченного имущества [Документальная история 2009:127].

Из акта внутренней комиссии по обследованию условий труда и техники безопасности в производственных помещениях Коми филиала АН СССР от 14 сентября 1955 г. следовало, что во всех производственных помещениях Коми филиала необходим ремонт электропроводки; лаборатории филиала не приспособлены для проведения серьезных химических анализов, отсутствует вытяжная система, качаются полы, в сушильных шкафах и термостатах нет терморегуляторов; здание филиала плохо оборудовано для зимних условий – оконные рамы без войлочных подкладок, полы не утеплены. Вследствие этого в большинстве помещений зимой холодно, штукатурка осыпается, недостаточно света в вечернее время и т.п. Не все сотрудники филиала имели письменные столы и настольные лампы [Документальная история 2009: 309 - 311].

В Научном архиве Коми НЦ УрО РАН накоплена значительная коллекция фотодокументов, которые сохранились как в отдельном фонде, так и в фондах личного происхождения. Представленные фотодокументы Коми НЦ УрО РАН являются важным источником, позволяют выявить особенности быта и образа жизни ученого в Коми научном центре, а также определить особенности репрезентации «ученого» в советский и постсоветский период: ученый в рабочем контексте (кабинет, лаборатория, экспедиция и др.), досуг и общественная деятельность (демонстрация, субботник и др.). При этом несмотря на то, что анализ визуально-антропологической продукции предполагает привлечения данных письменных источников, материалов устной истории и др., фотодокументы являются самостоятельным источником с широкими информационными возможностями и обладают значительным исследовательским потенциалом. Анализ визуального ряда документов научного архива Коми НЦ УрО РАН позволяет говорить о стабильности образа научного работника. Меняется фон его деятельности, рабочие инструменты, сменяются общественные условия и интерьеры, но сохраняется контекст, сам научный работник и формы его поведения-деятельности. Представленный комплекс фотодокументов позволяет говорить об особенностях и закономерностях структуры, культуры и общественной жизни научного сообщества, предполагает ориентацию на позитивную оценку образа ученого-деятеля, который четко осознает функции науки, ее значение для общества, формирует устойчивую составляющую образа науки, связанную с производством нового знания и воспитанием молодых поколений ученых.

В целом, анализ фотодокументов Научного архива Коми НЦ УрО РАН показал, что они являются самостоятельным источником с широкими информационными возможностями и обладают значительным научным потенциалом, в том числе и для визуально-антропологических исследований в поле антропологии академической жизни.

Примечания

- В серию Научного архива Коми НЦ УрО РАН вошли: Путеводитель. Научный архив Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук / Сост. Л.П.Рощевская, Г.П.Береснева, С.И.Савина, Е.Э. Макеева, А.А.Бровина. Сыктывкар. 2001. 228 с.; Бровина А.А., Рощевская Л.П., Самарин А.В., Чупрова Э.Г. Подготовка научных кадров в Коми научном центре УрО РАН (1945-2001 гг.). Сборник документов и материалов. Сыктывкар: Изд-во Коми научного центра УрО РАН. 2004. Вып. 1. 114 с; Бровина А.А., Рощевская Л.П., Самарин А.В., Чупрова Э.Г. Академический центр в Коми АССР в годы Великой Отечественной войны: ученый и война (1941-1945 гг.). Сборник документов и материалов. Сыктывкар: Изд-во Коми научного центра УрО РАН, 2005. Вып. 2. 102 с.; Личные фонды Научного архива Коми научного центра Уральского отделения РАН. Справочник по фондам. – Сыктывкар, 2007. – 176 с.; Документальная история Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук. Коми филиал АН СССР в 1944-1965 гг. – Сыктывкар, 2009. – 456 с.

Библиография

Академик А.А. Баев 1997 – Академик Александр Александрович Баев: Очерки. Переписка. Воспоминания. – М.: Наука, 1997.

Документальная история 2009 – Документальная история Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук. Коми филиал АН СССР в 1944-1965 гг. Сыктывкар, 2009. 456 с.

Комарова 2011 – Комарова Г.А. Антропология академической жизни как практика этнографического описания и этнологического понимания/ Антропология социальных перемен. Отв. ред. Э-Б.М. Гучинова, Г.А. Комарова. М.:РОССПЭН, 2011. 758 с.

Самарин А.В. История Коми научного центра Уральского отделения АН СССР: становление и развитие (1944-1991 гг.) / Коми научный центр Уральского отделения РАН. – Сыктывкар, 2006. – С.196.

Щепанская 2005 – Щепанская Т.Б. Конструкции гендера в неформальном дискурсе профессий/ Антропология профессий. Под ред. П.В. Романова и Е.Р. Ярской-Смирновой. Саратов: Центр социальной политики и гендерных исследований. Научная книга. 2005.

Марина Жигунова

Праздничные будни омской этнографии

Жизнь каждого человека состоит из чередования будней и праздников. Не являются исключением из этого правила и представители ученого сообщества г. Омска. За последние три-четыре десятилетия под влиянием ленинградской, московской и томской этнографической науки здесь сформировался целый коллектив профессиональных этнографов, насчитывающий около 50 человек. Отличительными чертами представителей этой когорты является не только активная научная, образовательная, издательская и научно-организационная деятельность, обусловленная неистребимой влюбленностью в свою профессию, но и веселый нрав, активное песенное творчество и неиссякаемый оптимизм. Все это позволяет говорить о том, что для большинства из нас каждый будний день воспринимается как праздник жизни.

Истоки омской этнографии лежат в научной деятельности двух известных ученых – Ч.Ч. Валиханова (1835-1865 гг.) и Г.Н. Потанина (1835-1920 гг.). Первая попытка научного осмысления этнографических исследований, которые проводились сотрудниками Западно-Сибирского отдела РГО, принадлежит И.В. Захаровой [Захарова 1970:100-124]. И это не случайно, поскольку до 1974 г. она являлась единственным представителем этнографической профессии в г. Омске. Ирина Витальевна родилась 1 декабря 1923 г. в г. Владимире, в 1946 г. окончила исторический факультет МГУ. В 1952 г. (под научным руководством Н.Н. Чебоксарова) защитила кандидатскую диссертацию на тему «Материальная культура уйгуров Советского Союза». Затем работала в Институте истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР, с 1963 г. преподавала в Омском педагогическом институте [Патрушева, Томилов 2004:9-13]. Ирина Витальевна избрана почетным членом международного общества по изучению Центральной Евразии. Основная сфера её научных интересов: этнография казахов и уйгуров, этнографическое музееведение, история этнографических исследований в Казахстане и Сибири.

Следующая попытка освещения этнографических исследований в Омске принадлежит Н.А. Томилову [Томилов 1991]. Затем эти ученые решили объединить свои усилия [Захарова, Томилов 1995]. Логическим завершением их изысканий, посвященных этнографическо-

му сибиреведению и становлению Омского научного этнографического центра, стала их совместная монография [Захарова, Томилов 2007]. В ней представлена периодизация и некоторые проблемы этнографического изучения народов Сибири, а также – очерки, посвященные становлению этнографии в Омске и этнографическому изучению народов Западной Сибири в хронологических рамках 1920 - начала 2000-х гг. Последний 35-летний период истории омской этнографии представлен в совместной работе Н.А. Томилова и М.А. Жигуновой, где обозначены основные направления научных изысканий омичей: изучение этнической истории и традиционно-бытовой культуры народов Севера, Западной и Южной Сибири, Северного Казахстана; изучение современных этнических процессов; история музейного дела в Сибири и проблемы этнографического музееведения; теория и история этноархеологии, конструирование этнографо-археологических комплексов [Томилов, Жигунова 2010]. Кроме того, омскими этнографами выполняются работы по методической и историографической тематике [Томилов 2010:31-37; Томилов 2011]. Таким образом, официальная история Омского научного этнографического центра уже представлена в публикациях. Чтобы внести еще несколько штрихов в этот портрет, хотелось бы дополнить его неофициальными источниками и личными впечатлениями, зачастую изложенными в жанре автоэтнографического текста [Соколовский 2010: 26] сквозь призму автобиографических зарисовок.

Вплоть до 1990-х гг. наука о народах в СССР именовалась этнографией. В настоящее время «в отечественной научной литературе уже стало традицией, что этнография профессий в узком смысле воспринимается как метод сбора эмпирических данных и жанр описания культур, а в широком смысле – это синоним антропологии, когда исследователь выходит на уровень обобщений и построения теории» [Комарова 2010:52]. Можно долго рассуждать по поводу соотношения этнографии, этнологии и антропологии – так сейчас официально называется наша специальность 07.00.07. Но, думаю, большинство моих коллег согласится с тем, что называть себя этноГРАФОМ или этноГРАФИНЕЙ гораздо приятнее и почетнее, чем просто этнологом или антропологом, поскольку для большинства современников созвучье слова «граф» чаще ассоциируется с дворянским титулом (который был выше баронского), упраздненным в России в 1917 г. И пусть моя коллега, Т.Б. Смирнова, опубликовавшая «Записки этнографички», считает, что «этнографиня» звучит слишком пафосно, т.к. слож-

но представить «графиню», носящуюся по этнографическим полям в тертых джинсах и резиновых сапогах [Смирнова 2010: 297], я с нею не согласна. Поскольку граф Л.Н. Толстой не становился менее значимой фигурой оттого, что частенько ходил босиком и в «мужицкой» косоворотке. Тем более, в официальных словарях современного русского языка слова «этнолог» и «этнология» отсутствуют. Зато встречается «этнограф – специалист по этнографии» [Ожегов, Шведова 2009:916]. Следовательно, специалиста женского пола логично именовать этнографиней. В лексике омичей это слово регулярно употребляется, тем более, в настоящее время в нашей науке женский пол количественно превалирует над мужским. Так, из списка омских ученых, защитивших диссертации по этнографической тематике, только 29 % приходится на этнографов-мужчин и 71 % – на «этнографинь».

В 1974 г. был открыт Омский государственный университет (ОмГУ). Изначально этнографическое направление в рамках кафедры истории СССР (а затем – всеобщей истории) возглавил 33-х летний выпускник историко-филологического факультета Томского государственного университета Н.А. Томилов. Николай Аркадьевич считает, что наибольшее влияние на формирование его научного мировоззрения и профессионализм оказали Ю.В. Бромлей, Л.П. Лашук, Г.И. Пелих и З.П. Соколова. Кандидатскую диссертацию Н.А. Томилов защитил в 1973 г. (под руководством И.С. Гурвича) в Совете Института этнографии АН СССР. А через 10 лет, в 1983 г. он успешно защитил там же докторскую диссертацию «Этническая история тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины в конце XVI – начале XX вв.». Сегодня это известный ученый, основатель и руководитель Омского научного этнографического центра, заведующий кафедрой этнографии и музееведения Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, создатель и бессменный директор двух институтов – Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН и Сибирского филиала Российского института культурологии [Этнограф, культуролог, историк 2011]. Н.А. Томилов – это не просто удивительный человек, незаурядный ученый, талантливый лектор и организатор, но и творческая, артистическая личность. Его лекции помнятся многими до сих пор. Про них даже сочиняли песни. Например, такую (на мотив песенки «Мадам Бонжа»):

ЛЕКЦИЯ Н.А.ТОМИЛОВА О СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Я вам ребята расскажу, и записать вас попрошу.
С тех пор прошло немало лет, но не забыт промискуитет.
Хорошей жизнь тогда была, но кто-то ввел пуналуа.
И тут (никто не знает, как) вдруг появился парный брак.
К охоте всех зовёт там-там, но пары скрылись по кустам.
Шаман проклял свою судьбу и наложил на всех табу.
Но тут идея завелась вступать всем в родственную связь.
Был скор на выдумки народ, и этногамным стал тот род.
Но жизнь заставила опять систему эту поменять.
Неделю думали они и экзогамию ввели.
Вот так плодился человек, и тут настал XX век.
Ну, а теперь, куда не глянь, везде - развод и дело - дрянь.
Когда ж получим мы ответ: «Быть браку парным или нет»?
И не придется ли опять систему новую внедрять?

В первое десятилетие создания ОмГУ наиболее талантливых студентов посылали учиться по специальности «этнография» в ведущие университеты Советского Союза: МГУ и ЛГУ. С этими университетами был заключен официальный договор, согласно которому омские студенты переводились на учебу в Москву или Ленинград специальным приказом. Первым был Головнёв Андрей, который обучался в МГУ на 3-5 курсах. Вторым стал Вадим Реммлер, который в 1983 г., после второго курса, был направлен в МГУ, но потом перераспределен в ЛГУ. На следующий год в Ленинград поехал Александр Селезнёв. В общежитии они жили в одной комнате вчетвером: омичи А.Г. Селезнёв и В.В. Реммлер, а также – Ю.И. Михайлов (ныне известный доктор культурологии в Кемерово) и А.Э. Бачулис (бывший помощник Президента Латвии). Что и говорить, тогда в центральных университетах учились и преподавали интереснейшие люди со всего Советского Союза!

Мое личное знакомство с этнографией началось не в университете, а гораздо раньше. Будучи школьницей начальных классов, я взяла в библиотеке книгу «На берегу Маклая», интерес к которой был вызван занимательными изображениями каких-то предметов, масок и карт [Миклухо-Маклай 1961]. Прочитала ее, не отрываясь, хотя не все изложенное могла тогда осмыслить и понять. Но эта книга произ-

вела на меня настолько неизгладимое впечатление, что мне не захотелось с нею расставаться. Пришлось обмануть библиотекаря, что книгу потеряла и, согласно действующим тогда правилам, возместить ее стоимость в десятикратном размере – 14 рублей. По тем временам, когда билет в кино стоил 5 копеек, а стаканчик мороженого – 10 копеек, это было целое состояние.

Мой отец работал в уголовном розыске милиции, его регулярно переводили в разные районы, и наша семья постоянно колесила по просторам Западной Сибири, что дало мне возможность с ранних лет увидеть и оценить разнообразие сибирской природы и населяющих эту территорию людей.

В 1980 году, который запомнился всем Олимпийскими играми в Москве, в моей жизни произошло событие, которое оказалось знаковым. В нашу среднюю школу по распределению приехал новый учитель истории – выпускник Омского государственного университета, прошедший специализацию на кафедре этнографии МГУ им. М.В. Ломоносова – А.В. Головнёв. Сегодня он – известный антрополог с мировым именем, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института истории и археологии Уро РАН (Екатеринбург). Летом 1981 г. он организовал этнографическую экспедицию по Усть-Ишимскому району Омской области. И убедил меня в том, что я обязательно должна принять в ней участие, «поскольку заняла первое место на районных соревнованиях по НВП (начальной военной подготовке) и лучше всех умею оказывать первую медицинскую помощь». Так я впервые ступила на этнографическую тропу. Мы проходили по проселочным дорогам (или проплывали на лодке по реке) по нескольку километров в день, изучая деревни и села, их жителей, кладбища. Каждый вечер собирались у костра, и Андрей Владимирович (очень артистично и занимательно) рассказывал нам различные экспедиционные байки и пел под гитару различные песни: студенческие, исторические, народные, песни В.С. Высоцкого и свои авторские: «Белые кони храпят и вздыбают», «Домовой», «Век в век». Последняя нравилась нам особо, т.к. была пронизана исторической динамикой:

Век в век строптивые женщины
Кровь, плоть не впрок будоражили.
Жар, пыл, признания нежные
В пыль, в прах, ввергая, куражились.

Камни, колючки, студеные реки -
Тропы ухабисты в каменном веке.
Он босиком к ней в пещеру чуть свет
Клялся, сулил, обещал, но…

Припев:
Нет, нет, что ты, голубчик,
Кто я? Это безумие!
Прочь, вон, так будет лучше,
Впредь будь благоразумнее.

Он никогда не робел пред рапирой,
И поражений не знал на турнирах.
Он, искушенный в десятках побед,
Кровь и любовь предлагал, но….

Припев.

Кризисы, ренты, торговли, обмены -
Все по плечу и в руках бизнесмена.
Он, не боящийся чеков и смет,
Жертвует всё состояние, но….

Припев.

Ждет поколение за поколеньем
Искоренения этих сомнений.
Травит и губит себя человек
Слабостью старок к тому, что…

Век в век строптивые женщины
Плоть, кровь не впрок будоражили.
Жар, пыл, признания нежные
В пыль, в прах, ввергая, куражились (1981 г.).

А в 1982 г. для моей роли Бабы Яги в театрализованном представлении на школьном новогоднем балу, он написал одноименную песню «Баба Яга» [Головнев 1997:17-19].

БАБА ЯГА

1. Ах, давно ли я была девою младою?
От вампиров и чертей не было отбою.
Колдуны наперебой в чувствах объяснялись.
На дуэлях за меня лешие стрелялись.

Припев: Эх, жизнь была кипучая, эх, жизнь была занятная.
Слетались мы по праздникам во царство тридесятое.
Не пахло там не святостью, не духом человеческим.
Гуляла, бесновалась там элита местной нечисти.

2. Но, как водится, беда грянула средь бала.
Из-за гор Горыныч Змей прилетел удалый.
Мне б поверить вещунам, ведьмам не перечить,
Разве стала б я тогда жизнь свою калечить?

Припев: Но сердце надорвалося от дива иностранного.
Пригрела я Горыныча, змеюку окаянного.
Ему ж на курьих лапах жизнь приелась, опостылела.
Советниками стали нам не голуби, а филины.

3. С той поры хлебнула я, ох, лихую долю.
От Иванов-дураков натерпелась вволю:
То идут искать жену, то дорогу стелют,
То с религией войну чёй-то вдруг затеют.

Припев: Ступа уж рассыхается.
Уж курьи ноги крепкие, и эти подгибаются.
Давно Кощей не хаживал, и лешие не сватают.
Где ж молодость пропащая, где царство Тридесятое?

Представление удалось на славу. Особенно понравилось зрителям, когда во время исполнения этой песенки Баба Яга лихо пустилась в пляс и своей метлой зацепила гирлянду, обрушив ее на директора школы. Причем, совершенно случайно.

После окончания школы именно А.В. Головнёв рекомендовал мне поступать на исторический факультет МГУ или ОмГУ на специальность «Этнография». Он так и сказал: «Марина, этнография – это Ваше!». Поскольку у меня за плечами уже был опыт нескольких незабываемых летних и зимних экспедиционных поездок, оформлений музейных экспозиций и успешных выступлений на областных краеведческих конференциях школьников, я не стала с ним спорить. И поступила на исторический факультет ОмГУ, где целенаправленно решила заниматься этнографией восточнославянского населения Сибири. Первую курсовую работу я написала у Н.А. Томилова и с нетерпением ожидала поездку в экспедицию, которая планировалась к потомкам сибирских казаков, живущих на территории Северного Казахстана. Согласно традиции, для всех участников экспедиции и

практикантов было проведено организационное собрание, на котором были объявлены списки составов разъездных отрядов и вещей, которые необходимо взять с собою, выданы инструкции по технике безопасности, тематические вопросники для сбора информации, банки с тушенкой и сгущенкой. В принесенных на собрание общих тетрадях под диктовку был заполнен первый лист. У меня он выглядел следующим образом: «Полевая опись № 8 участницы Сибирской историко-этнографической экспедиции студентки ОмГУ Жигуновой Марины Александровны. 1984 г. Северо-Казахстанская область. Нашедшего эту тетрадь просьба выслать по адресу: 644077, г. Омск-77, пр. Мира, 55-а, университет, музей археологии и этнографии».

Экспедиция в целом прошла успешно. Наша маленькая группа из двух человек с рюкзаками и спальниками передвигалась по разработанному маршруту от одного селения к другому. Мне посчастливилось встретиться с интересными людьми, почти столетними информаторами, записать множество самобытных легенд и сведений, характеризующих традиционно-бытовую культуру казачества конца XIX – начала XX в. Но последние дни, проведенные на общей базе, принесли сплошное разочарование. Руководитель экспедиции был совершенно не похож на А.В. Головнева, да и порядки были совсем не те. По возвращении я пришла к Н.А. Томилову и сказала, что не буду больше специализироваться по этнографии и хочу перейти на другую кафедру. Николай Аркадьевич долго пытался узнать причину моей «измены». Потом догадался: «Вам не понравилась атмосфера в экспедиции? Что, там много пили и еще чего делали?». Я только молча кивнула головой. Тогда Н.А. Томилов мне сказал: «Куда же Вы собрались уходить? У нас так все хорошо начинается! Вот скоро откроем свою кафедру по этнографии, потом – аспирантуру и научно-исследовательский институт. А хотите на следующий год возглавить свою экспедицию в качестве руководителя? Я возьму Вас работать на кафедру».

Так в начале 1985 г. я стала сотрудником научно-исследовательского сектора университета и летом этого года впервые возглавила русский отряд Сибирской историко-этнографической экспедиции. Первая поездка пришлась на с. Загваздино Усть-Ишимского района Омской области – красивое старожильческое село, затерявшееся среди тайги на берегу одноименного озера, образованного изгибом Иртыша. Разместились мы, как обычно, в местной школе. На один из первых дней приходилось празднование совершеннолетия

одного из практикантов – С. Шилова. Поскольку в моих экспедициях строго сохранялся «сухой закон», нужно было устроить запоминающийся праздник без помощи алкоголя. Пришлось реализовывать творческую фантазию, придумать соответствующий подарок (в том числе – предметы, добытые нами для передачи в Музей археологии и этнографии ОмГУ) и поздравительную песню. В соответствии со случаем, она была исполнена на мотив известной по мультфильмам «Песенки крокодила Гены»:

Пусть бегут неуклюже твои годы по лужам,
Восемнадцать уже пронеслось.
Поздравляем Серёжу в день дождливый, но, всё же,
Все мы вместе, и нам хорошо.

Припев:
Поздравляем мы Серёжу с совершенно-летиЁм
И желаем стать заслуженным этно-графОм!

Прилетит информатор на ковре-самолёте
И бесплатно оставит тесло.
С днём рожденья поздравит и в подарок оставит
Самопрялку, дойник и весло.

Припев.

Жил Серёжа в деревне очень даже безбедно:
Рыбой, щами кормили его,
Пирогами, блинами, и картошкой с грибами,
И парное он пил молоко.

В 1980-е годы все разъездные отряды Сибирской историко-этнографической экспедиции собирались на общей базе накануне празднования Дня этнографа. Там студенты и практиканты составляли описания собранных этнографических предметов, переносили материалы из своих полевых описей на тематические карточки и сдавали их руководителю. В 1985 г. такая база находилась в д. Карагай Вагайского района Тюменской области. Там было огромное количество мух и оводов, от которых мы спасались под пологами палаток, поставленных прямо в здании сельской школы. Готовили пищу поочередно, согласно составленному графику, в настоящей русской печи.

Помню, как утром 7 июля первому из нас вышедшему на улицу достался холодный душ, хлынувший из нехитрого устройства, соединяющему ручку входной двери и привешенное над входом ведро с

водой. А все потому, что наступило 7 июля – День Ивана Купала (в народе – Обливала).

Эта экспедиция надолго запомнилась не только ее участникам, но и местным жителям, поскольку впервые близ их населенного пункта на Иртыше пришвартовался теплоход «Чернышевский», с капитаном которого Н.А. Томилов поддерживал дружеские связи. На этом теплоходе наша экспедиция возвращалась в Омск. Так приятно было после деревенской жизни почувствовать себя «буржуинами», которые прогуливаются по палубе, наслаждаются удивительными видами сибирской природы, питаются в ресторане. А по вечерам в кубрике устраивались импровизированные музыкальные встречи, где участники экспедиции и члены экипажа радостно общались и обменивались своими любимыми песнями, а помощник капитана и Света Томилова (Корусенко) поочередно играли на рояле, аккомпанируя собравшейся веселой компании.

В целом, именно 1980-е годы можно считать «золотым веком» для омских этнографов. Во многом это было обусловлено творческим подъемом, вызванным открытием осенью 1985 г. в ОмГУ кафедры этнографии, историографии и источниковедения истории СССР. Из этнографов, кроме возглавлявшего ее Н.А. Томилова, на ней тогда работали О.М. Проваторова (ныне Бронникова, проживающая в Канаде), М.А. Жигунова, О.В. Кузнецова (ныне живущая в Чехии), Г.М. Патрушева, В.В. Реммлер (сейчас - житель Краснодара). В это время успешно функционировал студенческий университетский кружок, активно проводились экспедиционные исследования. Ежегодно пополнялись фонды и постоянно обновлялись экспозиции в Музее археологии и этнографии ОмГУ. В настоящее время его фонды насчитывают более 430 тысяч единиц хранения. Более 130 этнографических коллекций представляют культуру народов, проживающих на территории Горного Алтая, Казахстана, Западной, Северо-Западной и Южной Сибири, Хакасии, г. Кургана (сборы В.Б. Богомолова, А.В. Головнёва, М.А. Жигуновой, Д.Г. Коровушкина, И.В. Лоткина, Г.М. Патрушевой, В.В. Реммлера, А.Б. Свитнева, А.Г. Селезнёва, Т.Б. Смирновой, Н.А. Томилова, Г.И. Успеньева, Л.Т. Шаргородского и др.). Наиболее многочисленными являются коллекции по хозяйству и культуре различных групп сибирских татар (более 1200 единиц хранения), русских, включая казачество (более 350 единиц хранения), немцев (более 300 единиц хранения). Также представлены коллекции по белорусам, казахам, латышам, манси, ненцам, селькупам, телеутам, украинцам,

хакасам, хантам, челканцам, чувашам, шорцам, эстонцам. В архивном фонде хранятся документы и материалы археологических и этнографических экспедиций и практик, личные фонды ленинградского археолога, доктора исторических наук М.П. Грязнова, московского этнографа, доктора исторических наук В.И. Васильева, омского археолога, кандидата исторических наук А.И. Петрова, личный фонд омского этнографа Л.Т. Шаргородского, а также – фототека, фонотека и микрофильмы.

Между всеми этнографами существовали теплые дружественные отношения. Мы чувствовали себя единой слаженной семьей во главе с патриархом – Николаем Аркадьевичем. Он относился к нам всегда по-отечески. Мы вместе отмечали на кафедре не только дни рождения всех сотрудников (с неизменным тортом и чаепитием), но и важнейшие этапы жизненного пути – защиты дипломных работ, свадьбы, рождения детей, новоселья, сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру и «кандидатского минимума». По субботам Николай Аркадьевич приходил в III корпус университета, где в фондах музея для него был оборудован своеобразный кабинет. Там он писал свои очередные научные труды, а мы разбирали документы и музейные предметы, обменивались научной информацией. И никто не торопился домой, засиживались с делами иногда до позднего вечера, пока вахтер не выдворял нас из учебного корпуса.

Характерной чертой этого периода являлась активная работа сотрудников кафедры по каталогизации и паспортизации коллекций музеев в Омске, Новосибирске, Томске, Тюмени и издание серии «Культура народов мира в этнографических собраниях российских музеев». Согласитесь, что возможность примерить на себя кольчугу Ермака или латы средневекового рыцаря мало у кого имелась! А вот омские этнографы не только фотографировались в одежде и снаряжении прошлых веков, но и держали в руках драгоценные предметы и свидетельства прошлого, которые хранились в специальном фонде под сигнализацией и никогда не экспонировались, поскольку не было возможности обеспечить достойную их охрану. Составляя научные паспорта и делая атрибуцию различных предметов, мои коллеги-мужчины делали иногда такие забавные описания одежды: «Кофточка женская. Из красного материала. На груди выгнулась дугой в виде оборочки…».

В 1980-е годы активизировалась работа по организации и проведению различных всесоюзных, всероссийских и региональных кон-

ференций этнографической тематики. Одной из наиболее многочисленных и запоминающихся стала Всесоюзная научная конференция «Этнографическая наука и пропаганда этнографических знаний» (Омск, 25-27 мая 1987 г.). Специально к конференции В.Б. Богомоловым была разработана эмблема, которая украсила сборники тезисов и выдававшиеся при регистрации каждому участнику конференции круглые значки (бейджики вошли в моду позднее). Эта конференция проводилась ОмГУ совместно с Институтом этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР. Помнится, как мы поочередно ночевали на кафедре, чтобы отвечать на поступающие круглосуточно звонки из всех уголков Советского Союза. География участников поистине впечатляет: Абакан, Алма-Ата, Андижан, Архангельск, Астрахань, Ашхабад, Баку, Владивосток, Волгоград, Горки Могилевской обл., Горький, Грозный, Донецк, Ереван, Иркутск, Казань, Каменец-Подольский, Караганда, Кемерово, Киев, Кишинев, Коломна, Коломыя, Краснодар, Куйбышев, Ленинград, Львов, Махачкала, Минск, Москва, Нальчик, Нахичевань, Новосибирск, Нукус, Омск, Орел, Петрозаводск, Рака-аль-Маре, Рига, Ставрополь, Сухуми, Сыктывкар, Таллин, Тарту, Таштагол, Тбилиси, Тобольск, Томск, Ужгород, Ульяновск, Устинов, Усть-Каменогорск, Уфа, Фергана, Фрунзе, Челябинск, Черкесск, Черновцы, Южно-Сахалинск. Всего на конференции было заслушано 183 доклада.

В качестве пленарных были заявлены доклады: Ю.В. Бромлея «Общественные функции этнографической науки», В.С. Евстигнеева «О роли музеев в сохранении и пропаганде культурного наследия», Р.Ф. Итса и А.С. Мыльникова «Этнография и проблемы сохранения и пропаганды культурного наследия», Н.А. Томилова «Традиции, новации и пропаганда достижений народной культуры в Сибири».

Будучи секретарем оргкомитета, я информировала участников о распорядке дальнейшей работы. И вот, после того, как было сделано объявление о том, что участников конференции ждут на обед в ресторане «Охотник», ко мне подошли трое мужчин и спросили, могу ли я проводить их в ресторан пешком, чтобы не ехать на автобусе. Я согласилась. Мы вместе прогулялись до ресторана, чудесно пообщались и пообедали. Каково же было мое удивление, когда я узнала позднее, что мне посчастливилось так запросто познакомиться с А.С. Мыльниковым, А.М. Решетовым и О.И. Шкаратаном. Хорошо, что тогда я не знала, какие они великие, иначе бы не смогла при них так спокойно есть!

Заключительным праздничным аккордом этой конференции стал банкет, организованный в ресторане «Турист». Поскольку в то время официально в стране был объявлен «сухой закон», то участники конференции приходили в ресторан исключительно с бутылками минеральной воды. Уже через час застолья стало понятно, что в тех бутылках была не совсем обычная вода. И вскоре началась своеобразная игра, когда каждая делегация исполняла танец и песню на своем национальном языке, которую очень многие старались подхватить, хотя не все знали и даже не понимали слова. Но это был момент самого настоящего единения, когда всем было ясно, что все мы – вместе! К 24 часам ночи, когда полагалось закрывать ресторан, сами его сотрудники попросили участников не расходиться, а спеть еще и станцевать. Поскольку такой редкой возможности увидеть всю национально-культурную палитру Советского Союза у них раньше (да и позднее) не было. В итоге банкет закончился лишь под утро.

Наиболее деятельно организационная работа проходила в 1990-е гг., когда омскими этнографами было проведено 64 различных научных конференции и семинара. Самым «урожайным» выдался 1998 г., когда их количество дошло до рекордной отметки – 11. Благо, цены тогдашние позволяли устраивать банкеты. Так, например, у меня хранится копия отношения на фирменном бланке ОмГУ на имя директора ресторана «Сибирские огни», где Н.А. Томилов (будучи в то время проректором по научной работе университета) просил «принять заказ на банкет для участников Всесоюзной этнографической конференции на 180 человек из расчета 15 рублей на 23 ноября 1990 г.».

После того, как я выслала сборник материалов очередной конференции ведущему научному сотруднику Института истории РАН Л.Н. Пушкареву, я получила такой ответ: «Вы сделали мне настоящий пасхальный подарок – я получил высланные Вами книги. Спасибо Вам от всей души! Прочитал их и подивился широте и глубине рассматриваемых на сессиях проблем – молодцы, омичи, наука в Сибири стоит на высоком уровне!…». Это было приятно.

Самым ярким и запоминающимся событием в научной жизни омской этнографии начала XXI в. стало проведение в Омске 9-12 июня 2003 г. V конгресса этнографов и антропологов России, в работе которого приняли участие около 400 человек.

Но все же наиболее значимые и интересные события происходили во время проведения этнографических экспедиций и практик.

Родился даже лозунг: «Мы ездим в экспедиции, чтоб изучать традиции, а также – инновации, и даже – девиации». Особой активностью отличались исследования в 1980-е гг., когда удавалось проводить по два-три полевых сезона, в которых участвовали до 60-90 человек. Кто бывал в экспедициях, не забудут о них. Лично мне вспоминиется поездка 1994 г. в Усть-Ишимский район Омской области. Тогда я впервые взяла с собой дочь Полину, которой было всего три года, но к завершению работ исполнилось четыре. Это радостное событие было отмечено концертом, составленным из различных номеров художественной самодеятельности. Затем было дружное застолье, которое запомнилось многим не только домашним тортом, но обилием настоящих среднеазиатских мантов, которые я приготовила из подаренного местным населением свежего мяса. Завершился праздник общей дискотекой.

Накануне завершения экспедиции я решила посетить бывшую деревню староверов, расположенную всего лишь в 11 км от районного центра. С учетом того, что места там глухие и труднодоступные, мы отправились в путь на грузовом автомобиле «Трумен». Но вскоре застряли в очередной бездонной яме. Дальше шли пешком, пытаясь выбрать дорогу между болотом и грязью, зарослями тайги и буреломом. Сопровождавший нас шофер ругал нас: «И чего вам дома не сиделось!» и остерегал, что здесь спокойно можно встретиться с хозяином тайги – медведем. Рев медведя мы слышали неоднократно, но посчастливилось дойти живыми и почти невредимыми (разве что искусанными многочисленными комарами да мошками). Какова же была наша радость, когда все явственнее заслышался лай собак, и показались очертания рубленого деревянного дома! Радушная хозяйка усадила нас за стол и сетовала, что нечем потчевать таких дорогих гостей: «Уж не обессудьте, угощайтесь, чем Бог послал». И поставила на стол тарелки с супом из свежих белых грибов и знаменитые сибирские пироги с рыбой. К душистому чаю из листьев смородины, мяты и чабреца нам подали полную тарелку ароматной лесной земляники с густой домашней сметаной. Недоверчиво удивлялась, что еда нам очень нравится, и не верила, что так вкусно в Омске даже в ресторанах не кормят. Сочувствовала: «Теперь вам тут несколько дней жить придется. Через два дня вертолет прилет, он почту и продукты привозит. С ним и улетите обратно в Усть-Ишим». Такая перспектива нас совсем не радовала: у нас завтра утром – «ракета» на Омск! Я -

начальник экспедиции, и нам сегодня нужно вернуться обратно… Ну не тут-то было!

И тут хозяйка меня узнала: «А это не Вы, случайно, несколько лет назад с учителем зимой к нам приезжали? Девочкой такой, с косичками?». Да, это было! Действительно, ранним утром 1 января 1982 г. я стала участницей очередной этнографической экспедиции, организованной А.В. Головнёвым. И добирались мы до этого поселка староверов на санях-розвальнях. От лошади, покрытой инеем, поднимались клубы пара. Тогда впервые узнали мы, что такое медовуха и «домашний квас», зажаренный в русской печи рябчик и настоящая сибирская зимняя охота на глухарей. А теперь вместо деревни староверов – фермерское хозяйство и совсем другой уклад. Разве что дороги по-прежнему никакой нет, особенно после дождей. Но на этот раз нам повезло. К председателю сельского совета приехала из Омска теща. За нею был выслан мощный трактор «Кировец», который прицепил наш увязший «Трумен» и дотащил до Усть-Ишима. Небольшое по сибирским меркам расстояние – всего 11 км – мы преодолевали целых 5 часов. Вот такие бывают дороги!

Главный праздник для омских этнографов – 17 июля – День рождения Н.Н. Миклухо-Маклая. Как правило, в этот день прекращались работы, и экспедиционные отряды собирались на основной базе. Все силы были сконцентрированы на подготовке праздника. Известными атрибутами праздника являются праздничное угощение и нарядные одежды. Как правило, в этот день варилась тушенка с картошкой (а не с набившими оскомину макаронами) и готовился торт (если не получалось испечь его традиционно из муки, то стряпали из печенья и вареной сгущенки, украшая конфетами, мармеладками, ягодами и др.). Праздничное застолье начиналось с поздравительной речи начальника экспедиции и коллективного исполнения гимна. Далее следовало театрализованное представление и посвящение первокурсников-практикантов. Последнее включало в себя ряд испытаний – соревнования по угадыванию народных загадок и произношению скороговорок, сочинение стихов из нескольких заданных рифм, опрос информатора (в образе которого обычно выступал опытный экспедиционер, никак не желавший выдать нужную информацию), стегание крапивой по обнаженным частям тела, «причастие» (проглатывание чайной ложки гремучей смеси из горчицы, перца, уксуса и др. или «чудесного напитка», состоящего из уксуса, водки, соли, перца). Испытания завершались обязательной клятвой и «боевой раскраской

лица» (иногда и тела). После этого происходило коллективное «братание», праздничное застолье с песнями, плясками, играми. Посвящение в обязательном порядке проходили не только студенты-практиканты, но и все, кто впервые попадал в этнографическую экспедицию – иностранные студенты и аспиранты, друзья и родственники экспедиционеров, дети сотрудников, наемные рабочие. Доброй традицией являлся обязательный концерт для местного населения. Афиша с приглашением на это неординарное мероприятие вывешивалась в населенном пункте заранее. Программы этих концертов отличались разнообразием: в них входили песенные, танцевальные, музыкальные, цирковые и акробатические номера, театрализованные представления и др. В концертах, как правило, принимали участие все члены экспедиции, включая руководящий состав.

Всеобщими любимцами в этнографических экспедициях являлись поющие гитаристы Л. Шаргородский и А. Чередников, из девушек хорошо владела гитарой С. Томилова (Корусенко). Бесспорным и самым знаменитым этнографическим шлягером, исполняемым коллективно, являлась знаменитая «Апуппа» («Мы ехали в трамвае, сосали эскимо…»). Песня состояла из нескольких весьма двусмысленных куплетов, разбавляемых специфическим припевом из определенного набора звуков, вперемежку с заливистым хрюканьем. Те, кто впервые становился слушателем этого хита, не могли удержаться от гомерического хохота на припеве, который был особенно хорош в коллективном исполнении В. Реммлера, А. Селезнева, А. Чередникова и Л. Шаргородского. О последнем хочется сказать особо. Молодой талантливый этнограф Леонид Тевелевич Шаргородский, был всеобщим любимцем. Он трагически погиб в экспедиционной поездке в Пуровском районе Тюменской области 31 мая 1992 г. Но память о нем живет в его песнях, которые бережно передаются новым поколениям омских этнографов. Наиболее популярные из них, включая «Гимн омских этнографов», уже опубликованы [Жигунова 2011: 156-157; Томилов, Жигунова 2010:293-294]. Полный комплект его песен, записанный мною в 1985 г. со слов его ближайшего друга Вадима Реммлера, готовится к публикации в ближайшем номере журнала «Культурологические исследования в Сибири» [Жигунова, Патрушева, Томилов 2012]. Сегодня, по прошествии 20 лет со дня его трагической гибели, пророчески звучат слова из написанного им гимна:

Кто-то штурмует историографию,
Кто-то в античности ищет своё.
Я же до смерти влюблён в этнографию
И никогда не покину её…

В 1985 г. Л. Шаргородским была написана песня на мотив известного пугачевского «Айсберга». В ней поднимается проблема, знакомая многим омским этнографам, когда информаторы буквально прятались от них, не желая больше быть объектами многочасовых «допросов с пристрастием»:

Вот какое-то селенье из тумана вырастает.
Ждёт меня там информатор, сам не ведая о том.
Он и не подозревает, как опасен для здоровья
Как опасен тот этнограф, кто к нему нагрянул в дом.

Припев:
А я про всё на свете с тобою забываю.
Я время подгоняю, чтоб встретиться с тобой.
А ты сидишь холодный как айсберг в океане,
И все твои печали под темною водой.

Вот иду я по деревне, себе жертву выбирая.
Вижу, вышел на крылечко седовласый старый дед.
Я к нему из-за сарая незаметно подползаю,
Приготовив карандашик, ручку, камеру, планшет.

Припев.

После медленной беседы, после каверзных вопросов,
После записей в блокноте ты поймёшь, что значит ад.
И когда ты вдруг остынешь, ты поймёшь, что жизнь напрасна,
Ты захочешь удавиться или выпить сильный яд.

Припев.

Я уйду своей дорогой, и вздохнёшь ты облегчённо
Будешь жить в своём домишке и не думать обо мне.
Но не зря тебя я мучил, напишу я в толстой книжке
Напишу я в толстой книжке всё, что знаю о тебе.

Припев.

Особенностью экспедиционных поездок всегда было их активное песенное сопровождение. В каждой экспедиции обязательно ис-

полняли песни: «Глобус» (Я не знаю, где встретиться мне придется с тобой») и «Люди идут по свету…», «Царь Николашка правил на Руси…», «Мой фрегат давно уже на рейде» и «Алые паруса». Часто можно было услышать: «Про камень» («Шел по лесу мамонт, наслаждался волей»), «В пещере каменной нашли наперсток водки», «Черт побери», «Колумб Америку открыл», «16 столовых ножей», «Ботик» («Один рефрижератор, представитель капстраны…»), «Мадам Бонжа», «Собачка» («Если б у меня была собачка..»). С легкой руки автора этой статьи прижилась в этнографических экспедициях песня Вадима Егорова «Нам с сестрёнкой каюк…». Также исполнялись песни Ю. Визбора, Б. Окуджавы, А. Розенбаума. Встречались в репертуаре и песни военных времен «Там, вдали, за рекой», «Про Щорса», «Погоня», «Три танкиста» и др. Довольно часто (иногда – полушепотом, т.к. боялись быть услышанными) пели «Поручика Голицына». Отдельно следует сказать о частушках. В любом концерте они исполнялись обязательным номером, запевалой была Марина Жигунова. Их количество и репертуар постоянно варьировались, но среди них были несколько «обязательных» [Жигунова 2011:158]. Песенный репертуар омских этнографов отличается чрезвычайным многообразием. В нем, наряду с известными студенческими, туристическими, авторскими, народными, шуточными, эстрадными произведениями, довольно часто встречаются образцы собственного сочинения, которые продолжают воспроизводиться в среде нового поколения омских этнографов.

В экспедиции пищу (в отличие от пропитания – «подножного корма», включавшего добровольные пожертвования информаторов) готовили сами (по очереди) на всю экспедицию: на костре, электрической плитке, газовой плите и даже в русской печи, посуду мыли при помощи хозяйственного мыла в реке, озере, под колонкой воды, в ведре или тазу. Бывали случаи, когда варили макароны в ведре кипятильником. Но это - не было самым главным в поле…

В апреле 1991 г. был образован Омский филиал Объединенного института истории, филологии и философии СО РАН, преобразованный в 2006 г. в Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН. В настоящее время в нем работают этнографы, кандидаты исторических наук: Ш.К. Ахметова, А.Н. Блинова, М.А. Жигунова, М.Н. и С.Н. Корусенко, Д.А. Мягков, А.Г. Селезнев, Е.Ю. Смирнова, М.Н. Тихомирова [КИС 2011]. В феврале 1993 г. в Омске был открыт Сибирский филиал Российского института культурологии, в котором

был создан сектор национальных культур и межнациональных отношений. Возглавил институт и вышеназванный сектор Н.А. Томилов. С 2005 г. руководство сектором перешло к И.А. Селезневой. В этом секторе омские этнографы проводили исследования в рамках двух основных направлений: «Национальные культуры: тенденции динамики и современное состояние», «Национально-культурные процессы и пути достижения устойчивого развития в современном мире» [КИС 2003; КИС 2008].

Многие этнографы успешно преподают ряд учебных дисциплин в ОмГУ (М.Л. Бережнова, А.Н. Блинова, М.А. Жигунова, М.А. и С.Н. Корусенко, Н.В. Кулешова, А.В. Матвеев, Г.М. Патрушева, А.Б. Свитнев, А.Г. Селезнев, Т.Б. Смирнова, Н.А. Томилов, И.А. Чернова (Волохина) и др.), осуществляют связи с национально-культурными центрами. Еще в 1994 г. был разработан проект «Решение национально-культурных проблем Омской области» [Решение национально-культурных проблем…1994], получивший самые высокие оценки не только в региональных, но и во всероссийских государственных структурах. Также омские этнографы трудятся в Омском государственном историко-краеведческом музее, Омском областном музее изобразительных искусств им. М.А. Врубеля и других учреждениях. Питомцы омской этнографии разбросаны не только по разным городам нашей страны: Анадырь, Барнаул, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Магнитогорск, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Тобольск, Тюмень, но и по разным странам мира: Америка, Германия, Голландия, Италия, Казахстан, Канада, Франция, Чехия.

А еще приведу малоизвестный исторический факт. В начальный период своей истории хорошо известная сегодня хоккейная команда Омской области «Авангард» обратилась к Н.А. Томилову с просьбой «разработать рекламу в русле русских народных традиций». Это занимательное дело было поручено нам с В.Б. Богомоловым и студентке Т.Н. Афанасьевой. Мы решили использовать жанр частушки и лубочных картинок. Поскольку в русской народной традиции частушек на хоккейную тему обнаружено не было, мы их радостно сочиняли сами:

Родила меня маманя
Не в больнице, а на льду.
С той поры без клюшки с шайбой
Я ни дня жить не могу.

В 2006 г. к 65-летию Н.А. Томилова в его кабинете мы разместили старые плакаты и фотографии с надписями: «Вождь этнокожих», «У моряков семья в каждом порту, а у этнографов – в каждом чуме», «Этнография-мать зовёт!» и др. Также была выпущена новая стенгазета «Этнографическая семья Н.А. Томилова». Идея ее создания возникла у С.Н. Корусенко и Т.Б. Смирновой. Составили списки, нашли фотографии. Когда все посчитали, родился подзаголовок: «Вам – 65 и нас – 65!». В спешке искали какой-нибудь татарский или тюркский орнамент, и не нашли ничего лучше, чем кусок бумажных обоев. На нем и разместили сложную схему из фотографий «законных взрослых детей (кандидатов исторических наук)», «законных малых детей (аспирантов)», «детей взрослых детей – внуков (аспирантов)», «побочные связи – внебрачные дети», «связи культурологической ориентации» и даже – «случайные связи». Сейчас эта газета украшает экспозицию в Музее истории народов Сибири Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН. В последующие годы М.А. Корусенко создал электронный вариант «Этнографической семьи Н.А. Томилова», которая регулярно пополняется.

2011 год был знаменательным для омской этнографии, поскольку 12 апреля исполнилось 20 лет Омскому филиалу Института археологии и этнографии СО РАН, а 14 сентября – 70 лет нашему главному этнографу – Н.А. Томилову. Таким образом, праздничные мероприятия длились с весны до осени. Поздравляя Николая Аркадьевича в созданном им Музее археологии и этнографии ОмГУ, мы сочинили и исполнили такие строки:

ТОМИЛОВ! Сколько в этом слове
Для каждого из нас слилось!
Как много в нём отозвалось!
Вот, окружён учениками,
Стоит он, думой окрылен:
Есть кафедра, два института,
Чего еще не сделал он?
От всей души хотим ему мы пожелать:
Потенциал свой мощный не терять,
По-прежнему всё делать успевать,
При этом – отдыхать не забывать!
Этнографический свой дух распространять
Не только в Омске, Томске и Сибири,
Но и везде, где человечьи ноги проходили.
Мы верим, не случайно, что барон Миклухо де Маклай
Носил такое ж имя – Николай!

* * *

Как-то на очередном конгрессе этнографов и антропологов России, проходившем в 2005 г. в Санкт-Петербурге, А.В. Головнёв спросил у меня: «Ну что, Марина, не жалеете о том, что я соблазнил Вас заниматься этнографией? Может быть, следовало выбрать другую, более доходную профессию?» Тогда я абсолютно искренне ответила ему: «Нет!». Я очень благодарна Андрею Владимировичу за дельный совет, поскольку мне не пришлось метаться в выборе между педагогическим, медицинским, физкультурным, технологическим и другими институтами. Где еще, в какой профессии можно одновременно и успешно совмещать знания и навыки историка и врача, журналиста и повара, артиста и режиссера, социолога и музейщика, философа и педагога, фотографа и художника, швеи и архитектора, спортсмена и туриста? И очень хочется верить, что будущее нашей этнографии светло и прекрасно!

Библиография

Головнев 1997 – Головнев А.В. Дом на холме: Песни. Екатеринбург: «СВ-96», 1997. 256 с.

Жигунова 2011 – Жигунова М.А. О чем поют в экспедициях омские этнографы // Культурологические исследования в Сибири. 2011. № 2 (33). С. 152-158.

Жигунова, Патрушева, Томилов 2012 – Жигунова М.А., Патрушева Г.М., Томилов Н.А. Несостоявшийся юбилей: памяти коллеги Шаргородского Л.Т. // Культурологические исследования в Сибири. 2012. № 2 (37). С. 64-73. + песни, список трудов

Захарова 1970 – Захарова И.В. Этнография в трудах Западно-Сибирского отдела Русского географического общества (1877-1917) // Ученые записки Омского государственного педагогического института. Омск, 1970. Вып. 45: Вопросы истории Западной Сибири. С. 100-124.

Захарова, Томилов 1995 – Захарова И. В., Томилов Н. А. Этнографическая наука в Омске: истоки, история и современное состояние // Народы Сибири и сопредельных территорий: Межведомственный сборник научных статей. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. С. 5-36.

Захарова, Томилов 2007 – Захарова И. В., Томилов Н. А. Этнографические научные центры Западной Сибири середина XIX-начало XXI века. Омский этнографический центр. Омск: Издательский дом «Наука», 2007. 400 с.: ил. (список дисс. 275-281).

КИС 2003 – Культурологические исследования в Сибири. Омск: ООО «Издатель-Полиграфист», 2003. № 3 (11). 324 с.

КИС 2008 – Культурологические исследования в Сибири. Омск: Издательский дом «Наука», 2008. № 2 (24). 186 с.

КИС 2011 – Культурологические исследования в Сибири. Омск: Издат. дом «Наука». 2011. № 2 (33). 176 с.

Комарова 2008 – Комарова Г.А. Антропология академической жизни на постсоветском пространстве // Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии /Отв. ред. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАВН, 2008. С. 5-25.

Миклухо-Маклай 1961 – Миклухо-Маклай Н.Н. На берегу Маклая. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961. 332 с.

Ожегов, Шведова 2009 – Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., дополненное. М.: ООО «А ТЕМП», 2009. 944 с.

Патрушева, Томилов 2004 – Патрушева Г.М., Томилов Н.А. Поздравляем Ирину Витальевну Захарову с 80-летним юбилеем! // Культурологические исследования в Сибири. 2004. № 1 (12). С. 9-13.

Решение национально-культурных проблем…1994 – Решение национально-культурных проблем Омской области: научно-исследовательский проект. Омск, 1994. 72 с.

Смирнова 2010 – Смирнова Т.Б. Записки этнографички // Антропология академической жизни: Междисциплинарные исследования. Т. 2. /Отв. ред. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2010. С. 296-313.

Соколовский 2010 – Соколовский С. Автоэтнография и антропологические исследования наука // Антропология академической жизни: Междисциплинарные исследования. Т. 2. /Отв. ред. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2010. С. 24-42.

Томилов 1991 – Томилов Н.А. Этнографические традиции в г. Омске // Областная научно-практическая конференция, посвященная 275-летию города Омска. Секция «Природа и хозяйство Омской области. Омск, 1991. С. 124-127.

Томилов 2010 – Томилов Н.А. Народная культура городского населения Сибири: очерки историографии и теории историко-этнографических исследований. Омск: Издательский дом «Наука», 2010. 164 с.

Томилов 2011 – Томилов Н.А. Омский этнографический центр и его теоретические исследования // Феномен идентичности в современном гуманитарном знании: к 70-летию академика В.А. Тишкова /Сост. М.Н. Губогло, Н.А. Дубова. М.: Наука, 2011. С. 319-336.

Томилов, Жигунова 2010 – Томилов Н.А., Жигунова М.А. Омский научный этнографический центр: штрихи к портрету // Антропология академической жизни: Междисциплинарные исследования. Т. 2. /Отв. ред. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2010. С. 285-295.

Этнограф, культуролог, историк 2011 – Этнограф, культуролог, историк… К 70-летию профессора Николая Аркадьевича Томилова. Омск: Издат. дом «Наука», 2011. 438 с.

НАШИ АВТОРЫ

Абашин Сергей Николаевич – д.и.н., вед.н.с. ИЭА РАН (г. Москва) <s-abashin@mail.ru>

Банников Константин Леонардович – д.и.н., директор Центра антропологических исследований ARC (Anthropological Research Center, Хельсинки). Гл. редактор журналов «Destinations», «TransAlpina» (г. Москва) <www.travel–journal.ru>

Гринько Иван Александрович – к.и.н., Master of arts in cultural management, м.н.с. НИИ и Музей антропологии им. Д.Н. Анучина при МГУ (г. Москва) <wagr-j@inbox.ru>

Демина Наталия Валентиновна – обозреватель раздела "Наука" на "Полит.ру"(www.polit.ru), член редсовета газеты "Троицкий вариант – Наука" (г. Москва) (www.trv–science.ru)

Жигунова Марина Александровна – к.и.н., доцент Омского государственного университета им. Ф.М.Достоевского (г. Омск) <marizh.omsk@rambler.ru>

Еремеева Анна Натановна – д.и.н., профессор Краснодарского государственного университета (г. Краснодар) <eranna2000@mail.ru >

Комарова Галина Александровна – д.и.н., в.н.с. ИЭА РАН (г. Москва) <galakom@mail.ru >

Лебедев Владимир Юрьевич – д.ф.н., профессор Государственной академии славянской культуры (г. Тверь) <LebedevVU@yandex.ru>

Лисевич Нина Григорьевна – главный архивист отдела «Научный архив и энциклопедия» Коми научного центра УрО РАН (г. Сыктывкар) <sidorenko@presidium.komisc.ru>

Макаренко Виктор Павлович – д.ф.н., д.п.н., профессор, зав. кафедрой политической теории Ростовского госуниверситета (г. Ростов–на–Дону) <vpmakar@aaanet.ru>

Миронова Наталья Петровна – м.н.с. отдела «Научный архив и энциклопедия» Коми научного центра УрО РАН (г. Сыктывкар) <sidorenko@presidium.komisc.ru>

Писаревская Дина Борисовна – к.и.н. (г. Москва) <dinabpr@gmail.com>

Пулькин Максим Викторович – к.и.н., с.н.с. ИЯЛИ Карельского научного центра (г. Петрозаводск) <vmp@krc.karelia.ru>
Серов Николай Викторович – д.к.н., профессор Санкт–Петербургского государственного института психологии и социальной работы (г. Санкт–Петербург) <n.serov@gmail.com>
Сидорякина Татьяна Александровна – магистрант Омского государственного университета (г. Омск) <sildoryakina@yandex.ru>
Соколовский Сергей Валерьевич – д.и.н., в.н.с. ИЭА РАН, гл. ред. ж. «Этнографическое обозрение» (г. Москва) <SokolovskiSerg@mail.ru>
Тумаркин Даниил Давыдович – д.и.н., в.н.с. ИЭА РАН (г. Москва)
Филимончик Светлана Николаевна – к.и.н., доцент Петрозаводского госуниверситета (г. Петрозаводск) < syrsa@yandex.ru >
Филиппова Татьяна Петровна – ст. лаб. Коми научного центра УрО РАН (г. Сыктывкар) <sidorenko@presidium.komisc.ru>
Шнирельман Виктор Александрович – д.и.н., гл.н.с. ИЭА РАН (г. Москва)

Научное издание

АНТРОПОЛОГИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ:
традиции и инновации

Отв. редактор и составитель – Г.А. Комарова

Компьютерная верстка - В.В. Комаров
Технический редактор - Е.Е. Беляева
Художник - Арутюн Самуэлян

На обложке – литография М.К. Эшера
(M.C. Escher *Drawing hands.* 1948 г.)

Подписано в печать 29.03.2013
Формат 60x84 1/16. Усл. печ. л. 24,0. Уч.-изд. л. 27,5.
Тираж 300 экз. Заказ № 284
Типография ООО Интер-принт